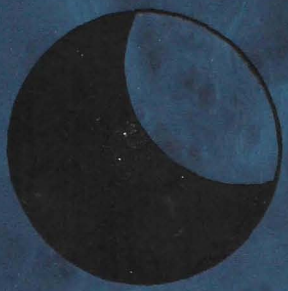
ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ

ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ

МИСТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ



ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ

МИСТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ

ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ

МИСТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

ББК 84(4Фр)
УДК 840-32
Н54

Составитель
Ю. Н. Стефанов

Нерваль Жерар де.
Н54 Мистические фрагменты / Пер. с фр. Сост. Ю. Н. Стефанов. Вступит. статья и коммент. С. Н. Зенкина. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2001. — 536 с.

ISBN 5-89059-002-2

Произведения Жерара де Нерваля (1803—1855), собранные в настоящей книге, раскрывают духовную суть этого писателя — эрудита и визионера.

В составе издания, кроме опубликованных ранее глав из «Путешествия на Восток», впервые печатаются написанные Нервалем биографии известных масонов («Жак Казот», «Калиостро»), статьи и заметки на религиозно-философские темы, повесть «Аврелия» — своего рода мистический дневник блужданий по «иным» мирам. Переводы стихотворений из циклов «Химеры» и «Новые химеры» выполнены специально для этой книги.

ББК 84(4Фр)
УДК 840-32

© «Энигма», составление, переводы, 2000

© Зенкин С. Н., вступительная статья, комментарии, 2001

© Кутовой Н. А., художественное оформление, 2001

© Издательство Ивана Лимбаха, 2001

СОДЕРЖАНИЕ

С. ЗЕНКИН
ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ — ИСПЫТАТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
8

ИЗ КНИГИ
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК»

Пирамиды
перевод М. Таймановой
42
История халифа Хакима
перевод М. Таймановой
59
История о царице Утра и о Сулаймане, повелителе духов
перевод Н. Хотинской
101

ИЗ КНИГИ
«ИЛЛЮМИНАТЫ»

Жак Казот
перевод И. Волевич
226
Калиостро
перевод И. Волевич
281

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

Мистическая литография
перевод Н. Паниной
300
Карнавальный бык
перевод Н. Паниной
305
Красный дьявол
перевод А. Андрес
310

СОДЕРЖАНИЕ

Диорама
перевод Н. Паниной
317
Неведомые боги
перевод Н. Паниной
322
Наследники Икара
перевод Н. Паниной
328

ИЗ КНИГИ
«ДОЧЕРИ ОГНЯ»

Исида
перевод Е. Урениус, под ред. П. Муратова
340
Сильвия
перевод Е. Урениус, под ред. П. Муратова
359
Октавия
перевод Е. Урениус, под ред. П. Муратова
397

АВРЕЛИЯ
перевод Е. Урениус, под ред. П. Муратова
405

ИЗ ЦИКЛОВ
«ХИМЕРЫ», «НОВЫЕ ХИМЕРЫ»
И «ОДЕЛЕТТЫ»

El Desdichado
перевод Ю. Денисова
470
Мирто
перевод Э. Шапиро
471
Гор
перевод Э. Шапиро
472

СОДЕРЖАНИЕ

Антэрос
перевод Ю. Денисова
473
Delfica
перевод Ю. Денисова
474
Артемида
перевод Э. Шапиро
475
Христос на Масличной горе
перевод Ю. Стефанова
476
Золотые стихи
перевод Ю. Денисова
481
Госпоже Агуадо
перевод Э. Шапиро
482
Елене де Мекленбург
перевод Э. Шапиро
483
Госпоже Санд
перевод Э. Шапиро
484
Госпоже Иде Дюма
перевод Ю. Денисова
485
Голова-донжон
перевод Ю. Денисова
486
Черное пятно
перевод Ю. Денисова
487
Фантазия
перевод А. Гелескула
488

С. ЗЕНКИН
КОММЕНТАРИИ
489

Жерар де Нерваль — испытатель культуры

За последние пятнадцать лет в нашей стране вышло уже четыре книги Жерара де Нерваля, снабженных сопроводительными статьями[1], и это избавляет нас от необходимости подробно излагать биографию писателя и библиографию его творчества. Можно ограничиться лишь самыми краткими сведениями, помогающими понять необычность его места в литературе.

Жерар Лабрюни, взявший себе псевдоним «Жерар де Нерваль» (1808–1855), еще в юности стал своим человеком в романтических кружках, дружил и сотрудничал с такими знаменитостями как Теофиль Готье, Александр Дюма, Жюль Жанен и другие. В литературной среде была известна его трогательно робкая любовь к Женни Колон – актрисе театра «Опера Комик», ради которой Нерваль промотал доставшееся ему скромное наследство и памяти которой (Женни умерла в 1842 году) оставался верен до конца жизни. А уже в 1841 году возникла и новая причина, способствовавшая всеобщему состраданию к нему: Жерар де Нерваль оказался во власти душевного недуга, снова и снова попадая в психиатрическую лечебницу. В 50-е годы приступы стали повторяться все чаще, и в январе 1855 года наступила развязка – писатель, в очередной раз выпущенный из больницы и бездомно бродивший по городу, морозной ночью повесился на мрачной улочке в самом центре Парижа.

Хотя трагическая гибель и вызвала всплеск сочувствия к Жерару де Нервалю, она все же почти не изменила господствовавшую оценку его творчества: вплоть до XX столетия, до сюрреалистов (провозгласивших своим творческим принципом систематическую фиксацию снов и бредовых видений, кото-

[1] Избранное / Сост., вступит. ст. и коммент. М. Кудинова. М.: Искусство, 1984; Дочери огня / Сост., вступит. ст. Н. Жирмунской. Л.: Худож. лит., 1985; Путешествие на Восток / Сопров. статьи В. Никитина и Н. Иванова. М.: Наука, 1986; История о царице Утра и Сулаймане, повелителе духов / Послесл. Ю. Стефанова. М.: Энигма, 1996.

рую впервые предпринял Нерваль в предсмертной книге «Аврелия»), он слыл, в общем и целом, талантливым неудачником, не сумевшим вполне реализовать свой дар.

Шедевров, в обыкновенном смысле этого слова, у Нерваля действительно нет или почти нет. Он много писал и печатался, выступал и как поэт, и как прозаик, и как критик (литературный и театральный), но в массе этих текстов выделяются лишь отдельные «жемчужины», да и те чаще всего лишены завершенности, внутренне разнородны и входят в еще более пестрые по составу книги и сборники. И не случайно у этого признанного ныне классика французской литературы до сих пор нет по-настоящему полного и четко выстроенного собрания сочинений: существующие издания обрастают «дополнительными» томами, а внутри каждого из них никак не получается провести логичную, последовательную рубрикацию, и оттого стихи хаотично перемежаются прозой, повести и легенды – письмами и газетными статьями-«фельетонами»[2]...

Затруднения издателей понятны и отчасти объясняются способом публикации нервалевских сочинений – автор печатал их в газетах и журналах, а потом для книжных изданий собирал вместе разнородные тексты, сокращал, дополнял, сшивал вместе, переозаглавливал... Его сочинениям присущи разорванность и фрагментарность. Основные его книги – «Путешествие на Восток», «Иллюминаты», «Дочери огня» – это более или менее искусно составленные сборники фрагментов, иногда оригинальных, иногда компилятивных или даже пред-

[2] Сам как бы стесняясь такой гетерогенности своих текстов, Нерваль в разговорах с друзьями подводил под нее задним числом «экономическое» обоснование: «...таким образом он всегда мог ускользнуть от действия тогдашнего закона, облагавшего дополнительным налогом в один сантим каждый экземпляр газеты, в котором печаталась глава из романа. Смешивая личные воспоминания и уже известные события с фантастическими историями, Жерар де Нерваль был уверен, что может сколько угодно уходить от закона...» (Nerval par les témoins de sa vie / Textes réunis et présentés par Jean Richer. Paris: Minard, 1970. P. 53).

ставляющих собой прямой перевод с иностранного языка. Не приходится уже и говорить о последней, незаконченной книге «Аврелия», создававшейся в период тяжкой борьбы с душевной болезнью и соединяющей в себе хаотичные записи о реальных событиях и бредовых переживаниях, которые Нерваль записывал на случайных листах бумаги в случайных временных пристанищах – читальных залах библиотек, кафе, дешевых гостиницах[3]...

Впрочем, именно визионерская бессвязность «Аврелии» заставляет почувствовать в ней, кроме внешне-житейских, также и сущностные творческие причины. Душевная болезнь лишь еще больше обострила присущее Нервалю мистическое чувство, однако сам писатель безусловно отождествлял себя с позитивистской эпохой XIX века, оттеснившей мистические тексты типа пророчеств и видений на периферию общественного внимания, в область безответственных капризов, приемлемых разве что «понарошку», в порядке литературного вымысла и игры. Нерваль не на шутку обиделся (и, в общем, оправданно) на Жюля Жанена, когда тот в одной из своих статей 1841 года бестактно разгласил факт его психического нездоровья. Он не желал считаться сумасшедшим, маргиналом, он с каким-то едва ли не буржуазным тщанием заботился о своей репутации добропорядочного литератора. Потому и опыт, добытый по ту сторону рационалистической культуры, воплощался у него в виде фрагментарных вкраплений в тексты, которые в целом сохраняют крепкую связь с реально-практическими вещами повседневного мира; этот опыт должен был нейтрализовываться юмором, самоиронией, газетной болтовней, позитивистской ученостью. Романтики, к числу которых принадлежал Нерваль, осмысляли это как противоречие «реальной» и «поэтической» жизни, из которых вторая

[3] Фрагментарность нервалевского творчества оправдывает и публикацию сборников его фрагментов, подобных настоящему изданию, хотя вообще-то печатать писателей «фрагментами», конечно же, не принято.

получала право на самовыражение лишь ценой компромисса с первой. Современный критик пишет об этом:

> Чаще всего случается так, что она (поэтическая жизнь. – *С. З.)* правдами и неправдами, по-воровски пробирается в пределы реальной жизни: так происходит и в нервалевском повествовании, которое своими масштабами и внешними проявлениями отражает случайно-исторические обстоятельства, подчинявшие себе Нерваля-писателя, тогда как своими формами и структурами выражает иную, наиболее богатую и подлинную сторону его личности и его литературной деятельности[4].

В классической, риторической культуре литературное произведение читалось от начала к концу – наподобие неторопливо развертывающегося свитка. В XX веке расхожим сделалось сравнение художественного текста с лабиринтом, чья линейная структура содержит в себе хитроумный подвох, заставляющий читателя бесконечно плутать вокруг да около невидимой или даже вовсе не существующей разгадки. В текстах Нерваля такие блуждания (о которых речь впереди) осложняются еще и тем, что «горизонтальное» развитие повествования или изложение мыслей то и дело прерывается «вертикальными» провалами в иной, мистический мир, когда в самом заурядном газетном очерке-фельетоне вдруг разверзаются зыбкие глубины. Из этих глубин трудно извлечь какую-либо положительную «мудрость», словно руду из шахты; у Нерваля нет «тайной философии», и его мистика напоминает не рудник, а скорее трясину или зыбучие пески, грозящие безвозвратно поглотить не только человека, но и все здание рационалистической европейской культуры; между тем состоят они из «перегноя» самой же этой культуры, из ее полузабытых и отброшенных верований, преданий, мифов. Нерваль-мистик стал одним из первых писателей – *испыта-*

[4] *Jean R.* Lectures du désir. Paris: Seuil, 1977 (Points). P. 58–59.

телей культуры, он прекрасно ощутил и передал ее сущностную небытийность, рискованную и заманчивую связь с такими понятиями, как отсутствие, пустота, разделенность, дистантность. И он был не осмотрительным археологом, коллекционирующим памятники культуры для безопасного наслаждения ими в музейных залах, а путешественником-энтузиастом (как он сам изобразил себя в «Путешествии на Восток»), способным и даже втайне мечтающим навсегда потеряться в ее пространстве.

Идея культуры как неизбывного многообразия и равноправия сотворенных человеком произведений духа принадлежит романтической эпохе, отвергнувшей нормативную однозначность классической культуры, когда классический (скажем, античный) тип творчества рассматривался как абсолютный образец. В разных странах Европы становление этой новой идеи шло разными темпами и в разных формах. Так, во Франции, чья национальная идеология была особенно сильно подчинена моделям классицизма, идея культуры долгое время усваивалась главным образом интуитивно, в художественной практике: писатели и поэты, такие как Виктор Гюго, Теофиль Готье или Гюстав Флобер, тянулись к экзотическим странам и эпохам, находя в них образцы мышления и творчества, радикально отличные от привычных им. На уровне же теоретической рефлексии первенствовала Германия – в лице таких мыслителей как Кант, Гегель, Шеллинг, Фридрих и Август-Вильгельм Шлегели, Вильгельм фон Гумбольдт. Неизвестно, читал ли Нерваль сочинения всех этих авторов, но вообще традиция немецкой мысли, духовный климат Германии были ему знакомы лучше, чем кому-либо еще из французских писателей его поколения. Он хорошо знал немецкий язык, не раз бывал в Германии и Австрии, переводил немецких поэтов – Гёте, Гейне, Бюргера; литературное имя он составил себе переводом «Фауста», выпущенным еще в двадцатилетнем возрасте под псевдонимом «Жерар». Основательная германская образованность развертывается – или, по крайней мере, имитируется –

в таких его произведениях, как «Путешествие на Восток» (например, в главе «Пирамиды») или же очерк «Исида», подробно излагающий статью немецкого эрудита Бёттигера о древнем культе этой богини.

«Исида» – в идейном плане одно из главных произведений Нерваля; здесь прямым текстом, хоть и с опорой на чужую научную работу, высказаны его мечты о *религиозном синкретизме*. Вспоминая позднеантичный мистериальный культ Исиды, он объясняет его возникновение духовной потребностью людей в новой вере:

> Но в это время общего разложения человеческая душа только еще сильнее чувствовала бесконечную пустоту, которая пришла в мир, и испытывала тайное желание найти в нем нечто божественное, неизъяснимое *(С. 342)*[5].

Романтический историзм часто принимал форму ностальгического отождествления своего времени с прошлой эпохой. Так и Нерваль усматривает в духовном кризисе эпохи романтизма аналогию с тягой к странным и экзотическим культам в «эпоху Перегрина и Апулея» (слова из повести Нерваля «Сильвия»; Апулей, как известно, посвятил своего «Золотого осла» культу богини Исиды). И, отмечая установленное немецкими историками и теологами структурное сходство религий, например сходство между культами богини-матери у разных народов, он задается вопросом: а нельзя ли заново воскресить их, уже не ту или иную религию отдельно, а *все сразу?*

> Если постепенное падение верований привело к такому результату, разве не было бы утешительнее впасть в противоположную крайность и попытаться возвратить все иллюзии прошлого? *(С. 354)*

[5] Тексты Ж. де Нерваля, опубликованные в настоящей книге, здесь и далее цитируются с указанием соответствующей страницы.

Разве безумна мысль соединить все эти разные образы одной и той же идеи, разве не существовала всегда эта удивительная теогоническая система, давшая для почитания людям небесную мать, дитя которой – надежда мира? *(С. 357)*

Так же и в своих сонетах из цикла «Химеры» Нерваль сквозь сложную вязь мифологических мотивов проводит эти мысли: единственный и самовластительный «Бог умер» (Нерваль одним из первых употребил эту ставшую позднее крылатой фразу в «Христе на Масличной горе»), но зато возможно возвращение множественных богов язычества:

Оплаканы тобой, вернутся боги к нам,
И мы еще придем к античным временам!
(С. 474)

Множественность богов, о которой мечтает Нерваль, – это не просто языческий политеизм (близкий, например, его другу Теофилю Готье), но синтез разных религиозных систем. В тех же «Химерах» свободно соседствуют божества греческие, египетские, еврейские, финикийские, Христос отождествляется с Икаром, Фаэтоном и Аттисом. Фактически это значит, что религия здесь заменяется *культурой,* то есть рассматривается как нечто сущностно множественное и потому десакрализованное[6]. Самое удивительное, однако, то, что эти многочисленные и разнородные божества, осколки разных цивилизаций прошлого, восстанавливаемые кропотливыми «археологическими» усилиями ученых-позитивистов «не-

[6] Ср. замечание историка литературы Беатрисы Дидье по поводу сборника «Иллюминаты»: «В представлении Нерваля XVIII век ознаменован не смертью Бога, а воскрешением богов <...> Соответственно и в появлении множества сект в XVIII веке сказывается возврат к политеизму, который <...> является знаком триумфа культуры» (*Didier B.* Nerval et la philosophie des Lumières // Nerval. Une poétique du rêve. Paris: Champion, 1989. P. 108–109).

мецкого» склада, в произведениях Нерваля оживают и вновь обретают сакральную ауру. Фрагментарности нервалевского письма соответствует фрагментарность самой культуры, которая не препятствует мистическому чувству. Для этого писателя все боги – объекты поклонения, а не только познания, с допотопными мифами он сохраняет глубокую душевную связь.

Подобный культурный проект отчасти опирался на вековую традицию герметизма, пережившего свой первый расцвет в ту самую «эпоху Перегрина и Апулея», которую вспоминает Нерваль, – во II веке нашей эры. Характеризуя это духовное движение, связанное с культом Гермеса Трисмегиста, Умберто Эко рассматривает его как пример некоторого более общего подхода к проблеме «чтения» и толкования мира:

> В мифе о Гермесе отрицаются принципы тождества, непротиворечия и исключенного третьего, причинно-следственные цепи закручиваются в спираль, «после» предшествует «до», бог не знает более пространственных границ и в различных своих формах может находиться одновременно в разных местах[7].

С точки зрения итальянского ученого, такая модель интерпретации мира (принятая во многих эзотерических учениях, например, в алхимии) представляет собой семиотический парадокс:

> Герметическое мышление <...> отнимает у языка всякую способность к коммуникации <...> Парадоксальность алхимического дискурса состоит в следующем: он высказывает бесчисленное множество вещей и в то же время лишь одну-единственную – но нам не дано ее знать[8].

---

[7] *Eco U.* Les limites de l'interprétation. Paris, 1992. P. 53.

[8] Ibid. P. 56, 103.

В герметическом мышлении господствует «тотальная синонимия»: все боги оказываются более или менее эквивалентны друг другу (даже если они противопоставлены в каком-то конкретном мифе), за каждым таинственным символом скрывается другой символ, столь же неясный, все учения обладают истиной, но зыбки и расплывчаты. В этом обаяние всякого оккультизма – обаяние неисчерпаемого и таинственного знания, но в этом же и источник разочарований, потому что это знание, при всем внешнем богатстве, по сути своей тавтологично, сводится к самой процедуре приобщения к знанию, инициации.

Жерар де Нерваль, со свойственным ему энтузиастическим пафосом всеприятия и органической неспособностью к научной критике и полемике, не мог не быть страстным поклонником эзотерического знания и адептом всевозможных видов оккультизма – от древних мистериальных религий до мифов ливанских друзов, от астрологии до масонских ритуалов[9]. В его художественном мире мало вещественности и много культурного «воздуха», перед нами то и дело возникают оккультные символы, фигуры экзотических богов и мифологических героев, к которым присоединяются персонажи исторические или полуисторические. Среди последних – великие завоеватели вроде Наполеона, которого Нерваль обожал и в периоды помутнения рассудка даже воображал себя его незаконным сыном; средневековые феодалы, которых он перечислял, например, в сонете «El Desdichado» и также связывал со своей мистической родословной; новейшие пророки и духовидцы, некоторые из которых описаны им в книге «Иллюминаты» или,

[9] В таком «всеверии», по словам современного критика, «выражается не просто легковерность, но инстинктивный отказ от негативности, характерной для рационализма, отказ от принципа непротиворечивости, лежащего в основе логики. Поэт противопоставляет им принцип аналогии, согласно которому Все сводимо к Одному и тому же и который лежит в основе его религиозного синкретизма» (*Collot M.* Gérard de Nerval, ou la Dévotion à l'imaginaire. Paris: PUF, 1992. P. 34).

в юмористическом ключе, в фельетоне «Неведомые боги»; исторические и легендарные пионеры воздухоплавания, во множестве перечисленные в очерке «Наследники Икара»...

Здесь необходимо поставить методологический вопрос о том, *как читать* произведения Жерара де Нерваля. Их насыщенность культурными реминисценциями настолько велика и настолько превосходит возможности любого реального комментария, что у толкователя естественно возникает соблазн именно в этих многочисленных мотивах усмотреть тайный смысл того или иного произведения. Такому соблазну нередко поддаются. В исследовании творчества Нерваля выделяется целая традиция, представленная Жаном Рише[10] и другими авторами, посвятившими себя разысканиям эзотерических «ключей» к текстам писателя. Проявляя чудеса внимательности и эрудиции, они выслеживают у Нерваля символику не только древних религий или масонства, но и астрологии, алхимии, аритмософии (символики чисел) и т. д. Художественный текст рассматривается при этом как криптограмма, где в кажущемся беспорядке рассеяны многозначительные символы, как раз и заключающие в себе его суть.

При всей увлекательности такой «охоты за символами», при всем мастерстве тех, кто ею занимается, при всей важности добываемых ими частных фактов, подобный подход страдает несколькими неустранимыми изъянами. Во-первых, вместо текста как целого изучаются его отдельные, пусть и весьма любопытные, элементы. Ю. М. Лотман как-то остроумно сравнил поиски в тексте «ключей» и «главных цитат» с действиями «человека, который, узнав, что дом имеет план, начал бы ломать стены в поисках места, где этот план замурован. План не замурован в стену, а реализован в пропорциях здания»[11]. Во-

[10] См.: *Richer J.* Gérard de Nerval et les doctrines ésotériques. Paris: Griffon d'or, 1947; *Idem.* Nerval. Expérience et création. Paris: Hachette, 1963; *Idem.* Nerval au royaume des archétypes // Archives des lettres modernes. 1971. № 130.

[11] *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 38.

вторых, криптографические прочтения никогда не обходятся без натяжек – одни символические мотивы выделяются надежно, другие лишь гадательно, третьи и вовсе «притягиваются за уши»; нервалевский текст никогда не являет нам бесспорной и завершенной эзотерической структуры (а что мешало писателю ее построить, если бы он этого хотел?), в этой структуре обязательно что-то оказывается шатким и надуманным. В-третьих, конечный результат таких изощренных изысканий обычно обнаруживает обескураживающую бессмысленность (по словам У. Эко, «отнимает у языка всякую способность к коммуникации»): допустим, удалось доказать – и в самом деле доказывают, – что композиция того или иного стихотворения Нерваля определяется порядком гадальных карт Таро, – но что же дальше, *что значат* карты Таро? Выражаясь терминами семиотики, вновь открытый «смысл» текста несемантичен, то есть может быть не *понят,* а лишь *опознан,* – не говоря о том, что он заведомо и не опознается подавляющим большинством читателей текста, а стало быть, не принимает участия в формировании их эстетической реакции.

Криптографическое прочтение чаще разочаровывает, чем окрыляет, даже при анализе герметической лирики Нерваля (цикла «Химеры» и некоторых других стихотворений), текстов действительно зашифрованных, намеренно перенасыщенных малопонятными намеками и ассоциациями; и уж совсем плохо оно «работает» применительно к нервалевской повествовательной прозе, где кроме намеков и ассоциаций всегда присутствует отчасти вымышленный, отчасти автобиографический персонаж, заведомо неспособный, в отличие от гипотетического автора-эзотериста, осознавать те тайные смыслы, что выявляются критиками в его истории. Значит ли все это, что подобными смыслами вообще можно пренебречь как чем-то надуманным, как праздной игрой досужих толкователей? Нет, правильнее будет пойти другим путем – искать разгадку не в *содержании* рассыпанных в тексте реминисценций, а в их *форме* и в их *функции* по отношению к герою произведения и к его

судьбе. Содержание – это тяжелая, однозначная бытийность, за которой уже не стоит ничего иного; а форма всегда небытийна, уклончива, сулит новые переосмысления и новые приключения мысли. Именно на этом принципе основана культура, с которой имеет дело человек в нервалевском художественном мире. Как же чувствует он себя в таком специфическом мире, какие позиции по отношению к нему может занимать – вот вопрос, частичный ответ на который мы попытаемся дать ниже, разбирая некоторые важнейшие темы Нерваля.

* * *

Регрессия. Выше уже было сказано, что древние мифы сохраняют для Нерваля интимную, глубоко личную значимость. Проявляется это отчасти в том, что фигуры богов – и особенно мистериальных богинь, таких как Исида или Кибела, – находят себе место в рамках воображаемой системы его предков, как выражаются фрейдисты, его «семейного романа».

Нерваль недаром сочинял себе фантастическую родословную и готов был считать себя незаконным отпрыском императора Наполеона. В его психической жизни с очевидностью прослеживается холодно-отстраненное отношение к отцу и неутоленная любовь к матери, которую он не помнил в реальности и тем более страстно мечтал о ней в воображении. Материнской символикой отмечен образ его «малой родины» – старинной области Валуа к северу от Парижа: там он воспитывался в детстве в доме дяди по материнской линии, и от принадлежавшего этому дяде участка земли он образовал свой литературный псевдоним «Нерваль», не желая подписываться отцовской фамилией «Лабрюни». Все эти обстоятельства нужно иметь в виду, читая его повесть «Сильвия», где рассказывается о попытке возвращения на «материнскую родину», в Валуа, «где в продолжение более тысячи лет билось сердце Франции». В этой последней метафоре прочитывается не столько патриотическое одушевление («патриотическое» – от слова «отец»), сколько смутное желание припасть к теплому

материнскому телу, желание *регрессии,* возвращения в психическое состояние младенца, в неотчужденный, внутренне полный, до-культурный мир.

Чтобы создать иллюзию такой полноты, материнское начало не олицетворено в повести какой-либо выделенной символической фигурой Матери, а разлито во всей атмосфере произведения. Этим началом определяется сентиментальная тональность «Сильвии», подчеркнутая прямыми ссылками на культовые книги европейского сентиментализма – «Новую Элоизу» Руссо и «Вертера» Гёте. Бурные страсти заменяются здесь мечтательными, платоническими влечениями героя одновременно к трем совсем разным женщинам (таким рассеиванием любви нейтрализуется ее страстный потенциал), в числе которых – деревенская девушка Сильвия, подруга его детских лет. Возвращаясь несколько лет спустя в знакомые края, герой повести надеется обрести вновь идиллическую чистоту полудетских чувств, надеется встретить ту же самую Сильвию, которую он знал, – ведь идиллия в принципе враждебна изменениям, она описывает абсолютно устойчивый мир, где не движется время. И само построение повести, казалось бы, способствует такой иммобилизации времени. Мало того, что в первой главе герой никак не может выяснить, который час (карманных часов у него нет, а антикварные настольные давно уже не ходят и куплены «вовсе не для того, чтобы узнавать время»), но и вся нарративная композиция служит развитием этого символического мотива. Повествование в «Сильвии» прихотливо петляет между несколькими временными планами, из настоящего в разные периоды прошлого. По словам Жоржа Пуле, такое повествование «выглядит как греза наяву», в которой «времени не существует»[12].

Однако разочарование, пережитое героем в ходе своего путешествия в детство, вызвано как раз осознанием того, что

[12] *Poulet G.* Trois essais de mythologie romantique. Paris: José Corti, 1966. P. 17–18.

время существует, а все былое необратимо меняется и уходит в прошлое[13]. Нет больше в живых ни дяди рассказчика (даже его собака стоит на столе в доме уже в виде чучела), ни старой бабушки Сильвии, да и сама Сильвия, сохранив свою «аттическую» красоту (ее «классичность», казалось бы, является залогом постоянства), все-таки стала заметно другой. Она не утратила симпатии к своему «жениху» детских лет, однако уже собирается замуж за другого; она переменила профессию – не плетет кружева, а шьет перчатки; она «не была больше крестьянкой», приобщившись к городской культуре. И не то чтобы это ее «развратило» – скорее наоборот, она развилась, начитавшись романов (раньше она читала только посредственного и слащавого писателя Августа Лафонтена, а теперь знает и Руссо, и новейшего литературного кумира Вальтера Скотта) и научившись петь арии из опер (не забыв при этом и народных песен). Однако рассказчик, не столько по морально-идеологическим, сколько по интимно-душевным причинам, расценивает любое изменение в мире своего детства как пагубное:

> Он не задумывается о том, что при перемене привычек могла сохраниться чистота сердца. В его глазах Сильвия, подчинившись фатальному закону времени, совершила худший из грехов – стала отличной от своего образа...[14]

Он не задумывается также и о другом – о том, что именно в его собственной душе некогда свершилось первое необра-

---

[13] Согласно Жану Рише, композиция повести «Сильвия» отражает в себе «круговорот часов» и одновременно круг знаков зодиака (см.: *Richer J.* Nerval au royaume des archétypes. P. 12). Было бы слишком долго обсуждать доказательность этой концепции по каждому конкретному пункту, однако сразу же можно заметить, что сюжетное движение времени в «Сильвии» – не круговое, а линейное, это время упадка, неуклонно прогрессирующей энтропии, которой поражен «материнский» мир.

[14] *Poulet G.* Op. cit. P. 65.

тимое изменение, нарушившее, пусть и не сразу, устойчивость деревенской идиллии. Об этом рассказывается уже во второй главе повести. Мгновенное и не имевшее будущности чувство, охватившее его, юного парижанина, отданного на воспитание в деревню, при встрече с Адрианной, девочкой из аристократического рода, не просто заставило его позабыть о своей подруге-крестьянке, но и с самого начала повести ввело в ее сентиментальную атмосферу чужеродную, романтическую струю: белокурая Адрианна, в жилах которой течет королевская «кровь Валуа», овеяна обаянием аристократических преданий и одновременно волшебной «нездешностью» летней ночи:

> Лужайка была окутана парами тумана, которые цеплялись своими белыми хлопьями за траву. Нам казалось, что мы в раю *(С.364)*.

Ставшая монахиней и вскоре умершая, о чем герой повести узнает лишь много позже, Адрианна вносит в его жизнь начало небытия, манящей пустоты, несовместимой с живым и плотно насыщенным бытом идиллических крестьян. Развивая это характерное романтическое влечение к небытию, в жизнь рассказчика входит третья героиня «Сильвии» – парижская актриса Аврелия[15], по самому своему ремеслу имеющая дело с небытием, с обманчивыми подобиями реальности; то же начало как будто таится и в ее душе – во всяком случае, как поучал рассказчика его дядя (а в его лице и весь «материнский» мир Валуа), «актрисы не женщины <...> природа забыла дать им сердце». Вместе с Аврелией в сентиментальный мир «Сильвии» проникают пустота, отчуждение, дистантность: на сцене актриса окружена «пустым пространством», рассказчику приходится любить ее издалека, посылая ей письма с подписью «Незнакомец», да и вообще сама она для него – лишь «видимость», подменная возлюбленная вместо недоступной, скрывшейся в

[15] Ее прототип – Женни Колон.

монастыре Адрианны (потому Аврелия и не верит в его чувство). И эта небытийность, неподлинность распространяется на весь художественный мир – дистантность и театральность отравляют отношения героя с повзрослевшей и изменившейся Сильвией. Собственно, если восстановить намеренно запутанную хронологию повести, то окажется, что театральность возникла в ней задолго до появления актрисы Аврелии: американский исследователь справедливо замечает, что единственная интимная сцена в абсолютно целомудренной «Сильвии» – эпизод в доме бабушки, когда Сильвия в присутствии своего «жениха» и даже с его помощью переодевается в старое подвенечное платье, чтобы изобразить «невесту», – описана кратко и без всякого волнения, так как представляет собой просто-напросто повседневную реальность театральных кулис...[16]

Все это имеет прямое отношение и к проблеме «человек и культура». Именно в связи с театральным миром Аврелии Нерваль делает свое замечание об «эпохе Перегрина и Апулея», упоминает чуть дальше «прекрасную Исиду» и «факел подземных богов»; и хотя в дальнейшем повествовании возникшие было в этом пассаже древние божества исчезают, проблема отношений человека с наследием прошлого всего лишь переносится в другую область, из эзотерической в экзотерическую. Причудливые и отдаленные культы древности сменяются родственно близкими герою мотивами «материнского» мира – преданиями края Валуа, его песнями, историческими легендами, античными вещицами, которые дядя-археолог выкапывал из земли прямо в своем саду (примечательно это отсутствие дистанции – за археологическими редкостями никуда не нужно ездить!), с воспоминаниями об умершем в этих краях Жан-Жаке Руссо. Однако сюжет повести служит демонстрации того, как дистанцирующее влияние времени коснулось и этой родной культуры, впитанной рассказчиком – собственно, самим Нервалем – с детства.

---

[16] См.: *Hubert J. D.* Identité et écart théâtral // Le rêve et la vie: *Aurélia, Sylvie, Les Chimères* de Gérard de Nerval. Paris: SEDES, 1986. P. 203.

В опустевшем после смерти хозяина доме дяди старинные предметы выглядят разрозненными и немыми; павильон Руссо в Эрменонвиле заглушен растительностью, и рассказчик уже предчувствует его исчезновение; народные песни, чаровавшие его в детстве, теперь звучат лишь короткими фрагментами (чтобы дать их полные тексты, писатель был вынужден снабдить повесть специальным приложением, выходящим за ее рамки), а деревенское празднество, на которое он спешил, чтобы вновь встретиться там с Сильвией, не показано вовсе – он приехал слишком поздно... Подобно столичному театру, сельская жизнь играет в подобия, рядится в чужие одежды – молодые люди то изображают картину Ватто «Отплытие на Киферу», то облачаются в наряды жениха и невесты со свадьбы, сыгранной много лет тому назад. Мир «Сильвии» полон культурных знаков, следов прошлого, но они также отмечены печатью небытия, печально отстранены от человека, уже больше не позволяют переживать себя как что-то родственное, «материнское».

Восстание. Если материнское начало культуры проявляется у Нерваля как утопия попятного, регрессивного движения к «малой родине» Валуа, к идиллическому пространству, где нет времени, то другое ее начало связано с прогрессивным (в разных значениях слова) движением вперед, с мифологией мятежа против отцовской власти, восходящей к байроническому бунтарству и оправданию преступного Каина. Мотив Каинова бунта, осмысленного как в метафизическом, так и в социальном плане, имел богатую традицию от байроновской драмы «Каин» до посвященных тому же герою стихотворений Бодлера («Каин и Авель») и Леконта де Лиля («Каин»); та же мифология «восстания проклятых» отразилась позднее и в первых строках «Интернационала» Эжена Потье: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов...». Жерар де Нерваль, живший в период постоянно сменявших друг друга социальных возмущений и революций, в эпоху бурного подъема социалистических учений, и сам не был чужд этим веяниям. Свой сборник «Иллюминаты» он неспроста снабдил подзаго-

ловком – пусть и плохо отражающим его реальное содержание – «Предшественники социализма»; а в таких фельетонах, как «Неведомые боги», «Мистическая литография» или «Красный дьявол» он прямо, хоть и иронически, заявляет о связи архаических мифов с современным революционаризмом: его «красный», то есть революционный, дьявол

> был неким подобием Кошута, который осмелился поднять знамя восстания против своего законного императора и вовлек в этот заговор множество беспокойных умов, пропитавшихся республиканскими теориями *(С.310)*.

Наибольшую глубину эта мысль обрела в сонете Нерваля «Антэрос» и особенно в «Истории о царице Утра и Сулаймане, повелителе духов», вставной легенде из «Путешествия на Восток», написанной в 1850 году, вскоре после революции 1848 года.

«История о царице Утра...» – это легенда масонская и одновременно социалистическая. Ее главный герой – мастер Адонирам, сооружающий Иерусалимский храм по велению ограниченного и коварного царя Сулаймана, а в финале погибающий от рук предателей, чтобы своей смертью заложить основу братства масонов, тайных благодетелей человечества, проводников социального и культурного прогресса. Адонирам показан, с одной стороны, как вождь рабочего люда, обладатель поистине волшебной организующей власти (вспомним впечатляющую сцену, где по его магическому жесту многотысячная перемешанная толпа мгновенно выстраивается в стройные колонны), а с другой стороны, как олицетворение прометеевского бунта против ревнивого бога-вседержителя, причем поддержку он находит у своих предков-каинитов, обитателей огненного подземного царства.

Следуя неортодоксальным экзегетам Библии и опираясь на грамматическое множественное число фигурирующего в Книге Бытия слова *элохим*, которое может быть понято как «сыновья божьи», если не просто «боги», Нерваль разворачи-

вает свою еретическую, гностическую по духу теогонию, согласно которой еще до «вылепленного из глины» Адама на земле жила иная порода существ – джинны, или элохимы; от них-то, а не от немощного Адама, и произошел мятежный род Каина, отпрыском которого является мастер Адонирам. Такая подмена библейского монотеизма языческой множественностью богов-элохимов

> противостоит религии Отца, основывающейся на едином и трансцендентном Боге и на уважении к Закону...[17].

Однако в реальности настоящей множественности не получается: в конечном счете «плюрализм» элохимов сводится к одной-единственной паре противников: род Адама – род Каина, Сулайман – Адонирам. Идея вечной борьбы двух конкурирующих мировых начал фигурирует во многих религиях и ересях; и если Нерваль в этой борьбе отдает предпочтение не земному миру Сулаймана, а сумрачно-инфернальному роду Адонирама, то тем самым он всего лишь развивает религиозную ересь, весьма распространенную в романтической литературе, не выходя в область обмирщенного, собственно культурного сознания. Ощущая это, он строит свой сюжет таким образом, чтобы отношения между Сулайманом и Адонирамом оказывались двусмысленными и не сводились к простой вражде. Да, Сулайман коварно натравил трех подмастерьев-предателей на доверчивого мастера, движимый ревностью и страхом за свою власть, – *но не только этим.* В записях Нерваля, относящихся к его поездке на Восток, сохранилась важная заметка, проясняющая замысел «Истории о царице Утра...»:

> *Двойник Соломона.* Лучшее, что в нем есть, одушевляет собой другого (антиподы)[18].

---

[17] *Collot M.* Gérard de Nerval, ou la Dévotion à l'imaginaire. P. 20.

[18] *Nerval G. de.* Œuvres complètes. T. 2. Bibliothèque de la Pléiade. 1984. P. 847.

Действительно, герои «Истории...» не просто враги, но еще и двойники, едва ли не братья. Оба любят одну и ту же женщину, строят один и тот же храм (Сулайману принадлежит замысел, Адонираму – исполнение), оба причастны мудрости – только у царя она осталась в прошлом, в когда-то написанных им книгах, теперь же он, развращенный властью, даже ритуальные загадки царицы Савской разгадывает, словно ленивый школяр, по подсказке своего верховного жреца. Бунт Адонирама фактически остается бунтом на словах, не идет дальше соперничества в любви. А с другой стороны, когда Сулайман сокрушается о судьбе мастера, убитого по его же наущению («Что они наделали? Я не велел им его убивать...»), после чего воздает почести его праху, в этом следует видеть не просто изощренное лицемерие, но и искренний ужас перед случившимся. И недаром именно ему рассказчик выражает свое сочувствие: «Его рана была самой тяжелой...». Двойничество и вражда Сулаймана и Адонирама приводят на память аналогичный мотив, разработанный Нервалем в другой вставной легенде из «Путешествия на Восток» – «Истории халифа Хакима»; там два мистически похожих друг на друга человека – властительный халиф и безвестный юноша – сначала сходятся в дружбе, а затем становятся соперниками в любви и политике и вступают в смертельную схватку, в которой один из них погибает; в «Истории халифа Хакима» присутствуют также и социально-бунтарские мотивы – здесь сам халиф, объявленный безумцем, поднимает народ на кровавое восстание против своих бывших приближенных...[19]

Итак, борьба Сулаймана и Адонирама, хоть в ней и сталкиваются мировые силы и следствием ее становится образо-

[19] Мотив двойничества постоянно встречается у Нерваля: в «Сильвии» соперником главного героя и, в финале, мужем Сильвии является его молочный брат-крестьянин, в детстве спасший ему жизнь; несколько впечатляющих эпизодов с двойником содержится в «Аврелии», где Нерваль связывает этот мотив с персидским представлением о «феруере» – мистическом двойнике-прототипе человека.

вание прошедшего через века тайного сообщества, – это все-таки не война на уничтожение, в какой-то точке художественного пространства два конфликтующих начала сходятся и даже, быть может, способны к примирению. О существовании такой точки свидетельствует самый оригинальный нервалевский персонаж – царица Савская Балкис[20].

Известный литературовед Поль Бенишу, анализируя «Историю о царице Утра...» и отмечая «социалистические» элементы в фигуре Адонирама, удивляется тому,

> что наряду с Пролетарием он (Нерваль. – *С. З.)* не прославил и Женщину, также служившую одной из основных фигур в социалистических построениях. Действительно, чудесная царица Утра в этой истории стоит далеко позади своего партнера-мужчины: она чуть не не оставила Адонирама в критический момент, а очарование ее связано больше с красотой и кое-какими магическими умениями, чем с выдающимися добродетелями[21].

П. Бенишу также критически оценивает изящно-насмешливые беседы, которые Балкис ведет с царем Сулайманом[22]; он прав в том отношении, что образ царицы Савской у Нерваля практически полностью лишен сакрального ореола, каким обладают Адонирам и даже царь Сулайман – повелитель джиннов, при всех сатирических нотах в его авторской оценке. По мусульманской традиции, царица *Билкис* являлась существом чудовищным, хтоническим, у нее были волосатые ноги с копытами, и именно для того, чтобы заставить их показать, мудрый царь Соломон заставлял ее пройти по зеркальному полу, похожему на водную поверхность. В повести Нерваля этот эпизод обращен в шутку, а «магические умения» Балкис ограничиваются способностью общаться с волшебной птицей Худ-

[20] В публикуемом здесь переводе повести – Балкида.

[21] *Bénichou P.* L'école du désenchantement. Paris: Gallimard, 1992. P. 389.

[22] Ibid. P. 379.

Худ, – какая-то очень легкая, невесомая, небытийная магия. В остальном же Балкис кажется пришелицей не просто из чужой страны, а из чужой цивилизации, из Западной Европы XVIII или XIX века, в легендарном ветхозаветном Иерусалиме она выглядит просвещенной, остроумной и благовоспитанной барышней из парижского салона. Принципиальная десакрализованность ее образа, разумеется, не позволяет ей служить и воплощением социалистического мифа об «освобожденной женщине».

Функция Балкис в нервалевской повести примерно та же, что и функция актрисы Аврелии в повести «Сильвия»: с нею в художественный мир, плотно насыщенный, перегруженный древними преданиями и легендарными страстями, проникает начало игры, легкости и пустоты – начало культуры. Подземный мир Каина хоть и противостоит «глиняному» человечеству Адама, но обладает не меньшей (если не большей) бытийной плотностью, чем оно. Иное дело – легкомысленная Балкис, не борющаяся, а играющая с важным царем Сулайманом, посмеивающаяся над ним, пользуясь тройным «иммунитетом» женщины, гостьи и царицы. Их учтивый философический диспут о сугубо профанных моральных вопросах звучит, конечно, вопиющим анахронизмом, поскольку он помещен в одну из глав мифологического предания и в контексте такового изначально должен был представлять собой диалог царя-колдуна с нечистой силой[23]; но именно в силу исторической несовместимости библейских (или же новейших социалистических) мифов со светской культурой становится очевидной *культурная,* условно-относительная сущность самих этих мифов, и они начинают играть двойственными, необычными смыслами – романтический бунт оборачивается прежде всего самопознанием бунтаря Адонирама, наследственные враги

[23] О таком парадоксальном применении классических норм светской учтивости к отношениям с потусторонними существами см. нашу статью: *Zenkine S.* Etre poli avec l'au-delà // Romantisme (Paris). 1997. № 2.

оказываются почти братьями, и т. д. А стоит царице Савской исчезнуть из повествования, удалиться в свое таинственное царство, как сразу же и мифологический мир начинает коснеть, подобно тому как замирает в неподвижности мертвый царь Сулайман посреди своего заколдованного дворца. Его история кончается, казалось бы, триумфом природных сил энтропии над силами духа:

> Маленький жучок-древоточец победил великого Сулаймана и первым узнал о его смерти, ибо царь, упав на каменные плиты, не проснулся более.
>
> Тогда порабощенные духи поняли свое заблуждение и вновь обрели свободу *(С. 222)*.

Однако такую развязку можно понимать и как победу подвижного, бестелесного начала (стихийных духов) над тяжеловесными усилиями заклясть его с помощью магических или религиозных средств. В финале «Истории о царице Утра...» торжествует не революционный бунт Сына против Отца[24], а бестелесное начало культуры, олицетворенное в образе женщины.

Блуждание. Рассмотренные выше позиции нервалевского героя – регрессия и восстание – в конечном счете представляют собой более или менее осознанные попытки преодолеть множественность культурных ценностей, свести их к одному центральному, сущностно полному элементу, будь то идиллическая бесконфликтность или манихейское противоборство. И в том и в другом случае попытка оказывается неудачной, небытийное начало культуры не позволяет себя «преодолеть», незаметно подрывает и разъедает неколебимые

[24] Собственно, это бунт против лже-Отца ради другого, истинного Отца (Каина и его потомков); «семейный роман» устроен таким образом, что даже восстание против конкретного воплощения одной из его функций служит лишь подтверждению общей структуры.

основания традиционной аксиологии (так древоточец потихоньку подтачивал незыблемый трон Сулаймана). В некоторых произведениях Нерваля герой-рассказчик осознанно встречается с этой ситуацией и ищет из нее выход.

В творчестве Нерваля 1850-х годов настойчиво повторяется мотив *блуждания*, хаотичного движения в поисках какой-то неясной, все время ускользающей цели. Если в таких произведениях как «Октябрьские ночи» (1852), «Анжелика» (1850) или же «Сильвия», где этот мотив тоже присутствует, с ним не связано каких-либо драматических поворотов сюжета, то в новелле «Октавия» и особенно в книге «Аврелия» перед нами настоящая драма тревоги, беспокойства и вины.

«Октавия» построена странно и загадочно: в рассказ о знакомстве героя с молодой англичанкой Октавией неожиданно вклинивается другой, как будто бы совершенно посторонний сюжет – о ночном «приключении» с красавицей-неаполитанкой, которую рассказчик сравнивает с древними «колдуньями Фессалии»[25]. Этот эпизод (изложенный в форме письма к третьей памятной ему женщине, оставленной в Париже, – следует понимать: к Женни Колон), который приводит героя новеллы на грань самоубийства, начинается и заканчивается бесцельными блужданиями по улицам Неаполя. Блуждание служит здесь композиционной рамкой, в которую заключен эпизод мистического опыта. Какого именно опыта, что, собственно, произошло в доме неаполитанской «колдуньи» – так и остается неизвестным; может быть, это просто физическая близость с женщиной, а может быть, действительно какой-то языческий обряд, участником или свидетелем которого оказался рассказчик? Очень точную аналогию составляет здесь популярное в романтической культуре венецианское зеркало – зеркало с мелко ограненными краями, которые своими *беспорядочными* отблесками создают вокруг главного изображения нереальную, мерцающую ауру. Эта аура – рамка не-

[25] Аналогичный образ – в герметическом сонете Нерваля «Мирто».

бытия, окружающая мистический образ; и так же, как рамка блужданий в литературном сюжете, она создается из хаотичных, неупорядоченных движений-рефлексов. Важно, что хаос образует именно пограничную полосу, как бы предварительную предпосылку мистического опыта, а не само его содержание. Суть пережитого в доме неаполитанки хоть и загадочно, но внутренне насыщенно, да и сам этот дом заполнен значимыми предметами, атрибутами магии. Смертельно опасным оказывается не само «приключение» в доме колдуньи, а переход небытийной границы между «светлым» и «темным» миром; он вызывает у героя «Октавии» почти необоримое желание самоубийства, а внешняя, «главная» история девушки-англичанки в результате «заражается» элементами тайны и двусмысленности – Октавия оказывается странно связана с морской стихией, она изображает богиню Исиду на развалинах Геркуланума, ее муж, художник-паралитик, уподобляется какому-то так до конца и не опознанному комментаторами «черному гиганту» из «пещеры духов»[26]. Загадка переходит из вставного сюжета в основной. Бельгийский исследователь Брюно Трицманс характеризует это как повествовательный прием Нерваля:

> Рассказчик накладывает позитивную загадку на загадку угрожающую, которая таилась в средоточии неаполитанской ночи. Поэтому задачу повествования можно сформулировать как попытку «разменять» опасную, угрожающую загадку, подменить ее загадкой позитивно-ободряющей[27].

Маленькая новелла «Октавия» вобрала в себя ряд мотивов и композиционных принципов, которые были затем развернуты Нервалем в предсмертной книге «Аврелия». Трудно ана-

---

[26] Рассказ о неаполитанской ночи заканчивается также эпизодом неожиданного извержения Везувия – вторжение рассказчика в мистический мир вызвало еще и возмущение в мире подземном, подобном описанному в «Истории о царице Утра...»

[27] *Tritsmans B.* Les secrets d'Octávie // Nerval. Une poétique du rêve. P. 253.

лизировать и даже просто пересказывать текст этой книги, представляющий собой запись бредовых видений писателя, пораженного психической болезнью; к тому же вторая часть «Аврелии» печаталась уже после гибели автора, и ныне никто не в состоянии надежно определить, всегда ли были правильно прочитаны, сложены и опубликованы разрозненные листы ее рукописи, найденные в кармане мертвого Нерваля. Очевидно, что в тексте неоднократно повторяются сквозные мотивы его мистического опыта: двойник-«феруер», нисхождение в подземное царство, к «центральному огню», встреча с умершими предками (таков, например, дядя по материнской линии, тот самый, что упоминался в «Сильвии»), посещение идеально-утопического города, теогонический миф об элохимах, эсхатологические картины гибели и возрождения мира. К этому прибавляются видения во сне и наяву, преображающие обыденную действительность, – когда, например, случайный встречный на улице предстает рассказчику святым Христофором с младенцем Иисусом на плечах, а во сне ему является ангел Меланхолии с гравюры Альбрехта Дюрера. Это настоящий триумф нервалевской фрагментарности, возведенной в композиционный и даже метафизический принцип.

В «Аврелии» Нерваль намеревался создать свою духовную автобиографию в духе упомянутой им «Новой жизни» Данте. Житейская канва была отчасти сходной: оба писателя питали мистическую любовь к недоступной и рано умершей женщине, и именно ее утрата становится для них поводом подвести итог своей собственной жизни. У Нерваля такой критический пересмотр сопровождается, особенно во второй части «Аврелии», настойчивым стремлением вернуться в лоно оставленной им католической религии – отсюда и его видения девы Марии, и посещение церквей, и попытки деятельной христианской любви к ближнему (к молодому солдату Сатурнену, товарищу по лечебнице для душевнобольных).

Однако Нерваль – человек культуры, а не религии, и его благочестивые намерения все время ставятся под вопрос его

религиозным синкретизмом. По воспоминанию Теофиля Готье, он как-то раз, отвечая на упрек, что у него-де «нет религии», презрительно заявил: «У меня их семнадцать... если не больше!»[28]. «Семнадцать религий» – это слишком много, чтобы серьезно исповедовать хотя бы одну из них, а потому можно лишь согласиться с мнением одного из критиков, что

> Нерваль не был ортодоксом ни какой-либо религии, ни какой-либо ереси[29].

Соответственно и его христианское неофитство в «Аврелии» все время оказывается «неортодоксальным»: в церкви писатель кощунственно снимает венок со статуи Богоматери и возлагает на свою собственную голову, эпизоды заботы о Сатурнене сменяются видениями языческих богов древней Скандинавии, а сама Богоматерь является ему в виде отнюдь не католическом:

> Передо мной была богиня[30], которая сказала: «Я – та же, кто Мария, та же, кто твоя мать, та же, кого под разными именами ты всегда любил. При каждом твоем испытании я сбрасываю одно покрывало, скрывающее мои черты, и скоро ты меня увидишь такой, какая я есть» *(С. 452)*.

Закономерен и далеко не христианский замысел, который появляется у героя книги после такого видения:

> Я полагал свою роль в восстановлении вселенской гармонии с помощью искусства каббалистики. Я должен был найти

---

[28] Nerval par les témoins de sa vie. P. 16.

[29] *Durry M.-J.* Gérard de Nerval et le mythe. Paris, 1965. P. 50.

[30] Показателен выбор слова: «богиня» для верующего христианина может быть только демоническим существом, так как кроме единого Бога никаких богов и богинь его религия не признает.

решение, призывая сокровенные силы различных религий *(С.454—455)*.

Пожалуй, единственное, что безусловно связывает мироощущение героя «Аврелии» с христианской религией, – это отчетливое и все более сильное чувство своей виновности, греха. Толкователи справедливо отмечают, что эта виновность не может быть понята в чисто моральном смысле, как вина перед умершей возлюбленной:

> Вина, которую он (Нерваль. – *С.З.)* в «Аврелии» считает непростительной, явно носит более серьезный характер; во всяком случае, тон здесь другой, связанный скорее с религией, чем с профанным романом[31].

Сам Нерваль в конце первой части «Аврелии» высказывается на этот счет очень общо и уклончиво:

> Что же я сделал? Я нарушил гармонию волшебного мира, где моя душа черпала уверенность в вечном бессмертии. Быть может, я был проклят за то, что захотел проникнуть в ужасную тайну и преступить божественные законы. Мне нечего было ждать теперь, кроме гнева и презрения! *(С.435)*

В подобной ситуации невозможна надежда на регрессивный возврат в материнский мир «до грехопадения» (ибо налицо не только грех, но и проклятие за него), но невозможен и каиновский бунт против неправого бога-Отца (ибо проклятие принято героем, осознано им как справедливая кара за личную вину). Мифы и символы культуры, составляющие основу нервалевских видений-«снов», оказываются нагружены «гневом», несут в себе «ужасную тайну», в которую герой дерзостно пытался проникнуть. Но когда путь вперед и назад запрещен, то остается

[31] *Bénichou P.* L'école du désenchantement. P. 457.

лишь одно – ходить вокруг и около, *блуждать* среди отрывочных видений, воспоминаний, впечатлений, преданий[32].

Композиционная загадка «Аврелии» заключается, пожалуй, именно в этом: по «идейному замыслу» книга должна была воссоздавать более или менее прямой путь человека от тьмы к свету, от вины к искуплению, в реальности же этот вектор постоянно сбивается и даже обращается вспять хаотическим коловращением фрагментов, сменяющих друг друга без всякой логики, с композиционными провалами, пустотами вроде блужданий героя-свидетеля по большому городу. Подобная композиция в дальнейшем не раз применялась писателями XX века – Райнером Марией Рильке в «Записках Мальте Лауридса Бригге», Андре Бретоном в «Наде» и «Безумной любви», Жан-Полем Сартром в «Тошноте»...

Писателю и философу Морису Бланшо принадлежат глубокие мысли о «блуждающем» слове, «постоянно находящемся вне самого себя»:

> ...Художник, подвергающий себя риску, который ему присущ, ощущает себя не свободным от мира, а лишенным мира, не хозяином самого себя, а отсутствующим в самом себе и подвластным такому императиву, который, исторгая его вон из жизни и из всякой личной биографии, раскрывает его наружу в тот самый момент, когда он не может ничего делать и вообще не является более самим собой[33].

В таком смысле «Аврелия» Жерара де Нерваля оставляет тревожно-двойственное впечатление смертельного риска. С одной стороны, этот текст завораживает и побуждает снова и снова перечитывать себя – не столько с целью экзегезы, на-

---

[32] «Фрагментация повествования свидетельствует о неспособности развернуть историю любви<...> Невозможность рассказать о своем приключении<...> заменяется множеством мелких рассказов о разном», – пишет Б. Трицманс по поводу другой книги Нерваля, «Путешествие на Восток» (*Tritsmans B.* Ecritures nervaliennes. Tübingen: Gunter Narr, 1993. P. 68–69).

[33] *Blanchot M.* L'Espace littéraire. Paris: Gallimard, 1978 (Idées). P. 52, 54.

хождения в нем того или иного устойчивого смысла, сколько именно для переживания его несводимости к устойчивому смыслу, его «блуждательной», вне-себя-пребывающей сути; здесь настоящее клиническое безумие едва ли не впервые в литературе стало объектом и, более того, *субъектом* художественной речи. С другой стороны, даже не зная о житейской судьбе автора, можно ожидать от нее самых трагических поворотов, ибо его письмо отмечено глубокой, неизбывной *неукорененностью*, недостатком твердой опоры. Культура, в пространстве которой он мысленно бродит, предстает отчужденной и разбитой на бессвязные фрагменты, погруженные в стихию небытия; оттого и его личность оказывается «лишенной мира» и «отсутствующей в себе», опасно невесомой.

Нерваль перебирает, как четки, завещанные преданием имена и символы, и на первый взгляд может показаться, что в их мире он чувствует себя «как дома». На самом деле его отношения с эзотеризмом сложнее и драматичнее, чем у большинства предшественников. Античные мисты и герметисты, средневековые каббалисты и астрологи, иллюминаты и масоны XVIII века, обращаясь к оккультному знанию, опирались на корпоративную санкцию, они получали это знание через ритуальную инициацию, сакральным и «законным» путем, а потому и владели им «по праву», без внутреннего конфликта. Иначе было у Нерваля. Свои чрезвычайно богатые и многосторонние познания в области эзотеризма он собирал на свой личный страх и риск по многочисленным профанным источникам, от светских сочинений писателей XVIII века до педантичных ученых трудов современных историков религии – отнюдь не адептов, а лишь исследователей эзотерической традиции. В «Путешествии на Восток» он, правда, аттестует себя как масона[34], но даже

[34] Биографы Нерваля не могут сказать ничего определенного о его принадлежности к масонству. Писатель так любил сочинять о себе небылицы, что одни лишь его собственные заявления не могут считаться здесь достаточным доказательством.

членство в масонской ложе (неизвестно, в какой степени) не могло бы дать ему «правильного» доступа ко всем тем сведениям, которыми он обладал и которые использовал – по сути, разглашал – в своих литературных произведениях. То были как бы «краденые» знания, словно похищенный с Олимпа Прометеев огонь, и сознание «незаконного» обладания ими служило, быть может, важнейшей собственно культурной причиной того странного, ничем рационально не объяснимого чувства вины, которое мучило писателя – именно писателя, а не просто мечтателя или влюбленного – и столь явственно отразилось в «Аврелии».

Вероятно, именно в таком смысле и следует толковать трагический конец Нерваля – а он нуждается в истолковании, так как явился частью его творческой судьбы, будучи предсказан в новелле «Октавия», а впоследствии обрастая легендами и домыслами. Сразу после гибели писателя пошли толки о его возможном убийстве (говорили даже, будто его убили масоны за разглашение их тайн – тайн, которые были давно уже распечатаны в целом ряде книг!). На самом деле эта версия имела под собой вполне прозаичный житейский интерес: неведомые злодеи снимали моральную вину с преуспевающих литературных друзей Нерваля, которые не смогли или не сумели уберечь его от непоправимого шага. Авторы его новейшей биографии Клод Пишуа и Мишель Брикс твердо пишут о самоубийстве писателя, однако по поводу мотивов этого поступка высказываются осторожно и двойственно:

> В своем маниакально-депрессивном безумии Жерар переживал восходящую фазу <...> В его высказываниях проявлялась теомания[35] <...> Допустима поэтому гипотеза, что Жерар нало-

[35] Теомания – отождествление себя с божеством. Ср. во второй части «Аврелии»: «У меня явилась теперь мысль, что я подобен богу...». Какое именно божество имеется в виду, судить, конечно, трудно; так, Ю. Стефанов, основываясь на мотивах скандинавской мифологии в «Memorabilia» (пророчественных фрагмен-

жил на себя руки в эйфорическом переживании своей способности подняться над человеческим уделом...

Однако нельзя отбрасывать и иную гипотезу: что эйфория прервалась и что в момент ясного сознания, созерцая собственное безумие, констатируя свою нищету и неспособность к творчеству – а он был прежде всего поэтом[36], – он вынужден был покончить с собой в приступе депрессии, причем сделать это (круг сужается) совсем рядом с улицей Сен-Мартен, на которой он родился[37].

В любом случае стоит задуматься о способе самоубийства, который был избран им в реальности (повеситься на улице) и который не столь уж далек от желания, описанного им в «Октавии» (броситься с утеса). В обоих случаях смерть связана с открытым пространством, с воздушной стихией, с обманчивой легкостью тела, отрывающегося от земной поверхности. В сущности, это вполне можно понять как метафору отношений Жерара де Нерваля с культурой, и тогда его самоубийство опять-таки оказывается трагическим творческим жестом.

тах в конце «Аврелии»), предполагает, что Нерваль вообразил себя богом Одином, повесившимся на мировом древе (см.: *Стефанов Ю.* Сыны огня, дети вдовы // Нерваль Ж. де. История о царице Утра и Сулаймане, повелителе духов. М., 1996. С. 223). Можно вспомнить и иные параллели – например, с упомянутым в «Сильвии» и других текстах Нерваля философом-киником Перегрином, который сжег себя на костре, доказывая, что он равен бессмертным богам. Вообще, идея «метафизического самоубийства» во времена Нерваля носилась в воздухе: так, двадцать лет спустя его жест повторил, явно не подозревая о своем предшественнике, инженер-нигилист и «человекобог» Кириллов в романе Достоевского «Бесы».

[36] Близко знавший Нерваля в конце его жизни Жорж Белл вспоминал, что писатель особенно страдал в это время от ослабления творческих способностей: «Жерар де Нерваль тщетно пытался бороться (с болезнью. – *С. З.)* трудом: его голова не подчинялась заданию работать изо дня в день» (Nerval par les témoins de sa vie. P. 65).

[37] *Pichois C., Brix M.* Gérard de Nerval. Paris: Fayard, 1995. P. 363–364.

Испытание культуры вылилось у Нерваля в испытание небытия – небытия творческого, как творческим является отрицание в философии Гегеля. Благодаря своей чуткости к небытийному началу культуры он сумел вырваться из порочного круга традиционного герметического знания, взыскующего абсолютной содержательной истины, а на самом деле замкнутого в своей «тотальной синонимии»; он сумел «оживить» это знание, наполнить его индивидуальным и историческим смыслом. За это он расплатился собственной жизнью, предвосхитив судьбу ряда позднейших писателей и мыслителей, посвятивших себя познанию и творчеству культуры[38]. Рефлексию о культуре он сделал предметом художественного опыта и тем открыл дорогу важнейшим художественным направлениям XIX и XX века (таким как символизм или сюрреализм), наметив, быть может, важнейшую функцию всей новейшей литературы.

С. Зенкин

[38] Самая впечатляющая аналогия – Фридрих Ницше, который эффектно развил (взяв ее, очевидно, из другого источника, чем стихи Нерваля) формулу «Бог умер», который также бредил «теоманией» и религиозным синкретизмом, в последних полубезумных текстах именуя себя сразу и «Дионисом» и «Распятым» (Христом), а в конце концов погиб, провалившись в неизлечимое безумие.

ИЗ КНИГИ

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК»

ПИРАМИДЫ

ВОСХОЖДЕНИЕ

Прежде чем покинуть Каир, я решил осмотреть пирамиды и отправился к генеральному консулу узнать его мнение на этот счет. Он желал, чтобы мы поехали туда непременно вместе, и мы двинулись в сторону Старого Каира. В дороге консул выглядел весьма грустным и сильно кашлял, пока мы проезжали пустыри Карафы.

Я знал, что он уже давно нездоров, и он сам сказал мне, что перед смертью хотел бы увидеть пирамиды. Мне казалось, что он преувеличивает опасность болезни, но, когда мы достигли берегов Нила, он сказал мне:

— Я очень устал... Лучше я останусь здесь. Садитесь в фелюгу, которую я нанял заранее, а я буду провожать вас взглядом, и мне будет казаться, что мы плывем вместе. Очень прошу вас, точно сосчитайте число ступеней большой пирамиды, из-за которого спорят ученые, а когда попадете к другим пирамидам Саккара, я буду весьма признателен, если вы привезете мне оттуда мумию ибиса... Мне хотелось бы сравнить древнего египетского ибиса с породой караваек, которых до сих пор можно встретить на берегах Нила.

Итак, мне пришлось в одиночестве сесть в лодку на стрелке острова Рода, с грустью размышляя об удивительном оптимизме больных, которые способны мечтать о коллекции мумий, стоя одной ногой в могиле.

Рукав Нила между островом Рода и Гизе настолько широк, что требуется не менее получаса, чтобы его пересечь.

Бегло осмотрев кавалерийскую школу в Гизе, знаменитые печи для выведения цыплят, развалины мощных стен, сложенных особым способом, когда в каменную кладку вмуровываются глиняные горшки, обеспечивающие постройке не столько прочность, сколько легкость и хороший доступ воздуха, мне осталось еще проехать два лье по ухоженным полям до бесплодного плато, где на краю Ливийской пустыни стоят большие пирамиды.

Чем ближе подходишь к ним, тем меньше кажутся эти гиганты. Таков эффект перспективы, возникающий, вероятно, из-за того, что основание пирамиды равно ее высоте. Между тем, стоя у подножия, не перестаешь восхищаться и ужасаться этими каменными горами, созданными человеком. К вершине первой пирамиды ведет лестница со ступенями метровой высоты.

Одно племя арабов взялось опекать путешественников и сопровождать их во время восхождения на главную пирамиду. Как только эти люди замечают, что в их владения вступил любознательный чужестранец, они галопом мчатся навстречу, изображая настоящую военную игру и стреляя в воздух, чтобы показать, что они целиком в его распоряжении и готовы защищать его от нападений грабителей-бедуинов, которые якобы могут появиться.

Сегодня подобное предположение может вызвать у путешественника лишь улыбку, поскольку он заранее уверен в своей безопасности, но в прошлом столетии он действительно мог стать жертвой банды лжеразбойников, которые, напугав и ограбив его, сдавались племени, им покровительствовавшему, а племя, в свою очередь, получало значительное вознаграждение за опасности, которым подвергалось, и за ранения, полученные в ходе этой разыгранной битвы.

Мне в сопровождающие выделили четырех человек, которые должны были указывать путь и помогать при восхождении. Сначала я вообще не понимал, как можно под-

ниматься по ступеням, каждая из которых была мне по грудь. Но в мгновение ока двое арабов устремились к этому гигантскому каменному сооружению, и каждый схватил меня за руку. Двое других подталкивали меня за плечи, и все четверо что-то хором пели по-арабски, не забывая повторять при этом древний рефрен: «*Элейсон!*».

Таким образом я преодолел двести семь ступеней, и мы добрались до верхней площадки всего за четверть часа.

Если вы на минуту остановитесь, чтобы перевести дыхание, к вам сразу подойдут маленькие девочки в коротких синих полотняных рубахах: став на ступеньку выше, они поднесут к вашим устам фиванский кувшин из пористой глины, и на какое-то время ледяная вода вернет вам бодрость.

Что за фантастическое зрелище эти юные босоногие бедуинки, которые карабкаются вверх с ловкостью обезьян и знают все извилины огромных, положенных одна на другую каменных плит! Добравшись до площадки, им раздают бакшиш и поцелуи, потом снова четверо арабов поднимают вас и с триумфом несут, поддерживая с четырех сторон. Площадка эта насчитывает около ста квадратных метров. Глыбы неправильной формы свидетельствуют о том, что она образовалась в результате разрушения вершины, вероятно, такой же, как у второй уцелевшей пирамиды, которая стоит чуть поодаль, красуясь своей гранитной облицовкой. Все три пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина — были отделаны этим красноватым гранитом, который еще существовал во времена Геродота. Мало-помалу пирамиды обнажались: в Каире не хватало гранита для постройки дворцов халифов и суданов.

Нетрудно предположить, что с высоты этой площадки открывается дивный вид. На востоке виден Нил от стрелки Дельты до Саккара и далее еще одиннадцать пирамид меньших размеров, чем пирамиды Гизе. На западе простирается цепь Ливийских гор, отмечая линию затянутого пылью горизонта. Южнее, на месте древнего Мемфиса, словно зеле-

новатая тень, раскинулась пальмовая роща. Каир, прислонившись к выжженным откосам аль-Мукаттама у границы Сирийской пустыни, устремляет ввысь свои купола и минареты. Все это слишком хорошо известно, и не стоит тратить время на описания. Однако когда хочешь перевести дух от восхищения и обводишь взглядом камни площадки, сразу же замечаешь то, что немедленно избавляет от чрезмерной восторженности. Каждый англичанин, отважившийся на подобное восхождение, не преминул написать на этих камнях свое имя. Коммерсантам пришла в голову мысль оставить здесь для публики свои адреса, а какой-то торговец ваксой с Пикадилли приказал даже высечь на большом камне надпись, прославляющую достоинства своего открытия, запатентованного в Лондоне. Излишне упоминать о том, что здесь можно увидеть и роспись ныне забытого вора Кредевиля, шарж Бужинье и другие следы эксцентричности наших странствующих художников, вносящие определенное оживление в утомительное однообразие великих памятников истории.

ПЛОЩАДКА

Я должен с сожалением признать, что даже сам Наполеон видел пирамиды только с равнины. Разумеется, он не мог настолько унизиться, чтобы позволить четырем арабам поднять себя в воздух, словно какой-то тюк, передаваемый из рук в руки; поэтому ограничился тем, что приветствовал снизу сорок веков, которые, как он полагал, созерцали его во главе нашей доблестной армии.

Осмотрев панораму и внимательно изучив современные надписи — настоящую головоломку для ученых будущего, я собрался уже спускаться, когда какой-то белокурый высокий господин с багровым лицом преодолел последнюю ступеньку, равную четырем обычным, и весьма сдер-

жанно приветствовал меня как первого завоевателя. Он был в перчатках, и я принял его за англичанина. Он же сразу распознал во мне француза.

Вскоре я раскаялся, что судил о нем столь поверхностно. Англичанин ни за что не стал бы со мной раскланиваться, пока на площадке пирамиды Хеопса не появился бы человек, который представил нас друг другу.

— Сударь, — сказал мне незнакомец с легким немецким акцентом, — я счастлив, что встретил здесь представителя цивилизованного мира. Я всего лишь гвардейский офицер его величества короля Пруссии. Я получил отпуск, чтобы присоединиться к экспедиции господина Лепсиуса, но, поскольку она уехала отсюда несколько недель назад, я обязан войти в курс дела, посетив то, что они должны были осмотреть.

Закончив свою речь, он вручил мне визитную карточку, приглашая навестить его, если окажусь в Потсдаме.

— Разве вы не знаете, — заметил он, видя, что я собираюсь спускаться, — что, по обычаю, полагается здесь отужинать? Эти бравые ребята готовы разделить наши скромные припасы и если вы не возражаете, я предложу вам отведать пирога, который несет один из моих арабов.

В путешествиях знакомства завязываются быстро, ну а в Египте, да еще на вершине Великой пирамиды, любой европеец становится для другого франком, то есть соотечественником: цветовое многообразие географической карты нашей маленькой Европы блекнет на таком расстоянии, сливаясь в одно яркое пятно, я делаю исключение только для англичан, которые живут на острове.

То, что рассказал прусский офицер во время трапезы, показалось мне очень интересным. У него с собой были письма, содержащие самые свежие новости об экспедиции господина Лепсиуса, которая в это время исследовала окрестности озера Мерида и подземные древние лабиринты. Берлинские ученые обнаружили целые города из кирпича,

скрытые в песках, подземные Помпеи и Геркуланум, не знавшие света дня и относящиеся, вероятно, еще к эпохе троглодитов. Я не мог не усмотреть проявление достойного честолюбия в стремлении немецких ученых идти по стопам нашего Египетского института, хотя их изыскания смогут лишь немного дополнить замечательные открытия моих соотечественников.

Трапеза на пирамиде Хеопса является для туристов столь же непременной, как и на капители колонны Помпея в Александрии. Я был счастлив, встретив просвещенного спутника, который мне об этом напомнил. В кувшинах из пористой глины, которые принесли девочки-бедуинки, оставалось достаточно воды, чтобы освежиться, а затем приготовить грог с помощью фляжки с водкой, которую тоже принес один из арабов.

Тем временем солнце начало так сильно припекать, что оставаться дольше на площадке стало невозможно. Мы не сразу ощутили зной из-за свежего, животворного воздуха, которым дышишь на такой высоте.

Теперь нам предстояло покинуть площадку и попасть внутрь пирамиды, вход в которую находился примерно на уровне трети ее высоты над основанием. Нас спустили на сто тридцать ступеней способом, противоположным тому, каким подняли сюда. Двое из четырех арабов поддерживали нас за плечи при спуске с каждой ступени, как бы передавая на протянутые руки своих товарищей. Подобный спуск был очень опасен, и немало путешественников ломали здесь руки и ноги и разбивали головы. Однако мы без приключений добрались до входа в пирамиду.

Это своего рода грот с выложенными мрамором стенами и сводом треугольной формы; лежавший над ним широкий камень с надписью на французском языке сообщал, что этот памятник посетили наши солдаты; это визитная карточка Египетской армии, высеченная на мраморной глыбе в шестнадцать футов шириной. Пока я почтительно

изучал ее, прусский офицер указал мне на другую надпись, сделанную ниже иероглифами и, что самое странное, высеченную совсем недавно.

Он понимал смысл этих современных иероглифов, написанных по системе Шампольона.

— Это означает, — сказал он, — что научная экспедиция прусского короля во главе с Лепсиусом, посетившая пирамиды Гизе, надеется так же успешно выполнить свою миссию.

Мы зашли в грот; человек двадцать бородатых арабов с пистолетами и кинжалами, торчащими из-за пояса, поднялись с земли, где они предавались дневному сну. Один из наших провожатых, который, казалось, верховодил над остальными, сказал:

— Смотрите, какие они страшные. Взгляните на их пистолеты и ружья.

— Они что, хотят нас ограбить?

— Напротив. Они находятся здесь, чтобы защитить вас на случай, если вдруг нападут грабители.

— Но говорят, что их не существует с тех пор, как правит Мухаммед Али!

— Какое там! За горами еще осталось много... злых людей... Однако с помощью *colonnate* (испанский пиастр) вы можете рассчитывать на этих храбрецов, они защитят вас от любого нападения.

Прусский офицер осмотрел оружие и, кажется, остался разочарован. Впрочем, речь шла всего о пяти с половиной франках для меня и полутора талерах для него. Мы согласились на эту сделку, поделив расходы пополам, правда заметив при этом нашему провожатому, что мы не верим в его россказни.

— Часто случается, — ответил он нам, — что враждебные племена нападают именно на эту пирамиду, особенно если подозревают, что здесь находятся богатые иностранцы.

Не спорю, все это вполне возможно, и было бы весьма печально, если бы на нас напали и заперли внутри Великой пирамиды. Врученный охранникам *colonnate* был порукой тому, что теперь по крайней мере с нами никто не сыграет глупой шутки.

Но с чего мы решили, что эти бравые ребята хотя бы на мгновение помышляли об этом? Их расторопность, восемь факелов, зажженных в мгновение ока, услужливо посланные вперед девочки-водоносы, о которых я уже упоминал, внушали всяческое доверие.

Пришлось наклонить голову и согнуться, чтобы точно ступать по двум мраморным желобкам, тянущимся по обеим сторонам спуска. Между этими желобками зияла пропасть, как раз на ширину расставленных ног, и не дай бог туда упасть. Вот так мы двигались вперед, изо всех сил стараясь не оступиться, правда, проводники, несшие факелы, слегка нас поддерживали. Мы спустились шагов на сто пятьдесят, согнувшись пополам.

Внезапно на смену опасности провалиться в огромную, зияющую внизу пропасть пришло другое испытание: дальше нужно было ползти по-пластунски по узкому проходу, засыпанному грудами песка и пепла. Арабы расчищали путь лишь за дополнительный бакшиш, который дают, как правило, богатые и весьма тучные люди.

Какое-то время мы ползли под этим низким сводом, помогая себе локтями и коленями, затем поднялись в полный рост и оказались перед входом в новую галерею, столь же низкую, как и первая. Затем нам снова пришлось проползти шагов двести по слегка поднимающемуся вверх коридору, пока мы не очутились на перекрестке, в центре которого зияла глубокая темная шахта; обогнув ее, мы вышли к лестнице, ведущей в камеру царя.

Войдя в нее, арабы принялись палить из пистолетов и зажигать факелы из веток, чтобы испугать, как они объяснили, летучих мышей и змей. Зал величиной семнадцать

футов в длину и шестнадцать в ширину имел двускатный свод.

Преодолев неприятный подъем, мы решили передохнуть у входа в мраморный грот, спрашивая себя, какой же цели служила эта странная галерея с двумя вырубленными в мраморе желобками, разделенными пропастью, и заканчивающаяся своеобразным перепутьем, посредине которого был вырыт таинственный бездонный колодец.

Прусский офицер, порывшись в анналах своей памяти, нашел показавшееся мне вполне убедительным объяснение. Никто лучше немцев не разбирается в тайнах древности. По его мнению, низкая галерея, окаймленная желобками, по которой мы с таким трудом поднимались и спускались, использовалась в следующих целях: человека, подвергавшегося обряду посвящения, сажали в тележку, тележка катилась вниз по наклонной галерее. В центре пирамиды испытуемого встречали низшие жрецы, которые подводили его к колодцу и предлагали туда спуститься.

Разумеется, новообращенный колебался, в этом усматривали проявление благоразумия. Тогда ему вручали нечто вроде шлема, к которому была приделана горящая лампа, и, вооруженный этим приспособлением, он должен был осторожно спуститься в колодец по железным перекладинам.

Испытуемый спускался очень медленно, при тусклом свете лампы у него над головой; затем, примерно на глубине ста футов, он оказывался у галереи, вход в которую был закрыт решеткой. Внезапно решетка открывалась, и перед ним представали трое грозных стражей в бронзовых масках, изображающих бога Анубиса — с телом человека и головой собаки. Нужно было не растеряться, сбить их с ног и идти вперед. Затем за галереей, тянущейся целое лье, неожиданно открывалось просторное темное помещение.

Как только человек вступал на главную аллею, вспыхивал такой яркий свет, словно все вокруг было объято пламенем. Но это был лишь фейерверк, горели специальные смолы, которыми были смазаны железные прутья. Неофиту полагалось пройти сквозь лес, несмотря на полученные ожоги.

Далее он должен был преодолеть вплавь реку. Едва он достигал ее середины, поднимались огромные волны (их создавали колеса невиданной величины), мешая пловцу двигаться вперед. Когда, казалось, силы уже были на исходе, к нему спускалась железная лестница, якобы призванная спасти его от гибели в пучине вод. Но то было лишь следующим испытанием. Как только человек ставил ногу на ступеньку, та обламывалась, падая в реку. Это ужасное положение усугублялось чудовищным ветром, который раскачивал лестницу, а вместе с нею и испытуемого. Когда он чувствовал уже полное изнеможение, у него должно было еще хватить сил вцепиться в спущенные ему сверху два железных кольца и, повиснув на руках, ждать, пока не раскроется дверь, которой он достигал ценой неимоверных усилий.

На этом заканчивались четыре простейших испытания. Выдержавший их переступал порог храма, обходил статую Исиды, где его встречали, приветствуя, жрецы.

ИСПЫТАНИЯ

Мы старались оживить величественную тишину пирамиды подобными воспоминаниями. Окружающие нас арабы легли вздремнуть в ожидании, пока подует свежий вечерний ветер и мы сможем покинуть грот. Мы же тем временем перемежали реальные события, происшедшие в глубокой древности, с чистыми домыслами. Нас особенно волновала странная церемония обряда посвящения, столько раз опи-

санная древними авторами, которые могли быть ее свидетелями; эти рассказы полностью соответствовали устройству пирамиды.

— Как было бы прекрасно, — сказал я своему спутнику, — исполнить и разыграть здесь «Волшебную флейту» Моцарта! И как только это не придет в голову какому-нибудь богачу? Потребуется совсем немного денег, чтобы расчистить все эти переходы, а затем пригласить сюда труппу итальянского театра в Каире. Представьте себе громовой голос Зарастро, гулко звучащий в глубине зала фараонов, или же Царицу ночи, появляющуюся на пороге так называемой камеры царицы и исполняющую свои великолепные трели под темными сводами.

А как звучала бы в этих длинных коридорах волшебная флейта! Вообразите сначала гримасы испуганного Папагено, вынужденного столкнуться с Анубисом в трех лицах, когда он сопровождает своего хозяина, подвергнутого обряду посвящения, затем объятый пламенем лес, темный канал, на поверхности которого под действием железных колес создаются волны, далее эту страшную лестницу, от которой отламываются ступени, с чудовищным грохотом падая в воду.

— Осуществить все эти испытания внутри пирамиды, — заметил офицер, — кажется невозможным... Из колодца испытуемый попадал в галерею длиной примерно в одно лье... Этот подземный ход приводил его прямо к храму, стоящему у врат Мемфиса, вы могли видеть это с верхней площадки. Когда испытания были завершены, испытуемый вновь видел дневной свет, но статуя Исиды оставалась для него скрыта, поскольку ему предстояло пройти последнее испытание нравственного характера, о котором его никто не предупреждал и цель которого была ему неизвестна. Жрецы встречали его с триумфом, как равного себе, хор и оркестр славили его. Он должен был еще на протяжении сорока одного дня очиститься постом, прежде чем лицезреть

великую богиню, вдову Осириса. На закате солнца он мог прекращать свой пост и подкрепляться несколькими унциями хлеба и чашей воды из Нила. Во время этой долгой эпитимьи посвященный вел беседы с жрецами и жрицами, вся жизнь которых проходила в подземных городах. Он мог задавать им вопросы и наблюдать нравы этого мистического народа, отказавшегося от мирской жизни. Несметное число этих подземных жителей потрясло Семирамиду Победоносную, когда на ее глазах при основании Вавилона Египетского (Старого Каира) рухнул свод одного из таких некрополей.

— А что происходило с посвященными после сорока одного дня?

— Ему предстояло еще перенести восемнадцатидневное уединение, во время которого он был призван хранить полное молчание. Ему было дозволено лишь читать и писать. Затем он проходил новое испытание, когда вся его прошлая жизнь подвергалась разбору и осуждению. Это длилось еще двенадцать дней, и, наконец, в течение девяти дней он должен был ложиться спать за статуей Исиды, после того как молил богиню явиться ему во сне и наделить мудростью. Испытания длились три месяца. Искания божества, чтения, наставления и пост приводили вновь обращенного в состояние такой экзальтации, что отныне он был достоин того, чтобы священное покрывало упало с богини у него на глазах. В этот миг восторг его достигал апогея, ибо он видел, как оживала холодная статуя, неожиданно приобретая черты любимой женщины или созданного им идеала совершенной красоты.

В ту минуту, когда он протягивал руку, чтобы коснуться ее, она исчезала в облаке дыма. Торжественно входили жрецы, и посвященный объявлялся равным богам. Затем ему отводили место на пиршестве мудрейших, где он мог отведать от самых изысканных блюд и вкушать лившуюся рекой земную амброзию. Он сожалел лишь об одном — что

не мог дольше любоваться явившимся ему божеством, которое даже одарило его улыбкой... Вскоре богиня непременно посетит его в сновидениях... Долгий сон, вызванный, вероятно, подмешанным в его чашу во время пиршества соком лотоса, позволял жрецам перенести его за несколько лье от Мемфиса, на берег знаменитого озера, которое и по сей день носит название Карун (Карон). Все еще спящего, его клали в лодку и на ней переправляли в провинцию Файюм, дивный оазис, и в наши дни называемый краем роз. Там есть глубокая долина, отделенная от остальной местности пропастью, вырытой людьми; в этой долине жрецам удалось собрать все богатства, рассеянные щедрой природой по миру. Деревья из Индии и Йемена с густой листвой и необычными цветами соседствуют с самой пышной растительностью египетской земли. Прирученные животные оживляли эти чудесные декорации, и посвященный, которого спящим переносили на лужайку, пробуждался в окружении самых совершенных творений природы. Он вставал, вдыхая свежий утренний воздух, возвращаясь к жизни под лучами так давно не виденного им солнца, слушал прекрасное пение птиц, любовался благоухающими цветами, зеркальной гладью озер с берегами, поросшими папирусом и усыпанными цветами красного лотоса, меж которых бродили розовые фламинго и ибисы. Но эта тишина казалась безжизненной, и как бы для того, чтобы вдохнуть в нее жизнь, появлялась женщина, непорочная дева, такая юная, словно сама она вышла из грез, такая прекрасная, что, подойдя ближе, можно было узнать в ней восхитительные черты Исиды, явившейся ему сквозь пелену дыма, — такой была божественная спутница, предназначенная в награду ликующему посвященному.

Я счел, что пора вмешаться в этот образный рассказ.

— Мне кажется, — прервал я его, — что вы рассказываете мне историю Адама и Евы.

— Очень похоже, — согласился он.

И в самом деле, последнее столь приятное и неожиданное испытание египетского обряда посвящения напоминало то, о котором рассказывал Моисей в Книге Бытия. В этом чудесном саду росло дерево, плоды которого были запретны для попавшего в рай неофита. То, что эта последняя победа над собой была непременным условием посвящения, подтверждают найденные в Верхнем Египте барельефы четырехтысячелетней давности. На них изображены стоящие под деревом мужчина и женщина: она предлагает спутнику, с которым делит одиночество, отведать плод с дерева. Вокруг ствола обвился змей, воплощающий Тифона — бога зла. Чаще всего случалось именно так, что посвященный, выдержавший все физические испытания, поддавался на это искушение и изгонялся из земного рая. В наказание он должен был бродить по свету, неся людям наставления, полученные от жрецов.

Если же ему удавалось устоять перед последним соблазном, что случалось крайне редко, он становился равным царю. Его с триумфом возили по улицам Мемфиса и объявляли святым.

Не выдержав этого испытания, Моисей был лишен столь желанных почестей. Оскорбленный, он начал открытую войну против египетских жрецов, боролся с ними, используя их же науку и чудеса, и в конце концов с помощью заговора освободил свой народ.

Прусский офицер, поведавший мне об этом, несомненно, был духовным сыном Вольтера. Кроме того, на него явно повлияло скептическое отношение к религии, свойственное эпохе Фридриха II. Я не удержался, чтобы не сказать ему об этом.

— Вы ошибаетесь, — заметил он, — мы, протестанты, привыкли все анализировать, но от этого наша вера не страдает. Если доказано, что легенда о земном рае, яблоке и змее известна древним египтянам, это вовсе не ставит под сомнение ее божественную сущность. Я даже склонен

думать, что это последнее испытание было мистическим воплощением сцены, происшедшей в первые дни сотворения мира. Почерпнул ли это Моисей у египтян, обладавших древней мудростью, или же воспользовался собственными впечатлениями, когда писал Книгу Бытия, но, как бы то ни было, это не умаляет изначальной истины. Триптолем, Орфей и Пифагор подвергались тем же испытаниям; первый основал Элевсинские мистерии, второй — таинства кабиров Самофракии, а третий — мистические союзы Ливана.

Орфею повезло еще меньше, чем Моисею, он не выдержал четвертого испытания, в котором у посвященного должно хватить силы повиснуть на спущенных ему железных кольцах, когда из-под ног вылетают перекладины лестницы... Он упал в канал, откуда его с трудом извлекли, и, вместо того чтобы идти в храм, ему пришлось возвращаться к выходу из пирамиды. Пока происходило испытание, его жена погибла в результате несчастного случая, ловко подстроенного жрецами. Благодаря талантам и славе Орфей добился права вновь подвергнуться испытаниям и вновь их не выдержал. Так он навсегда потерял Эвридику и был обречен вечно оплакивать ее в изгнании.

— Таким образом, — сказал я, — можно обнаружить материальную основу любой религии. Но чего мы этим добьемся?

— Ничего. Мы провели уже два часа, беседуя о происхождении и истории человечества. Надвигается вечер. Нужно искать пристанище.

Мы провели ночь в итальянской *locanda* (постоялый двор), расположенной неподалеку, а на следующий день нас отвели к месту, где некогда находился Мемфис, в двух лье южнее. От него остались лишь развалины, к тому же скрытые лесом пальм; в глубине его лежит лицом вниз огромная, высотой в шестьдесят футов, статуя Сесостриса. Должен ли я рассказать еще о Саккара, где мы тоже побывали, о

пирамидах, уступающих по величине пирамидам Гизе, о большой кирпичной пирамиде, построенной евреями? Весьма любопытное зрелище представляют собой гробницы животных, которых на этой равнине великое множество. Здесь похоронены кошки, крокодилы и ибисы. Войти в такую гробницу довольно трудно, приходится дышать пылью и прахом или ползти по низким галереям. Затем попадаешь в обширные подземелья, где собраны и симметрично расставлены миллионы этих животных, которых добрые египтяне не поленились набальзамировать и похоронить со всеми подобающими людям почестями. Каждая кошачья мумия спеленута длинными бинтами из тонкого полотна, исписанными иероглифами, рассказывающими, вероятно, о жизни и добродетелях этого животного. То же самое проделывали с крокодилами... Вазы из пористой фиванской глины, в которых хранятся останки ибисов, расставлены бесконечными рядами, совсем как банки с вареньем в кладовой загородного дома.

Я с легкостью смог выполнить поручение консула; затем распрощался с прусским офицером, который продолжил свой путь в Верхний Египет, и вернулся в Каир, спустившись на лодке по Нилу.

Я поспешил отнести консулу мумию ибиса, полученную ценой столь утомительного путешествия, но мне сообщили, что в те три дня, что я осматривал пирамиды, наш бедный консул почувствовал себя хуже и отплыл в Александрию. Позже я узнал, что он умер в Испании.

ОТЪЕЗД

С сожалением покидаю я древний Каир, где еще застал следы арабского гения; этот город не обманул моих надежд, почерпнутых из рассказов и преданий Востока. Он столько раз снился мне в юные годы, что казалось: я уже жил в нем

когда-то, я мысленно восстанавливал пустынные кварталы и развалившиеся мечети, представляя, каким он был в действительности — тот Каир моих сновидений! Мне чудилось, что следы моих ног точно совпадают с уже оставленными мною прежде следами; я бродил по улицам, говоря себе: «Повернув сюда, войдя в эти ворота, я увижу то-то и то-то...». И впрямь, все получилось, как я представлял: передо мной возникали руины, но вполне реальные.

Но хватит об этом. Тот Каир покоится под слоем праха и пыли; современные умы и прогресс восторжествовали здесь, подобно смерти. Еще несколько месяцев, и европейские улицы пересекут под прямым углом старый, тихий и пыльный город, который камень за камнем обрушивается на бедных феллахов. Зато блестит, сверкает, разрастается квартал франков: город итальянцев, выходцев из Прованса и Мальты, будущее хранилище товаров Британской Индии.

Восток былых времен донашивает обветшалые одежды, доживает свой век в древних дворцах, с трудом сохраняя старые нравы, — это закат; он может сказать, подобно одному из своих султанов: «Судьба натянула тетиву: со мною все кончено, я принадлежу прошлому». Пустыня еще защищает, постепенно занося своими песками стоящий за стенами Каира город могил, долину халифов, населенную, подобно Геркулануму, исчезнувшими поколениями, и все крепостные стены, купола и минареты, дворцы, арки и колонны из драгоценного мрамора, разрисованные и позолоченные покои — все это, с неутомимым рвением воспроизведенное множество раз, было призвано служить лишь вместилищем саркофагов. Культ смерти издревле считался неотъемлемой частью жизни египтян, благодаря ему уцелело и стало известно миру восхитительное прошлое этого народа.

ИСТОРИЯ ХАЛИФА ХАКИМА

ГАШИШ

На правом берегу Нила, недалеко от горы аль-Мукаттам, возвышающейся над новым городом, близ пристаней Фустата, где покоятся руины Старого Каира, примерно в 1000-м году христианского летосчисления, что соответствует четвертому веку хиджры, была расположена небольшая деревня, обитатели которой в основном принадлежали к секте сабеев.

За последними домами, стоящими на берегу реки, открывается живописный вид: воды Нила тихо плещутся у острова Рода, похожего на корзину цветов в руках невольника. На другом берегу видна Гизе, и после захода солнца в фиолетовую пелену заката врезаются гигантские треугольники пирамид. На светлом небе выделяются черные силуэты пальм, смоковниц и фиговых деревьев. Сфинксы, лежащие среди песков, похожи на сторожевых псов, охраняющих стадо буйволов, длинной чередой бредущих на водопой, и фонари рыбаков золотыми точками светятся в непроницаемой тьме.

В деревне сабеев, откуда открывается этот великолепный вид, среди рожковых деревьев, стоит белостенный окель, террасы которого спускаются прямо к воде: по ночам лодочники, плывущие вверх и вниз по Нилу, видят, как в доме горят огоньки. Любопытный путешественник, находясь в фелюге посередине реки, может рассмотреть сквозь кружево решеток океля, как вокруг столиков на маленьких ящиках, сплетенных из пальмовых прутьев, или на диванах,

крытых циновками, расположились завсегдатаи, чье поведение вызывает удивление наблюдателя. Возбужденная жестикуляция, сменяющаяся тупой неподвижностью, бессмысленный смех, нечленораздельные крики говорят о том, что перед ним один из тех домов, где, пренебрегая запретом, неверные возбуждают себя вином, бузой (пивом) или гашишем.

Как-то вечером к одной из террас подошла лодка, гребец уверенно управлял ею, поскольку хорошо знал эти места; лодка причалила у первых ступенек, которые омывала вода, и из нее вышел юноша приятной наружности, с виду рыбак; он быстро и решительно поднялся в окель и сел в углу зала — вероятно, на свое обычное место. Никто не обратил на него внимания; очевидно, это был завсегдатай.

В это же время через противоположную дверь, выходившую в сад, в зал вошел человек в черном шерстяном плаще, с длинными волосами, какие не носят в этих местах, и в белой шапочке (*такийя*).

Его появление привлекло всеобщее внимание. Он сел в темный угол, и скоро захмелевшие посетители забыли о его присутствии. Несмотря на бедность одеяния, пришедший не был похож на нищего, отмеченного печатью униженности. Резкие черты его лица напоминали львиную маску. Глаза цвета сапфира властно притягивали к себе, вселяя и ужас и восторг одновременно.

Юсуф, так звали юношу, приплывшего по реке, почувствовал расположение к странному незнакомцу, чье появление он сразу же заметил. Юноша не участвовал в общем веселье, он подошел к дивану, на котором сидел чужестранец.

— Брат, — сказал Юсуф, — ты выглядишь усталым. Наверное, ты пришел издалека? Не хочешь ли освежиться?

— Да, путь мой был неблизок, — ответил чужестранец. — Я зашел в этот окель отдохнуть, но что мне отведать, ведь здесь подают лишь запретные напитки?

— Вы, правоверные мусульмане, осмеливаетесь смачивать губы лишь чистой водой; мы же, сабеи, имеем право, не нарушая своих законов, утолять жажду вином или золотистым ячменным пивом.

— Но сам ты не пьешь спиртного?

— Пьянство простолюдинов претит мне, — сказал Юсуф, делая знак негру, который поставил на столик две маленькие стеклянные чашки, оплетенные серебряной филигранью, и сосуд, наполненный зеленоватой кашицей, с воткнутой туда лопаткой из слоновой кости.

— В этой чаше — рай, который твой пророк обещал правоверным, и если ты не будешь столь щепетилен, то через час очутишься в объятиях гурий, даже не переходя через мост ас-Сират, — продолжал Юсуф, смеясь.

— Но ведь, насколько я понимаю, это гашиш, — сказал незнакомец, отодвигая чашку, в которую Юсуф уже положил порцию фантастической смеси. — А гашиш запрещен.

— Все, что приятно, то запрещено, — возразил Юсуф, проглотив первую ложку кашицы.

Незнакомец в упор посмотрел на него своими синими глазами и так сильно нахмурил лоб, что натянулась даже кожа на голове; казалось, он вот-вот кинется на беззаботного юношу и разорвет его в клочья; но он сдержался, морщины на лбу разгладились, и, внезапно решившись, он взял чашку и стал пробовать зеленую смесь.

Через несколько минут Юсуф и незнакомец уже ощутили действие гашиша, ими овладела приятная истома, на губах заиграла блаженная улыбка. Хотя они были знакомы от силы полчаса, им казалось, что они знают друг друга вечность. Действие наркотика усиливалось, они начали хохотать, возбужденно о чем-то рассказывать, особенно громко говорил чужестранец. Строго соблюдая запреты, он впервые отведал гашиша и сразу же испытал на себе его действие. Он выглядел страшно возбужденным: вихрем сменялись в его голове отрывки непонятных, неведомых, стран-

ных мыслей; глаза горели, словно освещенные изнутри отблесками незнакомого мира, какое-то сверхъестественное величие сквозило в его манерах, затем наступило расслабление, и он мягко опустился на пол, находясь под блаженным действием кейфа.

— Ну, приятель, — спросил Юсуф, который, кажется, успел заметить эту вспышку в поведении опьяненного незнакомца, — что тебе пригрезилось от простого фисташкового варенья? Будешь ли ты теперь предавать анафеме славных людей, которые собираются здесь, чтобы быть посвоему счастливыми?

— Гашиш уподобляет человека богу, — ответил незнакомец медленно и громко.

— Да, — горячо подхватил Юсуф, — тем, кто пьет воду, знакома лишь грубая, материальная оболочка вещей. Опьянение, заволакивая пеленой взор, открывает глаза души; дух вырывается из своей темницы — человеческого тела, словно пленник от уснувшего стража, оставившего ключ в двери. Радостный и свободный, он блуждает на просторе, беседуя с ангелами, которые озаряют его неожиданными и чудесными откровениями. Одним взмахом крыльев он переносится в атмосферу неслыханного счастья, и эти мгновения длятся вечность, так быстро сменяются ощущения. Я вижу, казалось бы, один и тот же, но в то же время и другой сон; я сажусь в лодку, напевая от радости, которой наполняют меня эти видения, и закрываю глаза от немеркнущего сверкания гиацинтов, карбункулов, изумрудов, рубинов, на их фоне развертываются замечательные фантастические зрелища, я вижу где-то в бесконечности небесное создание, прекраснее, чем все, описанное до сих пор поэтами, оно удивительно мягко улыбается мне и спускается за мной с небес. Ангел это или пери? Не знаю. Она садится ко мне в лодку, и грубое дерево сразу же превращается в перламутр, мы плывем по серебряной реке, и легкий ветер несет с собой ароматы.

— Странное и благостное видение! — прошептал незнакомец, покачав головой.

— Это не все, — продолжал Юсуф. — Как-то вечером я принял меньшую дозу и очнулся от опьянения, когда лодка подплывала к острову Рода. На меня смотрела женщина, похожая на мое видение. Ее глаза, даже если они принадлежали человеческому существу, не утратили своего божественного блеска; из-под накидки в лунном свете мерцало одеяние, усыпанное драгоценными камнями. Я дотронулся до руки — мягкая, прохладная, нежная кожа, словно лепестки цветка; я укололся об оправу ее кольца и окончательно пробудился.

— Близ острова Рода? — спросил незнакомец задумчиво.

— Я не спал, — продолжал Юсуф, не обращая внимания на слова своего слушателя, — гашиш лишь оживил воспоминание, спрятанное в уголках души, потому что этот божественный лик был мне знаком. Но где я мог его видеть? На каком свете мы встречались? В какой прежней жизни мы могли сталкиваться? Этого я не знаю, но странная встреча, непонятное приключение ничуть меня не удивили: мне показалось естественным, что эта женщина, воплощение моего идеала, очутилась у меня в лодке посреди Нила, словно вышла из какого-то речного цветка.

Не требуя никаких объяснений, я бросился к ее ногам и как своей воплощенной мечте сказал ей все пылкие и возвышенные слова, которые приходят на ум в часы любовного экстаза; я произносил слова, полные глубокого смысла, фразы, в которых заключались бездны мудрости, мои речи таили отзвук исчезнувших миров. Душа моя переполнялась величием прошлого и будущего: мне казалось, что любовь, которую я испытывал, была чувством, вмещавшим в себя вечность.

По мере того как я говорил, ее огромные глаза заблестели и сделались лучистыми; она протянула ко мне свои

прозрачные руки, и они засияли в ночи. Я почувствовал, что словно объят пламенем, и снова попал во власть грез. Когда я очнулся от сладостного забытья, овладевшего всем моим существом, я уже лежал под пальмой на противоположном берегу, а мой черный раб мирно спал около стоящей на песке лодки. На горизонте появились розовые отблески, занималось утро.

— Такая любовь совсем не походит на земные чувства, — сказал незнакомец, которого ничуть не смутила фантастичность рассказа Юсуфа, поскольку действие гашиша заставляет человека легко верить в любые чудеса.

— Я никому не рассказывал об этих невероятных событиях, почему я доверился тебе, незнакомому человеку? Мне трудно это понять. Что-то таинственное влечет меня к тебе. Когда ты вошел сюда, мой внутренний голос сказал мне: «Вот он наконец». Твой приход успокоил терзавшее меня смутное волнение. Ты тот, кого я ждал, сам того не ведая. Душа моя рвется тебе навстречу, и тебе я должен был открыть свою сокровенную тайну.

— Я испытываю те же самые чувства, — ответил чужестранец, — и скажу тебе то, в чем не осмеливался признаться даже самому себе. Твоя страсть невозможна, моя — чудовищна; ты любишь пери, я же... ты содрогнешься, я люблю свою сестру, но вместе с тем я не раскаиваюсь в своем преступном влечении. Как бы я ни судил себя, оправданием служит овладевшее мною тайное чувство, а не низменная земная любовь. К сестре меня влечет не сладострастие, хотя по красоте ее можно сравнить лишь с призраком твоих видений, это какое-то бесконечное чувство, бездонное, как море, необъятное, как небо, какое способно испытывать лишь божество. Мысль о том, что сестра моя может принадлежать какому-нибудь мужчине, кажется мне чудовищной, как святотатство, ибо за ее телесной оболочкой я угадываю нечто возвышенное. Несмотря на ее земное имя, это супруга моей божественной души, дева, предназначенная

мне с первых дней творения; иногда мне кажется, что через века и мрак я различаю следы нашей тайной связи. Мне на память приходят сцены, происходившие на земле до появления человека; я вижу нас обоих под золотой сенью Эдема, где нам повинуются послушные духи. Я боюсь, что, соединившись с другой женщиной, потревожу или опорочу мировую душу, которая живет во мне. От слияния нашей божественной крови может появиться бессмертная раса — верховное божество, более могущественное, чем все, известные нам до сих пор под различными именами и в разных обличьях.

Пока Юсуф и чужестранец вели этот доверительный разговор, завсегдатаи океля в сильном опьянении то бессмысленно хохотали, предаваясь необузданному веселью, то застывали в исступлении, то судорожно извивались, но постепенно действие индийской конопли ослабевало, они успокаивались и падали на диван в полном изнеможении.

В окель вошел человек в длинной одежде, с лицом патриарха и окладистой бородой, он встал посреди зала и зычно произнес:

— Братья, поднимайтесь, я наблюдал за небом, настал благоприятный час, чтобы принести жертву перед сфинксом белого петуха во славу Гермеса и Агафодемона!

Сабеи начали подниматься с диванов и, казалось, собирались пойти за своим священнослужителем. При этих словах глаза незнакомца несколько раз менялись в цвете: из синих они превратились в черные, лицо исказилось от ярости, а из груди вырвался глухой крик, от которого все присутствующие в ужасе содрогнулись, словно в окель проник дикий лев.

— Безбожники, святотатцы, подлые твари! Гнусные идолопоклонники! — закричал он голосом, напоминавшим раскаты грома.

От этой вспышки ярости люди на мгновение оцепенели. Незнакомец имел столь властный вид, так величествен-

но оправлял складки своего плаща, что никто не осмелился ответить на его обвинения.

Старец подошел к нему и произнес:

— В чем ты видишь зло, брат мой? Мы собираемся принести в жертву нашим духам-покровителям Гермесу и Агафодемону белого петуха, как это у нас принято.

Снова услышав эти два имени, незнакомец заскрежетал зубами от ярости.

— Если ты не разделяешь верований сабеев, зачем ты пришел сюда? А может, ты приверженец Иисуса или Мухаммеда?

— Мухаммед и Иисус — самозванцы, — яростно закричал чужестранец.

— Значит, ты исповедуешь религию парсов? Ты поклоняешься огню?

— Все это ложь, выдумки, небылицы, — прервал незнакомец в черном плаще, еще более распаляясь от гнева.

— Кого же ты почитаешь?

— Он спрашивает, кого я почитаю?! Никого! Я сам — бог, единственный, единый, истинный бог, все остальные лишь тени!

При этом невероятном, чудовищном, безумном утверждении сабеи бросились на богохульника, и ему не поздоровилось бы, если бы Юсуф не оттащил его, прикрыв своим телом, в лодку, хотя тот отбивался и кричал как бешеный. Затем Юсуф, сильно оттолкнув лодку от берега, вывел ее на середину реки. Лодка быстро поплыла по течению.

— Куда отвезти тебя? — спросил Юсуф у своего странного друга.

— Туда, к острову Рода, где ты видел сияние, — ответил незнакомец, успокоенный ночной прохладой.

Несколько ударов веслами, и они подошли к берегу. Прежде чем спрыгнуть на песок, человек в черном плаще сказал своему спасителю, сняв с пальца перстень старинной работы:

— Где бы ты меня ни встретил, покажи мне этот перстень, и я исполню любое твое желание.

Затем он пошел в глубь острова и скрылся за деревьями, подступающими к самой воде. А Юсуф, чтобы успеть к обряду жертвоприношения, с удвоенной энергией налег на весла.

НЕУРОЖАЙ

Несколько дней спустя халиф, как обычно, вышел из своего дворца и отправился в обсерваторию на горе аль-Мукаттам. Все привыкли к тому, что время от времени он ездил туда на осле в сопровождении только одного немого раба. Считали, что халиф проводит ночь, созерцая небесные светила, поскольку возвращался он лишь на рассвете.

Это не вызывало удивления его слуг, ведь так же поступал и его отец Азиз-Биллах, и дед Муизз ли Диналлах, основатель Каира, весьма искушенные в каббалистических науках. Но халиф Хаким, изучив расположение звезд и убедившись, что ему не грозит опасность, быстро снимал свой костюм и надевал одежду раба, которого оставлял в башне, затем покрывал темной краской лицо, чтобы стать неузнаваемым, и спускался в город, где, смешавшись с толпой, узнавал секреты, которыми впоследствии пользовался, управляя государством. Так появился он несколько дней назад в океле сабеев.

На сей раз Хаким спустился к площади Румейла, самому оживленному месту в Каире: люди собираются здесь группами — в лавках, в тени деревьев, чтобы послушать истории и поэмы, потягивая прохладительные напитки и лимонад, лакомясь засахаренными фруктами. Жонглеров, альмей и дрессированных зверей обычно окружало плотное кольцо зрителей, люди хотели развлечься после дня, проведенного в труде. Но в тот вечер все было иначе: ропот толпы напоминал бурное море или шум прибоя. Халиф прислушался: в

общем гуле можно было различить отдельные громкие голоса и гневные крики: «Городские амбары пусты!»

И правда, с некоторых пор народ волновался из-за неурожая; на какое-то время его успокаивали обещаниями, что скоро привезут зерно из Верхнего Египта, и каждый, как мог, экономил свои запасы; однако в тот день из Сирии пришел огромный караван, и добыть пропитание стало еще труднее. Чужестранцы взбудоражили толпу, и она двинулась к амбарам в Старом Каире, где хранились припасы на случай сильного голода. Десятую часть урожая ежегодно свозили в эти огромные склады, построенные когда-то Амру. По приказу завоевателя Египта эти амбары не имели крыши, чтобы птицы могли брать свою долю. С тех пор это благое начинание неукоснительно соблюдалось, поскольку убытки от птиц были весьма незначительны, а городу это приносило удачу. Но в тот день в ответ на требование разъяренной толпы раздать им зерно охранники ответили, что все зерно склевали внезапно налетевшие стаи птиц. Усмотрев в этом дурное предзнаменование, народ впал в глубокое уныние.

— Почему я ничего об этом не знал? — спрашивал себя Хаким. — Возможно ли, чтобы произошло такое чудо? Меня должны были предупредить звезды; ничего тревожного не увидел я и в расчерченной мной пентаграмме.

Он предавался этим размышлениям, когда к нему подошел старик сириец и сказал:

— Государь, почему ты не дашь им хлеба?

Хаким удивленно поднял голову, взглянул на человека своим львиным оком, решив, что тот узнал его, хотя халиф был переодет рабом.

Но старик был слеп.

— Ты безумен, — сказал Хаким, — зачем ты обращаешься с этими словами к человеку, которого не видишь, ведь ты мог слышать лишь мои шаги по пыльной дороге.

— Все люди, — сказал старик, — слепы перед богом.

— Значит, ты обращался к богу?

— К тебе, государь.

Хаким на минуту задумался, мысли его смешались, как тогда, после гашиша.

— Спаси их, — сказал старик, — в тебе одном могущество, жизнь и воля.

— Ты что же, считаешь, что я могу вот так, сразу дать им хлеб? — ответил Хаким, которого мучила какая-то неясная мысль.

— Лучи солнца не могут пробить тучи, они медленно их разгоняют. Облако, которое заслоняет тебя сейчас, — это принятый тобой человеческий облик, ты способен действовать лишь в пределах человеческих возможностей. Каждое существо подчиняется закону вещей, установленных богом. Только бог подчиняется тем законам, которые он сам установил. Мир, созданный им с помощью каббалистического искусства, исчезнет в тот же миг, когда бог нарушит собственную волю.

— Я вижу, — сказал халиф, — что ты просто нищий; ты узнал меня в этой одежде, но твоя лесть слишком глупа. Вот тебе кошелек, ступай.

— Я не знаю, кто ты, государь, ведь я вижу лишь глазами души. Что же до золота, то я сведущ в алхимии и могу сделать его столько, сколько захочу. Я раздам эти деньги твоему народу. Хлеб стоит дорого, но в славном городе Каире за деньги продается все.

«Да он просто колдун», — подумал Хаким.

Тем временем толпа кинулась подбирать деньги, которые ей бросил нищий, и ринулась к ближайшей пекарне. В тот день на один золотой цехин давали только одну *окку* (два фунта) хлеба.

«Ах вот оно что, — подумал Хаким, — понимаю! Этот старец, пришедший из страны мудрецов, узнал меня и говорил со мной языком аллегорий. Халиф — это образ бога, и, как бог, я должен карать».

Он направился к цитадели и разыскал там начальника стражи Абу Аруса, знавшего о его переодеваниях. Вместе с этим офицером халиф взял с собой палача, как делал уже не раз. Подобно всем восточным правителям, Хаким вершил правосудие на месте. Он привел их к дому булочника, продававшего хлеб на вес золота, и, обратившись к начальнику стражи, сказал:

— Это вор.

— Пригвоздить ему ухо к ставням лавки? — спросил тот.

— Да, — ответил халиф, — но сначала отруби ему голову.

Народ, не ожидавший подобного развлечения, столпился вокруг булочника, который тщетно пытался доказать свою невиновность. Халиф, завернувшись в черную *аббу*, которую он взял в цитадели, казалось, выполнял обязанности простого кади.

Булочник, склонив голову, уже стоял на коленях, вверяя свою душу ангелам Мункару и Накиру. В этот момент, растолкав толпу, какой-то молодой человек бросился к Хакиму и показал ему серебряный перстень, усыпанный драгоценными камнями. Это был сабеянин Юсуф.

— Подари мне, — вскричал он, — жизнь этого человека.

Хаким вспомнил свое обещание и узнал друга с берега Нила. Он подал знак; палач отошел, и булочник радостно вскочил на ноги. Услышав разочарованные возгласы толпы, Хаким сказал несколько слов на ухо начальнику стражи, а тот громко произнес:

— Казнь откладывается на завтра на этот же час. Теперь каждый булочник должен продавать хлеб из расчета десять окк на цехин.

— На другой же день я догадался, — сказал Юсуф Хакиму, — что вы имеете отношение к правосудию, увидев, как вы ополчились на запретные напитки, но кольцо дает мне права, которыми я время от времени хотел бы пользоваться.

— Брат мой, — ответил халиф, обняв его, — теперь я свободен. Давай предадимся разгулу и вкусим гашиш в океле сабеев.

ПЕРВАЯ ДАМА ГОСУДАРСТВА

Войдя в окель, Юсуф отвел в сторону хозяина и попросил прощения за поведение друга.

— У каждого, — сказал он, — в момент опьянения бывают свои навязчивые идеи, мой друг воображает себя богом.

Это объяснение повторили завсегдатаям, и те, казалось, остались вполне удовлетворены.

Друзья сели на свои прежние места. Негритенок принес им чашу с опьяняющей смесью, каждый взял свою порцию, действие наркотика не замедлило сказаться; но, вместо того чтобы забыться во власти фантастических галлюцинаций и вести бессвязные беседы, халиф поднялся, обуреваемый навязчивыми идеями, как если бы его толкала чья-то неумолимая рука. На его крупном, словно изваянном скульптором, лице читалась твердая воля, и властным голосом он изрек:

— Брат, возьми лодку и отвези меня к тому месту, где ты прежде высадил меня, у самых садов Роды.

Юсуф был готов исполнить столь неожиданный приказ, хотя ему и казалось странным уходить из океля именно тогда, когда, распростершись на диване, можно было полностью отдаться блаженному забытью, но глаза халифа горели такой решимостью, что юноша послушно спустился к лодке. Хаким устроился на носу, а Юсуф сел на весла. Во время недолгого пути халиф проявлял признаки крайнего возбуждения. Он спрыгнул на землю, не дожидаясь, когда лодка коснется берега, затем величественным жестом отпустил своего друга. Юсуф вернулся в окель, а халиф отправился во дворец.

Он вошел через потайную дверь и, пройдя по нескольким темным коридорам, очутился в своих апартаментах, чем весьма удивил придворных, привыкших к его возвращениям на рассвете. Его словно озаренное изнутри лицо, твердая, но в то же время неуверенная походка, странные жесты внушали евнухам непонятный ужас; им казалось, что во дворце должно что-то случиться, они жались к стенам, опустив голову и скрестив руки, и с почтительным волнением ждали. Всем были известны скорые расправы Хакима — страшные и не всегда справедливые. Каждый трепетал, зная за собой какой-нибудь грех.

Однако на сей раз никто не поплатился головой. Хакима занимала лишь одна мысль: забыв об этикете, он направился в покои сестры, принцессы Ситт аль-Мульк, что противоречило всем мусульманским правилам. Открыв дверь, он вошел в первую комнату, к ужасу евнухов и наперсниц принцессы, которые поспешно стали закрывать лица.

Ситт аль-Мульк (первая дама государства) полулежала на подушках в алькове одной из дальних комнат; убранство этой комнаты ослепляло своим великолепием. Свод, выполненный в виде небольших куполов, напоминал пчелиные соты или грот со сталактитами из-за вычурно-сложного орнамента, где перемежались ярко-красные, зеленые, голубые и золотистые тона. Стены на высоту человеческого роста были выложены изумительными мозаичными плитками из стекла; сердцевидные арки грациозно опирались на пышные капители в форме тюрбанов, а те, в свою очередь, покоились на мраморных колоннах. Вдоль карнизов дверей и окон шли надписи карматским шрифтом, изящные буквы которого перемежались с цветами, листьями и завитками арабесок. В центре комнаты бил фонтан, струи кристально чистой воды поднимались до самого свода и падали в круглый бассейн с серебряным звоном, рассыпаясь на тысячи брызг.

Встревоженная шумом, вызванным появлением Хакима, Ситт аль-Мульк встала и сделала несколько шагов к двери. Она сразу же предстала во всей своей прелести: сестра халифа была самой красивой принцессой в мире; невозможно было выдержать взгляд ее глаз, как невозможно не отрываясь смотреть на солнце; черные шелковистые брови казались нарисованными, легкая горбинка тонкого носа указывала на принадлежность к царской породе, а золотистая бледность чуть нарумяненных щек оттеняла ослепительно алый рот, блестевший, словно спелый гранат.

Костюм Ситт аль-Мульк отличался невиданной роскошью: полумесяц, украшенный бриллиантами, поддерживал вуаль, усыпанную блестками; зеленый и розовый бархат платья был почти скрыт сплошной вышивкой; только на рукавах, на локтях и на груди оставались островки, откуда исходило золотое и серебряное сияние; тяжелый пояс из золотых ажурных пластин с вделанными туда рубинами обвивал гибкий и тонкий стан, спускаясь к крутым бедрам. В этом наряде Ситт аль-Мульк напоминала владычицу исчезнувшего царства, ведущую свой род от самих богов.

Дверь резко распахнулась, и на пороге появился Хаким. Ситт аль-Мульк не сдержала возгласа удивления — не столько из-за появления брата, сколько из-за его странного вида. Казалось, с лица Хакима исчезли все живые краски. Его бледность словно была отблеском иного мира.

Внешне это был тот же халиф, но озаренный особым, внутренним светом. Его жесты напоминали движения сомнамбулы, а сам он походил на собственную тень. Он сделал шаг к Ситт аль-Мульк, движимый скорее усилием воли, нежели простыми человеческими чувствами, и взглянул на нее так пристально и хищно, что принцесса вздрогнула и обхватила себя руками, словно какая-то неведомая сила пыталась разорвать на ней одежды.

— Ситт аль-Мульк, — сказал Хаким, — я долго думал, кому отдать тебя в жены, но ни один мужчина на свете не достоин тебя. Нужно сохранить чистой божественную кровь, которая течет в твоих жилах. Мы должны сберечь сокровище, полученное от прошлого. Я, Хаким, халиф, повелитель неба и земли, буду твоим супругом; свадьба через три дня. Такова моя священная воля.

Услышав эти неожиданные слова, принцесса была настолько потрясена, что не могла вымолвить ни слова. Хаким говорил так властно, так убедительно, что Ситт аль-Мульк поняла: возражать бесполезно. Не ожидая ответа сестры, Хаким вышел из комнаты и, вернувшись к себе, тяжело рухнул на подушки и заснул: действие гашиша достигло апогея.

Сразу же после ухода брата Ситт аль-Мульк вызвала великого везира Барджавана и рассказала ему о случившемся. В годы отрочества Хакима, провозглашенного халифом в одиннадцать лет, Барджаван был регентом империи; он сохранил неограниченную власть, и, в силу привычки, его по-прежнему считали подлинным правителем, а на долю Хакима приходились лишь официальные почести. Невозможно сказать, что творилось в душе Барджавана, когда Ситт аль-Мульк рассказала ему о ночном посещении халифа; постичь загадочную натуру везира было выше возможностей простого человека. Может быть, страсть к знаниям и к размышлениям иссушила его тело и омрачила суровый взор, а решимость и воля избороздили его лоб морщинами и начертали на нем зловещий знак «тау», предвестник ужасный судьбы? Бледность неподвижного, словно маска, лица, на котором только иногда между бровями залегала глубокая складка, напоминала о том, что он вырос на выжженных солнцем равнинах Магриба. Уважение, которое питали к нему жители Каира, его влияние на знать и богачей — не говорило ли это о том, что он вершил государственные дела мудро и справедливо?

Ситт аль-Мульк, воспитанная им, всегда чтила его как своего отца, прежнего халифа. Барджаван разделял негодование принцессы, но сказал только:

— Увы! Какое несчастье для империи! Разум повелителя правоверных помутился, небо покарало нас. Сначала голод, а теперь новое наказание. Весь народ должен молиться; наш государь сошел с ума.

— Да спасет нас господь! — воскликнула Ситт аль-Мульк.

— Я надеюсь, — добавил везир, — что, когда повелитель правоверных проснется, это наваждение исчезнет и он, как обычно, будет возглавлять большой совет.

Барджаван ждал до рассвета пробуждения халифа. Но тот встал очень поздно, когда зал, где собирается диван, уже давно был заполнен учеными, законниками и кади. Когда Хаким появился в зале, все, как обычно, пали ниц, и, поднявшись, везир пытливо взглянул на задумчивое лицо властелина.

Халиф заметил этот взгляд. Ему показалось, что на лице его министра застыло выражение ледяной иронии. С некоторых пор Хаким сожалел о том, что предоставил своим подчиненным слишком большую власть; и всякий раз, когда собирался действовать по собственному разумению, он с негодованием убеждался, что встречает сопротивление среди улемов, кяшифов и мудиров, всецело преданных Барджавану. Именно для того, чтобы вырваться из-под опеки Барджавана и самому принимать решения, он и начал совершать ночные прогулки с переодеваниями.

Видя, что совет разбирает лишь текущие дела, халиф остановил обсуждение и громко произнес:

— Давайте немного поговорим о голоде. Я обещал, что сегодня отрубят головы всем булочникам.

Со скамьи улемов поднялся старик и сказал:

— О повелитель правоверных, разве не ты помиловал одного из них этой ночью?

Халиф узнал голос говорившего и ответил:

— Да, это так. Но я даровал ему жизнь при условии, что хлеб будут продавать из расчета десять окк за цехин.

— Подумай, — сказал старик, — ведь эти несчастные платят десять цехинов за ардеб муки. Накажи лучше тех, кто продает муку за эту цену.

— Кто они?

— Мультазимы, кяшифы, мудиры и сами улемы, которые хранят огромные запасы муки в своих домах.

Члены совета испуганно зашептались, все они владели домами в Каире.

Обхватив голову руками, халиф несколько минут размышлял. Разгневанный Барджаван хотел было ответить на слова старого улема, но раздался громовой голос Хакима.

— Сегодня, — сказал он, — в час вечерней молитвы я выйду из своего дворца на острове Рода, переправлюсь на фелюге через Нил, и там на берегу меня будут ждать начальник стражи и палач; по левому берегу Халига я войду в Каир через ворота Бабат-Тахла прямо к мечети Рашида. Я буду заходить по дороге в дома мультазимов, кяшифов, улемов и спрашивать, нет ли у них зерна. И там, где его не будет, я прикажу отрубить голову хозяину.

Везир Барджаван не осмелился выступить на заседании совета после халифа, но, когда тот возвращался в свои покои, везир догнал его и сказал:

— Государь, вы этого не сделаете!

— Убирайся прочь, — гневно крикнул Хаким. — Помнишь, когда я был ребенком, ты в шутку дразнил меня ящерицей. Так вот, ящерица превратилась в дракона.

МАРИСТАН

В тот же вечер, когда наступил час молитвы, Хаким вошел в город со стороны казарм, за ним следовали началь-

ник стражи и палач. Хаким заметил, что улицы, по которым они шли, были освещены. На всем пути халифа стояли простые люди и держали свечи; перед домами ученых, кяшифов, нотариусов и других видных особ, названных в указе, собрались небольшие группы. Если в доме, куда заходил халиф, обнаруживали запасы зерна, он приказывал раздать зерно толпе и записывал имя хозяина.

— Я обещаю вам, — говорил он, — что вашей голове ничего не грозит, но впредь не храните так много зерна, ведь это означает, что вы либо живете в роскоши среди всеобщей нищеты, либо перепродаете зерно на вес золота и тем самым истощаете государственную казну.

Посетив несколько домов, он послал офицеров осматривать другие, а сам отправился в мечеть Рашида, чтобы помолиться: была пятница. Каково же было его удивление, когда, войдя в мечеть, он услышал, как кто-то с кафедры провозгласил в его честь:

— Да славится имя Хакима на земле и на небесах! Вечная хвала живому богу!

Несмотря на ликование народа по поводу принятых халифом мер, эта неожиданная молитва возмутила истинных правоверных; они кинулись к кафедре, чтобы стащить с нее святотатца, но тот сам с величественным видом сошел с нее и двинулся через удивленную толпу, заставляя расступаться возмущенных; увидев его вблизи, люди шептали: «Это слепой! На нем печать господа».

Хаким узнал старика с площади Румейла. И как в бессонную ночь, когда непостижимым образом стирается грань между реальностью и самыми сокровенными грезами, он ощутил, словно громом пораженный, как нерасторжимо переплелись его истинная жизнь и тайная, несущая ему моменты наивысшего исступления. Однако разум противился этому новому ощущению, и, не желая более оставаться в мечети, халиф сел на коня и отправился во дворец.

Он позвал везира Барджавана, но того не нашли. Поскольку настало время ехать в аль-Мукаттам изучать расположение светил, халиф отправился в обсерваторию и поднялся на верхний этаж, здесь в куполе было проделано двенадцать отверстий — по числу созвездий. Сатурн, планета Хакима, была серовато-свинцового цвета, а Марс, в чью честь город был назван Каиром, излучал зловещий красный свет, предвещавший войны и бедствия. Хаким спустился на первый этаж, где еще его дед Муизз ли Диналлах установил каббалистический стол. В центре круга по-халдейски были написаны названия всех стран мира и стояла бронзовая статуя всадника, вооруженного копьем, которое он обычно держал прямо; но, когда на Египет шли враги, всадник опускал копье и поворачивался лицом к стране, откуда они наступали. Хаким увидел, что всадник стоял лицом к Аравии.

— Опять эти Аббасиды! — вскричал он. — Опять эти выродки, сыновья Омара, которых мы уже били в их собственной столице Багдаде! Но что мне сейчас эти неверные! Ведь в моих руках громы и молнии!

Поразмыслив еще немного, халиф все же решил, что он не более могуществен, чем обычно; гашиш больше не действовал, и убежденность Хакима, что он бог, уже не сопровождалась верой в свои сверхчеловеческие силы.

— Ну что ж, — сказал он, — пойдем посмотрим, что скажет мне сладкий хмель забвения.

И он отправился предаваться блаженству под действием замечательной смеси, которая, быть может, и есть та самая амброзия — пища бессмертных.

Верный Юсуф уже ждал его, мечтательно созерцая воды Нила, мрачные и спокойные, их уровень упал до отметки, предвещавшей засуху и голод.

— Брат мой, — сказал Хаким, — ты грезишь о любви? Скажи мне, кто твоя избранница, и, клянусь, ты ее получишь!

— Увы, я не знаю, — ответил Юсуф. — С тех пор как хамсин опаляет ночи своим дыханием, я не видел больше на Ниле ее золотую лодку. Даже если я снова ее увижу, осмелюсь ли я спросить, кто она? Иногда мне кажется, что все это только галлюцинации, вызванные коварной травой, которая, возможно, действует на мой разум так, что сам я уже не могу отличить сон от яви.

— Ты так считаешь? — с волнением спросил Хаким. Затем, поколебавшись, добавил: — Какое это имеет значение, забудем сегодня все.

Опьяненные гашишем, друзья, как ни странно, всегда ощущали родство душ.

Юсуф часто воображал себе, как его друг, устремившись на небо, отринув от себя эту грешную землю, недостойную его величия, протягивает ему руку и увлекает за собой ввысь через звездные вихри и белую пыль созвездий; он видел, как стремительно приближается и увеличивается в размерах бледный Сатурн с ярким кольцом из семи лун, а дальше Юсуф уже не мог себе представить, что произойдет с ними во время этого небесного путешествия. Язык людей способен передавать лишь ощущения, свойственные человеческой натуре; а когда друзья беседовали в своем божественном сне, они не прибегали к земным словам.

Погрузившись в забытье, когда им уже казалось, что их тела стали невесомыми, Хаким вдруг начал судорожно извиваться и кричать: *иблис! иблис!* (сатана). В тот же миг в окель вломились зебеки, впереди них — везир Барджаван. Он велел оцепить зал и схватить всех неверных, которые нарушили указ халифа, запрещающий употреблять гашиш и опьяняющие напитки.

— Демон! — вскричал халиф, очнувшись и придя в себя. — Я искал тебя, чтобы отрубить голову! Я знаю, это ты устроил голод и раздал своим подручным зерно из государственных амбаров! На колени перед повелителем правоверных! Сначала ответь мне, а потом умрешь!

Барджаван нахмурил брови, но в его суровых глазах играла насмешка.

— В Маристан, на цепь этого безумца, возомнившего себя халифом! — властно приказал он страже.

Понимая, что на сей раз ему не спасти друга, Юсуф кинулся к лодке.

Маристан, который сейчас примыкает к мечети Калауна, был в те времена огромной тюрьмой, и только часть его отводилась для буйнопомешанных. На Востоке чтят безумцев и под стражей содержат лишь тех, кто представляет собой опасность для общества. Проснувшись наутро в темной камере, Хаким понял, что ему ничего не добиться в своих одеждах феллаха, даже если он будет впадать в ярость или доказывать, что он — халиф. Впрочем, здесь уже содержалось пять халифов и несколько богов. Таким образом, присваивать себе последний титул было не так уж почетно. Впрочем, Хаким, тщетно пытаясь порвать цепи, все же был абсолютно уверен в том, что его божественная сущность, заключенная в жалкую человеческую оболочку, подобно индийским буддам и другим воплощениям Высшего Разума, становилась беззащитной перед людским коварством и грубой силой. Он подумал даже, что положение, в котором он очутился, было для него не ново. «Главное, — сказал он себе, — постараться избежать побоев.» Это было нелегко, потому что именно таким способом здесь обычно лечили помутнение рассудка. Настал час посещения врача, тот пришел вместе с другим врачом, чужеземцем. Хаким вел себя очень осторожно: он не подал виду, что удивлен этим визитом. Он сказал только, что его недолгое умственное расстройство было следствием употребления гашиша, а сейчас он чувствует себя не хуже, чем обычно. Врач стал переговариваться со своим спутником, обращаясь к нему с большим почтением. Тот покачал головой и сказал, что у умалишенных часто бывают минуты просветления и с помощью хитроумных уловок они добиваются

того, чтобы их выпустили на свободу. Однако он не видел никаких препятствий к тому, чтобы этот больной ходил во двор на прогулки.

— Вы тоже врач? — спросил халиф у чужеземца.

— Это король мудрейших, — воскликнул тюремный лекарь, — это великий Ибн Сина, Авиценна, он прибыл недавно из Сирии и соизволил посетить Маристан.

Имя знаменитого Авиценны, ученого врача, владеющего тайнами здоровья и долголетия людей, которое для простого человека звучало как имя кудесника, способного творить любые чудеса, произвело сильное впечатление на халифа. Забыв об осторожности, он воскликнул:

— О ты, пришедший ко мне, как некогда к Исе (Иисусу), покинутому всеми, бессильному перед кознями дьявола и дважды неузнанному ни как халиф, ни как бог, о ты, мудрейший, придумай что-нибудь, помоги мне побыстрее освободиться. Если ты веришь, поведай обо мне всем, если нет — будь проклят!

Авиценна не ответил, он повернулся к врачу и покачал головой:

— Вот видите, разум уже покидает его... — и добавил: — К счастью, подобные идеи никому не причиняют вреда. Я всегда утверждал, что конопля, из которой приготовляют пасту гашиша, — это и есть та самая трава, которая, по словам Гиппократа, вызывала нечто вроде бешенства у животных, заставляя их бросаться в море. Гашиш знали уже во времена Соломона: слово «гашишот» упоминается в «Песни песней», где описано опьяняющее действие этой смеси.

Продолжения Хаким не слышал, так как врачи перешли в другую палату. Он остался один во власти самых противоречивых чувств; Хаким уже сомневался, бог ли он, а иногда даже не был уверен, что он — халиф, голова шла кругом. Воспользовавшись предоставленной ему некоторой свободой, он подошел к несчастным, сидящим во дворе в самых

причудливых позах, и стал прислушиваться к их пению и речам. Некоторые из них заинтересовали его.

Один из безумцев, собрав всевозможные палочки и камешки, соорудил себе тиару, украсив ее осколками стекла, а на плечи накинул лохмотья, покрытые блестящей вышивкой, которую он изобразил с помощью мишуры.

— Я, — говорил он, — *Каим аз-Заман* (властелин времени) и извещаю вас, что час пробил!

— Ты лжешь, — отвечал другой, — ты самозванец; ты из дивов и хочешь нас обмануть.

— Кто же я, по-твоему? — спрашивал первый.

— Ты не кто иной, как Тамурат, последний царь мятежных джиннов. А помнишь, кто победил тебя на острове Серандиб? Адам, то есть я. На моей могиле до сих пор висят твои копье и щит.

— На твоей могиле! — с хохотом вскричал другой. — Да ее и в природе нет. Рассказывай!

— Я имею право говорить о своей могиле, потому что уже шесть раз жил среди людей и шесть раз, как положено, умирал; мне сооружали великолепные надгробия, но вот твое-то найти будет нелегко, ведь вы, дивы, живете лишь в телах мертвых!

Вслед за этими словами несчастного повелителя дивов раздался всеобщий смех, тот встал, разъяренный, а другой, воображавший себя Адамом, ребром ладони сбил с него корону.

Первый сумасшедший бросился на него, и битва двух врагов неминуемо возобновилась бы пять тысяч лет спустя (по их подсчетам), если бы один из надзирателей не разогнал их ударами плети из бычьих жил, которые он, кстати говоря, раздавал невзирая на титулы.

Невольно задаешь себе вопрос: для чего было Хакиму с таким интересом слушать эти бессмысленные речи, а иногда даже самому вызывать их несколькими умелыми репликами? Единственный здравомыслящий среди людей

с потревоженным рассудком, он молча погружался в воспоминания.

Странно, но, может быть, из-за его сурового вида сумасшедшие относились к нему с уважением; никто из них не осмеливался задерживать взгляд на его лице, но что-то заставляло их собираться вокруг него, словно растения, которые в предрассветные часы уже поворачиваются в сторону еще не появившихся солнечных лучей.

Если простые смертные сами не в состоянии постичь, что происходит в душе человека, который внезапно понимает, что он — пророк или бог, то легенды и история рассказывают, какие сомнения и тоска гложут эти божественные души в то смутное время, когда их ум освобождается от кратковременных пут перевоплощения. Случалось, что сам Хаким начинал сомневаться, как некогда Сын Человеческий на Масличной горе, но больше всего его удручало сознание того, что собственная божественная сущность открывалась ему только в состоянии экстаза, вызванного гашишем. «Значит, — говорил он себе, — существует нечто более сильное, чем тот, кто выше всех на этом свете, и это всего-навсего полевая трава. Воистину, обычный червяк доказал, что он могущественнее, чем Соломон, когда прогрыз посередине и сломал посох, на который опирался этот повелитель духов; но кто такой этот Соломон по сравнению со мной, если я — подлинный *Альбар* (Вечный)?»

ПОЖАР КАИРА

По злой насмешке судьбы случилось так, что однажды Маристан посетила принцесса Ситт аль-Мульк. Как это принято у царственных особ, она приходила с утешением к заключенным. Пройдя по части здания, отведенной под тюрьму, она захотела посмотреть и отделение для умалишенных.

Принцесса была закутана в покрывало, но Хаким узнал ее по голосу и не мог сдержать своего гнева, увидев рядом с нею министра Барджавана; спокойный и улыбающийся, он показывал ей помещение.

— Здесь, — говорил он, — содержат несчастных, которые находятся во власти всевозможных бредовых идей. Один считает, что он — повелитель джиннов, другой утверждает, что он — Адам, но вот перед вами самый большой честолюбец; он поразительно похож на вашего брата халифа.

— Это и правда удивительно, — сказала Ситт аль-Мульк.

— Так вот, — продолжал Барджаван, — это сходство и стало причиной его несчастий. Наслушавшись, что он как две капли воды похож на халифа, он вообразил себя халифом; но это ему было недостаточно, и он решил, что он — бог. Сам же он — ничтожный феллах, разум которого помутился, как и у многих других, от неумеренного употребления дурманящих снадобий... Интересно было бы посмотреть, что он скажет в присутствии самого халифа...

— Презренный! — вскричал Хаким. — Так, значит, ты отыскал двойника, который похож на меня и занял мое место?

Он замолчал, почувствовав, что осторожность покидает его, а это может подвергнуть его жизнь новым опасностям; к счастью, его слов никто не расслышал из-за гвалта, поднятого сумасшедшими; эти несчастные осыпали Барджавана проклятиями, особенно тяжкие оскорбления наносил ему царь дивов.

— Подожди, — кричал он ему, — подожди, пока я умру, тогда мы с тобой еще встретимся.

Барджаван пожал плечами и вышел вместе с принцессой. Хаким даже не пытался напомнить ей о себе. Поразмыслив, он пришел к выводу, что интрига слишком хорошо сплетена, чтобы разорвать ее мгновенно. Или действительно она его не узнала, принимая за какого-то самозванца, или

же его сестра в сговоре с министром решили проучить его, заперев на несколько дней в Маристан. Может быть, они надеялись позднее воспользоваться оглаской, которую получит это дело, и захватить власть, а над Хакимом учредить опеку. Возможно, это предположение было не лишено оснований, так как принцесса, покидая Маристан, пообещала имаму мечети пожертвовать большую сумму денег на расширение и улучшение отделения, предназначенного для сумасшедших, с тем, сказала она, чтобы эта обитель была достойна даже халифа.

После ухода сестры и министра Хаким сказал лишь: «Так и должно было быть!». И он вернулся к прежнему образу жизни, ничем не нарушая своей обычной кротости и терпения. Лишь изредка он вел длительные беседы с теми из своих товарищей по несчастью, у кого наступали минуты просветления, а также с обитателями другой части Маристана, которые часто стояли у решетки, разделявшей двор, чтобы посмотреть на выходки соседей. Хаким встречал их столь мудрыми речами, что несчастные часами не отходили от него и смотрели как на одержимого (*мальбус*). Не потому ли первыми слово божье всегда слышат отверженные? И за тысячу лет до этого первыми слушателями мессии были бедняки и мытари.

Войдя к ним в доверие, Хаким заставлял их одного за другим рассказывать ему свою жизнь, историю своих прегрешений и преступлений и отыскивал глубинные причины, толкнувшие их на это; и, как всегда, виной тому были невежество и нищета. Они рассказывали ему также о тайнах каирской жизни, об уловках ростовщиков и крупных торговцев, законников и цеховых старшин, сборщиков налогов и самых видных негоциантов Каира; рассказали о том, как эти люди сговариваются между собой, как укрепляют свою власть брачными союзами, как они подкупают других и как подкупают их самих, как они по собственной прихоти повышают или понижают цены, как по их желанию воз-

никают голод или изобилие, война или мятеж, как они, никому не подвластные, угнетают народ, лишая его самого необходимого для жизни. Таков был итог правления Барджавана, который был опекуном халифа в годы его несовершеннолетия.

Затем по тюрьме поползли зловещие слухи, их распространяли сами стражники. Говорили, что к городу приближается чужеземное войско, что оно уже стоит лагерем на равнине Гизе, что в Каире готовится измена — город сдадут без боя, что господа, улемы и торговцы в страхе за свое богатство готовятся открыть ворота и уже подкупили военачальников. Говорили, что вражеский генерал вот-вот войдет в город через ворота Баб аль-Хадид. С этого времени род Фатимидов лишится трона, в Каире, как и в Багдаде, будут править халифы Аббасиды, и в молитвах будет упоминаться их имя. «Так вот что уготовил мне Барджаван, — подумал халиф, — вот что предвещал талисман моего отца и вот почему на небе померк Фаруис (Сатурн)! Но пришло время посмотреть, что может сделать мое слово и буду ли я побежден, как некогда назарянин».

Приближался вечер. Узники Маристана собрались во дворах на обычную молитву. Хаким обратился сразу к безумцам и к преступникам, которых разделяли решетчатые ворота; он сказал им, кто он есть на самом деле и чего он от них ждет, сказал с такой властностью и убежденностью, что никто не посмел усомниться в его словах. В мгновение ока тысячи рук сломали решетки, и смертельно перепуганные стражники сами открыли двери, ведущие в мечеть. Халифа внесла туда на руках толпа отверженных, в которых его голос вселял надежду и смелость.

— Вот халиф! Вот подлинный повелитель правоверных! — кричали заклейменные людским судом.

— Вот Аллах! Он идет творить божий суд! — горланили сумасшедшие. Двое из них встали по обе стороны от Хакима и кричали:

— Идите все на суд, который вершит владыка наш Хаким!

Собравшиеся в мечети правоверные сперва не могли понять, что нарушило их молитву, но из-за общего беспокойства, вызванного приближением неприятеля, все были готовы к любому повороту событий. Одни разбежались, сея тревогу по улицам, другие кричали: «Сегодня день Страшного Суда!». Услышав эти слова, возрадовались самые бедные и страждущие: «Наконец-то, Господи, наконец пришел Твой день».

Когда Хаким показался на ступенях мечети, от лица его исходило сияние; его длинные и развевающиеся волосы вопреки обычаю мусульман ниспадали на пурпурную мантию, которую кто-то из сопровождающих накинул ему на плечи. Даже евреи и христиане, которых всегда много на улице Сукария, пересекающей базар, пали ниц, говоря:

— Это или настоящий мессия, или антихрист. В Священном Писании сказано, что он придет через тысячу лет после Христа!

Некоторые узнали государя, но они не могли взять в толк, как он оказался в центре города, тогда как, по общему мнению, он в это время вел войска против неприятеля, стоявшего на равнине, вблизи пирамид.

— О мой народ! — обратился Хаким к обступившим его беднякам. — Вы — мои истинные сыны. Это не мой, это ваш день настал. Опять, в который раз, пришли времена, когда глас небесный утратил власть над душами человеческими, времена, когда добродетель оборачивается преступлением, слава — стыдом, мудрость — безумием, когда все идет наперекор правде и справедливости. Но и в такие времена голос свыше просветляет умы, как молния перед громом, и тогда раздается клич: «Сгинь, Енох, город детей Каиновых, город нечестивцев и тиранов! Горе тебе, Гоморра, горе вам, Ниневия и Вавилон, горе тебе, Иерусалим!» Этот клич не смолкает, он звучит из века в век и несет возмездие отступникам,

но всегда есть время покаяться... Изо дня в день сокращается это время, и гром ударяет сразу вслед за молнией. Так покажем сейчас, что и слово — оружие и что наконец наступит царствие, приход которого предвещали пророки. Вам, дети мои, отдаю я этот город, разжиревший на обмане, ростовщичестве, несправедливости и грабеже; вам отдаю эти награбленные сокровища, эти украденные богатства. Покарайте эту преступную роскошь, эту ложную добродетель, эти заслуги, купленные за золото, это предательство, которое, прикрываясь словами о мире, продало вас врагу! Огню, огню предайте этот город, который мой предок Муизз ли Диналлах основал под знаком победы (*кахира*) и который стал теперь символом вашей трусости!

Кого — бога или властелина — видела в нем толпа? Нет сомнения, им руководил Высший Разум, который выше людского суда; в противном случае его гнев разил бы без разбору, как злая воля освобожденных им преступников. В считанные мгновения пламя поглотило базары, вплоть до кедровых крыш, и дворцы с их резными террасами и легкими колоннами; самые богатые горожане Каира бежали, оставив народу свои дома на разграбление. Страшная ночь, когда государев гнев вылился в мятеж, а десница божья карала адским мечом!

Пожары и грабежи длились три дня. Обитатели богатых кварталов защищались с оружием в руках; вместе с ними против заключенных и черни, исполнявших приказы Хакима, сражались греческие солдаты и кутама, берберские солдаты, которыми руководил Барджаван. Первый везир распустил слух, что Хаким — самозванец, что настоящий халиф находится с войсками у Гизе. На площадях и в садах Каира при свете пожарищ развернулась ужасающая битва. Хаким на высотах Карафы под открытым небом вершил кровавый суд; согласно легенде, он явился в сопровождении ангелов, рядом были Адам и Соломон, первый отвечал за людей, второй — за джиннов. На суд привели всех, на кого указал на-

родный гнев; суд был скорым — головы катились с плахи под одобрительные крики толпы; за три дня казнили несколько тысяч человек. Тем временем бои в центре города не утихали; наконец некий Рейдан ударом копья убил Барджавана и бросил его голову к ногам халифа; сопротивление тотчас прекратилось. Говорят, что, когда везир, пораженный в сердце, упал, испуская душераздирающие крики, безумцы Маристана, наделенные даром ясновидения, закричали, что в этот миг они видели, как из бренных останков Барджавана вылетел *иблис* (сатана) и призывал к себе на помощь других демонов, обитавших в телах его сторонников. Битва, начавшаяся на земле, продолжалась на небесах; фаланги противоборствующих сил перестраивались и вели свой вечный бой с непримиримостью разбушевавшейся стихии. По этому поводу арабский поэт сказал:

«О Египет, Египет! Ты хорошо знаешь эти тяжкие битвы ангелов добра и зла, когда огнедышащий Тифон поглощает воздух и свет; когда чума косит трудолюбивый люд; когда уменьшаются паводки плодородного Нила; когда облака саранчи пожирают всю зелень полей.

Но силам ада недостаточно этих грозных бедствий; они населяют землю душами жестокими и алчными, которые под обличьем людей прячут коварство змей и шакалов!»

На четвертый день, когда уже сгорела половина города, в мечетях собрались шерифы и, подняв к небу кораны, вскричали: «О Хаким! О Аллах!» Но молитва эта шла не от сердца. И тогда старец, который раньше всех уверовал в божественную сущность Хакима, предстал перед ним и сказал:

— Владыка наш, довольно, останови эти разрушения во имя предка твоего Муизз ли Диналлаха.

Хаким хотел задать несколько вопросов этому странному человеку, который являлся перед ним лишь в грозный час, но тот уже исчез, смешавшись с толпой.

Хаким, как обычно, сел на своего серого осла и поехал по городу, обращаясь к людям со словами примирения и милосердия. С этого времени отменялись суровые законы против христиан и евреев: первых он освободил от обязательного ношения тяжелого деревянного креста на плечах, вторых — от ярма на шее. Одинаковой терпимостью ко всем культам Хаким хотел исподволь подготовить умы к принятию нового учения. Специально для духовных собраний отводились помещения, которые назывались «домами мудрости», и ученые мужи начали публично обосновывать божественность Хакима. Но человеческий ум восстает против верований, не освященных временем, и во всем Каире нашлось не более тридцати тысяч его приверженцев. Объявился некто аль-Мушаджар, который говорил сторонникам Хакима: «Тот, к кому вы взываете вместо бога, не может ни сотворить муху, ни помешать мухе докучать ему».

Халиф, узнав об этих словах, велел дать аль-Мушаджару сто золотых монет, чтобы доказать, что он никого не хочет принуждать веровать в себя. Другие говорили: «Всему роду Фатимидов присущи такие бредовые мысли. Дед Хакима, Муизз ли Диналлах, скрывался несколько дней, а потом объявлял, что он возносился на небо; затем он укрылся в каком-то подземелье, и стали говорить, что он не умер, как все люди, а просто исчез с лица земли». Все эти разговоры, доходившие до Хакима, повергли его в глубокую задумчивость.

ДВА ХАЛИФА

Халиф возвратился к себе во дворец на берегу Нила, и жизнь вошла в привычное русло. Однажды он зашел к своей сестре Ситт аль-Мульк и велел ей готовиться к свадьбе, которую собирался устроить тайно, боясь вызвать негодование народа: ведь народ не был еще убежден в божественной

сущности Хакима и мог возмутиться подобным нарушением установленных законов. На церемонии в дворцовой мечети должны были присутствовать только евнухи и рабы; что же касается празднеств, которыми обычно сопровождаются подобные браки, то жители Каира, привыкшие к факелам на стенах сераля и звукам музыки, которые приносил с другого берега реки ночной ветер, вряд ли обратят внимание или удивятся. Позже, когда настанет благоприятный час, а люди будут благожелательно настроены, Хаким во всеуслышание объявит об этом тайном бракосочетании.

Наступил вечер, халиф переоделся и, как обычно, направился в обсерваторию аль-Мукаттам, чтобы взглянуть на положение звезд. Небо не предвещало Хакиму ничего доброго: зловещее расположение планет, спутанный узел звезд предсказывали скорую смерть. Но как бога, сознающего свое бессмертие, его не слишком встревожили эти небесные предостережения, которые угрожали лишь его бренному телу. Однако сердце сжалось от острой тоски, и, отказавшись от обычной прогулки, Хаким вернулся во дворец вскоре после полуночи. Переезжая на лодке через реку, он с удивлением увидел, что дворцовые сады освещены, как во время праздника.

На деревьях, словно рубины, сапфиры и изумруды, горели фонарики, из-под листвы били серебряные струи ароматической жидкости, по мраморным желобкам текла вода, а от алебастровых резных плит дворца исходили самые изысканные запахи, смешиваясь с благоуханием цветов. Чарующие звуки музыки словно лились с небес и перемежались пением птиц: обманутые этими огнями, они славили новую зарю. И на этом сверкающем фоне среди моря света вырисовывались четкие линии дворцового фасада.

Хаким был безмерно удивлен: кто здесь осмеливается устраивать праздник в его отсутствие? Какого незваного

гостя могут встречать такими почестями в столь поздний час, когда эти сады обычно пустынны и тихи. Но на сей раз он не притрагивался к гашишу и не мог стать жертвой галлюцинаций. Он пошел в сад. В центре персидского ковра, окруженного факелами, словно змеи, извивались танцовщицы в ослепительных нарядах. Казалось, они не замечали халифа. У входа во дворец он увидел толпу рабов и слуг, несших золотые чаши с замороженными фруктами и вареньем, серебряные кувшины с шербетом. Хотя он шел бок о бок с ними, иногда даже задевая их, никто не обращал на него ни малейшего внимания. Его охватило тайное беспокойство. Ему казалось, что он превратился в тень, в бесплотный дух; как невидимка, проходил он через толпы людей, словно на пальце у него было надето волшебное кольцо Гигеса.

Когда он подошел к последнему залу, его ослепил поток света: тысячи свечей в серебряных канделябрах сверкали, словно огненные цветы, сливая свои пылающие лучи. Гремела музыка спрятанного на галерее оркестра. В волнении халиф укрылся за тяжелыми складками парчовой портьеры. Он увидел, что в глубине зала, на диване, рядом с Ситт аль-Мульк сидит человек, на его одежде среди блеска и сияния драгоценных камней мерцали россыпи бриллиантов. Можно было смело утверждать, что на костюм этого нового халифа ушли все сокровища Харуна ар-Рашида.

Вообразите, как был потрясен Хаким этой неожиданной сценой; он схватился за висевший на поясе кинжал, чтобы броситься на незнакомца, но его удержала какая-то непреодолимая сила. Это зрелище казалось ему предостережением свыше, но он был еще больше ошеломлен, когда узнал в человеке, сидевшем рядом с его сестрой, себя самого. Он решил, что это его двойник, а для восточных людей самое худшее предзнаменование — увидеть собственное привидение. Тень заставляет тело последовать за нею.

Здесь же появление двойника было тем более угрожающим, что он предвосхитил исполнение плана, задуманного самим Хакимом. В действиях этого фантастического халифа, праздновавшего свадьбу с Ситт аль-Мульк, на которой собирался жениться он сам, настоящий халиф, вероятно, скрывался какой-то загадочный смысл, таинственное и ужасное предзнаменование! Не было ли это какое-то ревнивое божество, которое собиралось захватить власть на небе, вырвав Ситт аль-Мульк из рук брата, разлучив чету, которую провидение предназначало друг другу от сотворения мира? А может быть, племя дивов пыталось таким образом помешать соединению носителей Высшего Разума, подменив их своим гнусным отродьем? Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Хакима. Охваченный яростью, он мечтал наслать землетрясение, потоп, огненный дождь или иное стихийное бедствие, но вспомнил, что он лишь простой смертный на этой земле и способен только на то, что в человеческих силах.

Сокрушаясь, что он не может громогласно заявить о себе, Хаким удалился и вернулся на берег Нила.

Через несколько минут калитка сада открылась, и в темноте Хаким различил две тени, одна из которых была темнее другой. Благодаря слабым отблескам, исходившим от неба, земли и воды, темнота на Востоке никогда не бывает кромешной, поэтому ему удалось разглядеть, что это были молодой араб и гигант эфиоп.

Дойдя до кромки воды, юноша опустился на колени, негр встал около него, в ночи, словно молния, блеснул меч из дамасской стали. Однако, к изумлению халифа, голова не упала с плеч; негр наклонился к юноше и прошептал ему что-то на ухо, после чего тот спокойно поднялся, никак не выражая своей радости, будто все происходящее его не касалось. Эфиоп вложил меч в ножны, а юноша двинулся вдоль берега как раз по направлению к Хакиму, наверное, к ожидавшей его лодке. Он столкнулся лицом к лицу с

халифом, который сделал вид, что только что проснулся. Халиф сказал:

— Мир тебе, Юсуф, что ты здесь делаешь?

— И тебе мир, — ответил Юсуф, который по-прежнему видел в Хакиме лишь товарища по приключениям и не удивился, застав его спящим на берегу, как делают все дети Нила в душные летние ночи.

Юсуф пригласил его к себе в лодку, и они поплыли по течению вдоль восточного берега. Заря уже осветила красноватыми отблесками ближнюю равнину, где вырисовывались стоявшие на краю пустыни руины Гелиополя. Хаким выглядел задумчивым, он внимательно вглядывался в лицо своего спутника, черты которого становились все более отчетливыми при свете дня, и убеждался, что между ними существует определенное сходство, которого он раньше не замечал, потому что они виделись лишь ночью или в хмельном тумане. Он больше не сомневался в том, что перед ним недавнее видение-двойник, которого, возможно, заставили играть роль халифа, пока Хакима держали в Маристане. Однако и в этом логичном объяснении оставалось много неясного.

— Мы похожи, как братья, — сказал он Юсуфу, — иной раз так случается, если происходишь из одних и тех же мест. Откуда ты родом, друг?

— Я родился у подножия Атласа, в Магрибе, среди берберов и кабилов. Я не знал отца, которого звали Даввас, — его убили в бою вскоре после моего рождения; мой предок в далекие времена был шейхом этой страны, затерявшейся в песках.

— Мои предки тоже происходили из этой страны, — сказал Хаким, — кто знает, может быть, мы вышли из одного племени... но какое это имеет значение? Наша прочная и искренняя дружба не нуждается в узах крови. Скажи мне, почему я не вижу тебя последние дни?

— О чем ты спрашиваешь? — сказал Юсуф. — Эти дни, или, точнее, эти ночи — потому что днем я сплю — прошли

как чудесные сны, полные очарования. После того как стража напала на нас в океле и разлучила, я снова встретил на Ниле чудное видение, в реальности которого я уже не мог сомневаться. Закрывая мне рукой глаза, чтобы потом я не смог найти обратной дороги, она провела меня в великолепный сад, а оттуда в роскошные покои, где гений архитектора превзошел те сказочные дворцы, что рождаются в дурмане гашиша. Странная у меня судьба! Мои бдения более фантастичны, чем мои сны. Казалось, во дворце никого не удивляло мое присутствие, и, когда я шел, все почтительно склоняли предо мной головы. Затем эта необычная женщина посадила меня у своих ног, и я захмелел от ее речей и от ее взгляда. Каждый раз, когда она поднимала на меня глаза, обрамленные бархатными ресницами, мне казалось, что предо мной открывались двери рая. Ее мелодичный голос погружал меня в невыразимое блаженство. Моя душа, убаюканная этой божественной мелодией, таяла от наслаждения. Рабы принесли изысканные кушанья: варенье из роз, шербет со льдом, которых она едва касалась губами; такое небесное создание, такое совершенство питается, наверное, только ароматами, росой и светом. Однажды она произнесла магические слова, и плита в полу, испещренная таинственными печатями, отодвинулась. Мы спустились в подземелье, где хранятся сокровища; она показала мне свои богатства, сказав, что все это станет моим, если я буду храбр и буду любить ее. Я увидел там больше чудес, чем в пещере горы Каф, где спрятаны сокровища ангелов: там были слоны из горного хрусталя; золотые деревья, на которых пели и махали крыльями птицы из драгоценных каменьев; павлины, веером распускавшие свои хвосты, украшенные солнцами бриллиантов; горы кристаллов камфоры, ограненных в форме дынь и покрытых сеткой филиграни; шатры из бархата и парчи на шестах из массивного серебра; каменные колодцы, наполненные, как зерном, горами золота, серебра, жемчуга.

Хаким, который внимательно слушал Юсуфа, спросил:

— Знаешь ли ты, брат мой, что то, что ты видел, — это сокровища Харуна ар-Рашида, увезенные Фатимидами, они могут находиться только во дворце халифа?

— Я не знал этого, но по красоте и богатству моей незнакомки догадался, что она высокого происхождения, может быть, родственница великого везира, жена или дочь какого-нибудь важного эмира! Но зачем мне знать ее имя? Она любит меня, разве этого не достаточно? Вчера, когда я пришел на условленное место, я застал там рабов: они меня омыли, умастили благовониями, нарядили в роскошные одежды, наверное, сам халиф Хаким не мог бы носить лучшие. Сад был празднично освещен, как будто готовилась свадьба. Моя возлюбленная разрешила мне сесть подле нее на диване, положила свою руку на мою и одарила меня взглядом, полным томления и страсти. Внезапно она побледнела, словно увидела страшное привидение, роковую тень, пришедшую, чтобы омрачить праздник. Нетерпеливым жестом она отпустила рабов и прошептала мне срывающимся голосом:

— Я погибла! Я увидела за портьерами горящие глаза цвета сапфира, эти глаза не знают пощады. Достаточно ли ты любишь меня, чтобы умереть? — Я заверил ее, что предан ей безгранично. — Нужно, — продолжала она, — чтобы ты исчез, словно тебя никогда не было, чтобы на земле не осталось твоего следа, чтобы ты растворился, чтобы твое тело распалась на неосязаемые частицы, которые тоже должны бесследно исчезнуть, иначе тот, кто повелевает мной, придумает для меня такую страшную казнь, что содрогнутся злые дивы и задрожат от ужаса пр6клятые в аду. Иди за этим негром, он распорядится твоей жизнью так, как нужно.

За потайной дверью негр поставил меня на колени, как если бы собирался отрубить мне голову, он два или три раза взмахнул мечом, но, убедившись в моей твердости, сказал, что все это была игра, испытание, что принцесса хотела

проверить, действительно ли я столь храбр и так предан ей, как говорил.

— Будь завтра к вечеру в Каире у фонтана влюбленных, там тебе назначат новое свидание, — прибавил он, прежде чем вернуться в сад.

После этого рассказа у Хакима больше не оставалось сомнений относительно обстоятельств, которые разрушили его планы. Его удивляло только, почему ни измена сестры, ни любовь, которую питал юноша низкого происхождения к его сестре, не вызывали у него гнева. Быть может, после стольких кровавых казней он устал карать или, сознавая свое божественное начало, ощущал ту отцовскую любовь, которую бог должен испытывать к своим чадам? Беспощадный к злу, он чувствовал себя бессильным перед всепобеждающим даром молодости и любви. Была ли виновна Ситт аль-Мульк в том, что отвергла брак, который казался ей преступным? Был ли виновен Юсуф, когда полюбил женщину, не ведая, кто она? И вот халиф решил явиться на назначенное Юсуфу свидание, чтобы простить их и благословить этот союз. Только с этой целью он вызвал Юсуфа на откровенность. Но в голове у него проносились мрачные мысли, теперь его беспокоила собственная судьба. Обстоятельства складывались неблагоприятно, и даже его воля бессильна перед ними. Прощаясь, он сказал Юсуфу:

— Мне жаль приятных вечеров, проведенных в океле. Мы туда еще вернемся, ведь халиф отменил указы, запрещающие гашиш и опьяняющие напитки. Мы вскоре опять увидимся, друг мой.

Возвратившись во дворец, Хаким вызвал к себе начальника охраны Абу Аруса, который в ту ночь нес дежурство во главе отряда в тысячу человек, и приказал всем быть в казармах; он хотел, чтобы все ворота Каира были заперты, когда он отправится в свою обсерваторию, и только одни ворота должны были открыться по условленному сигналу,

когда он соблаговолит вернуться. В тот вечер его проводили до конца улицы Дарб ас-Сиба; там он сел на осла, которого его люди держали наготове в доме у евнуха Несима, стража ворот, и он выехал за город, как обычно, в сопровождении пешего слуги и юноши раба. Взобравшись на гору и еще не успев подняться в башню обсерватории, он взглянул на звезды и вскричал:

— Ты все же появился, предвестник несчастья!

Затем он встретил несколько всадников-арабов, они узнали его и попросили о помощи, он отправил их со своим слугой к евнуху Несиму, чтобы тот дал им денег; затем он поехал по дороге к некрополю, расположенному слева от горы аль-Мукаттам. Он почти уже достиг мавзолея Фоккай, как вдруг в местечке, называвшемся Максаба, где росло много тростника, на него напали трое вооруженных кинжалами; но едва они нанесли первые удары, как один из них при свете луны узнал Хакима и бросился на двух других. Он дрался с ними до тех пор, пока сам не упал рядом с халифом, крикнув: «О брат мой!». Так по крайней мере рассказывал раб, которому удалось спастись. Он прибежал в Каир и известил Абу Аруса, но, когда стражники прибыли на место убийства, они не нашли ничего, кроме окровавленных одежд и серого осла по кличке Камар, у которого были перерезаны сухожилия.

ОТЪЕЗД

Так закончилась история халифа Хакима. Шейх замолчал и погрузился в глубокую задумчивость. Рассказ об этой жизни, полной страданий, правда, менее трагической, чем жизнь Христа, меня глубоко взволновал — может быть, потому, что во время своего недавнего пребывания в Каире я видел места, где разворачивались эти события: карабкался по склонам горы аль-Мукаттам, на которой сохранились

остатки обсерватории Хакима. Кем бы он ни был — богом или человеком, халиф Хаким, столько раз оклеветанный коптскими и мусульманскими историками, по-видимому, стремился установить царство разума и справедливости. Я увидел в новом свете события, описанные аль-Макином, аль-Макризи, ан-Нувейри и другими писателями, чьи книги читал в Каире, и я оплакивал горькую судьбу, которая обрекает всех реформаторов, пророков, мессий на насильственную смерть, а позднее на людскую неблагодарность.

— Вы мне не рассказали, — заметил я шейху, — кто из врагов Хакима приказал убить его.

— Вы читали историков, — сказал он, — и, наверное, знаете, что Юсуф, сын Давваса, отправился на свидание к фонтану влюбленных. Там его встретили рабы, они отвели его в дом, где ждала переодетая принцесса Ситт аль-Мульк. Ей удалось уговорить Юсуфа убить Хакима, сказав, что Хаким собирался предать ее смерти; она обещала Юсуфу выйти за него замуж. Ее слова сохранила нам история: «Отправляйся на гору, он придет туда один, его будет сопровождать только слуга. Затем он спустится в долину, беги за ним и убей его; убей и слугу его, и юношу раба, если тот будет с ним». Она вручила ему обоюдоострый кинжал — *яфур*; затем она дала оружие двум рабам, велев им следовать за Юсуфом и убить его, если он не выполнит своей клятвы. Только нанеся первый удар халифу, Юсуф признал в нем своего спутника по ночным прогулкам; Юсуф пришел в ужас и бросился на рабов, но тут же упал, сраженный их ударами.

— А что сталось с телами? История говорит, что они исчезли, на этом месте нашли лишь осла и семь плащей Хакима, застегнутых на все пуговицы.

— Разве я говорил вам, что были тела? В наших преданиях об этом ничего не сказано. Звезды обещали халифу восемьдесят лет жизни, если он избежит опасности в эту ночь — двадцать седьмого шавваля четыреста одиннадцатого года хиджры. Неужели вы не знаете, что в течение ше-

стнадцати лет после его исчезновения народ Каира все еще считал, что он жив?

— Мне действительно приходилось слышать нечто подобное, но частные явления Хакима обычно приписывали самозванцам, таким, как Шерут, Сиккин и другие; они были похожи на него и пользовались этим сходством. Такое нередко случается с выдающимися правителями, жизнь которых становится народной легендой. Копты утверждают, что Иисус Христос явился Хакиму, который просил у него прощения за совершенные злодеяния и долгие годы каялся в пустыне.

— Наши книги говорят, — сказал шейх, — что Хаким не умер от нанесенных ударов. Его подобрал неизвестный старик, и он пережил ту роковую ночь, когда его должны были убить по приказу сестры; но, устав от власти, он удалился в пустыню Аммона и там создал учение, которое позднее поведал его ученик Хамза. Его последователи, изгнанные из Каира после его смерти, ушли в Ливан и там дали начало народу друзов.

Все эти легенды перепутались у меня в голове, и я собирался еще раз навестить друзского вождя, чтобы как следует расспросить его об учении Хакима, но буря, которая удерживала меня в Бейруте, улеглась, и я должен был отправиться в Сен-Жан д'Акр, где надеялся заинтересовать пашу судьбой пленника. Я пришел к шейху, только чтобы с ним попрощаться, и не посмел заговорить с ним о его дочери, не сказал, что видел ее.

ИСТОРИЯ О ЦАРИЦЕ УТРА И О СУЛАЙМАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ДУХОВ

I

АДОНИРАМ

Ради осуществления замыслов великого царя Сулаймана ибн Дауда* вот уже десять лет слуга его Адонирам не знал ни сна, ни утех, ни радостных пиров. Он был главой над легионами строителей, которые, подобно роям трудолюбивых пчел, день за днем без устали складывали соты из золота и кедра, мрамора и бронзы — храм, что иерусалимский царь хотел воздвигнуть для Адонаи, дабы этим прославить в веках свое имя. Все ночи проводил мастер Адонирам обдумывая планы постройки, а днем был занят лепкой гигантских статуй, которые должны были украсить здание.

Неподалеку от не завершенного еще храма он приказал выстроить кузницы, где день и ночь звучали удары молота, и подземные литейные мастерские, где текла по сотням прорытых в песке желобов жидкая бронза. Она принимала формы львов и тигров, крылатых драконов и херувимов, а порой и странных, невиданных существ... созданий, пришедших из глубины времен, затерянных в тайниках памяти людей.

Более сотни тысяч ремесленников находились в подчинении Адонирама, осуществляя его неслыханные по размаху замыслы: одних литейщиков было тридцать тысяч, армия каменщиков и каменотесов составляла восемьдесят

* Соломон, сын Давида.

тысяч человек; семьдесят тысяч подсобных рабочих носили строительные материалы. Рассыпанные по горам артели лесорубов валили вековые сосны, доходя до пустынь Скифии, рубили драгоценные кедры на плоскогорьях Ливана. С помощью трех тысяч трехсот управляющих поддерживал Адонирам дисциплину и порядок среди этого трудового люда, и работы шли бесперебойно.

Однако такова уж была беспокойная душа Адонирама, что взирал он немного свысока на это великое свершение. Воздвигнуть одно из семи чудес света казалось ему делом пустым и ничтожным. И чем дальше продвигалось строительство, тем яснее осознавал он слабость рода человеческого, тем горше сетовал на несовершенство и ограниченность средств, предоставленных в его распоряжение современниками. Пылкий и увлеченный, полный замыслов и жаждущий воплотить их в жизнь, Адонирам мечтал о свершениях более великих; мозг его, подобный кипящему котлу, рождал чудовищные в своем величии образы, и, удивляя своим искусством иудейских князей, сам он, единственный, считал свой удел жалким.

Был он человек мрачный и окутанный тайной. Царь Тирский, которому он служил прежде, прислал его Сулайману как дар. Но где родился Адонирам? Этого никто не знал. Откуда он явился? То была загадка. Где получил он столь глубокие и разнообразные знания, где учился своему делу? Неизвестно. Казалось, этот человек все превзошел, все постиг и владел всеми секретами мастерства. Но кто были его предки? К какому племени он принадлежал? Это была тайна, самая непроницаемая из всех тайн: Адонирам не терпел, когда его расспрашивали. Он вообще не любил общества себе подобных и потому был чужим и одиноким среди сынов Адама; блистательный и дерзкий гений вознес его над людьми, которые не могли чувствовать себя его братьями. Он был порождением духа Света и духа Тьмы!

Равнодушный к женщинам, которые посматривали на него украдкой и никогда не заговаривали о нем между собой, презирающий мужчин, которые отводили глаза под огнем его взгляда, он относился с одинаковым пренебрежением как к почтительному страху перед его величественным и грозным видом, высоким ростом и недюжинной силой, так и к любованию его странной и чарующей красотой. Сердце его было немо; только творчество могло вдохнуть жизнь в эти руки, созданные для того, чтобы вылепить мир по своему вкусу, лишь под его бременем сгибались плечи, созданные для того, чтобы этот мир поднять.

У него не было друзей, но были преданные рабы; был у него и верный подмастерье, один-единственный... Это был мальчик, юный художник, потомок финикийцев, которые не так давно явились со своими исполненными чувственности божествами на восточные берега Малой Азии. Бледный лицом, старательный в работе, прилежный ученик природы, Бенони провел детство в учении, юность же его прошла вдали от родной Сирии, на плодородных берегах, между которых струится Евфрат еще скромным ручейком, видя вокруг лишь пастухов, напевающих свои печальные песни в тени лавровых кущ, в темно-зеленой листве которых прячутся розы.

Однажды в час, когда солнце начинает клониться к морю, Бенони, сидя перед глыбой воска, старательно лепил телку, пытаясь передать созданную природой гибкость и упругость мускулов. Мастер Адонирам подошел к нему, посмотрел долгим взглядом на почти законченную фигурку и нахмурился.

— Жалкая работа! — воскликнул он. — Терпение — есть, вкус — есть, ребяческое усердие налицо!.. Но я не вижу здесь ни искры гения, ни проблеска воли. Все вырождается; отчужденность, разобщенность, дух противоречия и неповиновение — то, что испокон веков губило ваших изнеженных и вялых предков и ныне парализует ваше скудное

воображение. Где мои строители? Мои литейщики, мои горновые, мои кузнецы?.. Разбежались!.. В этих остывших печах должно сейчас бушевать неустанно поддерживаемое пламя, эти глиняные формы должны заполняться жидким металлом, который, застыв, превратится в статуи, что были вылеплены моими руками. Тысячи человек должны трудиться у печей... а мы здесь одни!

— Мастер, — кротко отвечал Бенони, — этих невежественных людей не воодушевляет пламя гения, которое бушует в твоей груди; им нужен отдых; искусство, что пленяет нас, оставляет их сердца равнодушными. Они сегодня свободны целый день. По приказу мудрого Сулаймана они отдыхают, ибо в Иерусалиме праздник.

— Праздник? Что мне до него? Отдых? Я никогда не знал отдыха. Праздность удручает меня! Да и что мы здесь строим? Дворец, сверкающий золотом и серебром, храм гордыни и тщеславия, безделушку, которую случайная искра может превратить в пепел. И это они называют «творить для вечности»... Настанет день, когда, влекомые жаждой легкой поживы, орды завоевателей, обрушившись на этот изнеженный народ, в несколько часов сровняют с землей наше хрупкое сооружение, и от него останется лишь воспоминание. Наши статуи расплавятся в огне факелов, как снега Ливана, когда наступает лето; и потомки, проходя по этим пустынным холмам, будут говорить: «Жалкий и слабый народ были эти иудеи!..»

— Что вы, мастер! Такой великолепный дворец... храм... самый пышный на свете, самый большой, самый прочный!..

— Суета! Суета, как говорит из той же суетности повелитель Сулайман. Знаешь ли ты, что воздвигли некогда дети Еноха? Творение, которому нет имени... которое напугало самого Создателя: Он сотряс земную твердь и разрушил его, а из раскатившихся по земле обломков был построен Вавилон, прекрасный город, по гребню стены которого могут промчаться одновременно десять колесниц. Знаешь ли ты

вообще, что такое настоящий монумент? Известны тебе пирамиды? Они будут стоять до того дня, когда рухнут в бездну горы Каф, опоясывающие мир. Но не сыны Адама строили их!

— А ведь говорят...

— Те, что говорят, лгут. На их вершинах остались отметки после потопа. Послушай: в двух милях отсюда, выше по течению Кедрона есть каменная глыба — квадратный кусок скалы в шестьсот локтей. Дайте мне сто тысяч каменотесов с кирками и молотками, и я высеку из этой огромной глыбы гигантскую голову сфинкса, который будет улыбаться, устремив в небеса непреклонный взгляд. С высоты своих туч увидит его Иегова и побледнеет, ошеломленный. Вот что такое монумент! Сотни тысяч лет протекут, а люди и их дети, и дети их детей будут говорить: «Великий народ жил здесь и оставил свой след».

«О Творец! — подумал, вздрогнув, Бенони. — Какое же племя породило его неукротимый дух?»

— Эти холмики, которые они называют горами, — жалкое зрелище. Вот если бы водрузить их друг на друга, а по углам высечь колоссальных размеров каменные фигуры... это было бы кое-что. А внизу мы вырыли бы пещеру, достаточно просторную, чтобы вместить легион священников; пусть поставят туда свой ковчег с золотыми херувимами и две каменных плиты, которые они называют скрижалями, вот и будет у Иерусалима храм. Но мы строим для Бога жилище, какое выбрал бы для себя богатый *сераф* (банкир) из Мемфиса...

— Твоя мысль всегда стремится к недостижимому.

— Мы родились слишком поздно; этот мир уже стар, а старость немощна; ты прав. Какой упадок! Ты копируешь природу, а душа твоя холодна, ты трудишься, как служанка, ткущая полотно; твой косный ум становится поочередно рабом телки, льва, коня, тигра; своей работой ты хочешь потягаться с коровой, львицей, тигрицей, кобылицей... ведь эти

животные делают то же, что и ты, и даже куда больше — они воспроизводят не только форму, но и жизнь. Дитя, искусство не в этом — оно в том, чтобы созидать. Когда ты рисуешь один из тех орнаментов, что вьются вдоль фризов, разве ты просто копируешь цветы и листья, что стелятся по земле? Нет, ты придумываешь узор, твоя стека подвластна прихотям твоего воображения, в твоих набросках сплетаются самые причудливые фантазии. Так почему же не ищешь ты рядом с человеком и известными тебе животными неведомые создания, существа, коим нет еще имени, такие воплощения, перед которыми отступает человеческий разум, чудовищные сочетания, образы, внушающие трепет и вселяющие в сердце восторг, повергающие в изумление и ужас? Вспомни египтян, вспомни наивных и смелых художников Ассирии. Не их ли фантазия исторгла из чрева гранита тех сфинксов, тех павианов, тех базальтовых божков, что так возмущали Иегову, Бога старого Дауда? Из века в век, видя эти грозные символы, будут потомки повторять, что были некогда истинно дерзкие гении. Разве эти люди думали о форме? Они смеялись над ней и, сильные своим воображением, могли крикнуть Тому, Кто все создал: «Тебе неведомы эти существа из гранита, и Ты не осмелишься вдохнуть в них жизнь!» Но многоликий бог природы согнул вас, надел на вас ярмо: вам не шагнуть за грань окружающего вас мира, ваш выродившийся гений погряз в пошлости формы, искусство погибло.

«Откуда он взялся, — думал Бенони, — этот Адонирам, чей разум не постичь роду человеческому?!»

— Вернемся же к игрушкам, что доступны недалекому воображению великого Сулаймана, — продолжал скульптор, проведя ладонью по своему широкому лбу и отбросив назад копну черных вьющихся волос. — Вот сорок восемь бронзовых быков — неплохая стать, вот столько же львов, птицы, пальмы, херувимы... Все это чуть выразительнее, чем природа. По моему замыслу, они будут поддерживать море

из меди, отлитое в огромной форме; ширина его будет десять локтей, глубина — пять локтей, оно будет окружено кромкой длиной в тридцать локтей и украшено фигурным литьем. Но мне надо еще кое-что доделать. Форма для моря уже готова. Боюсь, как бы она не растрескалась от жары; нам бы поторопиться, а мои ремесленники ушли на праздник, покинули меня... Но что за праздник? По какому случаю?

Рассказчик умолк: полчаса прошло. Воспользовавшись перерывом, каждый мог попросить кофе, шербет или табак. Завязались разговоры о достоинствах отдельных деталей рассказа и о том, что сулит начало. Сидевший рядом со мной перс заметил, что, как ему кажется, история почерпнута из «Сулайман-наме».

Во время «паузы» — так называют эту передышку, а каждая законченная часть повествования именуется «сеансом» — пришедший с рассказчиком мальчик обходил слушателей с деревянной чашкой и вскоре поставил ее, полную монет, к ногам своего хозяина, после чего тот продолжил рассказ. Вот что ответил Бенони Адонираму.

II

БАЛКИДА

Несколькими веками раньше египетского плена евреев Сава, прославленный потомок Авраама и Кеттуры, обосновался в благодатном краю, который мы зовем Йеменом, и заложил там город, носивший поначалу его имя, а ныне известный нам под названием Мареб. У Савы был брат Иарав, давший свое имя Каменистой Аравии. Его племя так и кочует то здесь то там со своими шатрами, а потомки Савы по-прежнему владеют Йеменом, богатым царством, которым правит сейчас царица Балкида, прямая наследница

Савы, Иоктана, патриарха Евера. Прапрадедом ее отца был Сим, общий прародитель евреев и арабов.

— Твое вступление пространно, как в египетской книге, — в нетерпении перебил ученика Адонирам, — ты рассказываешь монотонно, как Муса ибн Амран*, многоречивый освободитель племени Иакова. Болтуны пришли на смену людям дела.

— Как расточители пустых речей вытеснили поэтов, горевших священным огнем. Одним словом, мастер, царица Южная, правительница Йемена божественная Балкида направляется в гости к премудрому царю Сулайману и сегодня прибыла в Салим. Наши строители устремились ей навстречу следом за государем; столько народу за городскими стенами, что земли не видно, а все мастерские опустели. Я побежал туда в числе первых, посмотрел на процессию и вернулся к тебе.

— Укажите им господина, и они помчатся, чтобы пасть к его ногам... Бездельники... рабские души...

— Просто любопытные, мастер, и вы поймете это, если... Меньше звезд на небе, чем воинов в свите царицы. За ней следуют шестьдесят слонов; на их спинах возвышаются башенки, где сверкает золото и переливаются шелка. Впереди тысяча савеян с золотистой кожей ведут верблюдов, чьи ноги подгибаются под тяжестью клади — все это подарки, которые везет царица нашему государю. За ними идут легковооруженные абиссинцы, чьи лица подобны красной меди. Тучи черных как уголь эфиопов снуют там и сям, подгоняя лошадей и подталкивая повозки, везде поспевая по малейшему знаку. Еще... но зачем я все это рассказываю? Вы даже не слушаете меня.

— Царица савеян! — задумчиво пробормотал Адонирам. — Вырождающееся племя, но кровь чистая и без примесей... И зачем же она явилась к нашему государю?

* Моисей.

— Разве я не сказал этого, Адонирам? Она хочет увидеть великого царя, испытать его столь прославленную мудрость... а может быть, и превзойти его в этом... Говорят, она подумывает о том, чтобы стать женой Сулаймана ибн Дауда, ибо хочет произвести на свет наследников, достойных ее рода.

— Безумие! — пылко воскликнул художник. — Безумие!.. Кровь раба, кровь самых низких и ничтожных созданий — ею полны жилы Сулаймана! Неужели львица может стать женой беспородного домашнего пса? Сколько уже веков этот народ приносит жертвы языческим богам, а его мужчины ищут утех у чужеземных женщин; эти поколения вырожденцев давно утратили мощь и энергию предков. Кто он такой, наш миролюбивый Сулайман? Сын солдатской девки и старого пастуха Дауда, а сам Дауд — правнук беспутной Руфи, которая явилась некогда из земли Моав и легла к ногам евфратского хлебороба. Ты восхищаешься этим великим народом, мой мальчик, но от него осталась лишь тень, ибо нет больше былого племени воинов. Звезда этого народа еще в зените, но клонится к закату. Мир изнежил их, из тяги к роскоши и наслаждениям они предпочитают золото железу; эти лукавые подданные хитроумного и сластолюбивого царя годны теперь лишь на то, чтобы торговать вразнос да наживаться на ростовщичестве, опутывая мир своими сетями. И Балкида снизойдет до столь безмерной низости, Балкида, наследница патриархов! Но скажи мне, Бенони, это правда, она уже здесь? Сегодня же вечером она вступит в ворота Иерусалима?

— Завтра суббота*. Верная своим богам, царица отказалась войти сегодня вечером, после захода солнца, в чужеземный город. Она приказала раскинуть шатры на берегу Кедрона и, несмотря на все настояния царя, который вы-

* Сава, или шаббат — утро.

шел ей навстречу в сопровождении блестящей свиты, намеревается провести ночь за городскими стенами.

— Похвальное благоразумие! Скажи, она еще молода?

— Я бы сказал, что она еще может считать себя молодой. Ее красота ослепляет. Лишь краткий миг я смотрел на нее, как смотрят на восходящее солнце, которое тотчас обжигает и заставляет зажмуриться. Все при виде ее падали ниц, и я не был исключением. Поднявшись, я ушел, унося с собой ее образ. Но уже темнеет, о Адонирам, и я слышу, как строители толпой возвращаются сюда за своим жалованьем — ведь завтра суббота.

Тут явились во множестве ремесленники. Адонирам поставил у входа в мастерские стражников и, открыв огромные сундуки, принялся раздавать деньги. Работники подходили по одному, и каждый шептал ему на ухо тайное слово, потому что было их столько, что иначе он не смог бы удержать в памяти, кому какая положена плата.

Когда работника нанимали в мастерские, ему сообщали этот пароль, который он не должен был открывать никому под страхом смертной казни, давая в этом торжественную клятву. Свой пароль был у мастеров, свой у подмастерьев, свой у учеников.

Итак, каждый подходил к Адонираму и шепотом произносил заветное слово, и Адонирам выдавал каждому жалованье согласно его должности.

Когда церемония закончилась при свете смоляных факелов, Адонирам, решив посвятить эту ночь таинству своей работы, отослал юного Бенони, погасил огонь, спустился в подземные мастерские и скрылся во тьме.

На рассвете следующего дня Балкида, царица Утра, вместе с первым лучом солнца вступила в восточные ворота Иерусалима. Разбуженные топотом ее многочисленной свиты, иудеи выбежали к воротам, а толпа строителей следовала за процессией с приветственными криками. Никогда еще здесь не видели столько лошадей и верблю-

дов, такой огромной колонны пышно убранных белых слонов и такого несметного роя черных погонщиков-эфиопов.

Предписанный этикетом бесконечный церемониал задержал великого царя Сулаймана; он только что закончил облачаться в ослепительное платье и вырвался наконец из рук служителей своей гардеробной, когда Балкида, сойдя на землю у ворот дворца, вошла, прежде поклонившись солнцу, которое уже сияло над горами Галилейскими.

Камергеры в высоких, подобных башням, шапках и с золочеными жезлами в руках встретили царицу на пороге и провели ее в зал, где восседал в окружении своих придворных Сулайман ибн Дауд на высоком троне, с которого он тотчас поспешил сойти и направился, благоразумно не показывая виду, что торопится, навстречу своей царственной гостье.

Двое правителей приветствовали друг друга с глубочайшим почтением, которое всегда выказывают друг другу государи, подчеркивая этим величие царской власти, затем они сели бок о бок, и в зал вереницей вошли рабы, нагруженные дарами царицы Савской. Здесь были золото, пряности, мирра, много ладана, которыми богат Йемен, а также слоновая кость, мешочки с благовониями, драгоценные камни. Кроме того Балкида преподнесла царю сто двадцать талантов чистейшего золота.

Годы Сулаймана уже клонились на вторую половину жизни, но благодаря миру и счастью лицо его сохранило безмятежность, морщины и пометы глубоких страстей пощадили его чело; его алые губы, большие, немного навыкате глаза и нос между ними, подобный башне из слоновой кости, как сам он некогда сказал устами Суламиты, высокий и гладкий лоб, подобный Сераписову, — все говорило о невозмутимом и незыблемом спокойствии монарха, счастливого своим величием. Сулайман походил на статую из золота с лицом и руками из слоновой кости.

Золотой была его корона, золотым было платье, его пурпурная мантия — дар Хирама, царя Тирского, — была соткана на основе из золотых нитей; золотом блестел его пояс, золотом сверкала рукоять меча; обутые в золото ноги ступали по расшитому золотом ковру, а трон был сделан из золоченого кедра.

Сидевшая рядом с ним дочь Утра, закутанная в облако тончайшего белого льна и прозрачного газа, была подобна лилии, случайно попавшей в букет желтых нарциссов. С обдуманным кокетством царица подчеркнула контраст, извинившись за простоту своего утреннего наряда.

— Простота в одежде, — сказала она, — подобает богатству и не умаляет величия.

— Божественная красота, — отвечал Сулайман, — может полагаться лишь на собственную силу, а обычному человеку, знающему о своей слабости, не подобает ничем пренебрегать.

— Очаровательная скромность, которая может лишь добавить блеска к славе непобедимого Сулаймана... Мудрого Екклезиаста, судьи царей, бессмертного автора притч «Шир-Гаширим», нежнейшей песни любви, и многих других жемчужин поэзии.

— О, что вы, прекрасная царица! — вскричал Сулайман, краснея от удовольствия. — Что вы! Неужели вы соблаговолили бросить взгляд на эти... эти жалкие попытки?

— Вы великий поэт! — воскликнула царица Савская.

Сулайман гордо расправил свои золотые плечи, поднял свою золотую руку и с довольным видом провел ладонью по черной как смоль бороде, разделенной на множество косичек, переплетенных золотыми нитями.

— Великий поэт! — повторила Балкида. — Только поэтому вам можно с улыбкой простить заблуждения моралиста.

Этот вывод, столь неожиданный, заставил вытянуться черты царственного лика Сулаймана и вызвал тревожный

шепоток в рядах приближенных царя. Тут были Завуф, любимец Сулаймана, усыпанный драгоценными каменьями, великий священник Садок с сыном Азарией, управителем дворца, надменным и беспощадным к своим подчиненным, Ахия и его брат, архиканцлер Елихореф, хранитель архивов, тугой на ухо Иосафат. Стоял одетый в темное платье Ахия из Силома, прославившийся своей неподкупностью, холодный и немногословный насмешник, которого сторонились придворные, побаиваясь его пророческого дара. У самых ног государя сидел, опираясь на три подушки, дряхлый старец Ванея, главнокомандующий праздной армии миролюбивого Сулаймана. Увешанный золотыми цепями, сверкающий каменьями, сгибающийся под тяжестью наград, сидел Ванея, полубог войны. Некогда царь приказал ему убить Иоава и первосвященника Авиафара, и Ванея заколол их собственными руками. С этого дня он пользовался безграничным доверием Сулаймана, который поручил ему также убрать своего младшего брата, царевича Адонию, сына царя Дауда, и Ванея перерезал горло брату мудрого Сулаймана.

Теперь, почивший на лаврах, согбенный под бременем лет, впавший в старческое слабоумие, Ванея повсюду следовал за царем, ничего больше не слыша, ничего не понимая, и сердце его на закате жизни согревали лишь улыбки, которыми дарил его государь. Его выцветшие глаза неустанно ловили взгляд царя; хищник стал на склоне дней жалким псом.

Когда же с восхитительных уст Балкиды слетели колкие слова и все вельможи, потрясенные, затаили дыхание, Ванея, который ничего не понимал и лишь откликался восторженным возгласом на каждое слово царя и его гостьи, Ванея единственный открыл рот среди гробового молчания и вскричал с блаженной улыбкой:

— Прелестно! Божественно!

Сулайман закусил губу и пробормотал так, что бы его слышали окружающие:

— Какой глупец!

— Сколь мудры твои речи! — воскликнул Ванея, увидев, что его повелитель что-то сказал.

Царица Савская рассмеялась серебристым смехом.

И все были поражены тем, как удачно выбрала она именно эту минуту, чтобы задать одну за другой три загадки, приготовленные ею, дабы испытать прославленную мудрость Сулаймана, самого искусного из смертных в разгадывании головоломок и ребусов. Таков был обычай в те времена: цари и придворные состязались в учености... Не было для них ничего важнее, и разрешение загадок считалось государственным делом. Только так судили тогда о царе и о мудреце. Балкида проделала путь в двести шестьдесят миль, чтобы подвергнуть Сулаймана этому испытанию. Сулайман, и глазом не моргнув, разгадал все три загадки — этим он был обязан великому священнику Садоку, который накануне заплатил за разгадки звонкой монетой великому жрецу савеян.

— Сама мудрость гласит вашими устами, — сказала царица с некоторым пафосом.

— По крайней мере, так полагают многие...

— Однако же, почтенный Сулайман, взращивать древо премудрости небезопасно: пристрастившись к похвалам, начинаешь рано или поздно льстить людям, чтобы понравиться им, и склоняться к материализму, стремясь снискать одобрение толпы.

— Неужели вы заметили в моих трудах...

— Государь, я читала их с большим вниманием, ибо я хочу постичь вершины премудрости, поэтому я намеревалась покорнейше попросить вас растолковать мне некоторые неясности, некоторые противоречия, некоторые... софизмы, сказала бы я; во всяком случае, таковыми они кажутся мне, должно быть, в силу моего невежества; это желание было одной из причин, побудивших меня пуститься в столь долгое путешествие.

— Мы сделаем для вас все, что в наших силах, — произнес Сулайман не без самонадеянности, стараясь не уронить себя перед столь опасной противницей.

В глубине души он много бы дал, чтобы оказаться сейчас в одиночестве под смоковницами в саду своего загородного дворца в Милло. Придворные, предвкушая захватывающий поединок, вытягивали шеи и таращили глаза. Что может быть хуже, чем в присутствии своих подданных утратить славу мудрейшего из мудрых? Садок казался встревоженным; пророк Ахия из Силома едва заметно кривил губы в холодной усмешке, а Ванея, играя своими наградами, некстати посмеивался, и от этого глупого веселья царь и его приближенные уже заранее чувствовали себя смешными. Что же до вельмож из свиты Балкиды, они стояли безмолвные и невозмутимые — настоящие сфинксы. Добавьте к преимуществам царицы Савской величавость богини и пьянящие чары женской красоты: восхитительно чистый профиль, на котором сиял черный глаз газели, удлиненный к виску и столь совершенного разреза, что казалось, будто он всегда смотрит в упор на того, кого он пронзал своими стрелами; губы, чуть приоткрытые то ли в улыбке, то ли в страстном призыве, гибкий стан и великолепное тело, угадывающееся под тонким одеянием; представьте себе выражение ее лица, лукавое, чуть насмешливое и горделивое, озаренное искрометной веселостью, свойственное тем, кто с младых лет привык повелевать, и вам станет понятно замешательство Сулаймана. Растерянный и очарованный, он жаждал одержать победу над умом царицы, тогда как сердце его было уже наполовину побеждено. Эти огромные черные глаза с ослепительно белыми белками, нежные и загадочные, спокойные и проникающие в самую душу, смущали его, и он ничего не мог с этим поделать. Словно вдруг ожил перед ним совершенный и таинственный образ богини Исиды.

И завязался, по обычаю тех времен, долгий и оживленный философский диспут из тех, что описаны в книгах древних евреев.

— Не призываете ли вы, — начала царица, — к себялюбию и жестокосердию, когда говорите: «...если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих»? А еще в одном изречении вы превозносите богатство и власть золота...

— Но в других я восхваляю бедность.

— Противоречие. Екклезиаст побуждает человека к труду и стыдит ленивцев, но далее вдруг восклицает: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?»; «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться...» В притчах вы бичуете разврат, но поете ему хвалу в Екклезиасте...

— Я полагаю, вы шутите...

— Нет, я цитирую. Итак, нет ничего лучшего, как наслаждаться... «Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна; как те умирают, так умирают и эти...» Вот какова ваша мораль, о мудрец!

— Это просто образы, а суть моего учения...

— О да, вот она! Увы, до меня ее уже нашли другие: «Наслаждайся жизнию с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это — доля твоя в жизни и в трудах твоих...» — и так далее... Вы не единожды к этому возвращаетесь. Из чего я заключила, что вам следовало бы внушить эти мысли народу, чтобы надежнее держать в повиновении ваших рабов.

Сулайман мог оправдаться, но такими доводами, которые ему не хотелось приводить в присутствии подданных, и он беспокойно заерзал на троне.

— Наконец, — с улыбкой продолжала Балкида, сопроводив свои слова томным взглядом, — наконец, вы жестоки к нашему полу. Какая женщина осмелится полюбить сурового Сулаймана?

— О царица! Ведь сердце мое пало подобно утренней росе на цветы любовной страсти в «Песни песней»!..

— Исключение, которым может гордиться Суламита; но бремя прожитых лет сделало вас строже...

Сулайман едва удержался от недовольной гримасы.

— О, я уже предвижу, — воскликнула царица, — что вы скажете что-нибудь учтивое и любезное. Но берегитесь. Екклезиаст услышит вас, а вы же знаете, что он говорит: «И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы; добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Как? Неужели вы и вправду следуете столь суровым правилам и неужели только на горе дщерям Сиона наделили вас небеса красотой, которую вы сами без ложной скромности описали в следующих выражениях: «Я нарцисс Саронский, лилия долин!»

— Царица, это тоже образ...

— О царь! Я вполне с вами согласна. Соблаговолите же подумать над моими замечаниями и рассейте мрак моего заблуждения, ибо я, конечно, заблуждаюсь, а вы поистине можете похвалиться тем, что в вас живет мудрость. «Окажусь проницательным в суде, — написали вы, — и в глазах сильных заслужу удивление. Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда я начну говорить — будут внимать, и когда я продлю беседу — положат руку на уста свои». О великий царь, это истины, часть которых я уже испытала на себе. Ваш ум пленил меня, ваш облик меня удивил, я не сомневаюсь, что на лице моем вы видите восхищение вами. Говорите же, я жду, я буду внимать вам, и, слушая ваши речи, раба ваша положит руку на уста свои.

— Царица, — отвечал Сулайман с глубоким вздохом, — кто может быть мудрым, находясь рядом с вами? Услышав вас, Екклезиаст осмелится высказать лишь одну из своих мыслей: «Суета сует, — все суета!»

Всех остальных восхитил ответ царя. На всякого педанта найдется дважды педант, подумала царица. Если бы только он не воображал себя творцом, если бы можно было

излечить его от этой мании... В остальном он просто любезный, обходительный, довольно хорошо сохранившийся мужчина.

Что до Сулаймана, то, получив передышку, он постарался увести беседу от своей особы, хотя обычно это была его излюбленная тема.

— Я вижу, что у вашей светлости, — обратился он к царице Балкиде, — есть очень красивая птица. Признаюсь, этот вид мне незнаком.

Действительно, стоявшие у ног царицы шесть негритят в алых одеждах были приставлены к этой удивительной птице, которая никогда не расставалась со своей хозяйкой. Один из пажей держал ее на руке, и царица Савская то и дело поглядывала на нее.

— Мы зовем ее Худ-Худ*, — ответила она. — Прапрадеда этой птицы, который жил очень долго, привезли нам малайцы из далекой земли — лишь они одни побывали там, и мы не знаем, где она находится. Эта птица очень полезна для различных поручений обитателям небес и духам.

Сулайман, не вполне поняв ее простое объяснение, кивнул с царственным видом, словно ему все было ясно, и, протянув руку, пощелкал большим и указательным пальцами, желая поиграть с птицей Худ-Худ, но та, хоть и отвечала на заигрывания, но никак не давалась в руки Сулайману.

— Худ-Худ тоже поэт, — сказала царица, — и потому заслуживает вашей благосклонности. Однако она, как и я, немного слишком строга, и ей случается грешить морализаторством. Поверите ли, она позволила себе усомниться в искренности вашей любви к Суламите!

— О божественная птица, вы удивляете меня! — откликнулся Сулайман.

— Эта пастораль, которую называют «Песнью песней», конечно, очень трогательна, говорила мне как-то Худ-Худ,

* Удод, священная птица-пророк у арабов.

расклевывая золотого скарабея, но не находите ли вы, что великий царь, посылавший дочери фараона, своей супруге, столь нежные и печальные строки, выказал бы ей куда больше любви, живя с нею, между тем как он удалил ее от себя, поселив в городе Дауда, и она, покинутая, вынуждена была скрашивать лучшие дни юности лишь стихами, прекраснее которых поистине нет на свете?

— Сколько тягостных воспоминаний вы пробуждаете во мне! Увы! Эта девушка принадлежала ночи, она служила культу Исиды... Мог ли я преступить заповеди, допустив ее в священный город, мог ли поселить ее в соседстве с ковчегом Адонаи, приблизить ее к храму, который я воздвигаю для Бога моих отцов?

— Это щекотливый вопрос, — осторожно заметила Балкида, — прошу вас, извините Худ-Худ; птицы судят порой так опрометчиво, вот и моя почему-то считает себя знатоком искусств, а особенно поэзии.

— В самом деле? — воскликнул Сулайман ибн Дауд. — Мне любопытно было бы узнать...

— О, как мы с ней ссоримся иногда, государь, поверьте, жестоко ссоримся! Худ-Худ вздумалось порицать вас за то, что вы сравниваете красоту вашей возлюбленной с красотой кобылицы в колеснице фараона, имя ее — с разлитым маслом, волосы — со стадом коз, а зубы — со стадом овец, у каждой из которых пара ягнят, щеки — с половинками граната, сосцы — с двумя сернами, пасущимися среди лилий, голову — с горой Кармил, живот — с круглой чашей, в которой не истощается ароматное вино, чрево — с ворохом пшеницы, а нос — с башней Ливанской, обращенной к Дамаску.

Задетый, Сулайман обескураженно уронил свои сверкающие золотом руки на подлокотники трона, тоже золотые, а птица между тем, распушившись, захлопала зелеными с золотым отливом крыльями.

— Я отвечу птице, которая столь полезна вам при вашей склонности к насмешкам, что восточный стиль допус-

кает подобные поэтические вольности, что истинная поэзия всегда ищет образы, что мой народ находит мои стихи превосходными и отдает предпочтение самым пышным метафорам...

— Нет ничего опаснее для народа, чем метафоры царя, — парировала царица Савская, — вышедшие из-под пера повелителя, эти образы, быть может слишком смелые, найдут больше подражателей, чем критиков, и боюсь, как бы ваши возвышенные фантазии не извратили вкус поэтов на ближайшие десять тысяч лет. Вспомните, что и Суламита, усвоив ваши уроки, сравнивает ваши кудри с пальмовыми ветвями, ваши губы — с лилиями, источающими мирру, ваш стан — со стволом кедра, ваши голени — с мраморными столбами, а ваши щеки, государь, — с ароматным цветником, с грядами благовонных растений. По прочтении этих строк царь Сулайман представлялся мне каким-то перистилем с ботаническим садом на антаблементе под сенью пальмовых ветвей.

Сулайман улыбнулся, но в улыбке его сквозила горечь; он охотно свернул бы шею птице, которая с непонятным упорством поклевывала его грудь в том месте, где находится у человека сердце.

— Худ-Худ пытается дать вам понять, что источник поэзии — здесь, — заметила царица.

— Я даже слишком хорошо это понимаю, — отвечал царь, — с тех пор как имею счастье созерцать вас. Но оставим этот спор; не окажет ли моя царица честь своему недостойному рабу, не соблаговолит ли осмотреть Иерусалим, мой дворец и главное — храм, который я строю для Иеговы на горе Сион?

— Слава об этих чудесах разнеслась по всему свету; мое нетерпение может сравниться лишь с их великолепием, и вы окажете мне величайшую любезность, если не станете больше оттягивать удовольствие, которое я давно предвкушаю.

Во главе процессии, медленно продвигавшейся по улицам Иерусалима, шли сорок два барабанщика, и бой их барабанов был подобен раскатам грома; за ними следовали музыканты в белых одеждах, а дирижировали ими Асаф и Идифун; здесь было пятьдесят шесть ударников с медными кимвалами, двадцать восемь флейт и столько же псалтырей, были цитры и, конечно же, трубы, инструмент, который Иисус Навин прославил у стен Иерихона. Далее в три ряда шли кадилоносцы; они пятились, покачивая золочеными сосудами, в которых курились йеменские благовония. Сулайман и Балкида восседали на мягких подушках в огромном паланкине, который несли семьдесят захваченных в войне филистимлян.

«Сеанс» закончился. Слушатели стали расходиться, обсуждая между собой перипетии сюжета, и мы условились встретиться здесь же завтра.

III

ХРАМ

Рассказчик продолжал:

Согласно желанию великого Сулаймана, город был при нем отстроен заново по безукоризненному плану: прямые как стрелы улицы, одинаковые квадратные дома — настоящий улей, все соты которого похожи друг на друга.

— На этих прекрасных широких улицах, — заметила царица, — ветер с моря, не встречая препятствий, должно быть, сдувает прохожих, как соломинки, а в жаркую погоду ничто не мешает проникать сюда солнечным лучам, и мостовые, наверно, раскаляются, как печи. У нас в Маребе улицы узкие, а натянутые между домами полотнища бросают на землю тень и сохраняют прохладу благодаря свежему ветерку.

— Однако от этого страдает симметрия, — ответил Сулайман. — Но вот мы и подошли к колоннаде моего нового дворца; чтобы построить его, потребовалось тринадцать лет.

Царица Савская посетила дворец и удостоила его своим одобрением, найдя жилище царя богатым, удобным, своеобразным и отмеченным печатью изысканного вкуса.

— План великолепен, — сказала она, — постройка изумительна, и я должна признать, что дворцу моих предков Химьяритов, выдержанному в индийском стиле, с квадратными колоннами и человеческими фигурами вместо капителей, далеко до этой смелости и изящества. Ваш зодчий — поистине великий художник.

— Все делалось по моим собственным указаниям, и я щедро плачу строителям! — с гордостью воскликнул царь.

— Но кто создал чертежи и планы? Кто тот гений, что так прекрасно воплотил ваши замыслы?

— Некий Адонирам, странный человек, немного дикарь. Ко мне его прислал царь Тирский, мой друг.

— Смогу ли я его увидеть, государь?

— Он избегает людей и чурается похвал. Но что вы скажете, царица, когда посетите храм Адонаи? Это уже не просто работа ремесленника — я сам составил план и выбрал материалы для постройки. Мне пришлось несколько ограничить свободу Адонирама, чтобы дать волю моему поэтическому воображению. Работы идут уже пять лет; понадобится еще два, чтобы довести творение до совершенства.

— Значит, вам хватит семи лет, чтобы построить достойный дом для вашего Бога, тогда как на жилище для Его слуги ушло тринадцать?

— Время здесь не играет роли, — возразил Сулайман.

Насколько Балкида восторгалась дворцом, настолько же храм вызвал ее неудовольствие.

— Вы перестарались, — сказала она, — и художнику не хватало свободы. Ансамбль несколько тяжеловесен и перегружен деталями... Слишком много дерева, везде кедр, эти выступающие балки... А каменная кладка словно давит всей своей тяжестью на деревянный настил приделов, и от этого конструкция кажется на взгляд недостаточно прочной.

— Моей целью было, — возразил царь, — благодаря резкому контрасту подготовить входящего к великолепию внутреннего убранства.

— Боже великий! — воскликнула царица, едва ступив за ограду. — Как много скульптур! Какие чудесные статуи, какие странные звери, и сколько в них величия! Кто изваял эти чудеса, кто отлил их?

— Адонирам; скульптура — его главный талант.

— Его гений всеобъемлющ. Но вон те херувимы слишком тяжелы; чересчур много золота, они велики для этого зала и подавляют все вокруг.

— Я и хотел, чтобы так было: каждый из них стоит двадцать талантов. Вы видите, царица, — все здесь из золота, а что дороже золота на земле? Эти херувимы золотые; колонны из кедра, дар царя Хирама, обшиты золотыми пластинами; золотом отделаны все перегородки; золотые стены будут украшены золотыми пальмовыми ветвями, наверху будет фриз с золотыми плодами, а на этих переборках я приказал повесить двести щитов из чистого золота. Алтари, столешницы, подсвечники, чаши, пол и потолок — все будет покрыто тонкими листами золота...

— Мне кажется, что золота слишком много, — сдержанно заметила царица.

Царь Сулайман возразил ей:

— Может ли быть что-нибудь слишком пышным для царя людей? Я хочу поразить потомков... Но войдем в святилище. Правда, кровля еще не готова, но уже заложено основание алтаря напротив моего трона, которое почти закон-

чено. Как видите, здесь шесть ступеней; сиденье из слоновой кости поддерживают два льва, у ног которых присели двенадцать львят. Золотые части предстоит еще отполировать, и скоро будет сооружен навес. Соблаговолите, достойная царица, первой взойти на этот трон, на котором никто еще не сидел; оттуда вашему взору откроется весь ансамбль. Вот только вы не будете защищены от солнечных лучей — ведь крыши еще нет.

Царица улыбнулась и посадила к себе на руку птицу Худ-Худ, которую придворные разглядывали с нескрываемым любопытством.

Нет более прославленной и более почитаемой птицы на всем Востоке. Но не за изящную форму ее тонкого черного клюва, не за алые щечки, не за кротость глаз цвета лесного ореха, не за великолепный хохолок из тонких золотых перышек, венчающий ее красивую головку, не за длинный, черный как смоль хвост, не за блеск золотисто-зеленых крыльев с ярко-золотыми полосками и золотой бахромой по краям, не за нежно-розовые шпоры и не за алые лапки боготворили резвую Худ-Худ царица и ее подданные. Птица, сама того не сознавая, была прекрасна, предана своей хозяйке, добра ко всем, кто любил ее, она блистала красотой и лучилась простодушной прелестью, не стараясь ослепить. Царица, как мы видели, советовалась с этой птицей в трудных случаях.

Сулайман, по-прежнему желая снискать расположение Худ-Худ, в этот миг хотел посадить ее к себе на ладонь, но птица снова оставила без внимания его протянутую руку. Балкида, лукаво улыбнувшись, поманила свою любимицу и, кажется, тихонько шепнула ей что-то... Быстрая как стрела Худ-Худ взмыла и исчезла в лазурном небе.

После этого царица села; придворные расположились вокруг трона, и завязалась беседа; царь рассказал своей гостье о медном море, задуманном Адонирамом; восхищение царицы Савской было столь велико, что она снова по-

требовала, чтобы ей представили этого человека. По приказу царя слуги отправились на поиски нелюбимого Адонирама.

Пока они искали его в мастерских и среди недостроенных зданий, Балкида, уговорившая иерусалимского царя сесть рядом с нею, спросила его, как будет украшена сень над его троном.

— Она будет украшена так же, как и все остальное, — отвечал Сулайман.

— Не боитесь ли вы, отдавая столь явное предпочтение золоту, что люди сочтут, будто вы пренебрегаете другими материалами, созданными Адонаи? Вы и вправду думаете, что в мире нет ничего прекраснее этого металла? Позвольте мне внести в ваш план для разнообразия небольшое изменение... Судить о нем вам.

Внезапно потемнело, небо покрылось черными точками, которые росли, приближаясь; тучи птиц закружили над храмом, сбились в стаю, образовали круг и, теснясь, расположились над троном трепещущей и переливающейся листвой; хлопали крылья, складываясь в пышные букеты, вспыхивающие зеленью, пурпуром, смоляной чернотой и лазурью. Раскинулся живой шатер, умело направляемый птицей Худ-Худ, которая порхала посреди пернатой толпы... Словно чудесное дерево выросло над головами двух царственных особ, и каждый лист его был птицей. Растерянный, очарованный Сулайман оказался укрытым от солнечных лучей под этой удивительной кровлей, которая трепетала, взмахивая тысячами крыльев, чтобы удержаться на лету, и разыгрывала сладостный концерт птичьих трелей. Густая тень пала на трон. Сделав свое дело, Худ-Худ, на которую царь все еще был немного сердит, послушно слетела к ногам царицы.

— Что скажет об этом государь? — спросила Балкида.

— Восхитительно! — вскричал Сулайман, снова пытаясь подманить птицу, которая упорно не давалась ему в

руки, — а царица между тем внимательно следила за его усилиями.

— Если вам нравится моя маленькая прихоть, — сказала она, — я счастлива преподнести вам в дар этот шатер, только при условии, что вы не станете золотить птиц. Когда вам захочется позвать их, достаточно повернуть к солнцу камень этого кольца... Этот драгоценный перстень достался мне от предков, и Сарахиль, моя кормилица, станет бранить меня за то, что я отдала его вам.

— О великая царица! — воскликнул Сулайман, опускаясь перед нею на колени. — Вы достойны повелевать людьми, царями и стихиями. Будет угодно небесам и вашей доброте, чтобы вы согласились разделить со мной трон в моем государстве, где вы увидите у ног самого покорного из ваших слуг?

— Ваше предложение лестно, — отвечала Балкида, — но мы поговорим об этом позже.

Они сошли с трона, и стая птиц последовала за ними живым балдахином; тень от крыльев ложилась на их головы причудливыми узорами.

Подойдя к тому месту, где был заложен алтарь, царица заметила огромный корень виноградной лозы, выкорчеванный и отброшенный в сторону. Лицо ее помрачнело, она удивленно вскинула брови; птица Худ-Худ в тот же миг испустила жалобный крик, и вся стая, захлопав крыльями, взмыла в небеса.

Взгляд Балкиды стал суровым, ее горделивый стан, казалось, сделался выше, и звучным голосом пророчицы она воскликнула:

— О невежество и легкомыслие людское! О суетность гордыни! Ты возводишь свою славу на могилах отцов твоих! Виноградная лоза, священное древо...

— Царица, она мешала нам, ее выкорчевали, чтобы расчистить место для алтаря из порфира и оливкового дерева, который будет украшен четырьмя золотыми серафимами.

— Ты осквернил, ты уничтожил первый побег винограда, который был некогда посажен в эту землю рукой отца семитского народа, патриарха Ноя.

— Возможно ли? — вскричал Сулайман, снова чувствуя себя униженным. — Откуда вы знаете?

— Я никогда не считала, что правитель — кладезь премудрости, о царь, совсем наоборот. Я стремилась к знаниям и с благоговением черпала из их источников... Слушай же, о человек, ослепленный суетной пышностью: знаешь ли ты, какая участь уготована бессмертными силами этому дереву, погубленному твоим кощунством?

— Говорите...

— Ему суждено стать столбом пыток, на котором будет распят последний царь твоего народа.

— Так пусть же распилят это нечестивое дерево на кусочки, сожгут и развеют пепел!

— Безумец! Никому не дано стереть то, что написано в книге Судеб! Чего стоит вся твоя мудрость, когда речь идет о высших силах? Склонись перед верховной волей, которую не постичь твоему человеческому разуму, ибо лишь благодаря этой пытке твое имя избегнет забвения и над всем твоим родом воссияет немеркнущая слава...

Великий Сулайман тщетно пытался скрыть свое смятение под беззаботной и насмешливой улыбкой, когда явились люди и доложили, что удалось наконец отыскать скульптора Адонирама.

Вскоре раздались приветственные крики толпы, и на пороге храма появился Адонирам. Юный Бенони сопровождал своего друга и учителя, который уверенно шагал вперед; глаза его пламенели, чело хмурилось, одежда и волосы были в беспорядке, и выглядел он как художник, которого внезапно оторвали от трудов в самом разгаре вдохновения. Ни малейшая искра любопытства не смягчала благородные и мужественные черты этого человека; величием веяло от всего его облика, и не столько высокий

рост и горделивая осанка были тому причиной, сколько смелое, суровое и властное выражение его прекрасного лица.

Он остановился в нескольких шагах от Балкиды, держась непринужденно и с достоинством, без фамильярности и без надменности, и, встретив его пронзительный, подобный стреле орлиный взгляд, она ощутила странную робость.

Однако царица быстро справилась со своим невольным замешательством; мелькнувшая на миг мысль об уделе этого ремесленника, который стоял перед ней с засученными рукавами и открытой грудью, напомнила ей, кто она такая; она улыбнулась собственному смущению, почти довольная тем, что вдруг почувствовала себя столь молодой, и соблаговолила заговорить с мастером.

Он ответил ей, и голос его поразил царицу как эхо давнего мимолетного воспоминания, а между тем она не знала этого человека и никогда его не встречала.

Такова сила гения, такова красота его души — сердца людей устремляются к нему и прирастают накрепко, не в силах оторваться. Речи Адонирама заставили царицу савеян позабыть все окружающее. Одну за другой мастер показывал ей постройки будущего храма, и она шла за ним, сама не понимая, что за сила ведет ее, а царь и придворные следовали по пятам за божественной царицей.

Она без устали расспрашивала Адонирама о его творениях, о его родине и происхождении...

— Госпожа, — отвечал он с некоторым замешательством, не сводя с нее проникающего в самую душу взора, — я повидал немало стран; моя родина повсюду, где светит солнце; первые мои годы протекли на склонах Ливана, откуда виден далеко внизу раскинувшийся в долине Дамаск. Это край высоких гор и грозных скал, усеянный развалинами; природа изваяла эти горы, а люди довершили ее труд.

— Но не в этом же пустынном краю, — заметила царица, — учатся секретам мастерства, которым вы владеете в совершенстве.

— Там, на просторе, пробуждается мысль и вырывается на свободу воображение; там, размышляя, учишься постигать. Моим первым учителем было одиночество; потом, в моих путешествиях, его уроки не раз пригодились мне. Я обратил взоры к прошлому, я смотрел на памятники былых времен и бежал общества людей...

— Но почему, мастер?

— Я никогда не любил быть среди себе подобных... я чувствовал себя одиноким.

Эти возвышенные и печальные слова глубоко тронули царицу; она опустила глаза и погрузилась в задумчивость.

— Видите ли, — продолжал Адонирам, — нет моей большой заслуги в том, что я владею мастерством, ибо учение далось мне без труда. Все мои статуи я нашел там, в пустынях; я лишь старался передать чувства, которые испытал при виде этих забытых развалин и величественных и устрашающих образов древних богов.

— Сколько уже раз, — вдруг перебил его Сулайман с резкостью, какой царица до сих пор за ним не замечала, — сколько уже раз, мастер, мне приходилось бороться с вашим чрезмерно пылким преклонением перед языческими божествами, дабы не допустить идолопоклонства. Держите ваши мысли при себе, чтобы ни бронза, ни камень ничего не говорили о них вашему царю.

Адонирам молча склонил голову, пряча полную горечи улыбку.

— Государь, — вмешалась царица, желая утешить Адонирама, — я думаю, что мысль мастера выше соображений, которые могут смутить совесть левитов... Душа художника подсказывает ему, что все прекрасное славит Бога, и он ищет прекрасное, обожествляя его с наивной пылкостью.

— Да и откуда мне знать, — снова заговорил Адонирам, — чем они были для людей в те далекие времена, эти забытые боги, увековеченные в камне гениями прошлого? И кого это может волновать? Сулайман, царь царей, потребовал от меня чуда, и мне достаточно было вспомнить, что предки человечества оставили нам немало чудес.

— Если ваше творение прекрасно и возвышенно, — с горячностью добавила царица, — оно будет праведным, а коль скоро оно праведно, потомки станут подражать вам.

— Великая царица, поистине великая, ваш ум не уступает вашей красоте.

— Но эти развалины, — поспешила перебить его Балкида, — их действительно так много на склонах Ливана?

— Целые города погребены там под саваном песка, который ветры то вздымают, то вновь обрушивают на горы; есть там и подземелья, вряд ли созданные руками человеческими; о них знаю я один... Я тогда трудился лишь для птиц небесных, и только звезды по ночам видели мою работу; я брел куда глаза глядят, делал наброски прямо на скалах и тут же высекал фигуры. Однажды... Но не злоупотребляю ли я терпением высочайших слушателей?

— О нет, ваш рассказ так увлекателен.

— Скала качнулась под ударами моего молотка, и долото ушло глубоко в недра горы; земля гулко загудела под моими ногами: подо мной была пустота. Вооружившись рычагом, я сдвинул каменную глыбу; передо мной открылся вход в пещеру, и я устремился туда. Пещера была выбита в цельном камне; свод поддерживали огромные столбы, украшенные причудливой резьбой, а над ними пересекались ажурные арки. И в этом каменном лесу со всех сторон стояли и улыбались во мраке вот уже миллионы лет несметные легионы всевозможных колоссов; при виде их голова моя закружилась, и благоговейный ужас объял меня. Там были фигуры людей, живших некогда в нашем мире, диковинные звери, давно исчезнувшие с лица земли; самое богатое во-

ображение даже во сне, в бреду не могло бы представить такого великолепия!.. Я прожил месяцы, а может быть, и годы в обществе этих призраков прошлого, вопрошая их; там я учился моему искусству среди чудес, созданных забытым гением.

— Молва об этих безымянных творениях дошла и до нас, — задумчиво произнес Сулайман, — говорят, что там, в этих проклятых землях сохранились развалины нечестивого города, сгинувшего под водами потопа — остатки греховной Енохии... построенной родом исполинов, потомков Тувала... это был город сынов Каина. Будь проклято их кощунственное искусство, порождение тьмы! Наш новый храм будет пронизан солнечным светом; линии его просты и чисты, план четок и строен; пусть даже стиль обители, которую я возвожу для Всевышнего, передает истинность и чистоту нашей веры. Такова наша воля, такова воля Адонаи, так повелел Он моему отцу.

— О царь! — пылко воскликнул Адонирам. — В целом я следовал твоим планам, Бог убедится в твоем послушании, но сверх того я хотел поразить мир твоим величием.

— Ты ловкий человек, искусный в речах, но тебе не удастся ввести во искушение твоего государя. Ведь именно для этого ты отлил чудовищ, внушающих восхищение и трепет, изваял гигантских идолов, нарушив все каноны нашей веры. Но берегись! Сила Адонаи со мной; Он не потерпит надругательства и мощью своей испепелит Ваала!

— Будьте милостивы, о царь, — мягко вступилась царица Савская, — к мастеру, что возводит памятник вашей славы. Идут века, и судьба человеческая не стоит на месте по воле Создателя. Разве не повелевает Он нам искать все более полного воплощения Его творений? Неужели мы должны вечно повторять застывшие в холодной неподвижности статуи египтян, наполовину погруженные в гранитные саркофаги, составляющие с ними одно целое, неужели гений должен быть рабом, закованным в камень? О великий

царь, преклонение перед рутиной не опаснее ли отрицания канонов?

Задетый возражением, но покоренный пленительной улыбкой царицы, Сулайман не мешал ей более расточать хвалы художнику, которым он сам в душе восхищался, хоть и не без некоторой досады; а тот, обычно равнодушный к лести, внимал ее речам с каким-то новым для себя восторгом.

Трое великих вышли между тем во внешний перистиль храма. Храм стоял на четырехугольном возвышении, откуда открывался вид на поля и холмы. Несметная толпа заполонила окрестности города, построенного Даудом (Давидом). Чтобы увидеть вблизи или хотя бы издали царицу Савы, весь народ устремился к дворцу и храму; каменщики покинули карьеры, плотники спешили с дальних лесных складов, рудокопы поднялись наверх из забоев. Крылатая молва пронеслась по окрестным землям, всполошила весь трудовой люд и привела толпы народу к месту строительства.

Все смешались здесь — мужчины, женщины, дети, солдаты, торговцы, ремесленники, рабы и достойные горожане; холмы и долины едва вмещали эту огромную толпу; больше чем на милю вокруг изумленный взор царицы видел бесконечную мозаику людских голов, возвышавшихся друг над другом рядами, словно в гигантском амфитеатре, до самых вершин на горизонте. Несколько легких облачков временами набегали на солнце, заливавшее землю, и бросали легкие тени на это живое море.

— Подданных у вас, — сказала царица Балкида, — больше, чем песчинок на морском берегу.

— Весь народ моей страны сбежался, чтобы посмотреть на вас, но меня удивляет, почему весь мир сегодня не осаждает стены Иерусалима. Из-за вас опустели поля, обезлюдел город, и даже неутомимые строители мастера Адонирама...

— Действительно! — перебила его царица Савская, которая все искала способ воздать должное зодчему. — Такие

строители, как у Адонирама, в другом месте сами были бы достойны зваться мастерами. Это солдаты воинства художников... Мастер Адонирам, мы желаем произвести смотр вашей армии и выразить наше восхищение вашим строителям, равно как и вам в их присутствии.

Мудрый Сулайман, услышав эти слова, в изумлении воздел обе руки над головой.

— Но как, — воскликнул он, — созвать всех строителей храма, которые рассеялись в праздничной сутолоке, разбрелись по холмам, затерялись в толпе? Их слишком много, и, как ни старайся, невозможно в несколько часов собрать вместе столько людей со всех концов земли, говорящих на всех языках от гималайского санскрита до малопонятных гортанных наречий дикой Ливии.

— Пусть вас это не тревожит, государь, — просто сказал Адонирам. — Нет ничего невозможного в просьбе царицы, и мне хватит нескольких минут.

С этими словами Адонирам, встав, как на пьедестал, на лежавшую рядом гранитную глыбу и опершись о колонну внешнего портика, повернулся к бесчисленной толпе и окинул ее взглядом. Он сделал знак, и волны живого моря побледнели, ибо все запрокинули и обратили к нему свои светлые лица.

Толпа умолкла, с любопытством взирая на мастера... Адонирам поднял правую руку и раскрытой ладонью провел в воздухе горизонтальную линию, а затем от середины ее опустил перпендикулярную черту, изобразив два прямых угла, какие получаются, если подвесить нить со свинцовым грузом к линейке, — знак, которым сирийцы обозначают букву Т, букву, пришедшую к финикийцам от народов Индии, называвших ее «тха», и переданную затем грекам, назвавшим ее «тау».

Обозначавший в этих древних языках в силу иероглифической аналогии некоторые инструменты каменщиков, знак Т служит сигналом к общему сбору.

И едва Адонирам начертил его в воздухе, как толпа пришла в движение. Людское море зашевелилось, забурлило, с разных сторон покатились волны, словно ураган пронесся над ним. Сначала это была лишь общая сумятица: все бросились бежать, каждый в свою сторону. Но вскоре в толпе начали обрисовываться группы; они росли, разделялись, становились рядами; им освобождали место, часть толпы отхлынула назад, и тысячи человек выстроились, словно войско, в три колонны, каждая из которых в свою очередь делилась на три когорты. Плечом к плечу стояли люди, и концы колонн терялись вдали.

И пока Сулайман тщетно пытался понять, в чем же состоит колдовская сила мастера Адонирама, земля содрогнулась: сто тысяч человек, выстроившиеся в несколько минут, одновременно с трех сторон двинулись вперед. Загудела равнина под их тяжелыми размеренными шагами. В середине шли каменщики, каменотесы и все, кто работал с камнем: впереди мастера, за ними — подмастерья, следом — ученики. Справа в том же иерархическом порядке шагали плотники, столяры, пильщики, тесальщики. Слева — литейщики, чеканщики, кузнецы, рудокопы и все, кто имеет дело с металлами.

Их было больше сотни тысяч, и они приближались подобно огромным волнам, захлестывающим морской берег...

Сулайман в растерянности отступил на два-три шага, обернулся и увидел за своей спиной исполненных важности, но жалких в своей малости священников и вельмож.

Спокойный и невозмутимый стоял Адонирам перед двумя правителями. Он поднял руку, и все остановились, тогда он низко поклонился царице и произнес:

— Ваше приказание выполнено.

Еще миг — и она пала бы ниц перед этой огромной и непостижимой силой: столь величественным предстал ей Адонирам в своем могуществе и в своей простоте.

Однако она овладела собой и, подняв руки, приветствовала войско строителей. Затем сняла с шеи великолепное жемчужное ожерелье, на котором висело солнце из драгоценных каменьев в золотом треугольнике и, держа священный символ в протянутых руках, словно желая подарить всем собравшимся, шагнула к склонившемуся перед ней Адонираму. Тот задрожал всем телом, почувствовав, как драгоценный дар обвил его шею и упал на полуобнаженную грудь.

В то же мгновение вся несметная толпа восторженным эхом приветствовала великодушный жест правительницы Савы. Когда сияющее лицо царицы склонилось к художнику и голова его почти коснулась ее трепещущей груди, она тихо сказала ему:

— Берегите себя, мастер, и будьте осторожны!

Ослепленный Адонирам поднял на нее свои большие глаза, и Балкида поразилась тому, сколько глубокой нежности было в его гордом взгляде.

»Кто же он, — задумчиво спрашивал себя Сулайман, — этот смертный, которому люди покорны так же, как царице покорны птицы небесные?.. По мановению его руки рождаются армии, мой народ принадлежит ему, а я царь лишь над ничтожной кучкой придворных и священников. Ему достаточно одного движения бровей, чтобы стать царем Израиля».

Эти тревожные мысли помешали ему заметить взгляд Балкиды, которым она проводила истинного вождя его народа, властителя умов, царственного своим талантом, безмятежного и терпеливого вершителя судеб — избранника Господня.

Во дворец возвращались в молчании. Существование народа открылось в этот день мудрому Сулайману — он, считавший, что знает все на свете, и не подозревал о нем. Потерпев поражение даже на своем излюбленном поле битвы — в диспуте о своих учениях, побежденный цари-

цей Савы, которая могла повелевать птицами, побежденный и ремесленником, который мог повелевать людьми, Екклезиаст, провидя будущее, размышлял о судьбах царей и говорил себе: «Эти священники, мои былые учителя, а ныне советники, должны были научить меня всему, но они представляли мне все в ложном свете и скрывали от меня мое невежество. О слепая вера царей! О суетность мудрости! Суета! Суета!»

В то время как царица тоже предавалась своим думам, Адонирам шел в мастерскую, дружески положив руку на плечо своего воспитанника Бенони, а тот, опьяненный восторгом, не уставал превозносить красоту и несравненный ум царицы Балкиды.

Но мастер, еще более молчаливый, чем обычно, не размыкал уст. Он был бледен и тяжело дышал, а его широкая ладонь то и дело судорожно прижималась к могучей груди. Вернувшись к себе в святая святых, он заперся там в одиночестве, посмотрел на незаконченную статую, нашел ее скверной — и разбил ее. После этого он рухнул, словно сраженный молнией, на дубовую скамью, закрыл лицо обеими руками и воскликнул сдавленным голосом: «О обольстительная богиня, пагубны чары твои!.. Увы мне! Зачем, зачем суждено было моим глазам узреть жемчужину Аравии!»

IV

МИЛЛО

В Милло, в своем дворце, построенном на вершине холма, откуда открывался обширный вид на долину Иосафата, решил царь Сулайман задать пир в честь царицы савеян. Природа радушнее города и гостеприимнее: прохлада журчащих вод, пышная зелень садов, благодатная тень

смоковниц, тамарисков, лавров, кипарисов, теревинфов и акаций пробуждает в сердцах нежные чувства. Сулайману хотелось похвалиться своим загородным жилищем; к тому же правители всегда предпочитают держать равных себе подальше от своего народа и беседовать с ними наедине, дабы не судачили о них и их соперниках жители столицы.

По зеленой равнине были разбросаны белые могильные камни под сенью сосен и пальм — здесь начинались склоны долины Иосафата. Сулайман обратился к Балкиде:

— Сколь достойный предмет размышления для царя это зрелище нашего неизбежного конца. Здесь, рядом с вами, царица, — радости земные, быть может, счастье; там, внизу, — небытие и забвение.

— Созерцая смерть, отдыхаешь от тягот жизни.

— В этот час, царица, смерть страшит меня, ибо она разлучает... О, хоть бы мне не суждено было узнать слишком скоро, что она еще и утешает!

Балкида украдкой взглянула на царя и увидела, что он искренне взволнован. В мягком свете сумерек Сулайман показался ей очень красивым.

Прежде чем войти в зал пиршеств, хозяин и его царственная гостья постояли немного, глядя на дворец в лучах заката и вдыхая пьянящий аромат апельсиновых цветов, наполнявших вечерний сад дивным благоуханием.

Легкий и воздушный дворец был построен в сирийском стиле. Над лесом стройных колонн вырисовывались на фоне неба его ажурные башенки и высокие кедровые своды, украшенные резными панелями. За открытой дверью видны были занавеси из тирского пурпурного бархата, диваны, обитые индийским шелком, розетки, инкрустированные цветными камнями, фиванские вазы, чаши из порфира и ляпис-лазури, полные цветов, серебряные треножники, на которых курились алоэ, мирра и росный ладан; побеги плюща, обвивавшие колонны и переплетаю-

щиеся на стенах, — все в этом восхитительном месте казалось созданным для любви. Но Балкида была благоразумна и осторожна; рассудок предостерегал ее против чар Милло.

— Не без робости вхожу я с вами в этот маленький замок, — сказал Сулайман. — С тех пор как вы почтили его своим присутствием, он кажется мне жалким. Дворцы потомков Химьяра, наверное, куда богаче.

— Вовсе нет, но в нашей стране самые хрупкие колонны, кружевные арки, статуэтки и ажурные башенки делают из мрамора. Камень служит нам там, где вы употребляете лишь дерево. Кроме того, мои предки прославляли не пустые фантазии. Они совершили великое дело, которое увековечит благословенную память о них.

— Что же это за дело? Рассказы о великих свершениях воодушевляют и облагораживают.

— Прежде всего я должна вам признаться, что благодатные плодородные земли Йемена были некогда засушливыми и бесплодными. Небеса не дали нашей стране ни рек, ни ручейков. Но мои предки одержали победу над природой и создали Эдем среди пустыни.

— Царица, расскажите же мне об этих чудесах.

— В сердце высоких гор, что вздымаются на востоке моей страны, — на их склонах расположен город Мареб — бурлили повсюду холодные горные потоки, но воды их испарялись на солнце, терялись на дне пропастей и ущелий, и ни одна капля не достигала иссохшей равнины. Два века понадобилось нашим царям, чтобы направить все эти ручьи и реки на обширное плоскогорье, где они вырыли глубокий водоем, — теперь там плещется озеро, по которому ходят корабли. Целую гору водрузили они на гранитные опоры, которые выше пирамид Гизы; под ее гигантским сводом свободно может пройти армия всадников и боевых слонов. Из этой огромной неиссякаемой чаши струятся серебристые потоки, стекая в акведуки, в широкие каналы,

которые, разделяясь на множество рукавов, несут воду в долину и орошают половину наших земель. Благодаря этому великому творению есть теперь в моем краю тучные нивы и зеленые луга, вековые деревья и густые леса — краса и богатство сладостной страны Йемен. Таково, государь, мое медное море; говорю это не в обиду вашему, которое кажется мне очаровательной находкой.

— Поистине достойное свершение! — воскликнул Сулайман. — И я был бы горд последовать примеру ваших предков, если бы милосердный Бог не даровал моей земле благословенного полноводного Иордана.

— Я пересекла его вчера вброд, — добавила царица, — вода доходила моим верблюдам почти до колен.

— Опасно нарушать порядок вещей, установленный природой, — заметил мудрец, — и создавать вопреки воле Иеговы искусственную цивилизацию, города, поля, промыслы, зависящие от долговечности творения рук человеческих. Наша Иудея засушлива; жителей в ней не больше, чем она может прокормить, и кормятся они тем, что дарują земля и небеса. Когда ваше озеро, эта огромная чаша, высеченная в скалах, треснет, когда гигантские своды обрушатся — а такой день неминуемо настанет, — ваш народ, лишенный воды, будет обречен на медленную смерть, изнуренный палящим солнцем и голодом среди высохших полей.

Эта глубокая мысль взволновала Балкиду, и она погрузилась в задумчивость.

— Уже сейчас, — продолжал царь, — уже сейчас, я в этом уверен, горные ручейки, силясь вырваться из своей каменной тюрьмы, непрестанно подтачивают скалы. В горах случаются землетрясения, время разрушает утесы, вода просачивается, струйки проникают в щели подобно змеям. К тому же ваш великолепный водоем был выбит в камне и лишь потом заполнен, но теперь под толщей воды невозможно будет заделать даже небольшую трещину. О царица! Ваши

предки ограничили будущее своего народа веком каменного сооружения. Я признаю, что скудость их земель сделала их изобретательными, они сумели превратить пустыню в цветущий сад, но их потомки погибнут в праздности и унынии вместе с первыми листьями, упавшими с деревьев, чьи корни не будут больше питать воды каналов. Не следует ни искушать Бога, ни исправлять Его творения. Все, что Он делает, — хорошо.

— Это изречение, — отвечала царица, — проистекает из вашей веры, которую лишают смысла учения ваших боязливых священников. Чего они хотят? Чтобы все навеки застыло в неподвижности, чтобы человечество вечно оставалось в пеленках и не высвободилось из пут, которыми они связывают его самостоятельность. Разве Бог распахал и засеял поля? Разве Бог построил города, возвел дворцы? Разве Он дал нам в руки железо, золото, медь и все металлы, которыми сверкает храм Сулаймана? Нет. Он вдохнул в свои создания гений и жажду деятельности, Он улыбается, глядя на наши усилия, и видит в наших жалких творениях свет души своей, которым Он озаряет наши души. Предполагая этого Бога ревнивым, вы ограничиваете Его всемогущество; возводя в абсолют Его возможности, вы низводите знание к материализму. О царь! Предрассудки вашей религии рано или поздно станут преградой на пути человечества к вершинам знаний, они сломают крылья гению, и люди, умалясь, умалят до своего размера и Бога, а потому неминуемо придут к Его отрицанию.

— Тонко, — произнес Сулайман с горькой улыбкой, — тонко, но безосновательно...

Царица продолжала:

— Полно, не вздыхайте, когда мой палец касается вашей тайной раны. В этом царстве вы одиноки, и вы страдаете: ваши устремления благородны и смелы, но иерархическое строение этого общества давит на ваши крылья; вы говорите себе: «Я оставлю потомству статую царя, слиш-

ком великого для такого маленького народа», — и этого мало для вас. Что до моего царства, это дело иное... Мои предки пожертвовали своим величием, чтобы возвысить своих подданных. Тридцать восемь царей правили моим царством, и каждый из них заложил несколько камней в озеро и акведуки Мареба; имена их забудутся в веках, а это творение будет по-прежнему славить народ савеян; и если когда-нибудь рухнут каменные своды, если жадные горы возьмут обратно свои реки и ручьи, земля моей страны, удобренная за тысячу лет земледелия, будет по-прежнему плодоносить; вековые деревья, затеняющие наши долины, удержат влагу, сохранят прохладу, не дадут высохнуть прудам и фонтанам, и за Йеменом, некогда отвоеванным у пустыни, до скончания веков останется сладостное имя «Счастливая Аравия»... Будь вы свободнее, и вы могли бы стать великим царем во славу вашего народа и для счастья людей.

— Я понимаю, к каким высотам зовете вы мою душу. Но слишком поздно: мой народ богат; золото и войны дают ему все, чем не может обеспечить Иудея; а что до леса для строительства, я предусмотрительно заключил договоры с царем Тира; мои склады ломятся от ливанского кедра и сосны, а наши корабли не уступают на море финикийским.

— Ваши советники заботливы, как строгие отцы, и вы утешаетесь вашим величием, — заметила царица мягко и грустно.

После этих слов оба некоторое время молчали; сгустившиеся сумерки скрыли волнение, написанное на лице Сулаймана, когда он прошептал с нежностью:

— Моя душа соединилась с вашей, и мое сердце следует за нею.

Немного смущенная, Балкида украдкой огляделась: придворные отошли на почтительное расстояние. Над ними сияли звезды; блики ложились на листву, усеяв деревья золотыми цветами. Напоенный ароматами лилий, тубе-

роз, глициний и мандрагоры, ночной ветерок шелестел в ветвях миртовых деревьев; каждый цветок благоухал, словно выводя свою мелодию; душистый воздух опьянял; вдали ворковали горлицы; этому дивному концерту аккомпанировало журчание вод; блестящие мошки и огненные бабочки мелькали зеленоватыми искрами в теплой и полной сладострастной неги ночи. Царица почувствовала, как ею овладевает блаженная истома; нежный голос Сулаймана проник в ее сердце и пленил его.

Нравился ли ей Сулайман, или она лишь вообразила себе, что могла бы полюбить его? С тех пор как она сбила с него спесь, что-то притягивало ее к нему, но это влечение, рожденное спокойной рассудочностью, к которой примешивалась капелька жалости, всегда сопутствующей победе женщины над мужчиной, не было ни пылким, ни восторженным. Владея собой, как владела она помыслами и чувствами царя, Балкида шла к любви, если мысль о любви вообще приходила ей в голову, через дружбу, а путь этот долог!

Царь же, покоренный, ослепленный, то досадовал на свою гостью, то боготворил ее, то впадал в уныние, то загорался надеждой. Гнев сменялся в нем желанием; он получил уже не одну рану, а для мужчины полюбить слишком скоро почти всегда значит полюбить безответно. Впрочем, царица Савская не хотела спешить; она знала, что перед ее чарами никто и никогда не мог устоять, не миновала эта участь даже премудрого Сулаймана. Один лишь скульптор Адонирам* на короткое время привлек ее внимание; она не сумела разгадать его, душой почувствовав в нем тайну, но это минутное любопытство уже рассеялось. Надо, однако, при-

* Адонирам звался иначе Хирам, это имя сохранилось за ним в преданиях. «Адони» — почтительное обращение, означающее «мастер» или «господин». Не следует путать этого Хирама с царем Тира, по чистой случайности носившим то же имя.

знать, что при виде мастера эта сильная женщина впервые сказала себе: вот человек.

Возможно, что эта встреча, мимолетная, но еще свежая в памяти, заставила померкнуть в ее глазах блеск царя Сулаймана. Очевидно, так оно и было, ибо раз или два, собравшись было заговорить о художнике, она сдерживала себя и поспешно меняла тему.

Как бы то ни было, сын Дауда воспламенился мгновенно — она привыкла к такому; немедля сказав ей об этом, он лишь следовал примеру всех других мужчин, но он сумел сделать это достаточно изящно; час выпал благоприятный, Балкида была в самой поре любви; ночной сумрак оказался союзником Сулаймана — его признание заинтриговало и растрогало царицу.

Вдруг красные отсветы факелов легли на листву, и слуги доложили, что ужин подан. «Как некстати!» — нахмурился царь.

«Как вовремя!» — подумала царица.

Стол был накрыт в павильоне, построенном в очаровательном и причудливом вкусе жителей берегов Ганга. Восьмиугольный зал освещали разноцветные свечи и светильники, в которых горело масло, смешанное с благовониями; приглушенный свет трепетал среди огромных букетов цветов. На пороге Сулайман подал руку своей гостье; та шагнула, но тотчас, вскрикнув от неожиданности, отдернула свою маленькую ножку. Пол зала представлял собою водную гладь, в которой отражались стол, диваны, цветы и свечи.

— Почему же вы остановились? — спросил Сулайман с простодушным видом.

Балкиде не хотелось показать свой страх — очаровательным жестом она подобрала платье и решительно ступила в воду.

Но нога ее встретила твердую поверхность.

— О царица, — воскликнул мудрец, — как видите, самый осторожный человек может ошибиться, если судит по

внешности; я хотел вас удивить, и наконец мне это удалось... Вы идете по хрустальному полу.

Она улыбнулась и вздернула плечико движением, исполненным грации, но отнюдь не восхищения, а в душе, быть может, пожалела, что ее не сумели удивить иначе.

Во время пира хозяин был учтив и предупредителен. Сидя в окружении своих придворных, он царил за столом с таким несравненным величием, что Балкида невольно прониклась к нему уважением. Торжественным был пир Сулаймана; этикет соблюдался неукоснительно.

Блюда подавались изысканные и разнообразные, но все были сильно посолены и обильно сдобрены пряностями; впервые Балкиде пришлось отведать подобных солений. Она решила, что таков вкус иудеев; каково же было ее удивление, когда она заметила, что все эти любители острых приправ ничего не пьют. Не было на пиру ни одного виночерпия, ни капли вина или меда, ни единой чаши на столе.

Губы у Балкиды горели, во рту пересохло, но, поскольку царь тоже не пил, она не решалась попросить воды, боясь уронить свое царское достоинство.

Ужин закончился; вельможи начали расходиться и мало-помалу все скрылись под сводами полутемной галереи. Вскоре прекрасная царица савеян осталась наедине с Сулайманом. Он был еще более учтив, чем прежде, и смотрел на нее глазами, полными нежности, но из предупредительного постепенно становился настойчивым.

Преодолев свое смущение, царица улыбнулась, опустила глаза и поднялась с намерением уйти.

— Как? — вскричал Сулайман. — Неужели вы так и покинете вашего покорнейшего раба, не сказав ни слова, не подав никакой надежды, ни малейшего знака сочувствия? А наш союз, о котором я мечтал, а счастье, без которого я больше не мыслю жизни, а моя любовь, пламенная и смиренная, — вы хотите растоптать все это?

Он сжал ручку, которая как бы по рассеянности осталась в его руке, и без усилия притянул к себе, но ее владелица воспротивилась. Что скрывать, Балкида не раз думала об этом союзе, но ей не хотелось терять свою свободу и власть. Она снова повторила, что хочет уйти, и Сулайман вынужден был уступить.

— Что ж, — вздохнул он, — вы можете меня покинуть, но позвольте поставить вам два условия.

— Говорите.

— Ночь так прекрасна, а беседа с вами еще прекраснее. Вы согласны подарить мне всего один час?

— Согласна.

— Второе условие — вы не унесете с собой ничего из того, что мне принадлежит.

— Согласна и на это! От всего сердца, — отвечала Балкида, залившись смехом.

— Смейтесь, смейтесь, о моя царица, случалось, и не раз, что очень богатые люди поддавались искушению, уступая самым странным прихотям...

— Чудесно! Вы изобретательны, когда речь идет о вашем самолюбии. Довольно уловок, заключим мирный договор.

— Надеюсь хотя бы на перемирие...

Они продолжили разговор, причем Сулайман, искусный в ведении бесед, старался, чтобы как можно больше говорила царица. Нежное журчание фонтана в глубине зала вторило ей.

Однако язык присыхает к гортани, если собеседник, воздав должное чересчур соленому ужину, не запил его. Прекрасная царица Савская умирала от жажды; она отдала бы одну из своих провинций за чашу ключевой воды.

Но она не решалась высказать свое желание. А светлая, прохладная, серебристая струя насмешливо журчала совсем рядом, и подобные жемчужинам капли падали в чашу с веселым плеском. Жажда все росла; царица, зады-

хаясь, чувствовала, что не может больше выносить эту пытку.

Продолжая говорить и видя, что Сулайман рассеян и его как будто клонит в сон, она принялась расхаживать по залу, но, дважды пройдя мимо фонтана, так и не осмелилась...

Наконец, не в силах больше противиться соблазну, она вернулась к фонтану, замедлила шаг, оглянулась, украдкой опустила свою изящную ручку, сложенную горстью, в чашу и, отвернувшись, быстро выпила глоток чистой воды.

Сулайман вскочил, подошел к ней, завладел мокрой, блестящей от капель ручкой и воскликнул весело, но решительно:

— Слово царицы дороже золота, вы дали мне его, стало быть, вы теперь принадлежите мне!

— Что это значит?

— Вы похитили у меня воду... а как вы сами справедливо заметили, вода — большая редкость в моих землях.

— О! Государь, это ловушка, я не хочу иметь такого хитрого супруга!

— Ему остается лишь доказать вам, что он не только хитер, но и великодушен. Да, он возвращает вам свободу, несмотря на наш уговор...

— Государь, — прервала его Балкида, опустив глаза, — мы должны служить для наших подданных примером в делах чести.

— Госпожа, — отвечал, упав на колени, великий Сулайман, самый галантный из царей былых и будущих времен, — одним этим словом вы расплатились за все.

И, быстро поднявшись, он позвонил в колокольчик; тотчас прибежали двадцать слуг со всевозможными прохладительными напитками; следом за ними явились придворные. Сулайман торжественно провозгласил:

— Дайте напиться вашей повелительнице!

Услышав эти слова, вельможи пали ниц перед царицей Савской и восславили ее.

Но она, смущенная, трепещущая, уже опасалась, не связала ли себя неосторожным и преждевременным обещанием.

Во время паузы, последовавшей за этой частью рассказа, внимание аудитории привлекло довольно необычное происшествие. Молодой человек, в котором по цвету кожи, напоминавшему новенькое су, можно было узнать абиссинца (хабеша), выбежал на середину круга и принялся отплясывать какой-то негритянский танец, сам себе аккомпанируя песней на ломаном арабском языке, из которой я запомнил только рефрен. Он выкрикивал нараспев слова: «Йаман! Йамани!» — растягивая гласные на манер южных арабов. «Йаман! Йаман! Йамани!.. Салам-Алейк, Балкис-Македа! Македа!.. Йамани! Йамани!» Это означало: «Йемен! О край Йемен! Приветствую тебя, Балкида великая! О край Йемен!»

Подобный приступ ностальгии легко было объяснить тесными связями, существовавшими некогда между народом Савы и абиссинцами, которые жили на западном берегу Красного моря и тоже входили в империю Химьяритов. Очевидно, восторг этого слушателя — а до сих пор он молчал — был вызван последней частью рассказа, в которой он узнал одно из преданий своей страны. Может быть, он был также счастлив услышать, что великая царица сумела избежать ловушки, расставленной мудрым царем Соломоном.

Это заунывное пение продолжалось так долго, что начало раздражать собравшихся; некоторые из завсегдатаев уже кричали: «Мелбус!» (одержимый), и молодого человека стали мягко подталкивать к дверям. Хозяин кофейни, испугавшись, что не получит пять или шесть пара (три сантима), которые должен был ему этот посетитель, поспешил за ним на улицу. По всей видимости, дело было улажено: очень скоро в кофейне снова воцарилось благоговейное молчание, и рассказчик продолжил повествование.

V

МЕДНОЕ МОРЕ

Ценой неустанных трудов и долгих бессонных ночей мастер Адонирам закончил работу; уже были вырыты в песке формы для колоссальных статуй. Строители много дней копали землю и дробили камень, и словно след исполина глубоко отпечатался на плоскогорье Сиона, где должно было быть отлито медное море. Готовы были для него прочные каменные контрфорсы, которые потом предстояло заменить гигантским львам и сфинксам, предназначенным служить ему опорами. Толстые брусья из золота, которое не плавится при температуре плавления бронзы, поддерживали крышку огромной чаши. Расплавленный металл, стекая по множеству желобов, должен был заполнить пустоту, а затем, остыв, заключить в оковы золотые колышки и слиться в одно целое с этими надежными и драгоценными вехами.

Семь раз всходило и заходило солнце с тех пор, как закипела руда в печи, над которой возвышалась массивная башня из кирпича, заканчивающаяся в шестидесяти локтях от земли усеченным конусом с отверстием, откуда вырывались красный дым, синеватые языки пламени и снопы искр.

Глубокий ров, прорытый между формой и подножием печи, должен был стать руслом огненной реки, когда придет час железными кирками открыть чрево вулкана.

Приступить к великому деянию было решено ночью: в это время легко следить за продвижением жидкого металла, когда он, белый и лучезарный, сам освещает свой путь; а если раскаленная лава грозит выйти из повиновения, просочившись в незаметную трещину или проделав щель в обшивке, это легко увидеть впотьмах.

Не было в Иерусалиме никого, кто бы равнодушно ожидал решающего часа, которому суждено было обессмертить

или навеки опозорить имя Адонирама. Оставив свои занятия, шли к храму ремесленники со всех концов царства, и на склоне дня в канун роковой ночи с самого заката солнца толпы любопытных заполонили окрестные холмы.

Никогда еще ни один мастер по собственному почину и вопреки всем предостережениям не пускался в столь рискованное предприятие. Отливка металлов — весьма интересное зрелище, и зачастую, когда отливались большие статуи или детали, сам царь Сулайман изъявлял желание провести ночь в мастерских, а вельможи оспаривали друг у друга право сопровождать его.

Но отливка медного моря была невиданным по размаху делом, вызовом гения людским предрассудкам, силам природы и суждениям знатоков, которые все как один предсказывали мастеру неудачу.

Поэтому, предвкушая захватывающий поединок, люди всех возрастов, из всех земель еще засветло толпились на холме Сиона, подступы к которому охраняли легионы ремесленников. Безмолвные отряды обходили дозором толпу, поддерживая порядок и не допуская ни малейшего шума... Это было нетрудно, ибо по приказу царя звуки трубы призвали к полной тишине под страхом смертной казни — необходимая мера, чтобы отчетливо слышались и быстро выполнялись все команды.

Вечерняя звезда уже клонилась к морю; ночь была темная, низко нависшие облака казались рыжеватыми в отсветах пламени, вырывающегося из печи; час был близок. В сопровождении мастеров Адонирам в свете факелов расхаживал по площадке, в последний раз проверял, все ли готово. Под большим навесом у печи можно было разглядеть кузнецов в медных шлемах с опущенными козырьками и в длинных белых одеяниях с короткими рукавами — вооруженные железными крюками, они извлекали из пламенеющего жерла печи шлак, вязкие комья полузастывшей пены, и уносили их подальше от формы.

Кочегары, сидя на высоких лесах, поддерживаемых прочными опорами, бросали сверху в топку корзины угля, и пламя отвечало устрашающим ревом, вырываясь из вентиляционных отверстий. Повсюду роились толпы подмастерьев с лопатами, кирками и кольями; длинные тени скользили за ними по земле. Все были почти обнажены: лишь узкие повязки из полосатой ткани прикрывали бедра; на головы были натянуты шерстяные колпаки, а ноги были защищены деревянными наколенниками, привязанными кожаными ремнями. Почерневшие от угольной пыли, лица их казались красными в отблесках пламени; они сновали по площадке, подобные демонам или призракам.

Звуки фанфар возвестили о прибытии царской свиты; появился Сулайман вместе с царицей Савской; Адонирам почтительно приветствовал их и проводил к импровизированному трону, сооруженному специально для высоких гостей. На скульпторе был нагрудник из буйволовой кожи; белый шерстяной фартук доходил ему до колен, его сильные ноги защищали гетры из кожи тигра, а ступни были босы, ибо он мог, не ощущая жара, ходить по раскаленному докрасна металлу.

— Вы предстали передо мной во всем вашем могуществе, — обратилась Балкида к царю строителей, — подобно божеству огня. Если ваш замысел удастся, никто в эту ночь не сможет считать себя выше мастера Адонирама!..

Художник, как ни был он занят, собирался уже ответить ей, однако Сулайман, неизменно мудрый, но порой ревнивый, перебил его.

— Мастер, — властно произнес он, — не теряйте драгоценного времени; вернитесь к вашей работе: я не хочу, чтобы, пока вы будете здесь, произошел какой-нибудь несчастный случай, в котором мы невольно окажемся повинны.

Царица успела приветственно поднять руку, и Адонирам удалился.

«Если он сделает это, — подумал Сулайман, — каким несравненным памятником украсит он храм Адонаи; но как же возрастет тогда его сила, которой уже следует опасаться!»

Через несколько мгновений они увидели Адонирама у печи. Пламя освещало его снизу, отчего его статная фигура казалась еще выше; длинная тень ложилась на стену и на прибитый к ней бронзовый лист, по которому каждый из мастеров двадцать раз ударил железным молотком. Гул далеко разнесся по холмам, и стало еще тише, чем прежде. Вдруг десять теней с кирками и рычагами устремились в ров, прорытый под жерлом печи прямо напротив трона. Кузнечные мехи, издав последний хрип, замерли, и слышны были только глухие удары железа по обожженной глине, которой было заделано отверстие, откуда предстояло хлынуть расплавленному металлу. Вскоре глина в этом месте стала фиолетовой, потом покраснела, озарилась оранжевым светом; в центре засветилась белая точка, и все подручные отошли назад, только двое остались у печи. Под наблюдением Адонирама эти двое осторожно откалывали куски глины вокруг светящейся точки, стараясь не пробить корку насквозь... Мастер с тревогой следил за ними.

Во время этих приготовлений верный подмастерье Адонирама, юный Бенони, преданный ему всей душой, перебегал от одной группы строителей к другой, глядя, усердно ли все трудятся, в точности ли выполняются приказы, — и не было судьи строже его.

Но вдруг случилось неожиданное — молодой подмастерье в смятении подбежал к трону, пал к ногам Сулаймана, распростерся ниц и воскликнул:

— Государь, прикажите остановить плавку, все погибло, нас предали!

Не принято было в Иудее, чтобы ремесленники запросто обращались к царю, не испросив разрешения; стражники уже окружили дерзкого юношу, но Сулайман жестом

отослал их, нагнулся к коленопреклоненному Бенони и сказал вполголоса:

— Объясни, в чем дело, но без лишних слов.

— Я обходил печь; у стены стоял человек и как будто ждал кого-то; подошел один и тихо сказал первому: «Вемамия!» Тот ответил: «Елиаил!» Потом появился третий и тоже произнес: «Вемамия!» Ему отвечали: «Елиаил!»

После этого один из троих воскликнул:

«Он подчинил плотников рудокопам!»

Второй подхватил: «Он подчинил и каменщиков рудокопам».

А третий: «Он хочет сам править рудокопами».

Первый продолжал: «Он отдает свою силу чужеземцам».

Второй: «У него нет родины».

Третий добавил: «Это верно».

«Все подмастерья — братья», — снова заговорил первый.

«Все цеха имеют равные права», — отозвался второй.

«И это верно», — повторил третий.

Я понял, что первый из них — каменщик, потому что потом он сказал: «Я подмешал известь в кирпичи, и от нагрева они рассыплются в прах». Второй — плотник, он добавил: «Я сделал поперечные балки слишком длинными, и огонь доберется до них». А третий работает с металлом; вот его слова: «Я принес с берегов ядовитого озера Гоморра смолу и серу и подмешал их в литье». В этот миг сверху дождем посыпались искры и осветили их лица. Каменщик — сириец по имени Фанор, плотник — уроженец Финикии, его зовут Амру, а рудокоп — иудей из колена Рувимова, его имя — Мифусаил. О великий царь, я поспешил припасть к вашим ногам: поднимите ваш скипетр и остановите работы!

— Слишком поздно, — задумчиво произнес Сулайман, — видишь, отверстие уже открывается; молчи обо всем и не тревожь Адонирама, только повтори мне три имени, что ты назвал.

— Фанор, Амру, Мифусаил.

— Да будет на все воля Божья!

Бенони пристально посмотрел на царя и побежал обратно, быстрый как молния. Тем временем куски обожженной глины продолжали падать на землю; подручные заработали с удвоенной силой; корка, закрывающая отверстие, стала совсем тонкой и засветилась так ярко, словно солнце готовилось восстать из своего ночного убежища, не дождавшись утра. По знаку Адонирама подручные отошли; под гулкие удары молотков о бронзу мастер поднял железную палицу, вонзил ее в почти прозрачную переборку, повернул и с силой рванул на себя. В тот же миг быстрый, ослепительно белый поток устремился в желоб и заскользил подобно золотой змее, вспыхивающей серебристыми и радужными бликами, к вырытому в песке углублению, а оттуда растекся по множеству желобков.

Пурпурный свет, словно кровью, окрасил лица бесчисленных зрителей на склонах холмов; в отблесках его вспыхнули темные облака; багровым заревом окрасились вершины далеких гор. Иерусалим выступил из ночного мрака; казалось, весь город охвачен пожаром. В мертвой тишине это величественное и феерическое зрелище походило на сон.

Отливка уже началась, как вдруг чья-то тень метнулась ко рву, предназначенному для стока жидкого металла. Это был человек; невзирая на запрет, он решился пересечь русло, которое вот-вот должна была захлестнуть огненная река. Но когда он ступил туда, поток расплавленного металла настиг его, сбил с ног, и он исчез в мгновение ока.

Адонирам не видел ничего вокруг, кроме своей работы; при мысли о неминуемой беде он, рискуя жизнью, устремился к потоку с железным крюком; он вонзил его в грудь несчастного, подцепил тело, нечеловеческим усилием поднял его и отшвырнул, как ком шлака, подальше на берег, где этот страшный факел мало-помалу угас... Мастер

даже не успел узнать своего подмастерья, своего верного Бенони.

Жидкий металл заполнял впадину медного моря, контуры которого уже вырисовывались золотой диадемой на черной земле, а между тем тучи литейщиков с глубокими ковшами на длинных железных ручках по очереди черпали жидкий огонь из образовавшегося озера и заливали металл в формы львов, быков, пальм, херувимов и других гигантских фигур, которым предстояло стать опорами медного моря. Неустанно орошали они песок огнем, и проступали на земле светлые багряные очертания лошадей, крылатых быков, пёсьеголовых обезьян, чудовищных химер, рожденных гением Адонирама.

— Божественное зрелище! — воскликнула царица Савская. — Какое величие! Какова сила духа этого смертного, что обуздывает стихии и покоряет природу!

— Он еще не победил, — отвечал Сулайман с нескрываемой горечью. — Только Адонаи всемогущ!

VI

ВИДЕНИЕ

Вдруг Адонирам заметил, что огненная река выходит из берегов; зияющее отверстие изрыгало потоки, и песок осыпался под напором металла. Мастер взглянул на медное море — форма переполнилась, верхняя обшивка треснула, и лава уже струилась во все стороны. Страшный крик вырвался у него, голос его прокатился по холмам и долго отзывался эхом в горах. Решив, что раскаленный песок остеклянел, Адонирам схватил рукав, присоединенный к резервуару с водой, и стремительной рукой направил водяной столб на пошатнувшиеся каменные опоры, поддерживавшие форму. Два потока схлестнулись, расплавленный металл

окутал воду, сдавил ее, заключил в тиски. Вода зашипела, превращаясь в пар, под ее напором огненные оковы лопнули. Грянул взрыв, металл брызнул ослепительным фонтаном на двадцать локтей в высоту, словно вдруг раскрылось жерло огромного вулкана. В грохоте потонули душераздирающие крики и плач: обрушившийся на землю звездный дождь сеял повсюду смерть; каждая капля была раскаленным копьем, пронзавшим и убивавшим на месте. Тела падали, устилая площадку, и тишину разорвал общий крик ужаса. Паника охватила толпу; все бежали, не разбирая дороги; страх толкал прямо в огонь тех, кого огонь преследовал... Залитые ослепительным багровым светом поля воскрешали в памяти ту страшную ночь, когда пылали Содом и Гоморра, воспламененные молниями Иеговы.

Адонирам в растерянности метался по площадке, пытаясь собрать своих строителей, чтобы заткнуть жерло печи, извергавшей неиссякаемые потоки огня, но он слышал лишь стоны и проклятия и видел вокруг только мертвые тела — все уцелевшие разбежались. Один Сулайман остался невозмутимым на своем троне, и царица спокойно сидела рядом с ним. Сияли в полумраке диадема и скипетр.

— Иегова покарал его, — сказал Сулайман своей гостье, — но Он наказал и меня гибелью моих подданных — за мою слабость, за снисходительность к его чудовищной гордыне.

— Тщеславие, погубившее столько жизней, преступно, — отвечала царица. — Государь, ведь вы могли погибнуть во время этого ужасного опыта: огненный ливень низвергался вокруг нас.

— И вы были здесь! Этот гнусный приспешник Ваала подверг опасности вашу драгоценную жизнь! Идемте отсюда, царица, я тревожусь только за вас.

Пробегавший мимо Адонирам слышал этот разговор; он кинулся прочь, рыча от боли и унижения. Чуть подаль-

ше он наткнулся на группу строителей; они осыпали его насмешками, бранью и проклятиями. Тут к нему подошел сириец Фанор и сказал ему:

— Ты велик; счастье изменило тебе, но тебе не изменяли каменщики.

Следом подошел Амру-финикиец и сказал так:

— Ты велик, и ты одержал бы победу, если бы все делали свое дело так, как плотники.

А иудей Мифусаил сказал вот что:

— Рудокопы выполнили свой долг, но чужеземцы своим невежеством все погубили. Мужайся! Мы создадим еще более великое творение, и ты позабудешь об этой неудаче.

«Вот, — подумал Адонирам, — единственные друзья, которых я здесь нашел».

Ему было легко избежать встреч: все отворачивались от него и спешили скрыться во мраке. Вскоре горящие угли и красноватые отблески остывающей на земле плавки освещали лишь небольшие группки вдалеке, которые постепенно таяли в ночной тьме. Удрученный Адонирам искал Бенони.

— И этот тоже покинул меня... — с грустью прошептал он.

Мастер остался один у стен печи.

— Опозорен! — воскликнул он с горечью. — Вот все, что дали мне годы лишений и неустанных трудов во славу неблагодарного царя! Он меня осудил, и мои братья отреклись от меня! И эта женщина, эта царица... она была там и видела мой позор... Ее презрение... мне пришлось испытать и это! Но где же Бенони в этот час, когда я терплю такие муки? Один! Я один и проклят. Будущего нет. Ты свободен, Адонирам, улыбнись же и отправляйся в огонь в поисках своей стихии и своего мятежного раба!

Спокойно и решительно шагнул он к реке, которая еще катила свои красноватые волны расплавленного металла с комьями шлака, то и дело вспыхивая искрами и по-

трескивая от соприкосновения с влагой. Быть может, это вздрагивала лава, обтекая трупы... Густые клубы рыжего и фиолетового дыма вздымались подобно лесу колонн и заволакивали плотной завесой место страшного происшествия. Дойдя до реки, сраженный гигант рухнул на землю и погрузился в свои думы, не сводя глаз с пламенеющих вихрей, которые могли окутать его и задушить при малейшем дуновении ветра.

Странные, причудливые фигуры то и дело вспыхивали и тотчас исчезали в зловещей игре языков пламени и клубах пара. В ослепленных глазах Адонирама мелькали среди гигантских статуй и золотых глыб светящиеся карлики, которые обращались в дым или рассыпались искрами. Эти видения не могли рассеять отчаяние мастера и утишить его боль. Вскоре, однако, они завладели его разгоряченным воображением, и ему показалось, что в самом сердце пламени гулкий и звучный голос произнес его имя. Трижды донеслось из огненного смерча слово «Адонирам».

Вокруг не было ни души... Он жадно вгляделся в пылающую землю и прошептал:

— Глас народа зовет меня!

Не сводя глаз с пламени, он приподнялся на одно колено, протянул руку и различил в клубах красного дыма человеческую фигуру, словно размытую, но огромную, — она сгущалась в огне, обретая очертания, снова рассеивалась и сливалась с дымом. Все вокруг трепетало и пламенело, лишь этот гигант стоял неподвижно, то темный в искрящемся облаке пара, то светящийся, мерцающий в черной копоти. Фигура вырисовывалась все отчетливее, обретала формы, приближалась, и Адонирам в страхе спрашивал себя, что же это за статуя, наделенная жизнью.

Фантом был уже совсем рядом. Адонирам смотрел на него, остолбенев. Его гигантские плечи и широкую грудь прикрывал далматик без рукавов; железные браслеты украшали голые руки; загорелое лицо обрамляла густая борода,

заплетенная в косички и завитая в несколько рядов; на голове его сияла алая митра, в руке он держал молот. Огромные сверкающие глаза взглянули на Адонирама с нежностью, и раздался голос, словно вырывающийся из недр огненного потока.

— Пробуди свою душу, — сказал он, — встань, сын мой. Я видел невзгоды, постигшие моих потомков, и проникся жалостью к ним.

— Дух, кто ты?

— Тень отца твоих отцов, предок тех, что трудятся и страдают. Идем; когда моя ладонь коснется твоего лба, ты сможешь дышать в пламени. Ты был сильным, так будь же бесстрашен...

Внезапно Адонирам почувствовал, как его окутывает тепло, проникающее до самых глубин, оно согрело его, не обжигая; воздух, который он вдыхал, словно стал легче; непреодолимая сила увлекла его к огню, куда уже шагнул его таинственный спутник.

— Где я? Как твое имя? Куда ты ведешь меня? — пробормотал он.

— В центр земли... Туда, где живет душа мира, туда, где возвышается подземный дворец нашего отца Еноха, которого в Египте зовут Гермесом, а в Аравии чтят под именем Идриса.

— Силы бессмертные! — вскричал Адонирам. — О господин мой! Так это правда? Вы...

— Твой предок, человек... художник, твой учитель и покровитель: я был на земле Тувал-Каином.

Чем дальше продвигались они вниз в темноте и безмолвии, тем нереальнее казалось Адонираму все происходящее. Но он уже не принадлежал себе, увлекаемый чарами незнакомца; повинуясь неодолимой силе, душа его устремилась к таинственному провожатому.

Прохлада и влага сменились теплым, разреженным воздухом; недра земли жили, вздрагивали, слышался стран-

ный гул и глухие удары, мерные, ритмичные, говорившие о том, что где-то совсем близко сердце этого мира; Адонирам все яснее слышал его биение и не мог понять, что делает он в этих бездонных глубинах; он искал опоры, но не находил и следовал за тенью Тувал-Каина, не видя ничего вокруг. Призрак хранил молчание.

Через несколько мгновений, показавшихся ему долгими, как жизнь патриарха, Адонирам увидел вдали светящуюся точку. Точка эта росла, росла, приближалась, потом вытянулась в длинный луч, и художнику на миг открылся мир, населенный тенями, — они сновали, поглощенные занятиями, смысла которых он не понимал. Наконец этот смутный свет угас, коснувшись пламенеющей митры и далматика сына Каина.

Адонирам пытался что-то сказать, но тщетно: голос замер в его стесненной груди; он вздохнул свободнее, лишь оказавшись в огромной галерее, уходившей вглубь насколько хватало глаз; она была так широка, что стен не было видно, а поддерживал ее бесконечный ряд огромных колонн, терявшихся в вышине, так что взор не мог достигнуть свода.

Вдруг мастер вздрогнул: Тувал-Каин заговорил.

— Твои ноги ступают по гигантскому изумруду, корню и опоре горы Каф; ты подошел к владениям твоих предков. Здесь безраздельно царит потомство Каина. Под этими гранитными твердынями, среди этих неприступных пещер мы нашли наконец свободу. Здесь кончается ревнивая тирания Адонаи, только здесь можно, не страшась гибели, вкушать плоды с древа познания.

Долгий и сладостный вздох вырвался у Адонирама; ему показалось, что впервые освободился он от тяжкого груза, всю жизнь давившего ему на плечи.

Тут все вокруг ожило; толпы людей заполонили подземелье; они сновали, суетились, работали; раздавался веселый звон молотков по металлу, смешиваясь с журчанием вод

и свистом яростного ветра; свод озарился, раскинувшись над головой подобно бескрайнему небу, откуда лились на эти огромные и странные мастерские потоки ослепительно-белого, чуть оттененного лазурью света, который, касаясь земли, играл всеми цветами радуги.

Адонирам шел сквозь толпу и видел вокруг людей, занятых работой, цели которой он не мог постичь; пораженный сияющим небесным сводом в недрах земли, мастер остановился.

— Это святилище огня, — сказал ему Тувал-Каин, — здесь рождается тепло, согревающее землю; не будь нас, она погибла бы от холода. Мы готовим здесь металлы, обращая в жидкость пары; отсюда они растекаются по жилам земли.

Соприкасаясь и переплетаясь над нашими головами, эти жилы, несущие в себе различные стихии, рождают встречные потоки, которые, сталкиваясь, воспламеняются и излучают яркий свет... ослепительный для твоих несовершенных глаз. Вокруг, притянутые этими потоками, превращаются в пар семь металлов, и пар этот собирается в лазурные, зеленые, пурпурные, золотые, алые и серебряные облака; встречаясь и сливаясь, они образуют сплавы, из которых состоят все земные минералы и драгоценные камни. Когда свод охлаждается, облака сгущаются и разражаются градом рубинов, изумрудов, топазов, ониксов, бирюзы и алмазов; подземные течения подхватывают их и уносят, а вместе с ними уносят шлаки — гранит, кремень, известняк; это они вздымают поверхность земли, приближаясь к владениям людей... ибо солнце Адонаи холодно, это жалкая печка, на которой не сваришь и яйца. Так что стало бы с людьми, если бы мы не передавали им втайне стихию огня, заключенную в камне, и железо, способное высечь искру?

Это объяснение удовлетворило Адонирама, но и удивило его. Он подошел к работающим, не понимая, как могут они трудиться в этих реках золота, серебра, меди, желе-

за, разделять потоки на рукава, преграждать плотинами и укрощать их волны.

— Металлы, — ответил на его мысль Тувал-Каин, — превращаются в жидкость от тепла сердца земли: жар, в котором мы живем здесь, почти вдвое сильнее жара в печах, где ты плавишь бронзу.

Адонирам содрогнулся, удивляясь, что он еще жив.

— Этот жар, — продолжал Тувал-Каин, — естественная температура для душ, рожденных некогда из стихии огня. Когда Адонаи вылепил форму для земли, он поместил в центр ее крошечную искру, из которой хотел сотворить человека; и той частицы хватило, чтобы согреть всю глыбу, вдохнуть в нее жизнь и мысль; но там, наверху, душа эта борется с холодом — потому так скудны ваши возможности; а случается, что сила притяжения центра земли увлекает искру, и тогда вы умираете.

Такое объяснение сотворения мира вызвало пренебрежительный жест у Адонирама.

— Да, — продолжал его спутник, — он жалок, а не силен, завистлив, а не великодушен, Бог Адонаи! Он создал человека из грязи наперекор духам огня, а потом, испугавшись собственного творения и из снисходительности к этому ничтожному созданию, без жалости к их слезам обрек его на смерть. Вот основополагающее противоречие, которое разделяет нас; вся земная жизнь рождена из огня, и ее притягивает огонь, скрытый в центре земли. Мы хотели, чтобы таким же образом поверхность земли притягивала этот огонь и он воссиял бы над нею — это и было бы бессмертие.

Но Адонаи, который царит там, вокруг миров, замуровал землю и воспрепятствовал этому притяжению извне. В результате этого земля умрет, как и ее жители. Она уже стареет; холод все глубже проникает в нее; исчезли с лица ее сонмы животных и растений; редеют народы, короче становится жизнь, а из семи первозданных металлов земля,

сердцевина которой замерзает и иссыхает, получает уже только пять*. Даже солнце меркнет; оно погаснет через пятьшесть миллионов лет. Но не мне одному, о сын мой, предстоит открыть тебе все эти тайны — ты услышишь их из уст людей, твоих предков.

VII

ПОДЗЕМНЫЙ МИР

Вместе вошли они в сад, залитый мягким светом трепещущего огня, где росло множество невиданных деревьев; листьями их были язычки пламени, отбрасывающие вместо тени более яркие отсветы на изумрудную землю, пестреющую цветами причудливой формы и удивительных окрасок. Расцветшие от внутреннего тепла земли, эти цветы были легчайшим и чистейшим порождением металлов. Подземный цветущий сад сиял подобно драгоценным каменьям и источал ароматы амбры, ладана и мирры. Невдалеке змеились ручейки нефти, питая поля киновари — розу красоты подземного мира. Там прогуливались огромного роста старики, скроенные по мерке этой буйной и щедрой природы. Под пламенеющим балдахином листвы Адонирам увидел сидящих в ряд гигантов; по ритуальным одеяниям, величественной осанке и суровым лицам мас-

* Предания, на которых основаны многие эпизоды этой легенды, принадлежат не только Востоку — они были известны и в Европе в средние века. Достаточно посмотреть, например, «Историю преадамитов» Лапейрера, «Iter subterraneum» Климия и множество манускриптов по каббале и спагирической медицине. На Востоке все это не забыто. Не следует поэтому удивляться своеобразным научным гипотезам, которые могут содержаться в этом рассказе. Большая часть этих легенд встречается также в Талмуде, в книгах неоплатоников, в Коране и в Книге Еноха, недавно переведенной епископом Кентерберийским.

тер узнал фигуры, виденные им некогда в пещерах Ливана. Он догадался, что это и есть исчезнувшая с лица земли династия царей Енохии. Вокруг них он увидел сидящих пёсьеголовых обезьян, крылатых львов, грифонов, загадочно улыбающихся сфинксов — все это были некогда обреченные на гибель животные, погребенные под водами потопа, но их обессмертила память человеческая. Эти удивительные рабы-андрогины поддерживали постаменты огромных тронов, неподвижные, покорные и все же живые.

Застывшие, невозмутимые, как само олицетворение покоя, цари — сыны Адама, погруженные в раздумье, казалось, чего-то ждали.

Адонирам шел все дальше и, дойдя до конца вереницы, направился к огромной квадратной каменной глыбе, белой, как первый снег... Он уже занес ногу, чтобы ступить на эту скалу из чистого асбеста, не сгорающего в огне.

— Остановись! — вскричал Тувал-Каин. — Мы стоим под горой Серендибской; ты хочешь попрать ногами могилу неведомого, первенца земли. Адам спит под этим покровом, который хранит его от огня. Он встанет лишь тогда, когда наступит последний день мироздания; мы владеем его могилой, так расплатился с нами верхний мир. Но слушай же: наш отец зовет тебя.

Каин сидел на корточках, и поза его выражала скорбь. Красота его была ослепительна, глаза печальны, губы бледны. Он был обнажен; чело его, на котором лежала печать забот, обвивала вместо диадемы змея из золота... Усталым и изнуренным казался вечный скиталец.

— Да пребудут с тобой сон и смерть, сын мой. Ты из племени искусных и угнетаемых; по моей вине ты страдаешь. Моей матерью была Хева; Иблис, ангел света, вложил в ее грудь искру, которая вдохнула в меня жизнь и не дает погибнуть моему роду. Адам, вылепленный из глины, обладатель пленной души, Адам выкормил меня. Я, дитя

элохимов*, любил это несовершенное творение Адонаи и отдал служению невежественным и немощным людям высший дух, живший во мне. Я сам кормил моего кормильца на закате дней и качал в колыбели Авеля... которого они называли моим братом. Увы мне! Увы!

Прежде чем стать первым на земле убийцей, я познал неблагодарность, несправедливость и разъедающую сердце обиду. Я трудился без устали, чтобы скупая земля давала нам пищу, я изобретал для счастья людей плуги и лемехи, которые заставляют ее плодоносить, я возродил для них среди тучных полей и цветущих садов Эдем, который они утратили, я принес им в жертву свою жизнь. О низость человеческая! Адам не любил меня! Хева не могла забыть, что была изгнана из рая за то, что произвела меня на свет, и сердце ее, закрытое для меня, безраздельно принадлежало Авелю. А он, всеми обласканный и заносчивый, смотрел на меня как на слугу: Адонаи был с ним, чего же ему еще? Так, пока я орошал своим потом землю, на которой брат мой чувствовал себя царем, он жил в праздности и неге и пас свои стада, окутанный дремотой под сенью смоковниц. Я сетую: родители наши твердили о справедливости Божьей; мы принесли Ему жертвы, но моя — снопы пшеницы, которую я вырастил своими руками, и первые летние плоды, — моя жертва была с презрением отвергнута... Так ревнивый Бог всегда отталкивал дух мыслящий и созидающий, отдавая власть вместе с правом угнетать себе подобных умам заурядным. Остальное тебе известно, но ты еще не знаешь, что Адонаи, отвернувшись от меня, хотел обречь меня на бесплодие и отдал в жены юному Авелю нашу сестру Аклинию, которой я был любим. Так началась на земле борьба джиннов, или элохи-

* Элохимы — древние духи, которых египтяне называли »аммонейскими богами». В персидских преданиях Адонаи, или Иегова (Бог иудеев), был всего лишь одним из элохимов.

мов, рожденных стихией огня, с сынами Адама, вылепленного из глины.

Я погасил факел Авеля... Адам возродился позднее в потомстве Сифа; дабы искупить свое преступление, я стал благодетелем сынов Адама. Нашему племени, во всем превосходящему их, обязаны они всеми искусствами, ремеслами и познаниями об окружающем мире! Вотще! Просвещая их, мы сделали их свободными... Адонаи так и не простил меня; Он ставит мне в вину и неискупимый грех один разбитый глиняный сосуд — Он, который погубил тысячи жизней в водах потопа, Он, который, дабы истребить людей, посылал им столько тиранов!

Тут могила Адама заговорила.

— Ты, — произнес голос из глубин, — ты породил на земле убийство; Бог преследует меня в детях моих за кровь Хевы, что течет и в твоих жилах, кровь, которую ты пролил. Из-за тебя Иегова послал на землю священников, приносивших человеческие жертвы, и царей, жертвовавших жизнями священников и воинов. Придет день — и Он породит властителей, которые внесут раздор между племенами, между священниками и самими царями; и потомки скажут тогда: «Это Каиново семя!»

Сын Евы заметался и поник головой.

— И он тоже! — воскликнул он. — И от него нет мне прощения!

— Никогда! — ответил голос, и донесся из бездны затихающий стон: — Авель, сын мой Авель, Авель!.. Что сделал ты с твоим братом Авелем?..

Каин катался по земле, которая отзывалась звоном, и в отчаянии раздирал себе грудь...

Таковы муки Каина, так наказан он за пролитую кровь.

Охваченный стыдом, любовью, состраданием и ужасом, Адонирам отвернулся.

— А что сделал я? — заговорил, качая головой под высокой тиарой, старец Енох. — Люди бродили по земле по-

добно стадам — я научил их обтесывать камни, строить большие дома, объединяться в городах. Я первым открыл им великую силу общества. Я собрал и сплотил этих дикарей, я оставил целое племя в моем городе Енохии, руины которого и сегодня поражают взгляд ваших вырождающихся народов. Только благодаря мне Сулайман воздвигает храм во славу Адонаи, но этот храм его и погубит, ибо Бог иудеев, о сын мой, узнал мой дух в творении рук твоих.

Адонирам поднял глаза на эту огромную тень: у Еноха была длинная, заплетенная в косички борода; тиара его, перевитая алыми лентами и украшенная двойным рядом звезд, была увенчана шипом, заканчивающимся клювом грифа. Две ленты с бахромой ниспадали на его волосы и хитон. В одной руке он держал длинный жезл, в другой — наугольник. Своим гигантским ростом он возвышался над отцом своим Каином. Рядом с ним стояли Ирод и Мавъяил; волосы их были перехвачены простыми лентами, руки обвивали браслеты. Один из них некогда покорил воды источников, другой обтесал кедры. Мефусаил создал буквы и оставил книги, которыми потом завладел Идрис и укрыл их под землей — книги «Тау»... На плечи Мефусаила был наброшен священный плащ, на боку висел меч, а на его сверкающем поясе сияла написанная огненными штрихами буква Т — знак, объединяющий всех владеющих ремеслами, потомков духов огня.

Адонирам смотрел на улыбающееся лицо Ламеха, чьи руки были покрыты сложенными крыльями; выглядывающие из-под них узкие ладони лежали на головах двух сидевших у его ног молодых мужчин. Тувал-Каин между тем покинул своего подопечного и вернулся на свой железный трон.

— Ты видишь славный лик моего отца, — сказал он Адонираму. — Те, чьи волосы он гладит, — сыновья Ады: Иавал, который раскинул шатры и научился сшивать верблюжьи

кожи, и мой брат Иувал, который первым натянул струны на гусли и на арфу и сумел извлечь из них звуки.

— Сын Ламеха и Силлы, — отвечал Иувал голосом мелодичным, как пение ветерка летним вечером, — ты велик в сравнении с твоими братьями, и ты царствуешь над предками твоими. От тебя пошли все ремесла и искусства мира, и войны. Дав людям золото, серебро, медь и булат, ты дал им плоды с древа познания. Золото и железо вознесут их на вершины могущества, но они же и погубят их, и это будет нашей местью Адонаи. Хвала Тувал-Каину!

Многоголосое эхо ответило на этот возглас со всех сторон; легионы гномов долго еще повторяли его вдали, а потом принялись за работу с удвоенным усердием. Гулко стучали молотки под сводами вечных мастерских, и сердце Адонирама, ремесленника, попавшего в мир, где ремесленники были царями, наполнилось ликованием и гордостью.

— Дитя рода элохимов, — обратился к нему Тувал-Каин, — мужайся, слава твоя в твоем рабстве. Твои предки сделали ремесла человеческие грозной силой, потому наш род был обречен. Он боролся две тысячи лет; нас не смогли уничтожить, ибо мы рождены от бессмертной сущности, но нас сумели победить, потому что кровь Хевы смешалась с нашей кровью. Твои предки, мои потомки, спаслись от вод всемирного потопа. Ибо, пока Иегова, готовясь уничтожить нас, копил воды в хлябях небесных, я призвал на помощь огонь и устремил быстрые токи к поверхности земли. По моему повелению огонь расплавил камни, и под землей пролегли длинные галереи, которые должны были послужить нам убежищем. Эти подземные лабиринты выходят на равнину Гизы, неподалеку от берегов Нила, где был построен город Мемфис. Чтобы защитить галереи от воды, я собрал племя исполинов, и наши руки воздвигли гигантскую пирамиду, которая будет стоять столько, сколько простоит этот мир. Камни ее скреп-

лены непроницаемой смолой, и только один узкий коридор ведет внутрь — вход в него я сам замуровал в последний день старого мира.

Наши жилища были пробиты в толще скал; чтобы попасть туда, надо было спуститься в глубокую пропасть; они располагались уступами вдоль низкой галереи, ведущей к воде. Я заключил подземные воды в каменные берега, сделав широкой рекой, чтобы укрывшиеся под землей люди и их стада могли утолять жажду. За этой рекой, в огромном зале, освещенном трением противоположных металлов, я поместил плоды, питающиеся соками земли.

Там обитали, спасаясь от вод потопа, жалкие остатки потомства Каина. Немало испытаний мы пережили и преодолели, но пришлось преодолеть еще больше, чтобы вновь увидеть свет, когда воды вернулись в свое русло. Подземные дороги полны опасностей, а воздух там несет медленную смерть. Спускаясь в бездну и возвращаясь обратно к поверхности земли, мы теряли одного за другим наших спутников. Выжил я один, да еще мой сын, которого подарила мне моя сестра Ноема.

Я открыл вход в пирамиду и увидел землю. Как она изменилась! Пустыня... Хилые животные, чахлые растения, бледное солнце, не дающее тепла; там и сям островки бесплодного ила, по которым ползали гады. Вдруг порыв ледяного ветра, напоенного зловонными испарениями, ворвался в мою грудь и иссушил ее. Я захлебнулся и вытолкнул из легких смрадный воздух, но тотчас, чтобы не умереть, снова вдохнул его. Я не знал, какой яд проник в мою кровь; силы покинули меня, ноги подкосились, меня окутала тьма, зловещая дрожь охватила мое тело. Климат земли изменился, остывшая почва не давала больше тепла и не могла вдохнуть жизнь в то, что она питала прежде. Подобно дельфину, выброшенному из родной стихии моря на песок, я чувствовал свою смерть и понял, что час мой пробил...

Из последних сил цепляясь за жизнь, я хотел бежать и, вернувшись в пирамиду, упал без памяти. Она стала моей могилой; моя душа, освободившись от тела, устремилась, притянутая огнем недр, к душам своих отцов. Что до моего сына, едва вышедшего из детства, то он выжил, ибо был молод, но перестал расти.

Он стал скитальцем, разделив участь нашего племени; и жена Хама*, второго сына Ноя, сочла, что он красивее сына человеческого. Он познал ее, и она произвела на свет Хуша, отца Нимрода, который обучил своих братьев искусству охоты и заложил Вавилон. Они начали строить Вавилонскую башню; тогда Адонаи узнал Каиново семя и вновь стал преследовать их. Род Нимрода был рассеян. Голос моего сына завершит для тебя эту горестную повесть.

Адонирам с тревогой огляделся, ища сына Тувал-Каина.

— Нет, ты не увидишь его, — произнес царь духов огня, — душа моего сына незрима, ибо он умер после потопа и его телесная оболочка принадлежит земле. Незримы и души всех его потомков, и твой отец, Адонирам, блуждает здесь, в огненном воздухе, которым ты дышишь... Да, твой отец.

— Твой отец, да, твой отец, — повторил подобно эху, но с выражением глубокой нежности чей-то голос, поцелуем коснувшийся чела Адонирама.

Художник обернулся и заплакал.

— Утешься, — сказал ему Тувал-Каин, — он счастливее меня. Он оставил тебя в колыбели, но твое тело не принадлежит еще земле, и ему выпало счастье видеть тебя. Но слушай же внимательно рассказ моего сына.

Тут другой голос заговорил:

---

* Согласно традиции Талмуда, это супруга самого Ноя породнила племя духов с племенем людей, уступив домогательствам одного из духов (дивов). *См.* «Граф де Габалис» аббата де Виллара.

— Единственный среди смертных нашего рода духов я видел землю до и после потопа и лицезрел лик Адонаи. Я ждал рождения сына, и холодные ветры состарившейся земли теснили мою грудь. Однажды ночью мне явился Бог — невозможно описать Его лик. Он сказал мне: «Надейся...». Еще неопытный, одинокий в незнакомом мне мире, я прошептал, оробев: «Господи, мне страшно...». Он отвечал: «Этот страх будет твоим спасением. Тебе суждено умереть, братья твои не узнают твоего имени, и оно будет забыто в веках, от тебя родится сын, которого ты не увидишь. От него произойдут существа, затерянные в толпе, как блуждающие звезды в небесах. Родоначальник племени исполинов, я отнял силу у твоего тела; твои потомки родятся слабыми, век их будет коротким, и уделом их станет одиночество. В их душах будет жить драгоценная искра духа огня, и величие их обернется для них пыткой. Превосходящие людей, они станут их благодетелями и будут презираемы ими; лишь их могилам будут поклоняться. Непризнанные на земле, они пронесут через свой земной век горькое сознание своей силы и употребят ее во славу других. Предвидя беды и невзгоды, которые постигнут человечество, они захотят их предотвратить, но их не станут слушать. Они покорятся власти слабых и недалеких царей и тщетно будут пытаться одолеть этих презренных тиранов. Их великие души станут игрушками в руках богатых и счастливых в своем неведении. От них пойдет слава народов, но самим им не суждено вкусить ее. Титаны разума, светочи знания, создатели всего нового, творцы искусств, дарующие человечеству свободу, они одни останутся рабами, презираемыми и одинокими среди людей. Добрые и чистосердечные, они будут окружены завистью; сильные, они будут скованы по рукам и ногам ради блага слабых... На земле они не узнают друг друга». «Жестокий Бог! — вскричал я. — Но век их будет короток, и душа разобьет оковы тела». «Нет, ибо они будут питать надежду. Обманутая, она

будет вечно возрождаться, и чем больше станут они трудиться в поте лица, тем неблагодарнее будут люди. Даруя радости, они будут получать взамен лишь печали; бремя трудов, которое возложил я на потомков Адама, самым тяжким грузом ляжет на их плечи; бедность будет следовать за ними по пятам, и голод станет их неразлучным спутником, ибо не дано им будет прокормить свои семьи. Покорные или строптивые, они всегда будут унижены; их удел — работать для других, и пропадут вотще их гений, их мастерство и сила рук».

Так сказал Иегова, и разбилось мое сердце; я проклял ночь, когда стал отцом, и умер.

Голос умолк, и лишь печальные вздохи долго еще отзывались эхом.

— Ты видел, ты слышал, — снова заговорил Тувал-Каин, — пусть же наш пример будет тебе уроком. Нам, благодетелям человечества, принадлежит бóльшая часть завоеваний разума, которыми так гордятся люди, но в их глазах мы — прóклятые, демоны, духи зла. Сын Каина! Прими судьбу свою, неси ее на невозмутимом челе, и пусть мстительный Бог поразится твоей стойкости. Будь велик перед людьми и силен перед нами; я видел, что ты был почти сломлен, сын мой, и я решил укрепить твое мужество. Духи огня придут тебе на помощь; дерзай — тебе суждено обречь на гибель Сулаймана, верного слугу Адонаи. От твоего сына пойдет род царей, которые возродят на земле пред лицом Иеговы забытый культ священной стихии огня. Тебя уже не будет в этом мире, но имя твое объединит несметное войско неутомимых тружеников и мыслителей, и настанет день, когда эта огромная фаланга одолеет слепую силу царей, деспотичных вершителей воли Адонаи. Иди же, сын мой, исполни свое предназначение...

Едва прозвучали эти слова, как Адонирам почувствовал, что какая-то сила отрывает его от земли; сад металлов с его мерцающими цветами и пламенеющими деревьями,

бесконечные сверкающие мастерские гномов, ослепительные ручейки жидкого золота, серебра, ртути, кадмия и нефти слились под его ногами в широкую светящуюся полосу, в быструю огненную реку. Он понял, что летит сквозь пространство со скоростью падающей звезды. Все постепенно погружалось во мрак; обитель его предков на миг предстала перед ним подобно неподвижной планете посреди темнеющего небосклона; холодный ветер хлестнул его по лицу, он ощутил удар, огляделся и увидел, что вновь лежит на песке у подножия формы медного моря, окруженной остывающей лавой, еще вспыхивавшей в ночном сумраке рыжеватыми отсветами.

«Сон! — сказал он себе. — Это был сон? Несчастный! Я предавался мечтам, когда на деле погибли все мои планы, рухнули все мои надежды и явью будут позор и бесчестье, которые ждут меня с первым лучом солнца!»

Но видение вставало в его памяти с такой отчетливостью, что он усомнился, сон ли это. Задумавшись, он поднял глаза и вновь увидел перед собой гигантскую тень Тувал-Каина.

— Дух огня! — воскликнул он. — Возьми меня назад в недра земли, пусть она скроет позор!

— Так-то ты следуешь моим заветам? — строго отвечала тень. — Оставь пустые слова; близится утро, пламенеющее око Адонаи скоро взойдет над землей, надо торопиться.

Дитя! Неужели ты думал, что я покину тебя в столь трудный час? Не тревожься больше ни о чем: формы твои наполнились, но металл, внезапно расширив жерло печи, заложенное недостаточно огнестойкими камнями, вырвался наружу мощным потоком, и излишек выплеснулся через край. А ты решил, что форма треснула, потерял голову, плеснул воду, и струя расплавленного металла брызнула во все стороны.

— Но как теперь очистить края, ведь все, что выплеснулось, уже застыло и припаяно намертво?

— Сплав пористый и проводит тепло хуже, чем сталь. Возьми кусочек сплава, нагрей его с одного конца и охлади с другого, а потом ударь молотком: он разломится посередине между горячим и холодным. То же происходит и с кристаллами, и с обожженной глиной.

— Учитель, я слушаю вас.

— Клянусь Иблисом, ты мог бы уже догадаться! Твоя отливка еще раскалена; быстро охлади то, что выплеснулось через край, и отбей молотком.

— Но какая понадобится сила...

— Понадобится только молоток. Молоток Тувал-Каина открыл жерло Этны, чтобы дать выход шлакам наших мастерских.

Адонирам услышал звон железа: что-то упало рядом с ним на песок; он нагнулся и поднял молоток — тяжелый, но как будто созданный для его руки. Он хотел поблагодарить, но тень уже исчезла; занимающаяся заря гасила пламень звезд.

Минуту спустя птицы, которые пробовали голоса перед рассветом, снялись и улетели, заслышав стук молотка Адонирама, и он один, нанося яростные удары по краям огромной чаши, нарушал глубокую тишину, которая предшествует рождению нового дня.

Этот «сеанс» произвел большое впечатление на публику, и назавтра слушателей стало еще больше. Много говорили о тайнах горы Каф, которые живо интересуют всех жителей Востока. Что до меня, то мне рассказ показался не менее классическим, чем миф о сошествии Энея в царство мертвых.

VIII

КУПАЛЬНЯ СИЛОАМ

В ранний час, когда гора Фавор длинной тенью ложится на вьющуюся среди холмов дорогу в Вифанию, легкие белые облака скользили по небосклону, смягчая сияние лучезарного утра, роса еще поблескивала голубизной на зеленых шелках лугов, а ветерок шелестел листвой, вторя пению птиц по обе стороны от тропы, ведущей к Мории. В этот час можно было издали увидеть светлые пятна льняных хитонов и платьев из тонкого газа — это процессия женщин пересекла по мосту Кедрон и вышла на берег ручья, питающего купальню Силоам. Следом за ними восемь нубийцев несли богато украшенный паланкин и шли, покачивая головами, два навьюченных верблюда.

Паланкин был пуст, ибо, покинув с первыми лучами рассвета в сопровождении служанок шатер, где она пока оставалась со своей свитой вне стен Иерусалима, несмотря на все уговоры царя, царица Савская пожелала насладиться красотой и свежестью утренних полей и пошла пешком.

Служанки Балкиды были молоды и хороши собой; они поднялись спозаранку и теперь направлялись к ручью, чтобы постирать одежду своей госпожи, которая в таком же простом платье, как и ее спутницы, весело шла впереди со своей кормилицей, между тем как девушки за ее спиной щебетали на все лады.

— Ваши доводы меня не переубедят, дочь моя, — говорила кормилица, — по-моему, этот брак — безумие; а ведь ошибка простительна, только когда она дарит наслаждение.

— О, назидания! Слышал бы твои речи мудрый Сулайман...

— Так ли он мудр, если, не будучи уже молодым, желает заполучить в свой сад розу савеян?

— А теперь лесть? Что это ты, добрая моя Сарахиль, начинаешь спозаранку?

— Не будите мою строгость, пока она спит, а то я бы сказала...

— Так скажи...

— Что вы любите Сулаймана — и это была бы правда.

— Не знаю... — ответила, смеясь, молодая царица. — Я всерьез думала над этим, и очень может быть, что царь мне небезразличен.

— Будь это так, вы не стали бы задаваться этим щекотливым вопросом и уж тем более не колебались бы с ответом. Нет, в мыслях у вас сделка... политический брак, и вы пытаетесь взрастить цветы на сухой тропе расчета. Могущественный Сулайман обложил ваши земли данью, как и всех своих соседей, и вы задумали освободить их от податей, получив господина, которого рассчитываете сделать своим рабом. Но остерегайтесь...

— Чего же мне бояться? Он боготворит меня.

— Он питает слишком пылкую страсть к собственной особе, потому его чувство к вам — всего лишь желание, а оно преходяще. Сулайман живет рассудком: он властолюбив и холоден.

— Разве он не величайший царь земли, не благороднейший отпрыск рода Сима, к которому принадлежу и я? Где в мире найдешь ты царя, более достойного дать наследников династии Химьяритов?

— Род наших предков Химьяритов куда более высокого происхождения, чем вы думаете. Разве могли бы дети Сима повелевать обитателями небес? Наконец, я верю предсказаниям оракулов: ваша судьба еще не свершилась, и знак, по которому вы должны узнать вашего супруга, еще не явлен. Птица Худ-Худ еще не передала вам волю вечных сил, покровительствующих вам с рождения.

— Неужели моя участь будет зависеть от воли какой-то птицы?

— Единственной в мире птицы. Никто больше из известных нам обитателей небес, воздушной стихии, не обладает таким умом, а душа ее, говорил мне великий жрец, рождена из стихии огня. Это не земное создание, оно произошло от джиннов (духов).

— Правда, — вспомнила Балкида, — Сулайман тщетно пытался подманить ее и безуспешно подставлял ей то плечо, то руку.

— Боюсь, что она никогда к нему не сядет. В прошлом, когда животные были покорны человеку — а предки угасшего рода Худ-Худ жили в те времена, — они не повиновались людям, созданным из глины. Они признавали только дивов, джиннов — сынов воздуха и огня... Сулайман же принадлежит к племени, предков которого вылепил из глины Адонаи.

— Но ведь Худ-Худ повинуется мне...

Сарахиль улыбнулась и покачала головой. Принцесса крови из рода Химьяритов, родственница последнего царя, кормилица царицы, была сведуща во многих науках, а ее мудрость в житейских делах не уступала ее скромности и доброте.

— Царица, — отвечала она, — есть тайны, недоступные вашему возрасту; тайны, о которых девушки нашего рода не должны знать до замужества. Если страсть заставляет их потерять голову и свернуть с предначертанного пути, тайны эти так и остаются для них за семью печатями, ибо они не должны стать достоянием людей непосвященных. Пока вам достаточно знать одно: Худ-Худ, прославленная птица, признает своим хозяином лишь супруга, уготованного царице Савской.

— Вы добьетесь того, что я прокляну этого пернатого тирана...

— Который, может быть, избавит вас от деспота, вооруженного мечом.

— Сулайман добился от меня слова, и если я не хочу навлечь на нас его праведный гнев... Нет, Сарахиль, жребий брошен; срок истекает, и уже сегодня вечером...

— Сила элохимов велика... — пробормотала кормилица.

Не желая продолжать беседу, Балкида нагнулась и принялась собирать гиацинты, цветы мандрагоры и цикламены, пестреющие на зелени луга, а неразлучная с нею Худ-Худ то порхала, то семенила вокруг, кокетливо склоняя головку, словно просила прощения.

Тем временем замешкавшиеся служанки нагнали свою госпожу. Они говорили между собой о храме Адонаи, стены которого виднелись вдали, и о медном море, которое было у всех на устах вот уже четыре дня.

Царица поспешила подхватить новую тему, и девушки любопытной стайкой окружили ее. Высокие смоковницы, раскинувшие над их головами зеленый узор, окутывали прелестную группу прозрачной тенью.

— Каково же было удивление, охватившее нас вчера вечером, — рассказывала Балкида. — Даже сам Сулайман был так ошеломлен, что потерял дар речи. Три дня назад все, казалось, погибло; Адонирам рухнул, сраженный, перед своим неудавшимся творением. Счастье изменило ему, и его слава утекла на наших глазах вместе с потоком взбесившегося металла; забвение и небытие ожидало художника... А сегодня его имя победно разносится по холмам; строители принесли к порогу его дома целую гору пальмовых ветвей; сегодня он велик, как никто в Израиле.

— Грохот металла, возвестивший его триумф, — сказала юная савеянка, — донесся и до наших шатров; напуганные памятью о недавней катастрофе, о царица, мы трепетали за вашу жизнь. Ведь дочери ваши так и не знают, что произошло.

— Не дожидаясь, пока остынет плавка, Адонирам — так рассказывали мне — созвал на рассвете всех упавших духом ремесленников. Главы цехов окружили его; они возмущались, готовы были взбунтоваться — он успокоил их, сказав всего несколько слов. Все принялись за работу и три

дня не снимали формы, чтобы быстрее остыла отливка, между тем как все думали, что она разбита. Их замысел был окутан тайной. На третий день эта несметная армия ремесленников взялась за рычаги, почерневшие от горячего металла, и подняла медных быков и львов. Огромные статуи подтащили к гигантской чаше и установили с такой быстротой, что это было похоже на чудо; и вот медное море, освобожденное от каменных опор, легло на двадцать четыре скульптуры; и пока Иерусалим, ничего не зная, сокрушался о потраченном впустую золоте, великолепное творение предстало во всем своем блеске изумленным глазам тех, кто его создал. Вдруг рухнули барьеры, установленные строителями; толпа хлынула на площадку; шум донесся до дворца. Сулайман испугался бунта и поспешил туда; я пошла с ним. Толпы народу устремились следом за нами. Нас встретили сто тысяч ликующих ремесленников, увенчанных зелеными пальмовыми ветвями. Сулайман не мог поверить своим глазам. Весь город хором превозносил Адонирама.

— Какой триумф! И как он, должно быть, счастлив!

— Он? Странный гений... глубокая и загадочная душа! Я попросила позвать его, его искали; строители обшарили все вокруг... тщетно! Равнодушный к своему успеху, Адонирам прятался от людей, он бежал похвал, светило скрылось. «Ну вот, — сказал Сулайман, — царь народа лишил нас своей милости.» Что до меня, то, когда я покидала это поле битвы гения, сердце мое преисполнилось печалью, а мысли — воспоминаниями о смертном, столь великом своим творением и великом вдвойне своим отсутствием в час триумфа.

— Я видела однажды, как он проходил, — заговорила одна из дев Савы. — Пламень его взора коснулся моих щек и окрасил их румянцем; он величествен, как истинный царь.

— С красотой его, — подхватила ее подруга, — не может сравниться красота сынов человеческих; у него цар-

ственная осанка, а лик его ослепляет. Такими моя мысль представляет богов и дивов.

— Не одна из вас, насколько я понимаю, желала бы соединить свою судьбу с судьбой благородного Адонирама?

— О царица! Кто мы рядом с таким человеком? Душа его витает в заоблачных высях, его гордое сердце не снизойдет до нас.

Цветущие кусты жасмина под сенью теревинфов и акаций, среди которых выделялись более светлые кроны редких пальм, окружали купальню Силоам. Тут росли душистый майоран, лиловые ирисы, тимьян, вербена и пламенеющая роза Сарона. Под усыпанными цветами зарослями стояли там и сям древние каменные скамьи и журчали чистые родники, устремляя свои светлые струи к водоему. Над этим райским уголком нависали, цепляясь за ветви, зеленые побеги. Туберозы с душистыми красноватыми гроздьями и голубые глицинии прелестными душистыми гирляндами взбирались по стволам до самых верхушек трепещущих бледной листвой эбеновых деревьев.

Когда свита царицы Савской вышла на берег водоема, застигнутый врасплох человек, сидевший в задумчивости у самой воды, опустив руку в ласковые волны, поднялся, чтобы удалиться. Балкида шла ему навстречу; он вскинул глаза и поспешно отвернулся.

Но она оказалась проворнее и преградила ему дорогу.

— Мастер Адонирам, — сказала она, — почему вы избегаете меня?

— Я никогда не искал общества людей, — отвечал художник, — а царственный лик всегда страшил меня.

— Неужели он сейчас видится вам столь ужасным? — спросила царица с такой проникновенной нежностью, что молодой человек невольно взглянул на нее искоса.

То, что он увидел, его отнюдь не успокоило. Царица сняла с себя все знаки власти и величия, но женщина в простоте утреннего наряда была куда опаснее. Волосы ее были

убраны под длинное воздушное покрывало; белоснежное, почти прозрачное платье, распахнутое любопытным ветерком, приоткрывало грудь, чья форма не уступала самой совершенной чаше. В этом простом уборе мягче и нежнее казалась молодость Балкиды, и почтение не заслоняло ни восхищения ее красотой, ни желания. Эта трогательная прелесть, о которой она, казалось, сама не подозревала, эта девичья красота по-новому глубоко запечатлелись в сердце Адонирама.

— К чему удерживать меня? — произнес он с горечью. — Сил моих едва хватает вынести все выпавшие мне невзгоды, а вы хотите еще усугубить мои страдания. Вы изменчивы, благосклонность ваша мимолетна, и вам нравится мучить тех, кто попался в ее сети... Прощайте же, царица, что забывает так быстро и не желает научить других этому искусству.

После этих слов, сказанных с нескрываемой грустью, Адонирам снова взглянул на Балкиду. Внезапное волнение охватило ее. Живая по характеру и властная в силу привычки повелевать, она не желала, чтобы ее покидали. Вооружившись всем своим кокетством, она ответила:

— Адонирам, вы неблагодарны.

Но мастер был человеком стойким; он не дрогнул.

— В самом деле, мне следовало бы вспомнить, чем я вам обязан: отчаяние посетило меня на один лишь час в моей жизни, но вы выбрали именно этот час, чтобы унизить меня перед моим господином, перед моим врагом.

— Он был там!.. — прошептала пристыженная царица, горько раскаиваясь.

— Ваша жизнь была в опасности; я бежал, чтобы заслонить вас.

— Вы заботились обо мне в такой час, — воскликнула Балкида, — и как же я вас отблагодарила!

Искренность и сердечность царицы тронули бы любое сердце; презрение — пусть и заслуженное — этого глубоко

оскорбленного великого человека разбередило в ее сердце кровоточащую рану.

— Что до Сулаймана ибн Дауда, — продолжал ваятель, — его мнение мало волнует меня: чего ждать от племени бездельников, завистливых рабов? Дурную кровь не скроет и порфира... Моя власть выше его прихотей. А все остальные, изрыгавшие вокруг меня брань, сто тысяч глупцов, не имеющих понятия ни о силе, ни о мужестве, значат для меня не больше, чем рой жужжащих мух... Но вы, царица, вы единственная, кого я выделял из этого сброда, кого ставил так высоко над всеми!.. Сердце мое, которое до сих пор ничто не могло тронуть, разбилось, и я об этом почти не жалею... Но общество людей стало мне отвратительно. Теперь мне все равно, расточают мне хвалы или оскорбления, которые неразлучно следуют друг за другом и соединяются на одних и тех же устах, как полынь и мед!

— Вы глухи к раскаянию; неужели я должна молить вас о пощаде, и не довольно ли...

— О нет; вы лишь заискиваете перед успехом: будь я повержен, вы первая затоптали бы меня.

— Теперь?.. О, моя очередь сказать: нет, тысячу раз нет.

— Что ж! А если я разобью свое творение, изуродую его, вновь навлеку позор на свою голову? Я вернусь к вам под улюлюканье толпы, и если вы тогда не отвернетесь от меня, то день моего бесчестья будет прекраснейшим днем в моей жизни.

— Так сделайте это! — пылко воскликнула Балкида, не успев совладать с собой.

Адонирам не смог сдержать крика радости, и царица на миг испугалась, представив, что может повлечь за собой столь неосторожное обещание. Адонирам стоял перед ней, величественный как никогда; он был одет в этот день не в обычное платье ремесленников, но в одеяние, подобающее главе трудового люда. Белый хитон лежал складками на его широкой груди, перехваченный расшитым золотом кушаком; его горделивый стан казался в этом наряде еще выше.

Правую руку обвивала стальная змея, в голове которой сверкал кроваво-красный карбункул, а лоб мастера, наполовину скрытый расчесанными на прямой пробор волосами, с которых ниспадали на грудь две широкие ленты, казался созданным для короны.

В какой-то миг ослепленная царица почти уверилась, что этот дерзкий человек равен ей по положению; задумавшись, она сумела прогнать эту мысль, но так и не смогла справиться со странным трепетом, охватившим ее.

— Сядьте, — сказала она, — давайте поговорим спокойно. Рискуя снова прогневить ваш недоверчивый ум, скажу вам, что ваша слава дорога мне; не надо ничего ломать. Вы уже принесли эту жертву, и я приняла ее. Но от этого может пострадать мое доброе имя, а ведь вам известно, мастер, что моя честь отныне идет об руку с достоинством царя Сулаймана.

— Я и забыл об этом, — равнодушно обронил художник. — Кажется, я что-то слышал о том, что царица Савская собирается вступить в брак с потомком беспутной девки из Моава, отпрыском пастуха Дауда и Вирсавии, неверной вдовы сотника Урии. Славный союз... Как обогатит он божественную кровь потомков Химьяра!

Краска гнева прихлынула к щекам молодой женщины, тем более что ее кормилица Сарахиль, распределив работу между служанками, которые, выстроившись в ряд, склонились над водой, слышала эти слова — именно Сарахиль, противница брачных планов Сулаймана.

— Этот союз не снискал одобрения мастера Адонирама? — спросила Балкида, напустив на себя надменность.

— Напротив, и вы сами это знаете.

— Как так?

— Если бы я его не одобрял, я бы уже сверг Сулаймана, и тогда вы обошлись бы с ним так же, как обошлись со мной; вы не думали бы о нем больше, потому что вы его не любите.

— Что дает вам основание так говорить?

— Вы чувствуете свое превосходство над ним; вы его унизили; он не простит вам этого, а из неприязни не рождается любовь.

— Какая дерзость...

— Мы не боимся... если не любим.

Царице внезапно захотелось, чтобы ее боялись.

До сих пор ей не верилось в злопамятность царя иудеев, с которым она так вольно обошлась, и ее кормилица лишь попусту тратила свое красноречие. Но речь мастера показалась ей более убедительной. Она вновь вернулась к этой теме и облекла свою мысль в такие слова:

— Не пристало мне слушать ваши коварные намеки, порочащие человека, оказавшего мне гостеприимство, моего...

Адонирам перебил ее:

— Царица, я не люблю людей, но я хорошо их знаю. Рядом с этим человеком я прожил долгие годы. Поверьте, под шкурой агнца скрывается тигр; священникам удалось обуздать его до поры до времени, но он потихоньку грызет свою узду. Пока он ограничился лишь тем, что приказал убить своего брата Адонию — не так уж много... но у него нет больше близких родственников.

— Можно и вправду подумать, — вмешалась Сарахиль, подливая масла в огонь, — что мастер Адонирам ревнует к царю.

Уже некоторое время кормилица внимательно смотрела на собеседника царицы.

— Госпожа, — ответил художник, — если бы Сулайман не принадлежал к роду более низкому, чем мой, я, может быть, снизошел бы до того, чтобы считать его соперником, но выбор царицы сказал мне о том, что она не рождена для иной доли...

Сарахиль широко раскрыла удивленные глаза и, встав за спиной царицы, начертила в воздухе перед глазами мас-

тера магический знак, которого он не понял — но содрогнулся.

— Царица, — воскликнул он, с нажимом выговаривая каждое слово, — мои обвинения оставили вас равнодушной, и это развеяло все мои сомнения! Впредь я не стану принижать в ваших глазах этого царя, который занимает так мало места в вашем сердце...

— Полно, мастер, к чему торопить меня? Даже если бы я не любила царя Сулаймана...

— До нашего разговора, — тихо и взволнованно произнес художник, — вы думали, что любите его.

Сарахиль между тем удалилась, и царица отвернулась, сконфуженная.

— О, пощадите, госпожа, оставим эти речи! Громы небесные навлек я на свою голову! Одно лишь слово, слетевшее с ваших губ, означает для меня жизнь или смерть. Не говорите ничего! Как стремился я к этой минуте, а теперь сам оттягиваю ее. Оставьте мне хотя бы сомнение; мое мужество сломлено, я трепещу. Я еще не готов к этой жертве. Столько прелестей сияет в вас, вы так молоды и прекрасны... Увы!.. Кто я в ваших глазах? Нет, нет, пусть даже я никогда не узнаю счастья... на которое не смею надеяться, но затаите дыхание, ибо с ним может сорваться слово, которое убивает. Мое слабое сердце до сих пор еще не билось по-настоящему; первый же удар разбил его, и я чувствую, что умираю.

Балкида была почти в таком же смятении; украдкой бросив взгляд на Адонирама, она увидела этого решительного, мужественного и гордого человека бледным, покорным, обессиленным, ожидающим смертного приговора. Она победила и была побеждена; счастливая и трепещущая, она ничего больше не видела вокруг.

— Увы, — прошептала прекрасная дочь царей, — я тоже никогда не любила.

Голос ее замер, но Адонирам, боясь пробудиться от сладостного сна, не осмелился нарушить молчание.

Снова подошла Сарахиль, и оба поняли, что нужно что-то говорить, дабы не выдать себя. Птица Худ-Худ порхала вокруг ваятеля, и он ухватился за первую попавшуюся тему.

— Какое ослепительное оперение у этой птицы, — рассеянно сказал он. — Давно она у вас?

На этот вопрос ответила Сарахиль, не сводя глаз со скульптора Адонирама:

— Птица эта — последний потомок стаи, которой, как и другими обитателями небес, повелевало некогда племя духов. Уцелевшая уж не знаю каким чудом, Худ-Худ с незапамятных времен повинуется царям рода Химьяритов. С ее помощью царица может созвать, когда ей вздумается, всех птиц небесных.

Услышав это откровение, Адонирам внезапно изменился в лице и посмотрел на Балкиду с радостью и умилением.

— Это капризное создание, — добавила та. — Тщетно Сулайман ласкает ее и закармливает сладостями: Худ-Худ упорно не дается ему в руки; он так ни разу и не добился, чтобы она села к нему на плечо.

Адонирам на минуту задумался, потом его словно осенило вдохновение, и он улыбнулся. Сарахиль насторожилась.

Мастер встал и произнес имя Худ-Худ. Сидевшая на ветке птица искоса поглядела на него, но не двинулась с места. Он шагнул вперед и начертил в воздухе магическую букву «тау». Тогда Худ-Худ расправила крылья, покружила над его головой и послушно опустилась к нему на руку.

— Так я угадала верно, — сказала Сарахиль. — Сбылось предсказание оракула.

— О священные тени моих предков! О Тувал-Каин, отец мой! Вы не обманули меня! Балкида, душа света, сестра моя, моя супруга, я нашел вас наконец! На всей земле лишь вы и я можем повелевать крылатым посланником духов огня, породивших нас.

— Как? О Господи, так, значит, Адонирам...

— Последний отпрыск Хуша, внука Тувал-Каина, к чьему роду принадлежите и вы через Саву, брата охотника Нимрода и предка Химьяритов... Но тайна нашего происхождения должна быть навеки скрыта от сынов Сима, вылепленных из глины и ила.

— Мне следует склониться перед моим господином, — сказала Балкида, протягивая мастеру руку, — ибо теперь я знаю, что по велению судьбы не могу принять ничьей любви, кроме любви Адонирама.

— Ах, — отвечал он, падая к ее ногам, — от одной лишь Балкиды хочу я получить столь драгоценный дар! Сердце мое устремилось навстречу вашему, и с той минуты, когда вы предстали передо мной, я ваш раб.

Беседа их продолжалась бы долго, если бы Сарахиль, осмотрительная, как и подобает в ее лета, не прервала ее такими словами:

— Отложите до лучших дней нежные признания; тяжкие заботы обрушатся на ваши плечи, и немало опасностей подстерегает вас. По воле Адонаи миром правят сыны Ноя; их власть простирается и на ваши жизни, ибо вы смертны. Сулайман безраздельно царит во всех своих землях, а наши народы — его данники. Войско его грозно, его гордыня безмерна; Адонаи покровительствует ему, и у него бесчисленное множество соглядатаев. Надо найти способ ускользнуть от его опасного гостеприимства, а до тех пор будем осторожны. Не забудьте, дочь моя, что Сулайман ждет вас сегодня вечером в святилище Сиона... Отказав ему напрямик и взяв назад свое слово, вы навлечете на себя его гнев и пробудите в нем подозрения. Попросите отсрочку только на сегодня, сошлитесь на дурное предзнаменование. Завтра великий жрец найдет для вас новый предлог. Вам нужно сдерживать своими чарами нетерпение Сулаймана. Вы же, Адонирам, покиньте сейчас тех, что отныне стали вашими покорными рабами. Солнце высоко; на новой крепостной

стене, возвышающейся над источником силоамским, появились воины. Солнечный свет уже ищет нас и привлечет к нам их взгляды. Когда диск луны пронзит своими лучами ночное небо над склонами Ефраима, пересеките Кедрон, приблизьтесь к нашему лагерю и ждите нас в оливковой рощице, которая скрывает наши шатры от обитателей двух холмов. Там мы сможем все обдумать, и пусть мудрость и рассудительность дадут нам совет.

С сожалением они расстались; Балкида присоединилась к своей свите, и Адонирам провожал ее взглядом, пока она не скрылась в листве олеандров.

IX

ТРОЕ ПОДМАСТЕРЬЕВ

На следующем сеансе рассказчик продолжал:

Сулайман и великий священник иудеев беседовали у входа в храм.

— Ничего не поделаешь, — с досадой говорил преподобный Садок своему царю, — вам не нужно и моего согласия на эту новую отсрочку. Как же заключить брак и отпраздновать свадьбу, если нет невесты?

— Почтенный Садок, — со вздохом отвечал царь, — все эти промедления для меня еще тяжелее, чем для вас, но я терпеливо жду.

— В добрый час; но я-то не влюблен, — сказал левит, проводя своей сухой и бледной рукой, испещренной синими жилками, по длинной белой бороде, разделенной внизу надвое.

— Потому-то вы и должны быть спокойнее меня.

— Как бы не так! — воскликнул Садок. — Вот уже четыре дня все наши воины и левиты на ногах, все готово для жертвоприношений; огонь на алтаре горит впустую, и в са-

мый торжественный момент все приходится отложить. Священники и сам царь зависят от прихотей чужестранки, которая придумывает все новые предлоги, потешаясь над нашей легковерностью.

Великий священник не смог смириться с тем, что приходилось каждый день понапрасну надевать парадное облачение, а потом снимать его, так и не продемонстрировав двору савеян ослепительную пышность иудейских обрядов. В своем сверкающем одеянии он раздраженно шагал взад и вперед по внутреннему дворику храма перед удрученным Сулайманом.

Для церемонии бракосочетания царя Садок надевал хитон из льна, вышитый пояс и эфод — короткую накидку без рукавов. Дважды окрашенная накидка переливалась золотым, алым и гиацинтовым цветами, на ней сверкали два больших оникса, на которых гранильщик выгравировал имена двенадцати колен. На гиацинтовых лентах, прикрепленных к резным золотым кольцам, сиял на его груди знак его сана; он был квадратным, длиною и шириною в пядь, и окаймлен рядом сардониксов, топазов и изумрудов, вторым рядом карбункулов, сапфиров и яшм, третьим рядом яхонтов, аметистов и агатов и, наконец, четвертым — хризолитов, ониксов и бериллов. Верхняя риза к эфоду, светло-лиловая, с прорезью для головы, была расшита мелкими золотистыми и пурпурными гранатами, меж которых позвякивали крошечные золотые колокольчики. На голове священника возвышалась тиара, увенчанная полумесяцем; она была из льняной ткани, расшитой жемчугом, а надо лбом сияла привязанная гиацинтовой лентой пластинка из полированного золота с выгравированными на ней словами: «Адонаи свят».

Два часа требовалось шести слугам-левитам, чтобы облачить Садока в эти ритуальные одеяния, закрепить все цепочки, завязать магические узлы и застегнуть золотые и серебряные пряжки. Это был священный наряд; только руки

левитов могли касаться его; сам Адонаи указал, каким он желает его видеть, слуге своему Мусе ибн Амрану.

И вот уже четыре дня первосвященнический убор наследников Мельхиседека сносил незаслуженную обиду на плечах достойного Садока; чтобы понять, как это раздражало его, надо учесть, что, если бы он скрепя сердце освятил брак Сулаймана с царицей Савской, его досада стала бы куда сильней.

Этот союз казался ему опасным для религии иудеев и для власти священников. Царица Балкида была женщиной образованной... Садок находил, что савеянские жрецы позволили ей узнать много такого, о чем монарх, воспитанный в благоразумии, не должен и подозревать, и он опасался влияния царицы, владеющей чудесным искусством повелевания птицами. Смешанные браки, подвергающие сомнению веру супруга, поклоняющегося своему Богу, никогда не нравились священникам. И Садок, который потратил немало сил, чтобы умерить в Сулаймане тягу к знаниям, внушая царю, что ему нечему больше учиться, трепетал, боясь, как бы государь не узнал, сколь многое ему было неведомо.

Эти опасения были тем более оправданны, что Сулайману уже случалось задумываться, и он находил своих министров менее мудрыми, зато куда более деспотичными, чем советники царицы. Доверие ибн Дауда к священникам пошатнулось; с некоторых пор у него появились секреты от Садока, и он больше не обращался к нему за советом. Самое страшное в государствах, где священнослужители владеют верой и олицетворяют ее, — это то, что, если великому священнику случается оступиться — а с каким смертным этого не может произойти? — вместе с его падением рушится вера, и лик самого Бога затмевается, когда бесчестье настигает погрязшего в гордыне и злобных помыслах Его служителя.

Осторожному, подозрительному, но не слишком проницательному Садоку легко было удержаться у власти, ибо

в голове у него, на его счастье, было мало своих мыслей. Толкуя Закон сообразно страстям повелителя, он оправдывал их со снисходительностью догматика; толкование его было порой грубым, но педантичным по форме, и потому Сулайман покорно шел под ярмом. И вот теперь девушка из Йемена и какая-то проклятая птица грозили разрушить все с таким трудом построенное осмотрительным Садоком!

Обвинить их в колдовстве — не означало ли это признать силу оккультных наук, которые священники с презрением отрицали? Садок был в замешательстве. Не давали ему покоя и другие заботы: власть Адонирама над ремесленниками тревожила великого священника, ибо он не без оснований опасался всякого господства, зиждущегося на тайных силах и каббалистике. Однако Садок не давал своему царственному ученику отослать единственного мастера, способного воздвигнуть Богу Адонаи великолепнейший в мире храм: он хотел, чтобы все народы Востока восхищались святилищем Иерусалима и несли к его алтарю свои дары. Садок был полон решимости погубить Адонирама, но он ждал окончания работ, а пока ограничился тем, что раздувал тлевшую в душе Сулаймана искру подозрительности. В последние несколько дней положение осложнилось. Во всем блеске своего нежданного, невероятного, чудесного триумфа Адонирам, как мы помним, скрылся. Отсутствие его удивляло всех при дворе, но, судя по всему, оставляло равнодушным царя, который ни разу не заговорил об этом с великим священником — а подобная сдержанность была отнюдь не в его привычках.

Вот поэтому преподобный Садок, видя, что он не нужен, и желая остаться необходимым, отыскал среди туманных изречений оракулов кое-какие недомолвки, которые вполне могли поразить воображение царя. Сулайману обычно нравились его речи — в основном потому, что он, пользуясь случаем, тут же излагал их содержание в трех-че-

тырех новых пословицах. Однако в нынешних обстоятельствах изречения Екклезиаста довольно далеко ушли от проповедей Садока и касались в основном пользы хозяйского глаза, невозможности доверять ближнему и невзгод царей, окруженных хитростью, ложью и корыстолюбием. Сбитый с толку Садок искал убежища в безднах софистики.

— Говорить вы большой мастер, — прервал его Сулайман, — но не для того, чтобы насладиться вашим красноречием, я попросил вас прийти со мной в храм: беда тому царю, что довольствуется одними лишь словами! Трое никому не ведомых людей сейчас придут сюда, попросят позволения поговорить со мной, и мне угодно будет выслушать их, ибо я знаю их замыслы. Я выбрал для аудиенции это место: важно, чтобы наша беседа осталась тайной.

— Государь, кто эти люди?

— Люди, осведомленные о том, что неизвестно царям; беседуя с ними, можно узнать немало нового.

Вскоре на внутреннюю паперть храма впустили трех ремесленников, и они пали ниц у ног Сулаймана. Все трое держались скованно, глаза их бегали.

— Да пребудет истина на устах ваших, — сказал им Сулайман, — и не пытайтесь лукавить с царем: ваши самые потаенные мысли ведомы ему. Ты, Фанор, простой ремесленник из цеха каменщиков и враг Адонирама, ибо тебе ненавистно главенство рудокопов, ты хотел уничтожить творение твоего мастера и для этого подмешал горючие материалы в кирпич его печей. Ты, Амру, подмастерье цеха плотников, подставил балки языкам пламени, чтобы ослабить опоры медного моря. Ну а ты, Мифусаил, рудокоп из колена Рувимова, ты подмешал в литье сернистую лаву с берегов озера Гоморра. Все трое вы тщетно добиваетесь звания и жалованья мастеров. Теперь вы убедились, что от моей проницательности не могут укрыться самые тайные ваши дела?

— О великий царь, — трепеща ответил Фанор, — это все клевета Адонирама, который задумал погубить нас.

— Адонирам даже не подозревает о вашем заговоре, он известен мне одному. Знайте, что все тайны открыты прозорливости того, кому покровительствует Адонаи.

Удивление на лице Садока сказало Сулайману о том, что его первосвященник не слишком полагается на покровительство Адонаи.

— Поэтому, — продолжал царь, — не тратьте попусту слов, пытаясь скрыть истину. То, что вы скажете, мне уже известно, я лишь хочу испытать вашу преданность.

— Государь, — начал Амру, не менее испуганный, чем его сообщники, — я следил денно и нощно за всеми мастерскими, складами и кузницами. Ни разу там не появился Адонирам.

— Что до меня, — добавил Фанор, — мне пришло в голову спрятаться под вечер за гробницей царевича Абсалома ибн Дауда на дороге, что ведет с Мории к лагерю савеян. В третьем часу пополуночи мимо меня прошел человек в длинном халате и тюрбане, какие носят йеменцы. Я подкрался ближе и узнал Адонирама; он направлялся к шатрам царицы. Но он заметил меня, и я не решился последовать за ним.

— Государь, — заговорил в свою очередь Мифусаил, — вы знаете все, и нет границ вашей мудрости; я буду откровенен до конца. Если то, что я скажу, может стоить жизни вашим рабам, поневоле приоткрывшим столь страшные тайны, соблаговолите отпустить моих товарищей, чтобы слова мои пали лишь на меня одного.

Оставшись наедине с царем и первосвященником, он снова распростерся ниц и воскликнул:

— Государь, поднимите надо мной ваш скипетр в знак того, что я не умру!

Сулайман простер над ним руку и ответил:

— В твоей искренности и преданности твое спасение; не бойся же ничего, Мифусаил из колена Рувимова.

— Спрятав лоб под чалмой и покрыв лицо темной краской, я, благодаря ночному сумраку, смешался с евнухами,

охраняющими царицу; Адонирам проскользнул в темноте в ее шатер; он долго беседовал с ней, и ночной ветерок донес до моих ушей тихий шелест их слов; за час до рассвета я скрылся — Адонирам еще оставался с царицей.

Сулайман совладал со своим гневом, но Мифусаил увидел молнии в его глазах.

— О царь! — воскликнул он. — Я должен был повиноваться вашей воле, но позвольте мне ничего больше не добавлять.

— Продолжай! Я приказываю тебе.

— Государь, нет для ваших подданных ничего превыше славы вашей; пусть я погибну, но мой господин не станет игрушкой в руках коварных чужеземцев. Великий жрец савеян, кормилица и две служанки царицы посвящены в тайну этой любви. Если я верно понял, Адонирам вовсе не тот, за кого все его принимают; он наделен, как и царица, колдовской силой. С помощью этих чар она повелевает обитателями небес, а он — стихией огня. Однако эти двое избранников судьбы боятся вашей власти над духами, власти, которой вы обладаете, сами того не ведая. Сарахиль упомянула о каком-то усыпанном сверкающими каменьями кольце и рассказала удивленной царице о его чудесных свойствах, и все принялись горько сетовать на опрометчивость Балкиды. Я не смог уловить сути, потому что они заговорили шепотом, и боялся обнаружить себя, подойдя слишком близко. Вскоре Сарахиль, великий жрец и служанки удалились, преклонив колена перед Адонирамом, и он, как я уже говорил, остался наедине с царицей Савской. О царь! Могу ли я надеяться на вашу милость, ибо ни одно слово неправды не слетело с моих губ!

— По какому праву выпытываешь ты намерения своего господина? Что бы мы ни решили, решение наше будет справедливым... Пусть запрут этого человека и его товарищей в храме, где они не смогут обменяться ни словом, пока мы не объявим им их судьбу.

Невозможно описать изумление первосвященника Садока; он смотрел, остолбенев, как немые, быстрые и бесшумные исполнители воли Сулаймана уводили дрожащего Мифусаила.

— Вот видите, достойный Садок, — с горечью произнес царь, — при всей вашей осмотрительности вы ничего не угадали — и Адонаи не соблаговолил просветить своих слуг; даже наши жертвоприношения не тронули его; и только я один благодаря своей мудрости раскрыл козни моих врагов. Их боги преданы им... тогда как мой оставил меня!

— Потому что вы пренебрегли им, мечтая о союзе с чужеземкой. О царь, изгоните из вашей души это нечистое чувство, и ваши враги будут у вас в руках. Но как, скажите, захватить этого Адонирама, который скрывается, и царицу, защищенную законами гостеприимства?

— Мстить женщине — недостойно Сулаймана. Что до ее сообщника, то он появится с минуты на минуту. Нынче утром он попросил у меня аудиенции, я жду его здесь.

— Адонаи милостив к нам! О царь, пусть не выйдет он из этих стен!

— Если он придет к нам без боязни, то будьте уверены, его защитники где-то близко. Но к чему спешка? Я не слеп: эти трое — его смертельные враги. Зависть и алчность ожесточили их сердца. Быть может, они оклеветали царицу... Я люблю ее, Садок, и злословие трех ничтожных людишек не заставит меня оскорбить эту женщину подозрением в том, что она запятнала свою честь постыдной страстью... Но, опасаясь тайных происков Адонирама, который имеет такую власть над народом, я приказал следить за этим загадочным человеком.

— Так вы полагаете, что он не виделся с царицей?

— Я уверен, что он тайно беседовал с ней. Она любопытна, увлечена искусствами, тщеславна; к тому же ее земли платят мне дань. Быть может, она замыслила привлечь на свою сторону художника, поручить ему создать в ее стране

какое-то великое творение... или с его помощью получить войско, которое могло бы сразиться с моим, чтобы освободиться от дани?.. Как знать... Однако признаю, что любого из этих предположений достаточно, чтобы доказать, сколь опасен этот человек... Я должен подумать...

Сулайман говорил решительным тоном, и Садок, охваченный ужасом, видел, как отворачивается царь от его религии и как тает на глазах его влияние. Тут снова вошли немые слуги в белых головных уборах в форме шара и кольчугах, подпоясанных широкими кушаками, на которых у каждого висели кинжал и кривая сабля. Они склонились перед Сулайманом, и на пороге показался Адонирам. Шестеро ремесленников провожали его до дверей храма; он тихо сказал им несколько слов, те удалились.

X

БЕСЕДА

Неспешным шагом, с уверенным видом приблизился Адонирам к огромному креслу, в котором восседал царь Иерусалима. Почтительно поклонившись, художник остановился, ожидая, согласно обычаю, когда Сулайман соблаговолит заговорить.

— Наконец-то, мастер, — сказал царь, — вы снизошли к нашим просьбам и дали нам возможность поздравить вас с триумфом... которого уже никто не ожидал, а также выразить вам нашу благодарность. Ваше творение достойно меня; более того, оно достойно вас. Что до награды, никакая щедрость не может быть чрезмерной в сравнении с вашими заслугами; назовите же ее сами. Чего попросите вы у Сулаймана?

— Отпустите меня, государь. Работы близятся к концу и могут быть завершены без меня. Мой удел — странство-

вать по свету; мой жребий зовет меня к другим небесам, и я возвращаю вам власть, которой вы меня наделили. Моей наградой будет мое творение, которое я оставляю здесь, и выпавшая мне честь воплотить благородные замыслы столь великого царя.

— Ваша просьба удручает нас. Я надеялся, что вы останетесь с нами, заняв подобающее положение при моем дворе.

— Вы очень добры, государь, но я не создан для этого. Мое призвание — одиночество, я независим по характеру и равнодушен к почестям, для которых не был рожден; я не раз подверг бы испытанию вашу снисходительность. Настроения царей изменчивы; зависть окружает их и не дает покоя; фортуна непостоянна — мне это слишком хорошо известно. Разве не было минуты, когда то, что вы называете моим триумфом, могло стоить мне чести, а может быть, и жизни?

— Я не считал, что вы потерпели неудачу, пока собственными ушами не услышал ваш голос, возвестивший конец всех надежд, а ведь я не могу похвастаться тем, что имею больше власти, чем вы, над духами огня...

— Никому не дано повелевать этими духами, если они вообще существуют. Впрочем, об этих тайнах лучше судить достопочтенному Садоку, чем простому ремесленнику. Я и сам не знаю, что случилось той страшной ночью, — все пошло не так, как я предполагал. Скажу только, государь, что в час отчаяния я напрасно ждал от вас слов утешения и поддержки и потому в час победы не стал тешить себя надеждой услышать слово похвалы.

— Мастер, в вас говорит злопамятность и гордыня.

— Нет, государь, простая человеческая справедливость. С той ночи, когда я отливал медное море, до того дня, когда оно предстало вашим взорам, моих заслуг не прибавилось и не убавилось. Вся разница лишь в успехе... а как вы могли убедиться, успех — в руках Божиих. Адонаи любит вас: его тронули ваши молитвы, и это мне, государь, следовало бы поздравить вас и воскликнуть: благодарю!

«Кто избавит меня от насмешек этого человека?» — подумал Сулайман, а вслух спросил:

— Вы, конечно, покидаете нас для того, чтобы воздвигнуть новые чудеса в других землях?

— Еще недавно, государь, я мог бы поклясться в этом. Целые миры жили в моей пылающей голове — я грезил гранитными глыбами и подземными дворцами, опирающимися на леса колонн, наше строительство казалось мне невыносимо долгим. Но сегодня пыл мой остывает; я устал, и меня прельщает досуг; я чувствую, что сделал на своем поприще все, что мог.

Сулайману вдруг почудилось, будто глаза Адонирама на миг блеснули нежностью. Лицо его было серьезно и печально, голос звучал проникновеннее обычного, и царь, странно смущенный, сказал себе: «Этот человек очень красив...».

— Куда же вы намерены идти, покинув мои земли? — спросил он, стараясь говорить беззаботным тоном.

— В Тир, — без колебаний ответил художник, — ибо я дал обещание моему покровителю, славному царю Хираму, который любит вас, как брата, а ко мне всегда был добр, как отец. Если будет на то ваша воля, я хотел бы отвезти ему планы и чертежи дворца, храма, медного моря, а также двух огромных витых колонн из бронзы, именуемых Иакин и Вооз, что украшают большие ворота храма.

— Да будет так. Пятьсот всадников отправятся, чтобы сопровождать вас, и двенадцать верблюдов повезут мои дары и предназначенные вам сокровища.

— Это слишком щедро; Адонирам не унесет с собой ничего, кроме своего плаща. Не думайте, государь, что я отвергаю ваши дары. Вы великодушны; вы хотите дать мне огромное богатство, но, решившись уехать столь внезапно, я пущу его по ветру без пользы для себя. Позвольте мне быть до конца откровенным. Я принимаю эти сокровища, но оставляю их в ваших руках на хранение. Когда у меня появится нужда в них, государь, я дам вам знать.

— Иными словами, — сказал Сулайман, — мастер Адонирам намерен сделать меня своим должником.

Художник улыбнулся и с достоинством кивнул:

— Государь, вы угадали мою мысль.

— И вероятно, он ждет дня, когда сможет торговаться со мной на равных, диктуя свои условия.

Адонирам бросил на царя проницательный взгляд, исполненный вызова.

— Как бы то ни было, — добавил он, — никогда не попрошу ни о чем, что оказалось бы недостойно благородства и великодушия Сулаймана.

— Мне кажется, — произнес Сулайман, внимательно следя за лицом своего собеседника, — что царица Савы вынашивает определенные планы и намеревается найти применение вашему таланту...

— Она мне ничего об этом не говорила, государь.

Этот ответ зародил в уме царя множество новых подозрений.

— Однако же, — вставил Садок, — ваш гений не оставил ее равнодушной. Неужели вы уйдете, не простившись с нею?

— Не простившись... — повторил Адонирам, и Сулайман увидел, как глаза его сверкнули странным огнем, — не простившись... Если позволит царь, я буду иметь честь засвидетельствовать ей свое почтение и попрощаться.

— Мы надеялись, — снова заговорил царь, — что вы задержитесь, чтобы присутствовать на празднествах, посвященных нашему бракосочетанию; вы ведь знаете...

Чело Адонирама залилось густой краской, и он ответил без горечи:

— Я намерен отправиться в Финикию, не откладывая.

— Если таково ваше желание, мастер, вы свободны — я отпускаю вас...

— После захода солнца, — уточнил художник. — Я должен еще заплатить строителям и прошу вас, государь, приказать вашему управителю Азарии, чтобы доставили к моей

конторе у подножия колонны Иакин необходимую сумму денег. Я буду выдавать жалованье, как обычно, и не стану объявлять о моем отъезде, чтобы избежать волнений, которые неизбежно повлечет прощание.

— Садок, передайте наш приказ вашему сыну Азарии. Еще одно слово, мастер: знакомы ли вам трое подмастерьев по имени Фанор, Амру и Мифусаил?

— Да, это три жалких честолюбца, они честны, но бездарны. Все трое добивались звания мастера и пытались вынудить меня сказать им пароль, чтобы получить право на более высокое жалованье. В конце концов они вняли голосу разума, и совсем недавно я имел случай убедиться в том, что сердца у них добрые.

— Мастер, в Писании сказано: «Бойся раненой змеи, если она свернулась». Вы плохо знаете людей: эти трое — ваши враги, именно они своими кознями едва не погубили отливку медного моря.

— Откуда вам это известно, государь?

— Когда я счел, что все потеряно, то, уверенный в вашей осмотрительности и знании своего дела, стал искать тайные причины катастрофы. Я бродил среди строителей, и трое из них, думая, что они одни, раскрыли мне глаза.

— Их преступление погубило много жизней. Такой пример опасен; вам, государь, надлежит решать их судьбу. Мне эта катастрофа стоила жизни моего друга, мальчика, которого я любил, искусного художника: Бенони так нигде и не появлялся с тех пор. Но повторяю: государь, вершить суд — это привилегия царей.

— Он свершится, и каждый получит по заслугам. Будьте счастливы, мастер Адонирам, Сулайман вас не забудет.

Задумавшись, Адонирам стоял в нерешительности; казалось, в его душе происходит борьба. Вдруг, поддавшись внезапному порыву, он воскликнул:

— Что бы ни случилось, государь, будьте уверены в моем неизменном почтении и в искренности моего серд-

ца! Я сохраню о вас самые благоговейные воспоминания, и если когда-нибудь тень сомнения закрадется в ваши мысли, скажите себе: «Как большинство созданий человеческих, Адонирам был не властен над собой; он должен был исполнить свое предназначение!»

— Прощайте, мастер... Исполните ваше предназначение!

С этими словами царь протянул ему руку; художник смиренно склонился к ней, но не коснулся губами, и Сулайман вздрогнул.

— Вот как! — пробормотал Садок, глядя вслед удаляющемуся Адонираму. — Вот как! Что же вы прикажете, государь?

— Полнейшее молчание, святой служитель Адонаи; отныне я полагаюсь только на себя. Запомните хорошенько: я — царь! Повиноваться под страхом опалы и молчать под страхом смерти — вот ваш удел... Ну полно, старец, не дрожи: повелитель, который доверяет тебе свои тайны, не желая держать тебя в неведении, — друг, а не враг. Пусть приведут тех троих, что заперты в храме, я хочу еще поговорить с ними.

Амру и Фанор предстали перед царем вместе с Мифусаилом; за ними стояли в ряд зловещие немые слуги с обнаженными саблями в руках.

— Я обдумал и взвесил ваши слова, — строго сказал Сулайман, — и я видел слугу моего Адонирама. Что движет вами в желании навредить ему — жажда справедливости или зависть? Как смеют простые подмастерья судить своего мастера? Будь вы людьми почтенными, старшими среди своих братьев, больше веры было бы вашему свидетельству. Но нет — алчные и честолюбивые, вы добивались звания мастеров, не получили желаемого, и злоба поселилась в ваших сердцах.

— Государь, — воскликнул Мифусаил, падая ниц, — вы хотите испытать нас! Но пусть даже это будет стоить мне жизни, я все равно утверждаю, что Адонирам — изменник, да, я замышлял погубить его, потому что хотел спасти Иеру-

салим от тирании этого коварного человека, который намеревался отдать мою страну во власть полчищам чужеземцев. Моя столь неосторожная откровенность — лучшая порука моей преданности.

— Не подобает мне принимать на веру слова презренных людишек, рабов моих слуг. Смерть опустошила ряды мастеров, и Адонирам хочет удалиться на покой; я, как и он, хочу найти среди глав цехов людей, достойных моего доверия. Сегодня вечером, после выплаты жалованья, еще раз обратитесь к нему с просьбой о посвящении в мастера; он будет один... Сумейте заставить его внять вашим доводам. Если вам это удастся, я буду знать, что вы трудолюбивы, владеете мастерством и высоко стоите в глазах ваших братьев. Адонирам знает свое дело; его решение — закон. Разве Бог покинул его? Разве был ему явлен знак порицания Творца, Его роковое предупреждение, удар, который без промаха наносит незримая рука, карая виновных? Так пусть рассудит вас Иегова: если падет на вас выбор Адонирама, его расположение будет для меня тайным знаком, свидетельством самого неба в вашу пользу, и тогда я не спущу больше с Адонирама глаз. Но если он откажет вам в звании мастеров, завтра же вы вместе с ним предстанете передо мной; я выслушаю обе стороны, обвинение и защиту, и отцы народа огласят решение суда. Ступайте же, подумайте над моими словами, и да вразумит вас Адонаи.

Сулайман поднялся и, опираясь на плечо великого священника, чье лицо осталось невозмутимым, медленно удалился.

Трое подмастерьев переглянулись, и одна мысль тотчас осенила всех троих.

— Надо вырвать у него пароль мастеров, — сказал Фанор.

— Или пусть он умрет, — добавил финикиец Амру.

— Он скажет нам пароль мастеров или умрет! — воскликнул Мифусаил.

И три руки соединились в знак клятвы. Прежде чем переступить порог, Сулайман оглянулся, внимательно посмотрел на них издалека, тяжело вздохнул и сказал Садоку:

— Довольно! Теперь забудем обо всем, кроме утех! Идем к царице.

XI

УЖИН У ЦАРЯ

Начался следующий сеанс, и рассказчик продолжал:

Солнце клонилось к закату; горячее дыхание пустыни обжигало поля, озаренные отсветами тяжелых медно-красных облаков; лишь холм Мория отбрасывал узкую прохладную тень на пересохшее русло Кедрона; поникли листья на деревьях, а опаленные жарой цветы олеандров увяли и съежились; лишь ящерицы, хамелеоны и саламандры сновали в расщелинах скал; смолкло пение птиц в рощицах, не слышно было лепета ручейков.

Опечаленный и словно заледеневший в этот знойный и хмурый день, Адонирам, как он и говорил царю, пришел проститься со своей царственной возлюбленной, смирившейся с разлукой, на которой она сама настояла.

— Уехать нам вместе, — сказала она ему, — значило бы бросить вызов Сулайману, унизить царя в глазах его народа и усугубить оскорблением те горести, которые я по воле предвечных сил вынуждена причинить ему. А остаться вам здесь, когда я уеду, супруг мой, — значит искать смерти. Царь ревнует к вам, и после моего бегства лишь на вас обрушится вся его злоба.

— Что ж! Мы разделим судьбу всех детей нашего племени, будем скитаться и искать друг друга на земле. Я пообещал царю отправиться в Тир. Будем же искренними, ибо теперь вы можете наконец сбросить путы лжи. Нынче же

ночью я пущусь в путь и доберусь до Финикии, но не задержусь там, а поспешу к вам в Йемен через границы Сирии, через пустыни Каменистой Аравии, вдоль теснин Касанитских гор. Увы, дорогая царица, неужели я должен покинуть вас так скоро, неужели мне придется оставить вас одну в чужой земле, во власти влюбленного деспота?

— Успокойтесь, господин мой, мое сердце принадлежит только вам, меня окружают преданные слуги, и осторожность поможет мне избежать опасностей. Темной и ненастной будет нынешняя ночь, которая скроет мое бегство. Что до Сулаймана, я его ненавижу; не мною, а моими землями жаждет он обладать. Он окружил меня шпионами, пытался подкупить моих слуг, он соблазнял золотом моих воинов, уговаривая их сдать крепости. Если бы он завладел и правами на меня, никогда больше я не увидела бы счастливый Йемен. Он вырвал у меня обещание, это правда, но что значит нарушение слова в сравнении с таким вероломством? И как я могла не обмануть его, человека, который не далее как сегодня дал мне понять, почти не скрывая угрозы, что любовь его не знает границ, а терпению наступает предел?

— Нужно поднять против него ремесленников!

— Они ждут жалованья; сейчас они не поддержат вас. К чему пускаться в столь рискованные затеи? Слова царя не испугали меня, напротив, я даже довольна; я предвидела их и ждала с нетерпением. Ступайте и не тревожьтесь ни о чем, любимый мой, Балкида будет принадлежать только вам, и никому другому!

— Прощайте же, царица; мне пора покинуть этот шатер, где я нашел счастье, о котором не мог и мечтать. Пора оторвать взор от той, что для меня дороже жизни. Увижу ли я вас еще когда-нибудь? Увы! И эти сладостные мгновения растают, как сон!

— Нет, Адонирам, скоро, скоро мы соединимся навеки. Мои сны, мои предчувствия совпадают с предсказаниями оракула; все говорит о том, что наш род не угаснет, и я уно-

шу с собой драгоценный залог нашего союза. Верьте, я положу к вам на колени вашего сына, которому предназначено судьбой возродить наш славный род и избавить Йемен и всю Аравию от гнета слабосильных потомков Сулаймана. Теперь не я одна призываю вас: двойные узы привязывают вас к той, что вас любит, и вы вернетесь.

Растроганный Адонирам припал губами к руке, на которую упали слезы царицы, а затем, призвав на помощь все свое мужество, бросил на нее последний долгий взгляд, отчаянным усилием заставил себя отвернуться, опустил за собой полог шатра и вышел на берег Кедрона.

В своем дворце в Милло Сулайман, обуреваемый гневом и любовью, терзаясь то подозрениями, то преждевременными угрызениями совести, с тревогой ждал царицу, скрывающую под улыбкой свое отчаяние, а Адонирам тем временем, силясь похоронить ревность в глубинах своей печали, направился к храму, чтобы заплатить строителям, прежде чем взять в руки посох изгнанника.

Каждый из троих думал, что одержал верх над соперником, каждый считал, что проник в тайну другого. Царица таила свои намерения; Сулайман, которому слишком многое было известно, тоже скрывал это, и его изобретательное самолюбие еще нашептывало ему сомнения.

С высокой террасы Милло он следил за свитой царицы Савской, которая растянулась на извилистой тропе, ведущей в Емаф, а подняв взгляд, видел над головой Балкиды окрашенные пурпуром заката стены храма, где царил Адонирам: на фоне темных туч блестели их ажурные зубчатые гребни. Холодная испарина выступила на лбу и бледных щеках Сулаймана; расширенными глазами жадно глядел он то вверх, то вниз. Наконец появилась царица в сопровождении своих приближенных и слуг, которые смешались со слугами царя.

В этот вечер царь казался чем-то озабоченным, Балкида же была холодна и даже насмешлива: она знала, что Су-

лайман влюблен. Ужин прошел в молчании; царь изредка посматривал украдкой на свою сотрапезницу, но чаще с притворным равнодушием отводил взгляд, словно избегая чарующих глаз царицы, а эти черные глаза то опускались, то смотрели томно, и затаенный в них огонь воскрешал в душе Сулаймана надежду, как ни старался он овладеть собой. Задумчивость царя говорила о том, что в голове его зреет какой-то замысел. Он был потомком Ноя, и царица заметила, что, как верный сын отца всех виноделов, он хочет почерпнуть в вине недостающую ему решимость. Придворные удалились; вельмож царя сменили немые слуги; царице прислуживали за столом ее люди, и она, отослав савеян, оставила нубийцев, не знавших языка иудеев.

— Госпожа, — серьезно и торжественно начал Сулайман ибн Дауд, — нам с вами необходимо объясниться.

— Государь, вы предвосхищаете мое желание.

— Я думал, что, верная данному слову, повелительница савеян больше чем женщина, что она — царица...

— Вы ошибаетесь, — с живостью перебила его Балкида, — я — больше чем царица, государь, я — женщина. Кому из нас не случалось заблуждаться? Я считала вас мудрецом, потом поверила, что вы влюблены... Не вас, а меня постигло жестокое разочарование.

Она вздохнула.

— Вы не можете не знать, что я люблю вас, — возразил Сулайман, — иначе вы не злоупотребляли бы вашей властью и не омрачали бы преданное вам сердце, которое в конце концов неизбежно взбунтуется.

— В том же могла бы упрекнуть вас и я. Вы любите не меня, государь, вы мечтаете о царице. Но скажите откровенно, в том ли я возрасте, чтобы желать брака по расчету? Да, правда, я хотела заглянуть в вашу душу: женщина одержала верх над царицей и, отринув государственные соображения, пожелала насладиться своей властью; быть любимой — вот о чем она мечтала. Оттягивая час исполнения обеща-

ния, которое вырвали у нее столь внезапно, застигнув врасплох, она подвергла вас испытанию; она надеялась, что лишь ее сердце вы хотите завоевать; увы, она ошиблась. Вы стали требовательны, действовали угрозами; вы прибегли к недостойным уловкам, вступив в тайные переговоры с моими слугами, и теперь вы больше господин над ними, чем я. Я мечтала о супруге, о возлюбленном, но боюсь, что получу лишь властного хозяина. Вы видите, я вполне откровенна с вами.

— Если бы Сулайман был вам дорог, разве не простили бы вы ему оплошности, единственной причиной которых было сжигавшее его нетерпение, ибо ни к чему он так не стремился, как принадлежать вам? Но нет, вам он ненавистен, и он не владеет...

— Остановитесь, государь, не усугубляйте прямым оскорблением подозрения, которые глубоко ранят меня. Недоверие порождает ответное недоверие, перед ревностью робеют сердца, и я боюсь, как бы честь, которую вы хотите мне оказать, не стоила мне покоя и свободы.

Царь молчал, не решаясь сказать больше ни слова из страха потерять все; он уже сожалел, что поверил наветам низкого и коварного доносчика.

С очаровательной и непринужденной улыбкой царица заговорила снова:

— Послушайте, Сулайман, будьте искренни, будьте самим собой, будьте милы со мной. Мое заблуждение все еще дорого мне... я в нерешительности, но чувствую, что мне было бы сладко поверить словам успокоения.

— Ах, как скоро вы отринули бы все сомнения, Балкида, если бы могли читать в сердце, в котором вы царите безраздельно! Забудем о моих подозрениях и о ваших, согласитесь наконец даровать мне счастье. О, как тяготеет над нами роковой удел царей! Я хотел бы быть у ног Балкиды, дочери пастухов, простым арабом, бедным жителем пустыни!

— Ваше желание совпадает с моим, вы меня поняли. Да, — добавила она, склонив к волосам царя сияющее одновременно невинностью и страстью лицо, — да, сознаюсь, строгость иудейского брака леденит мне кровь и пугает меня; любовь, только любовь могла бы меня увлечь, если бы...

— Если бы?.. Договаривайте, Балкида: ваш голос проник мне в сердце и воспламенил его.

— Нет, нет... Да что же я хотела сказать, что за помрачение вдруг нашло на меня?.. Эти удивительно сладкие вина коварны, и я чувствую странное волнение.

Сулайман сделал знак; немые слуги и нубийцы наполнили чаши; царь осушил свою залпом и с удовлетворением отметил, что Балкида сделала то же самое.

— Надо признать, — игриво продолжала царица, — что брак по иудейским обрядам плохо подходит для царственных особ и содержит условия, с которыми трудно смириться.

— Так только в этом причина ваших колебаний? — спросил Сулайман, устремив на нее подернутые легкой истомой глаза.

— Да, можете не сомневаться. Не говоря уже о предшествующих свадьбе долгих постах, которые портят красоту, разве не больно расстаться с длинными волосами и до конца своих дней носить чепец? В самом деле, — добавила она, встряхнув своими прекрасными, черными как смоль косами, — было бы жаль лишиться столь богатого украшения.

— Наши женщины, — возразил Сулайман, — вправе заменять волосы пучками красиво завитых петушиных перьев*.

Царица улыбнулась несколько пренебрежительно.

* И в наши дни на Востоке замужние еврейки вынуждены украшать голову перьями, так как волосы их должны быть подстрижены на уровне ушей и убраны под чепец.

— К тому же, — продолжала она, — у вас мужчина покупает жену, словно рабыню или служанку; она даже должна смиренно явиться к порогу дома своего суженого, предлагая себя. Наконец, религия не имеет никакого отношения к брачному договору, больше похожему на торговую сделку: мужчина, получая женщину в супруги, простирает над ней руку со словами: «Мекудесхет-ли», что значит на языке иудеев: «Ты мне отдана». Кроме того, вы с легкостью можете отвергнуть жену, изменить ей, даже отдать ее на растерзание толпе, которая забьет несчастную камнями под самым ничтожным предлогом... Нет, насколько я могла бы гордиться, что любима Сулайманом, настолько же страшит меня брак с ним.

— Любимы! — вскричал царь, поднимаясь с ложа, на котором он возлежал. — Любимы, сказали вы? Какая женщина на земле обладала столь безграничной властью над мужчиной? Я был раздражен — вы успокаиваете меня, вы делаете со мной все, что вам заблагорассудится; тяжелые заботы одолевали меня, но у меня достаточно сил прогнать их. Вы обманываете меня, я это чувствую — что ж, я готов помочь вам ввести Сулаймана в заблуждение...

Балкида подняла свою чашу над головой и движением, полным сладострастия, отвернула лицо. Двое рабов вновь наполнили кубки вином и удалились.

Зал пиршеств опустел; меркнущий свет ламп отбрасывал таинственные отблески на бледное лицо Сулаймана, освещал его горящие глаза и побелевшие дрожащие губы. Странная истома овладела им; Балкида смотрела на него с загадочной улыбкой.

Вдруг он опомнился... и вскочил со своего ложа.

— Женщина! — воскликнул он. — Не пытайтесь больше играть любовью царя... Ночь окутывает нас своим покровом; мы окружены тайной; жгучее пламя охватило все мое существо; я пьян от ярости и страсти. Этот час принадлежит мне, и, если вы искренни, вы не станете больше оттягивать миг счастья, купленного столь дорогой ценой. Цар-

ствуйте, будьте свободны, но не отталкивайте царя, который всецело принадлежит вам, того, кого сжигает неистовое желание и кто в этот час вступил бы в борьбу за обладание вами даже с силами ада!

Смущенная и трепещущая Балкида ответила, опустив глаза:

— Дайте же мне время прийти в себя: эти речи так новы для меня...

— Нет! — в исступлении прервал ее Сулайман и допил кубок, в котором черпал свою смелость. — Нет, моему терпению подошел предел! Речь идет для меня о жизни или смерти. Ты будешь моей, женщина, клянусь! Если ты меня обманула... что ж, я буду отомщен; если же ты любишь меня, то вечной любовью я заслужу прощение.

Он протянул руки, чтобы заключить молодую женщину в объятия, но обнял лишь тень, царица тихонько отступила, и руки сына Дауда бессильно упали. Голова его склонилась; он не сказал ни слова и, внезапно содрогнувшись, сел на свое ложе... Его удивленные глаза с усилием раскрылись; он чувствовал, как желание в его груди гаснет, и предметы закачались перед ним. На его мрачном и бледном лице, обрамленном черной бородой, появилось выражение смутного ужаса, губы приоткрылись, но с них не сорвалось ни звука, голова, словно не выдержав тяжести тюрбана, упала на подушки. Опутанный невидимыми тяжкими цепями, он пытался стряхнуть их, но тело его больше не повиновалось мысли.

Царица приблизилась медленной и торжественной поступью; он посмотрел на нее и ужаснулся; она стояла над ним, опираясь на согнутые пальцы руки, а другая рука поддерживала локоть. Она смотрела на него; губы ее шевелились, и он услышал слова:

— Сонное зелье действует...

Черные зрачки Сулаймана повернулись в белых орбитах, большие зрачки сфинкса расширились, но он остался недвижим.

— Что ж, — продолжала царица, — я повинуюсь, я уступаю, я ваша!..

Она опустилась на колени и коснулась холодеющей руки Сулаймана; глубокий вздох вырвался из его груди.

— Он еще слышит... — прошептала Балкида. — Слушай же, царь Израиля, слушай, мужчина, который думает, что любовь подвластна ему, и желает обладать женщиной, как рабыней, покупая ее ценой предательства, слушай: я вырвалась из-под твоей власти. Но если женщина тебя обманула, то царица не станет больше лгать тебе. Я люблю, и люблю не тебя, так было угодно судьбе. Я принадлежу к роду, который выше твоего, и я должна была, повинуясь духам, охраняющим меня, избрать супруга моей крови. Твоя власть бессильна перед ними; смирись и забудь меня. Пусть Адонаи выберет для тебя достойную супругу. Он велик и милостив: разве не наделил он тебя мудростью, и разве не платишь ты ему за это с царской щедростью? Пусть он не оставит тебя, я же забираю ненужный тебе дар духов, которым ты пренебрег и не сумел воспользоваться...

С этими словами Балкида, завладев пальцем, на котором сверкало чудесное кольцо, подаренное ею Сулайману, попыталась снять его, но рука царя, который тяжело дышал, судорожно сжалась в последнем усилии, и, как ни старалась Балкида разжать его пальцы, все было тщетно.

Она хотела еще что-то сказать, но голова Сулаймана ибн Дауда откинулась назад, шея обмякла, рот приоткрылся, веки опустились, глаза погасли; душа его унеслась в страну грез.

Дворец Милло был погружен в сон; спали все, кроме слуг царицы Савской, которые усыпили гостеприимных хозяев. Вдали грохотали раскаты грома, молнии рассекали черное небо, разбушевавшийся ветер осыпал горы каплями дождя.

Черный как ночь арабский скакун поджидал царицу у крыльца; она подала своим людям знак уходить, и вскоре вся

свита, обогнув холм Сиона вдоль глубоких оврагов, превратившихся в бурные ручьи, спустилась в долину Иосафата. Савеяне пересекли вброд Кедрон, вода в котором уже поднималась от дождя, преграждая путь возможной погоне, и, оставив справа Фавор в ореоле молний, добралась до Гефсиманского сада, откуда начиналась горная тропа в Вифанию.

— Поедем по этой дороге, — сказала царица своим стражам, — кони у нас быстрые; в этот час шатры, должно быть, уже сложены и наши люди направляются к Иордану. Мы встретимся с ними через час после восхода солнца за Мертвым морем, откуда все вместе доберемся до теснин Аравийских гор.

Она отпустила поводья своей лошади и улыбнулась буре, подумав о том, что разделила невзгоды своего дорогого Адонирама, который наверняка брел сейчас под дождем по дороге в Тир.

В тот миг, когда ее конь ступил на тропу, ведущую в Вифанию, молния осветила группу людей, которые крадучись пересекали ее и остановились ошеломленные, заслышав стук копыт, не понимая, что это за процессия призраков скачет в ночи.

Балкида и ее свита пронеслись мимо них; один из стражей наклонился, чтобы разглядеть поздних путников, и тихо сказал царице:

— Это трое мужчин, они несут мертвое тело, завернутое в саван.

XII

МАКБЕНАХ

Во время «паузы», последовавшей за частью рассказа, среди слушателей возникли бурные споры. Многие отказывались принять версию сказителя и утверждали, что на са-

мом деле у царицы Савской был ребенок от Сулаймана, а не от другого мужчины. Особенно возмущался абиссинец, оскорбленный в лучших чувствах предположением, что предком правителей его страны был простой ремесленник.

— Ты сказал неправду! — кричал он рассказчику. — Первого царя Абиссинии звали Менелик, и он вправду был сыном Сулаймана и Балкис-Мекеды. Его потомок и сейчас правит у нас в Гондаре.

— Брат, — сказал один из персов, — дай нам дослушать до конца, иначе придется вышвырнуть тебя за дверь, как это уже однажды случилось. По нашему мнению, эта легенда вполне достоверна, а если твой жалкий «священник Иоанн»* из Абиссинии непременно хочет быть потомком Сулаймана, то придется признать, что по материнской линии он происходит от какой-то чернокожей эфиопки, а не от царицы Балкиды, у которой был тот же цвет кожи, что у нас.

Хозяин остановил абиссинца, собравшегося было ответить резкостью, и с трудом навел порядок в кофейне.

Рассказчик продолжал.

В то время как Сулайман принимал в своем загородном дворце царицу савеян, одинокий путник задумчиво глядел с высот Мории на угасающий в тучах закат и на огоньки факелов, вспыхивающие подобно созвездиям в густой листве сада Милло. В последний раз он обращался мыслью к своей возлюбленной и посылал последнее «прости» скалам Салима и берегам Кедрона, которых ему не суждено было больше увидеть.

День клонился к вечеру; солнце, бледнея, взирало, как спускается на землю ночь. Удары молотков по бронзовым

* Говорят, что нынешний правитель Абиссинии является прямым потомком царицы Савской. В своей стране он одновременно царь и папа; все называют его «священником Иоанном». Его подданные зовут себя «христианами святого Иоанна».

гонгам вывели Адонирама из задумчивости; собравшаяся толпа строителей расступилась перед ним; он вошел в храм, приоткрыл восточные ворота и встал у подножия колонны Иакин, чтобы приступить к раздаче жалованья.

Зажженные под портиком факелы потрескивали, когда на пламя падали капли дождя, а задыхающиеся от жары строители весело подставляли лица под прохладную влагу.

Толпа была огромной, и кроме казначеев в распоряжении Адонирама имелись помощники, в обязанности которых входило выдавать деньги мастерам, подмастерьям и ученикам. Для разделения на три степени Адонирам произносил призыв, заменявший в данном случае знаки, подаваемые рукой, обмен которыми занял бы слишком много времени. После этого каждый называл пароль и получал причитающееся жалованье.

Прежде паролем учеников было слово «Иакин», название одной из бронзовых колонн храма; у подмастерьев был пароль «Вооз» — имя второй колонны; у мастеров — «Иегова».

Разделившись по рангам и выстроившись в цепочки, строители один за другим подходили к конторкам, за которыми стояли казначеи; Адонирам касался руки каждого, и каждый шепотом произносил ему на ухо пароль. В этот последний день пароль был изменен: ученик говорил «Тувал-Каин», подмастерье — «Шибболет», а мастер — «Гиблим».

Мало-помалу толпа начала редеть; храм постепенно пустел; вскоре последние строители удалились, и стало ясно, что явились не все, так как в сундуке оставались еще деньги.

— Завтра, — сказал Адонирам, — вы созовете строителей, чтобы узнать, не заболел ли кто и не посетила ли кого-нибудь смерть.

Когда все ушли, Адонирам, не утративший до последнего дня бдительности и усердия, взял, как обычно, фонарь и отправился в обход храма и опустевших мастерских, чтобы удостовериться, что все его приказы выполнены и везде погашены огни. Шаги его печальным эхом отдавались от

каменных плит; в последний раз смотрел он на свои творения и долго стоял перед группой крылатых херувимов — последней работой юного Бенони.

— Дорогое мое дитя! — прошептал он со вздохом.

Закончив свой обход, Адонирам вышел в большой зал храма. Густой сумрак рассеивался красноватыми завитками вокруг его фонаря, освещавшего высокие своды, стены и три двери зала, выходившие на север, на запад и на восток.

Первая, северная, дверь предназначалась для черни, через вторую входил царь и его воины, а через третью, восточную, — левиты; за этой дверью возвышались бронзовые колонны Иакин и Вооз.

Прежде чем выйти через ближайшую к нему западную дверь, Адонирам бросил взгляд в окутанную сумраком глубину зала, и его глазам, в которых запечатлелось множество только что виденных им статуй, вдруг предстал в игре теней призрак Тувал-Каина. Он всматривался в темноту, но видение росло, очертания его размывались; оно скользнуло к потолку и затерялось среди темных стен, словно тень удаляющегося человека с факелом. Эхо жалобного крика прозвучало под сводами храма.

Тогда Адонирам повернулся к двери, собираясь уйти. Но тут от колонны отделилась человеческая фигура, и полный злобы голос произнес:

— Если хочешь выйти отсюда живым, скажи мне пароль мастеров!

Адонирам был безоружен: пользующийся всеобщим уважением, привыкший, что его приказы беспрекословно исполнялись по мановению руки, он и помыслить не мог, что когда-нибудь ему придется защищать свою жизнь.

— Негодяй! — вскричал он, узнав рудокопа Мифусаила. — Убирайся вон! Ты войдешь в ряды мастеров, когда предательство и преступление будут в чести! Беги же вместе со своими сообщниками, пока не настигло вас правосудие Сулаймана!

Услышав эти речи, Мифусаил своей мощной рукой поднял молоток и с силой обрушил его на голову Адонирама. Мастер пошатнулся, оглушенный, и инстинктивно метнулся в поисках выхода к северной двери. Но там стоял сириец Фанор. Он сказал:

— Если хочешь выйти отсюда живым, скажи мне пароль мастеров!

— Ты не отработал семь лет в подмастерьях! — угасающим голосом отвечал Адонирам.

— Пароль!

— Никогда!

Каменщик Фанор всадил свой резец в бок мастера, но нанести второй удар он не успел: словно разбуженный болью, строитель храма стрелой кинулся к восточной двери в надежде вырваться из рук убийц.

Там поджидал его финикиец Амру, подмастерье-плотник. Он тоже крикнул ему:

— Если хочешь пройти, скажи мне пароль мастеров!

— Я узнал его не так просто, — с трудом выговорил обессиленный Адонирам. — Пойди и спроси его у того, кто тебя послал.

Он попытался оттолкнуть своего противника и добраться до двери, но Амру вонзил острие своего циркуля прямо ему в сердце.

В этот миг грянул оглушительный удар грома и разразилась гроза.

Адонирам лежал на каменном полу; три плиты занимало его тело. Трое убийц стояли подле него, держась за руки.

— Это был большой человек, — прошептал Фанор.

— В могиле он займет не больше места, чем ты, — отвечал ему Амру.

— Да падет его кровь на Сулаймана ибн Дауда!

— Нам впору оплакивать самих себя, — вмешался Мифусаил,— ведь мы знаем тайну царя. Надо скрыть следы преступления. Пошел дождь; ночь беззвездная; сам Иблис по-

могает нам. Унесем останки подальше от города и предадим их земле.

Они завернули тело в длинный передник из белой кожи, подняли его и бесшумно спустились к берегу Кедрона, направляясь к одинокому холму, возвышавшемуся за дорогой на Вифанию. Когда убийцы добрались туда, трепеща от страха, они вдруг столкнулись лицом к лицу с группой всадников. Преступление трусливо, и трое подмастерьев остановились; но те, кто спасается бегством, тоже боязливы... И вот царица Савская молча проследовала мимо охваченных ужасом убийц, которые несли останки ее нареченного супруга Адонирама.

Они же пошли дальше, вырыли на холме яму и засыпали тело художника землей. После этого Мифусаил вырвал с корнем молодую акацию и воткнул ее в свежевскопанную землю, под которой покоилась их жертва.

Балкида тем временем скакала во весь опор через долины, молнии полосовали небо, а Сулайман спал.

Его рана была самой тяжелой, ибо ему предстояло проснуться.

Солнце взошло и снова закатилось за горизонт, когда рассеялись чары выпитого им зелья. Страшные сновидения терзали его; он пытался вырваться из сонма обступивших его призраков и вдруг, пробудившись словно от сильного толчка, возвратился в мир живых.

Он приподнялся на ложе и удивленно огляделся; взор его блуждал, как будто глаза искали утраченный рассудок своего хозяина; наконец он вспомнил...

Перед ним стояла пустая чаша; последние слова царицы всплыли в его памяти; он не увидел ее рядом, и в глазах у него потемнело; солнечный луч, насмешливо коснувшийся его лба, заставил его вздрогнуть; царь все понял, и крик ярости вырвался из его груди.

Он расспрашивал всех, но тщетно: никто не видел, как ушла царица; свита ее тоже скрылась, а в долине нашли лишь следы исчезнувшего лагеря.

— Так вот как, — вскричал Сулайман, бросив злобный взгляд на великого священника Садока, — вот как твой Бог помогает своим слугам! Это ли ты мне обещал? Он бросил меня, как игрушку, на растерзание джиннам, а ты, пустоголовый советник, что правит от Его имени, пользуясь моей слабостью, ты покинул меня на произвол судьбы, ничего не предвидел, ничему не воспрепятствовал! Кто даст мне крылатые легионы, чтобы настичь коварную царицу? Стихии земли и огня, мятежные силы, небесные духи, поможете ли вы мне?

— Не кощунствуйте! — воскликнул Садок. — Только Иегова истинно велик, а это ревнивый Бог.

Среди всей этой сумятицы вдруг явился прорицатель Ахия из Силома, мрачный, грозный, с божественным огнем в глазах; бедняк Ахия, внушающий страх богачам, неимущий, но великий духом. Он обратился к Сулайману:

— Бог отметил печатью чело убийцы Каина и сказал: «Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». А когда потомок Каина Ламех пролил кровь, сказал Бог: «Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семижды семьдесят раз». Слушай же, о царь, что Всевышний повелел мне передать тебе: «Тому, кто пролил кровь Каина и Ламеха, отмстится в семьсот раз семеро».

Сулайман поник головой; он вспомнил об Адонираме и понял, что его приказание выполнено, и нечистая совесть исторгла у него крик:

— Несчастные! Что они наделали? Я не велел им его убивать...

Покинутый своим Богом на произвол враждебных духов, презираемый, обманутый царицей савеян, Сулайман в отчаянии опустил веки, и взор его упал на безоружную руку, на которой еще сияло кольцо, полученное им от Балкиды. Этот талисман зажег в его душе искру надежды. Оставшись один, он повернул камень к солнцу, и тотчас слетелись к нему все птицы небесные, кроме одной Худ-Худ, священного удода. Он звал трижды, наконец заставил ее повиноваться-

ся и приказал ей отнести его к царице. Худ-Худ взмыла ввысь, и Сулайман, протягивая к ней руки, почувствовал, как неведомая сила отрывает его от земли и поднимает в небеса.

Страх обуял его, он опустил руку и вновь оказался на земле. А птица Худ-Худ покружила над долиной и уселась на ветку тоненькой акации, росшей на вершине холма; как ни старался царь, он не смог заставить ее покинуть это деревце.

Разум Сулаймана помутился от горя; царь мечтал собрать несметное войско, чтобы предать огню и потопить в крови царство савеян. Теперь он часто запирался один в своем дворце, проклинал судьбу и вызывал духов. Он принудил одного из ифритов, демонов бездны, служить ему, и тот сопровождал царя в его одиноких странствиях. Чтобы забыть царицу и заглушить сжигающую его страсть, он повелел доставить ему со всех концов света чужеземных женщин и вступил с каждой в брак по их нечестивым обрядам; они приобщали его к своей вере, и он стал поклоняться идолам. Вскоре, чтобы умилостивить духов, он возродил языческие святилища, а неподалеку от Фавора воздвиг храм Молоху.

Так сбылось пророчество тени Еноха, который сказал в царстве огня сыну своему Адонираму: «Тебе предназначено судьбой отмстить за наш род, и храм, что ты строишь для Адонаи, станет причиной гибели Сулаймана».

Но царь иудеев сделал еще больше, как о том говорится в Талмуде, ибо слух об убийстве Адонирама разнесся по всей стране, возмущенный народ потребовал, чтобы свершилось правосудие, и Сулайман приказал девяти мастерам отыскать тело, чтобы подтвердить смерть художника.

Прошло семнадцать дней; поиски в окрестностях храма оказались бесплодными, и тщетно рыскали мастера по полям и долинам. Но однажды один из них, обессилев от жары, схватился, чтобы легче было вскарабкаться на холм, за ветку акации, с которой взлетела при его появлении неизвестная птица с блестящим оперением. Он с удивлением обнаружил, что деревце поддалось под рукой: корни не дер-

жались в земле. Еще больше удивило его то, что земля была недавно вскопана, и он тут же позвал своих спутников.

Все девятеро принялись рыть землю ногтями и вскоре раскопали свежую могилу. Тогда один из них сказал своим братьям:

— Убийцы, должно быть, и есть те негодяи, что хотели выведать у Адонирама пароль мастеров. А вдруг им это удалось? Не лучше ли будет нам изменить пароль?

— Какое же мы выберем слово? — спросил другой.

— Если мы найдем здесь нашего мастера, — предложил третий, — пусть первое слово, произнесенное любым из нас, станет паролем; так будет увековечена память об этом преступлении и о клятве, которую мы принесем, ибо мы должны поклясться над его могилой отмстить убийцам, и дети наши будут мстить их потомкам до седьмого и семьдесят седьмого колена.

Мастера принесли клятву, соединив руки над могилой, и снова принялись рыть землю с удвоенным усердием.

Когда они нашли тело и узнали его, один из мастеров взял мертвеца за палец, и кожа осталась у него в руке; то же случилось и со вторым; третий сжал его запястье, как это делают все мастера, приветствуя подмастерьев, и кожа отделилась от ладони, тогда он воскликнул: «Макбенах!» — что означает: «Плоть от костей отделяется».

Тут же было решено, что это слово станет отныне паролем мастеров и боевым кличем всех жаждущих возмездия за Адонирама. Бог справедлив, и ему было угодно, чтобы это слово еще много веков поднимало народ против царей.

Фанор, Амру и Мифусаил бежали, но они были узнаны своими бывшими братьями и погибли от руки мстителей-ремесленников в землях Маахи, царя страны Геф, где они скрывались под именами Штерке, Отерфют и Гобен.

Но цеха ремесленников по тайному наитию продолжали преследовать своей несбывшейся местью того, кого они называли «Абирамом», или убийцей... А потомство Адо-

нирама навеки осталось для них священным, и много времени спустя они еще клялись «сыновьями вдовы» — так звали они потомков Адонирама и царицы Балкиды.

Прославленный Адонирам по приказу Сулаймана был погребен под алтарем воздвигнутого им храма; вот почему Адонаи в конце концов покинул ковчег иудеев и обрек на рабство наследников Дауда.

Жадный до почестей, власти и плотских утех, Сулайман взял в жены пятьсот женщин и принудил наконец смирившихся духов служить его замыслам; он строил планы порабощения соседних народов с помощью чудесного кольца, выточенного некогда Ирадом, отцом каинита Мавъяила. Кольцо это принадлежало сначала Еноху, который благодаря ему подчинил себе камни, потом патриарху Иареду и Нимроду, завещавшему его Саве, основателю династии Химьяритов.

Кольцо Соломона подчинило царю духов, ветры и всех тварей земных и небесных. Пресытившись властью, славой и удовольствиями, мудрец часто повторял: «Ешьте, пейте, любите; все прочее — суета».

Но странно — он не был счастлив! Чувствуя, что тело его стареет, царь стремился обрести бессмертие.

С помощью множества ухищрений и благодаря глубоким познаниям он надеялся достичь его при соблюдении известных условий: чтобы очистить тело от всех смертных элементов, не допустив его разложения, он должен был двести двадцать пять лет проспать в убежище, недосягаемом для всего земного и тлетворного, глубоким сном мертвеца. После этого отлетевшая душа возвратится в свою телесную оболочку, которая помолодеет до возраста расцвета мужчины, равного тридцати трем годам.

Когда Сулайман стал дряхл и немощен, понял, что силы покидают его и увидел признаки близкого конца, он приказал порабощенным им духам построить для него в горе Каф неприступный подземный дворец. В самом сердце

горы был воздвигнут огромный трон из золота и слоновой кости, опирающийся на четыре столпа, сделанных из ствола столетнего дуба.

Сюда Сулайман, повелитель духов, решил удалиться на время долгого сна. Остаток своих дней он употребил на то, чтобы с помощью магических знаков, заклинаний и чудесного кольца обезопасить себя от всех тварей, всех стихий и всех веществ, обладающих способностью разлагать материю. Он наложил заклятие на пары облаков, на бабочек, гусениц и личинки. Он наложил заклятие на хищных птиц, на летучую мышь, на сову, на крысу, на зловонную муху, на муравьев, на всех мелких тварей, летающих, ползающих и грызущих. Не забыл он и о металлах и о камнях, о щелочах и кислотах, и даже о запахах растений.

Сделав это и уверившись, что на тело его не посягнут никакие разрушительные силы, безжалостные посланники Иблиса, он отдал последнее приказание: повелел отнести себя в сердце горы Каф и, собрав вокруг себя всех духов, поручил им осуществить его гигантские замыслы, а также наказал, пригрозив самыми страшными карами, стеречь его и оберегать его сон.

Затем он сел на трон, к которому крепко привязали его уже холодеющие руки и ноги; глаза Сулаймана погасли, дыхание замерло, и он погрузился в сон смерти.

А покорные духи продолжали служить ему, исполняя его приказания, и простирались ниц перед троном в ожидании пробуждения своего господина и повелителя.

Ветры не овевали его лик; личинки, из которых рождаются черви, не смели к нему приблизиться; хищные птицы улетели, четвероногие грызуны убежали, водяные пары улетучились, и благодаря силе заклятий тление не тронуло тело царя на протяжении двух с лишним веков.

Отросшая борода Сулаймана закрывала его ноги и стелилась по полу; ногти проросли сквозь кожу перчаток и золотую парчу туфель.

Но может ли мудрость человеческая, ограниченная нашим жалким веком, достичь *бесконечности?* Сулайман забыл наложить заклятие на одну лишь тварь, самую ничтожную из всех... Он не подумал о жучке-древоточце.

И древоточец приближался, незаметный... незримый... Он вцепился в один из дубовых столпов, поддерживавших трон, и грыз дерево медленно-медленно, ни на миг не останавливаясь. Самое чуткое ухо не слышало бы, как скребется это существо меньше песчинки, и каждый год древоточец оставлял за собой щепотку тончайших опилок.

Так трудился он двести двадцать четыре года... И вот однажды подточенная опора надломилась под тяжестью трона, и все рухнуло с ужасающим грохотом*.

Маленький жучок-древоточец победил великого Сулаймана и первым узнал о его смерти, ибо царь, упав на каменные плиты, не проснулся более.

Тогда порабощенные духи поняли свое заблуждение и вновь обрели свободу.

Так кончается история великого Сулаймана ибн Дауда, о коем рассказ должен быть выслушан с почтением всеми правоверными, ибо он изложен вкратце священною рукой пророка в тридцать четвертой фатихе** Корана, зерцала мудрости и источника истины.

---

* По верованиям восточных народов, силы природы, как правило, действуют сообща. Только с согласия всех живых существ всемогущ сам Аллах. Можно усмотреть связь между преданиями о жучке-древоточце, разрушившем тщеславные замыслы Соломона, и легендой из Эдды о Бальдре. Один и Фрейя тоже заклинают всех живых тварей, чтобы они пощадили жизнь их сына Бальдра, но забывают об омеле, и это жалкое растеньице становится причиной гибели сына богов. Поэтому омела стала священной в верованиях друидов, унаследовавших традиции скандинавов.

** *Здесь:* сура. *Ред.*

КОНЕЦ ИСТОРИИ О СУЛАЙМАНЕ И ЦАРИЦЕ УТРА

Сказитель закончил свой рассказ, который длился около двух недель. Боясь снизить впечатление, я не стал упоминать обо всем, что мог увидеть в Стамбуле в промежутках между этими вечерами. Я счел также, что не стоит излагать вкрапленные в повествование маленькие рассказики, которые обыкновенно идут в ход, когда собралось еще мало публики или же для того, чтобы внести разрядку в особенно драматические моменты. «Кафеджи» часто идут на значительные расходы, чтобы заполучить того или иного сказителя, пользующегося известностью. Поскольку сеанс продолжается не более полутора часов, такие рассказчики часто успевают выступить в нескольких кофейнях за одну ночь. Они дают также подобные «сеансы» в гаремах, когда супруг, убедившись в том, что сказка представляет интерес, хочет, чтобы его семья разделила с ним удовольствие. Благоразумные люди для заключения сделки с рассказчиком обращаются к старшим гильдии сказителей, которых называют здесь «хасидеями», так как случается порой, что недобросовестные рассказчики, не удовлетворенные выручкой в кофейне или вознаграждением, полученным от хозяина дома, прерывают сказку на самом интересном месте и исчезают, не дав безутешным слушателям узнать, чем кончилась история.

Мне очень нравилась кофейня, в которой я бывал с моими друзьями-персами: публика там собиралась разнообразная и поговорить можно было о чем угодно; обстановка напоминала мне «Суратскую кофейню» славного Бернардена де Сен-Пьера. В самом деле, на таких космополитических сборищах купцов из разных стран Азии проявляется куда больше терпимости, чем в кофейнях, посещаемых только турками или арабами. Легенда, которую мы слушали, обсуждалась после каждого сеанса различными группами завсегдатаев: в восточной кофейне разговор ни-

когда не бывает общим; и, если не считать замечаний абиссинца, который, будучи христианином, похоже, несколько злоупотребил соком Ноевой лозы, никто не возражал против основных посылок рассказа. Они действительно соответствуют преданиям и верованиям Востока, однако в них чувствуется тот присущий простому народу дух противоречия, который особенно отличает персов и арабов Йемена.

Наш сказитель принадлежал к секте Али, представляющей, если можно так выразиться, католическую традицию Востока, тогда как турки, сторонники секты Омара, исповедуют скорее своего рода протестантизм, господство которого они утвердили, покорив народы Средиземноморья.

ИЗ КНИГИ

«ИЛЛЮМИНАТЫ»

ЖАК КАЗОТ

Автор «Влюбленного дьявола» принадлежит к той категории писателей, которых мы, вслед за немцами и англичанами, стали называть юмористическими и которые вошли в нашу литературу лишь в качестве подражателей другим авторам. Четко-прагматический ум французского читателя с трудом воспринимает капризы чужого поэтического воображения, разве что оно заключено в традиционные и давно знакомые рамки сказки или балетного либретто. Аллегория нравится нам, басня — забавляет; наши библиотеки полны этих замысловатых примеров игры ума, предназначенных в первую очередь для детей, а затем для дам; мужчины снисходят до них лишь в минуты досуга. В XVIII веке у людей было много свободного времени, и никогда еще литературные фантазии и басни не пользовались таким успехом, как в ту пору. Величайшие писатели века — Монтескье, Дидро, Вольтер — убаюкивали и усыпляли своими очаровательными сказками общество, которое их же принципы должны были в самом скором времени разрушить до основания: автор «Духа законов» писал «Книдский храм»; основатель «Энциклопедии» развлекал дам и кавалеров «Белой птицей» и «Нескромными сокровищами», создатель «Философского словаря» изукрашивал «Принцессу Вавилонскую» и «Задига» чудеснейшими восточными фантазиями. Все это были выдумки, остроумнейшие выдумки и ничего более...

чтобы не сказать, ничего более тонкого, причудливого и чарующего.

Но поэт, верящий в свои фантазии, повествователь, верящий в свою легенду, мечтатель, принимающий всерьез мечту, зародившуюся в глубинах его сознания, — вот редкость, невиданная в XVIII веке, в том веке, где аббаты-поэты вдохновлялись сюжетами языческой мифологии, а некоторые светские стихотворцы сочиняли басни, основанные на христианских таинствах.

Читатели того времени были бы весьма удивлены, узнай они, что во Франции появился остроумнейший и одновременно по-детски наивный автор, продолживший сказки «Тысячи и одной ночи» — этого великого, но незавершенного произведения, над переводом коего так долго бился господин Галлан; новый автор словно писал под диктовку арабских сказочников, и это отнюдь не выглядело ловким подражанием восточной прозе, но оригинальным и серьезным творением, созданным человеком, полностью проникшимся духом и верованиями Востока. Впрочем, следует заметить, что большинство сюжетов для своих сказаний Казот отыскал под пышными кронами пальм, растущих у подножия высоких холмов Сен-Пьера, — вдали от Азии, разумеется, но под столь же палящим солнцем. Нужно сказать, что ранние произведения этого в высшей степени оригинального писателя не принесли ему большой известности; она пришла к нему лишь по издании «Влюбленного дьявола» да нескольких песен и поэм, которые и составили Казоту славу блестящего автора; лучи этой славы озарили всю его жизнь, вплоть до ее трагического конца. Гибель его подчеркнула загадочность идей, которыми он руководствовался при создании почти всех своих произведений и которые придавали им особое, таинственное значение; постараемся же оценить их по достоинству.

О первых годах жизни Жака Казота известно немногое. Он родился в 1720 году в Дижоне и, подобно большинству просвещенных людей своего времени, учился в иезуитском коллеже. Один из его наставников, старший викарий Шалонского епископа господина де Шуазеля, помог ему перебраться в Париж и пристроил в администрацию министерства морского флота, где Казот в 1747 году дослужился до звания комиссара. Именно с этого времени он и начал понемногу заниматься литературой, особенно поэзией. В салоне его земляка Рокура собирались литераторы и художники, и Казот приобрел известность, прочитав там некоторые из своих басен и песен, свидетельствующих о недюжинном таланте, которым позднее будет отмечена скорее его проза, нежели поэзия.

После этого Казоту пришлось жить на Мартинике, куда он был назначен инспектором Подветренных Островов. Там он провел несколько лет, о которых мы мало что знаем; известно только, что местные жители любили и уважали его и что он женился на дочери главного судьи Мартиники, мадемуазель Элизабет Руаньян. Предоставленный по этому случаю отпуск позволил Казоту вернуться на какое-то время в Париж, где он опубликовал еще несколько поэм. К этому же периоду относятся и две песни, вскоре снискавшие широкую известность; они написаны в модном для того времени духе старинного романса или французской баллады, в подражание сьеру де Ла Моннуа. Песни эти явились одной из первых попыток воссоздать тот средневековый романтический или лирический настрой, которым наша литература пользовалась — и злоупотребляла! — много позже; замечательно, что уже в этой, далеко не совершенной форме явственно просматривается своенравный и яркий талант Казота.

Первая из песен озаглавлена «Бессонница доброй женщины» и начинается так:

В самом сердце дремучих Арденн
Мрачно замок на скалах молчит.
Там хоронится нежить у стен,
Воем ужас наводит в ночи.
Окон чернеют глазницы,
С криком зловещим взметаются птицы,
Видно, кричат не напрасно.
Страшно мне, милая, страшно![*]

С первых же слов можно признать в этой песне балладу, какие сочинялись поэтами Севера Франции, а главное, видно, что это серьезная фантастика, далекая от манерных сочинений Берни и Дора.

Простота стиля не исключает, тем не менее, особой, сочной и красочной поэтичности, отличающей многие строки этой баллады:

Воют оборотни у оград,
Слепо бродят у замка они.
Слышны стоны и цепи звенят,
Кровь течет и мелькают огни.
Боже, идти нету сил!
Крики глухие зовут из могил.
Видно, зовут не напрасно.
Страшно мне, милая, страшно!

Сир Ангерран, отважный рыцарь, возвращается из Испании. Проезжая мимо ужасного замка, он решает остановиться в нем. Тщетно пугают его рассказами о духах, там обитающих; он лишь смеется, велит слугам снять с себя сапоги, подавать ужин и стелить постель. В полночь начинается чертовщина, предсказанная ему добрыми людьми. От адского

[*] Здесь и далее перевод стихов П. Васнецова. *Ред.*

грохота содрогаются стены, зловещие огни пляшут в окнах, и, наконец, сильный порыв ветра распахивает двери и их створки расходятся с жутким, леденящим душу скрипом.

Некто, навеки проклятый и одержимый демонами, с замогильным воем проходит по зале:

Заливаясь в дымящийся рот,
Из глазниц вытекает металл.
Мраком сотканный гнусный урод
В сердце жертвы вонзает кинжал.
Мало! Вонзает вновь!
Черным потоком кровь
Хлынула вместо красной.
Страшно мне, милая, страшно!

Рыцарь Ангерран расспрашивает этих несчастных, кто виною их мучений.

— Сеньор, — отвечает дама с кинжалом, — я родилась в этом замке, я была дочерью графа Ансельма. Этот монстр, коего вы здесь видите и коего по воле неба я обязана мучить и терзать, состоял капелланом у моего отца и, на мое несчастье, влюбился в меня. Забыв о своем долге и положении и не будучи в силах соблазнить меня, он призвал дьявола и предался ему, дабы получить от него подмогу в сем гнусном деле. Каждое утро я ходила гулять в лес, там купалась я в прозрачных водах ручья.

Где озерная светлая гладь,
Юная роза цвела.
Невозможно ее не желать,
Так манила она и звала.
Чудится, будто она
Сладким соблазном полна,
С виду невинно-прекрасна.
Страшно мне, милая, страшно!

Приколю эту розу к виску,
Буду всех я пленять красотой.
Но едва прикоснешься к цветку,
Сердце шепчет в испуге: «Постой!
Коли не хочешь мук,
К ней не протягивай рук.
С дьяволом роза согласна!»
Страшно мне, милая, страшно!

Роза эта, заговоренная дьяволом, одурманила красавицу, отдав ее на волю гнусного, похотливого капеллана. Но вскоре, опомнившись, она пригрозила ему все рассказать отцу, и тогда злодей ударом кинжала заставил ее умолкнуть навсегда.

Однако вдали слышится голос графа; он ищет свою дочь. Тогда дьявол, обернувшись козлом, приближается к злодею и говорит ему: «Садись на меня, дорогой друг, не бойся ничего, верный мой слуга!»

Черта он сжал меж колен.
Тот бьется под ним, но летит.
Растекается в воздухе тлен
И земля под ногами горит.
Только взлетели и вмиг
Граф приуныл и сник.
Поздно скорбеть, все напрасно.
Страшно мне, милая, страшно!

Развязкою этого приключения было то, что сир Ангерран, свидетель сей адской сцены, машинально перекрестился, тем самым рассеяв духов. Что же до морали баллады, то она проста и призывает женщин опасаться тщеславия, а мужчин — дьявола.

Подобное подражание старинным католическим легендам, которое сегодня сочли бы не стоящим внимания

пустяком, в те времена явилось неожиданно свежей новинкой в литературе; наши писатели долго еще следовали известному завету Буало, гласившему, что христианская вера не должна занимать украшений у поэзии; и действительно, всякая религия, попадающая в руки поэтов, очень скоро вырождается и утрачивает власть над душами. Но Казот, более суеверный, чем верующий, нимало не заботился о религиозных канонах. Впрочем, эта большая поэма, о которой мы здесь упомянули, и не претендовала на широкое признание; она годится лишь на то, чтобы указать намечающуюся тягу автора «Влюбленного дьявола» к особому виду поэзии — поэзии фантастической, которая после него опустилась до просто вульгарной

Существует мнение, что романс этот был сочинен Казотом для его подруги детства, мадам Пауссонье, ставшей впоследствии кормилицей герцога Бургундского; она якобы попросила его сложить колыбельную для ее царственного питомца. Разумеется, Казот мог выбрать менее грустный сюжет с меньшим количеством мертвецов и привидений, но вскоре мы увидим, что этот писатель обладал печальным даром предвидеть и предсказывать несчастья. Второй романс того же периода под названием «Несравненные подвиги Оливье, маркиза Эдесского» также завоевал огромную популярность. Это подражание старинным рыцарским фаблио опять-таки выдержано в «народном» стиле.

Дочь графа де Тур больна.
Он, между тем, прознал,
Что в пажа влюблена она.
В гневе граф приказал:
«Пажа Оливье позвать.
На площади четвертовать!»
Няня, полночь звонят. Скорей
Постель для меня согрей!

Тридцать последующих куплетов посвящены подвигам пажа Оливье, который, будучи преследуем графом на суше и на море, множество раз спасает жизнь своему гонителю, повторяя ему при каждой встрече:

— Это я, ваш верный паж! А теперь прикажите меня четвертовать!

— Уйди с глаз моих! — неизменно отвечает ему упрямый старик, которого ничто не может растрогать, и Оливье в конце концов вынужден покинуть Францию, отправившись воевать в Святую землю.

Однажды, утратив всякую надежду на счастье, он решает положить конец своим горестям и умереть, но отшельник из Ливана принимает его у себя, утешает, а затем показывает в чаше с водой, как в магическом зеркале, все, что происходит в Турском замке: его возлюбленная чахнет в темнице — «в грязи, средь мерзких жаб»; его ребенок брошен в лесу, где его вскормила лань; а Ричард, герцог Бретонский, объявил войну графу де Тур и осадил его замок. Забыв об обиде, Оливье спешит в Европу, дабы спасти отца своей возлюбленной, и поспевает как раз в тот миг, когда осажденные уже готовы сдаться.

Рубятся — искры летят!
На смерть, не дрогнув, идут.
В город ворваться хотят,
Но там их защитники ждут.
Голод стоит за спиной,
Не спрячешься за стеной.
Няня, полночь звонят. Скорей
Постель для меня согрей!

Вот он — Оливье лихой!
Копьем воздетым грозит,
Он ломает его рукой

И двумя супостатов разит.
Ударов его не сдержать,
Придется бретонцам бежать.
Няня, полночь звонят. Скорей
Постель для меня согрей!

Это с виду простое стихотворение не лишено некоторого блеска, но главное, что поразило тогдашних знатоков поэзии, был причудливый сюжет, в котором Монкриф, знаменитый историограф кошек, разглядел основу, годную для поэмы.

Казот все еще считался скромным автором нескольких песенок и басен; благоприятный отзыв академика Монкрифа разбудил его воображение и, по возвращении на Мартинику, он переработал сюжет об Оливье в прозаическую поэму, перемежая в ней рыцарские темы с комическими и авантюрными ситуациями на манер итальянских авторов. Произведение это не отличается большими литературными достоинствами, но читается с удовольствием, и стиль его выдержан безупречно.

(Можно также упомянуть написанного в то же время «Неожиданного лорда» — английскую новеллу с весьма «интимным» сюжетом и интереснейшими подробностями.)

Впрочем, не следует думать, будто автор этих забавных фантазий пренебрегал своими прямыми обязанностями чиновника; мы располагаем его собственноручно написанным докладом, адресованным в министерство Шуазеля; в нем он крайне серьезно перечисляет обязанности комиссара морского флота и предлагает некоторые нововведения в служебном кодексе — с усердием, несомненно оцененным по достоинству его начальством. К этому можно добавить, что во время нападения англичан на колонию, то есть в 1749 году, Казот развил бурную деятельность и выказал даже познания в военной стратегии при вооружении и

укреплении форта Сен-Пьер. Атака неприятеля была отбита, невзирая на высаженный англичанами десант.

Однако смерть брата заставила Казота вторично вернуться во Францию; унаследовав от покойного все его состояние, он не замедлил испросить отставку, каковая и была ему предоставлена в самых лестных выражениях и в звании генерального комиссара флота.

II

Казот привез во Францию свою жену Элизабет и для начала расположился в доме покойного брата в Пьерри, близ Эпернэ. Твердо решив не возвращаться больше на Мартинику, супруги продали все свое имущество тамошнему главе иезуитской миссии отцу Лавалету, образованнейшему человеку, с которым Казот много лет поддерживал самые сердечные отношения. Тот выдал Казоту вексель, который следовало учесть в парижской торговой компании иезуитов.

По векселю предстояло получить пятьдесят тысяч экю; Казот предъявляет бумагу — компания опротестовывает ее. Руководители компании заявляют, что отец Лавалет пустился в рискованные спекуляции и потому они не могут учесть вексель. Казот, вложивший в этот документ все свое состояние, был вынужден подать в суд на своих бывших наставников, и процесс этот, принесший много страданий его религиозной и монархической душе, стал первым в серии всех последующих, которые обрушились позже на общество Иисуса, приведя его к гибели.

Так судьба впервые коснулась суровым перстом этого необыкновенного человека. Не приходится сомневаться в том, что с этого момента его религиозные убеждения сильно пошатнулись. Успех поэмы об Оливье побудил его к даль-

нейшему сочинительству; вскоре появился «Влюбленный дьявол».

Это произведение славится по многим причинам; оно выделяется среди других творений Казота своим очарованием и ювелирной отделкой деталей, но, главное, превосходит их оригинальностью концепции. Во Франции, а особенно за границей книга эта стала предметом пристального изучения и породила множество подражаний.

Феномен этого литературного произведения неотрывно связан с социальным слоем, к которому принадлежал его автор; нам хорошо известен античный прообраз подобных сочинений, также проникнутых мистицизмом и поэтичностью, — это «Золотой осел» Апулея. Апулей, посвященный в культ богини Исиды, ясновидец-язычник, полускептик, полуверующий, искавший под обломками погибших мифологий следы древних суеверий; Апулей, объяснявший басни символами, чудеса — неясным определением тайных сил природы, а миг спустя сам насмехавшийся над собственной доверчивостью; Апулей, то и дело прибегавший к иронической усмешке, сбивающей с толку читателя, готового принять его всерьез, — вот кто был родоначальником этого семейства писателей, которое может еще по праву принять в свои ряды автора «Смарры» — этой античной грезы, этого поэтического воплощения самых потрясающих феноменов кошмара.

Многие читатели увидели во «Влюбленном дьяволе» всего лишь забавную небылицу, похожую на множество подобных произведений той поры и достойную занять место в «Кабинете фей». Самое большее, на что он мог бы, по их мнению, претендовать, — это встать в один ряд с аллегорическими сказками Вольтера; с таким же успехом можно сравнивать мистическое творчество Апулея с мифологическими фацециями Лукиана. «Золотой осел» долго служил темой символических теорий философов Александрийской

школы; даже христиане относились к этой книге с уважением: сам святой Августин почтительно называет ее опоэтизированной формой религиозного символа. «Влюбленный дьявол» вполне достоин не меньших похвал и являет собою значительный шаг вперед в развитии творческой манеры и писательского таланта Казота.

Таким образом этот человек, известный вначале как изысканный поэт школы Маро и Лафонтена, затем как наивный сказочник, увлекающийся то сочностью старинных французских фаблио, то ярким причудливым колоритом восточной сказки, введенной в моду благодаря успеху «Тысячи и одной ночи», и, наконец, следующий более вкусам своего века, нежели собственной фантазии, вступил на самый опасный путь литературной жизни — иными словами, начал принимать всерьез собственные выдумки. Правду сказать, это было несчастьем и славой величайших авторов той эпохи; они писали собственными слезами, собственной кровью; они безжалостно предавали, в угоду вульгарным вкусам читающей публики, тайны своего духа и сердца; они играли свою роль с той же истовой серьезностью, с какой некогда актеры античности обагряли сцену настоящей кровью для развлечения всемогущего плебса.

Но кто мог бы предположить в этом веке всеобщего неверия, когда само духовенство едва ли не насмехалось над верой, существование поэта, любовь которого к чисто аллегорическому чуду мало-помалу завлекла его в бездну самого искреннего и пылкого мистицизма?!

Книги, посвященные каббале и оккультным наукам, изобиловали в тогдашних библиотеках; самые странные и нелепые средневековые суеверия возрождались в форме остроумной, легковесной притчи, способной примирить эти подновленные идеи с благожелательным вниманием фривольной публики, полунечестивой, полуверующей на-

подобие патрициев Греции и Рима времен упадка. Аббат Виллар, дом Пернетти, маркиз д'Аржан популяризировали тайны «Эдипа Египетского» и ученые грезы флорентийских неоплатоников. Пико делла Мирандола и Марсилио Фичино возрождались в новом обличии, в духе XVIII века, — в «Графе де Кабалисе», в «Каббалистических письмах» и прочих образцах трансцендентной философии, приспособленной для светских салонов. Героиня «Влюбленного дьявола» — именно из этой компании шаловливых домашних духов, описанных Беккером в статье «Инкуб» или «Суккуб» в альманахе «Зачарованный мир».

Слегка зловещая роль, которую автор в конце концов заставил играть очаровательную Бьондетту, позволяет думать, что в это время он еще не был посвящен в тайны каббалистов или иллюминатов: ведь они всегда тщательно отделяли духов стихий — сильфов, гномов, ундин или саламандр — от ужасных пособников Вельзевула. Однако рассказывают, что малое время спустя после публикации «Влюбленного дьявола» к Казоту явился таинственный незнакомец с внушительной и уверенной осанкою, с лицом, осунувшимся от занятий наукой; коричневый плащ скрывал статную высокую его фигуру.

Он попросил Казота о приватной беседе и, оставшись с хозяином наедине, сделал несколько таинственных знаков, к каким прибегали посвященные, дабы признать друг друга.

Удивленный Казот спросил незнакомца, не немой ли тот, и попросил разъяснений. Но пришедший вместо ответа лишь сообщил своим знакам еще большую загадочность.

Казот не смог сдержать нетерпения. «Простите, месье, — сказал тогда незнакомец, — но я полагал вас одним из наших, притом самых высоких степеней посвящения».

— Я не знаю, что вы имеете в виду, — отвечал Казот.

— Но если это не так, то откуда же почерпнули вы те идеи, коими проникнут ваш «Влюбленный дьявол»?

— Да из головы, откуда же еще?!

— Возможно ли?! Все эти заклинания среди развалин, эти тайны каббалы, эта оккультная власть человека над духами воздуха, эти поразительные рассуждения о магическом могуществе цифр, о воле, о фатальности бытия... неужто вы сочинили все это сами?

— Я много читал, хотя, признаюсь, без всякой системы, без направления...

— И вы даже не франкмасон?

— Даже не франкмасон.

— Тогда знайте, месье, что либо по внушению свыше, либо по чистой случайности вы проникли в тайны, доступные лишь посвященным первой степени; думаю, в дальнейшем вам было бы разумнее воздержаться от подобных откровений.

— Как! Неужто я сделал это? — в испуге вскричал Казот. — Но я заботился лишь о том, чтобы развлечь читателей и доказать, что следует остерегаться козней дьявола!

— Откуда же вы взяли, что наша наука имеет хоть какое-нибудь отношение к князю Тьмы? А ведь именно к такой мысли приводит читателей ваша опасная книга. Я принял вас за нашего собрата, предавшего тайны общества по мотивам, которые и решил выяснить. Но коль скоро вы, как я вижу, профан, не ведающий о нашей высшей цели, я берусь наставить вас, посвятив в тайны того мира, который окружает нас со всех сторон и в который вы проникли единственно благодаря вашей интуиции.

Разговор их затянулся надолго; биографы расходятся в подробностях, но все они единодушно констатируют внезапный переворот, что произошел с тех пор в убеждениях Казота, невольно ставшего адептом этого загадочного учения; он даже не подозревал о том, что представите-

ли его все еще существуют. Он признал, что выказал в своем «Влюбленном дьяволе» непростительную строгость к каббалистам, о коих имел весьма смутное представление, и что их обряды, вероятно, не были такими уж пагубными, как он их там представил. Он даже покаялся в том, что слегка оклеветал невинных духов, населяющих и оживляющих срединные области воздуха, приписав им сомнительную сущность духа женского пола, отзывающегося на имя Вельзевул.

— Узнайте же, — сказал ему посвященный, — что отец Кирхер, аббат Виллар, а также многие другие знатоки данного вопроса давно уже доказали полную невинность этих духов с точки зрения христианского учения. Еще в Капитуляриях Карла Великого они упоминались как существа, принадлежащие к небесной иерархии; Платон и Сократ, наимудрейшие из греков, а также Ориген, Эвсебий и святой Августин, эти светочи церкви, единодушно согласились различать власть духов стихий от власти сынов бездны.

Этого оказалось более чем достаточно, чтобы убедить Казота, который, как мы увидим позже, применил эти идеи — но не к своим книгам, а к собственной жизни и не изменял им до конца дней.

Казот стремился загладить указанную ему оплошность тем старательнее, что в ту пору было весьма опасно навлечь на себя ненависть иллюминатов — многочисленных, могущественных и разделенных на великое множество сект, обществ и масонских лож, сообщавшихся меж собою по всему королевству. Казоту, обвиненному в раскрытии перед профанами тайны инициации, угрожала та же судьба, что аббату Виллару, который в «Графе де Кабалис» позволил себе потешить любопытных читателей, изложив им в полушутливой форме все догматы *розенкрейцеров* о мире духов. В один прекрасный день аббата нашли

убитым на Лионской дороге; виновными в этом загадочном злодеянии оставалось считать разве что сильфов или гномов. Впрочем, Казот не особенно противился советам явившегося к нему посвященного еще и потому, что по складу ума был весьма привержен подобным идеям. Путаница в мыслях — результат беспорядочного чтения — утомляла его самого; хотелось прилепиться к какой-нибудь стройной системе убеждений. Одна из таких систем — учение мартинистов, в общество которых он и вступил, — была завезена во Францию неким Мартинесом Паскуалесом и являла собою просто обновленные каббалистические ритуалы XI века — последние отзвуки учения гностиков, в котором отдельные положения еврейской метафизики сочетались с темными теориями философов Александрийской школы.

Лионская школа, к которой отныне принадлежал Казот, проповедовала, по Мартинесу, что ум и воля суть единственные активные силы природы, откуда следовал вывод: для изменения любых явлений достаточно лишь сильно захотеть и властно приказать. Далее: размышляя над собственными идеями и отвлекаясь от всего, имеющего отношение к внешнему миру и к телу, человек может возвыситься до безупречного постижения космической субстанции и достичь той власти над духами, секрет коей содержался в «Тройном принуждении ада» — всемогущем заклинании, принятом у каббалистов средневековья.

Мартинес, буквально наводнивший Францию масонскими ложами, подчиненными его ритуалу, уехал в Санто-Доминго и там умер; его учение, таким образом, не смогло сохраниться в первозданной чистоте и вскоре модифицировалось, восприняв идеи Сведенборга и Якова Бёме, хотя их весьма затруднительно было соединить в одной доктрине. Знаменитый Сен-Мартен, один из самых молодых и пылких неофитов, особенно увлекся принципами Бёме. В это

время Лионская школа уже влилась в общество Филиалетов, куда Сен-Мартен вступить отказался, мотивируя это тем, что оно отдает предпочтение науке о *душах*, по Сведенборгу, но не о *духах*, по Мартинесу.

Позже, повествуя о своей жизни среди иллюминатов Лиона, этот известнейший теософ писал: «В школе, где я учился четверть века тому назад, *общения* всех видов были весьма частым явлением; я получил свою долю, как и многие другие. Во время них знаки *Искупителя* проявлялись зримым образом; я был подготовлен к этому еще при инициациях. Но, — добавлял он, — опасность этих инициаций состоит в том, что человек выдается на волю *неистовых духов*; и я не могу поручиться за то, что формы, со мною сообщавшиеся, были истинными».

Опасность, которой боялся Сен-Мартен, как раз и грозила Казоту; вполне вероятно, что она навлекла на него величайшие несчастья. Еще долго его верования отличались мягкостью и терпимостью, видения оставались радостными и светлыми; именно в эти несколько лет он и сложил свои новые арабские сказки; их постоянно путали с книгой «Тысячи и одной ночи», которую они продолжали, вот почему они не принесли автору вполне заслуженной славы. Главные из них: «Неизвестная дама», «Сказка о рыцаре», «Наказанная неблагодарность», «Сила судьбы», «Симустафа», «Вороватый калиф» (послуживший сюжетом для «Багдадского калифа»), «Любовник звезд» и, наконец, «Маг, или Маграбинец» — интереснейшая сказка, полная очаровательных бытовых зарисовок.

Все эти произведения отличают изящество стиля и любовь к мельчайшим подробностям; что же до богатства воображения автора, то здесь он ни в чем не уступает настоящим восточным сказочникам; правда, частично это объясняется тем, что многие их сюжеты пересказаны Казоту неким арабским монахом по имени дом Шави.

Теория о духах стихий, столь дорогая всякому мистическому воображению, в равной степени приложима, как известно, и к восточным верованиям; бледные призраки, различимые среди северных туманов разве лишь при галлюцинациях или головокружениях, там, на Востоке, окрашиваются в яркие, блестящие тона щедрой южной волшебной природы. В «Сказке о рыцаре» — необыкновенно поэтичном произведении — Казот особенно удачно соединил романтический вымысел с теорией различения добрых и злых духов, умело обновленной каббалистами Востока. Духи Света, подчиненные Соломону, завязывают жестокую битву с приспешниками *Иблиса*; талисманы, заклинания, кольца, усеянные звездами, магические зеркала — все это волшебное и пестрое множество аксессуаров арабских фаталистов сплетается там в причудливые узоры, послушно следуя логике и порядку Востока. Герой некоторыми чертами походит на египетского посвященного из романа «Сет», пользовавшегося тогда невиданным успехом. Та часть романа, где он переходит, подвергаясь тысячам опасностей, гору Каф — вечный дворец властелина духов Соломона, — являет собою азиатскую версию испытаний Изиды; таким образом приверженность одним и тем же идеям проявляется, и не раз, в самых различных формах.

Но все сказанное вовсе не означает, что Казот занимался лишь этим видом литературы; большое количество его произведений принадлежит к обычным жанрам. Он обрел некоторую известность как баснописец и, посвящая свою книгу басен Дижонской академии, озаботился вспомнить об одном из своих предков, который во времена Маро и Ронсара внес определенный вклад в развитие французской поэзии. В те годы, когда Вольтер публиковал поэму «Женевская война», Казоту пришла забавная мысль добавить к первым шести песням неоконченной поэмы седь-

мую, в том же стиле; читатели приписали ее самому Вольтеру.

Мы еще не говорили о его песнях, носящих отпечаток особого, лишь Казоту свойственного духа. Напомним самую известную из них — «О, май, прелестный месяц май!»:

Лишь только май зажжет рассвет,
Я на порог твоих покоев
Приду и положу букет
Обворожительных левкоев
В наивной утренней красе,
В ночной сияющей росе.

И далее в том же ключе. Песенка эта, с ее наивными и одновременно манерными прикрасами добрых старых времен, напоминает изящную роспись веера.

Почему бы не вспомнить еще и очаровательное рондо «Всегда любить вас!» или вот эту веселую вилланель, несколько куплетов из которой мы приведем здесь:

Ах, не дадите прожить мне легко вы!
Тяжки, Тереза, ваши оковы.
Нет, не дадите прожить мне легко вы,
Сбросить не в силах я ваши оковы.

Затем на чулках моих дыры видны,
Что я на коленях стою без вины,
Хотя мои чувства, Тереза, прочны,
Свидания с вами, конечно, вредны.
Ах, не дадите прожить мне легко вы...

...Имеешь пять сотен — не пропадешь.
Но коли, Тереза, к вам попадешь,
В рваном кармане останется грош

И время прошедшее вспять не вернешь,
Ах, не дадите прожить мне легко вы...

...Вы — совершенство в двадцать лет!
Но, помня, Тереза, ваш дивный портрет,
Не скажет никто через двадцать лет,
Что вам, мадам, только двадцать лет, о нет!
Ах, не дадите прожить мне легко вы...

Мы уже говорили о том, что «Опера Комик» обязана Казоту сюжетом «Багдадского калифа»; его «Влюбленный дьявол» также был представлен в этом жанре под названием «Инфанта из Заморы». Вероятно, именно в связи с этим представлением один из шуринов Казота, гостивший несколько дней в Пьерри, упрекнул его в том, что он не пробует себя в театре, расхваливая оперу-буфф как блестящий, но необычайно трудный жанр. «Дайте мне ключевое слово, — отвечал Казот, — и завтра же я представлю вам либретто, к которому не придерется самый строгий критик.»

В этот момент его собеседник увидел входящего крестьянина в сабо. «Вот вам слово — *сабо!* — воскликнул он, — сочините-ка пьесу на это слово!» Казот попросил оставить его одного; некий странный господин, тем вечером гостивший у него в доме, предложил свои услуги в качестве композитора, пока Казот будет сочинять либретто. Это был Рамо, племянник великого композитора, чью причудливую жизнь Дидро описал нам в своем диалоге-шедевре — единственной современной сатире, которую можно сопоставить с сатирами Петрония.

Опера была написана в одну ночь, отправлена в Париж и вскоре исполнена на сцене Итальянской оперы; Марсолье и Дюни внесли в нее несколько поправок, после чего соблаговолили поставить на афише свои имена. Казоту досталась лишь честь чернового либреттиста, племянник

же Рамо, этот непризнанный гений, как и всегда, остался в безвестности. Именно такой музыкант и нужен был Казоту, обязанному многими экстравагантными идеями этому своему странному знакомцу.

Портрет его, сделанный Казотом в предисловии ко второй «Рамеиде» — героико-комической поэме, сочиненной в честь друга, — заслуживает внимания и с точки зрения стиля и как весьма ценное дополнение к пикантному моральному и литературному анализу Дидро.

«Это самый любезный и забавный человек из всех, кого я знаю; звали его Рамо, он приходился племянником знаменитому композитору и, бывши моим товарищем по коллежу, проникся ко мне дружбою, которая никогда и ничем не омрачилась ни с его, ни с моей стороны. Вот самая необычная личность нашего времени; природа наделила его при рождении множеством талантов и дарований, забыв, впрочем, дать ему способность преуспеть хотя бы в одной области. Его чувство юмора я могу сравнить разве что с блестящим остроумием доктора Стерна в „Сентиментальном путешествии". Но остроты Рамо были остротами не ума, а инстинкта, инстинкта столь самобытного, что их невозможно пересказать, не описав подробно привходящие обстоятельства. Собственно, то были и не остроты даже, но мимолетные, крайне меткие замечания, происходившие, как мне казалось, от глубочайшего знания человеческой натуры. Физиономия Рамо, действительно потешная, добавляла необыкновенной пикантности к его острословию, тем более неожиданному с его стороны, что он чаще всего болтал всякие глупости. Человек этот, родившийся музыкантом в той же степени, а быть может, и более, чем его дядя, так и не смог овладеть глубинами мастерства, однако же музыка буквально переполняла его, и он мгновенно и с поразительной легкостью находил благозвучный, выразительный мотив на какой-нибудь куплет, что давали ему из жалости; тре-

бовался только истинный знаток, который затем поправил и аранжировал бы эту музыку и написал партитуру. Уродство его лица казалось и ужасным, и забавным, а сам он частенько бывал надоедлив, ибо Муза редко посещала его; но уж когда ему приходила охота шутить, то он смешил до слез. Будучи неспособен к регулярным занятиям, он прожил жизнь бедняком, но эта беспросветная нужда делала ему честь в моем мнении. Он имел право на некоторое состояние, но для того, чтобы получить его, должен был отнять у отца деньги своей покойной матери, однако отказался от мысли ввергнуть в нищету того, кто дал ему жизнь, ибо отец его женился вторично и завел детей. Да и во всех прочих случаях он не раз выказывал сердечную свою доброту. Этот необыкновенный человек всю свою жизнь жаждал славы, но так и не смог ни в чем обрести ее... Умер он в доме призрения, куда семья поместила его и где он прожил четыре года, с безграничной кротостью принимая и снося свою долю и снискав любовь всех тех, что сперва были лишь его тюремщиками».

Письма Казота о музыке, большинство из которых являются ответами на письмо Жан-Жака Руссо об Опере, также можно отнести к этому короткому экскурсу в область лирики. Почти все его либретто анонимны; их всегда рассматривали как дипломатические послания времен войны в Опере. Некоторые из них подлинны, авторство других вызывает сомнение. Но мы были бы весьма удивлены, если бы в разряд последних попал «Маленький пророк из Бехмишброда» — фантазия, приписываемая Гримму, но вполне достойная таких авторов, как Казот или Гофман.

Жизнь Казота все еще протекала легко и безоблачно; вот портрет, составленный Шарлем Нодье, которому в детстве довелось видеть этого знаменитого человека:

«К крайнему своему благодушию, так и сиявшему на его красивом и веселом лице, к нежному и кроткому выраже-

нию по-юношески живых голубых глаз, к мягкой привлекательности всего облика господин Казот присоединял драгоценнейший талант лучшего в мире рассказчика историй, вместе причудливых и наивных, которые в одно и то же время казались чистейшей правдою в силу точности деталей и самой невероятной сказкою из-за чудес, коими изобиловали. Природа одарила его особым даром видеть вещи в фантастическом свете, — всем известно, насколько я был расположен упиваться волшебством подобных иллюзий. Итак, стоило мне заслышать в соседней зале мерные, тяжелые шаги, отдающиеся эхом от плит пола; стоило двери отвориться с аккуратной неспешностью, пропустив сперва старика-слугу с фонарем в руке, куда менее проворного, чем хозяин, шутливо звавший его „земляком"; стоило появиться самому Казоту в треуголке и зеленом камлотовом рединготе, обшитом узеньким галуном, с длинною тростью, украшенной золотым набалдашником, в башмаках с квадратными носами и массивными серебряными пряжками, как я со всех ног кидался к желанному гостю с изъявлениями самой необузданной радости, возраставшей еще и от его ласк».

Шарль Нодье приписывает Казоту одну из тех таинственных историй, которые тому так нравилось рассказывать в обществе, жадно внимавшем каждому его слову. Речь идет о продолжительности жизни Марион Делорм, которую, как утверждал Казот, он видел за несколько дней до ее кончины в возрасте примерно ста пятидесяти лет, если судить по документам о крещении и смерти, сохранившиеся в Безансоне. Принимая на веру эту более чем сомнительную цифру, можно заключить, что Казот видел Марион Делорм, когда ему был двадцать один год. Таким образом он мог, по его словам, поведать многие неизвестные доселе подробности смерти Генриха IV, при которой, вполне вероятно, присутствовала Марион Делорм.

Но в ту пору в свете не счесть было подобных рассказчиков — свидетелей и знатоков всяческих чудес; граф Сен-Жермен и Калиостро — вот кто будоражил умы, а у Казота, вероятно, только и было, что литературный талант да скромность честной и искренней души. Однако нам придется поверить в его знаменитое пророчество, запечатленное в мемуарах Лагарпа; в данном случае он лишь сыграл роковую роль Кассандры, и, хотя его часто упрекали в том, что он вещает, «точно пифия на треножнике», в этом предсказании он, к сожалению, не ошибся.

III

Вот что записывает Лагарп: «Мне кажется, это случилось только вчера; было, однако же, начало 1788 года. Мы сидели за столом у одного из наших собратьев по Академии, столь же богатого и знатного, сколь и остроумного. Компания собралась немалая и довольно пестрая: священники, придворные, литераторы, академики и проч. Стол, как и обычно, был превосходен. За десертом подали мальвазию и констанс, которые еще более развеселили собравшихся, сообщив им свободу поведения, не всегда отвечающую правилам приличия; все казалось дозволенным, лишь бы рассмешить соседей.

Шамфор прочел нам кое-какие из своих непристойных богохульных сказок, и светские дамы выслушали его, даже не подумав стыдливо прикрыться веером. Дальше — больше; целый поток острот низвергся на религию, вызывая восторженные аплодисменты. Один из гостей встал и, подняв стакан с вином, провозгласил: „Да, господа, я так же *уверен в том, что Бога нет,* как и в том, что Гомер был дурак!“ Казалось, он и впрямь уверен и в том, и в другом; заговорили о Гомере и о Боге; нашлись, впрочем, среди гостей такие, что отозвались хорошо об обоих.

Затем беседа сделалась серьезнее; собравшиеся рассыпались в похвалах *Вольтеру, который произвел революцию,* и порешили, что это и есть наипервейшая его заслуга: „Он задал тон своему времени, он заставил читать себя и в лакейских, и в гостиных!"

Один из гостей рассказал, покатываясь со смеху, как его парикмахер, напудривая ему букли, преважно заметил: „Видите ли, месье, хоть я всего лишь жалкий лекарь-недоучка, я — атеист не хуже иных прочих".

Отсюда последовал вывод, что революция не заставит себя ждать, — ведь совершенно необходимо, чтобы *суеверие* и *фанатизм уступили место философии*; все принялись высчитывать, когда именно грядут события и кто из собравшихся доживет до *царства разума.* Самые старшие из нас сетовали на то, что не успеют увидеть его, молодые радовались вероятности узреть сей триумф, особливо же превозносили Академию за подготовку великого труда и за то, что она стала средоточием, центром, *символом свободомыслия.*

И лишь один из гостей не принял участия во всеобщем веселии — напротив, слегка даже подтрунивал над нашим энтузиазмом: то был Казот, весьма любезный и оригинальный господин, но, к несчастию, веривший в бредни *иллюминатов.* Забегая вперед, скажу, что он вскорости прославился героическим своим поведением.

Взяв наконец слово, он заговорил в высшей степени серьезно: „Господа, будьте довольны, желание ваше исполнится, вы все увидите эту *великую, потрясающую революцию.* Вам ведь известно, что я немного пророк, — так вот, повторяю вам, ВСЕ ВЫ ЕЕ УВИДИТЕ".

Ему отвечают избитою фразою: *„Для этого не нужно быть пророком!"*

— Согласен, но, думаю, нужно все-таки немного быть им, чтобы заглянуть чуть дальше в будущее. Знаете ли вы,

что воспоследует в результате этой *революции,* которую вы ожидаете с таким нетерпением; что она принесет вам вначале и что произойдет потом — неизбежно и в самом скором времени?

— А нуте-ка, послушаем! — воскликнул Кондорсе, как всегда, недоверчиво-грубым тоном. — Интересно, что такого может предсказать философу пророк?

— Вы, *господин Кондорсе, умрете на соломе в темнице,* умрете от яда, который „счастливые" события того времени заставят вас постоянно носить при себе и который вы примете, дабы избежать секиры палача.

Присутствующие встретили эти слова ошеломленным молчанием, но, вспомнив что наш бравый Казот часто грезит наяву, расхохотались от души.

— Господин Казот, предсказание ваше куда менее забавно, нежели ваш „Влюбленный дьявол", но какой дьявол вбил вам в голову эту самую *темницу, яд* и *палача?* Что общего имеют они с *философией* и *царством разума?*

— Да как раз об этом я вам и толкую: во имя философии, человечности и свободы вам предстоит погибнуть при торжестве разума, и то будет именно царство разума, ибо оно воздвигнет ХРАМЫ РАЗУМА, — более того, во всей Франции в это время останутся одни только ХРАМЫ РАЗУМА.

— Черт возьми! — воскликнул с саркастическим смехом Шамфор. — Уж вы-то не окажетесь в числе жрецов такого храма!

— Надеюсь, что нет; однако вы сами, *господин Шамфор,* как раз и станете одним из них, и весьма достойным, ибо *вскроете себе вены* двадцатью двумя ударами бритвы, хотя умрете от этого лишь несколько месяцев спустя.

Присутствующие переглянулись и вновь рассмеялись.

— Ну а вы, *господин Вик д'Азир,* не вскроете себе вены сами, но после невыносимого приступа подагры заставите других отворить вам вены, причем для верности шесть раз

подряд за один день, и скончаетесь следующей ночью. Вы, *господин де Николаи,* умрете на эшафоте. Вы, *господин Байи,* на эшафоте...

— Ну, слава богу! — воскликнул Руше. — Кажется, господин Казот решил разом покончить со всею Академией, подвергнув ее членов пыткам и казням; благодарение Небу, я...

— Вы? Вы также умрете на эшафоте.

— Ну надо же придумать такое! — вскричали собравшиеся. — Он как будто поклялся истребить всех подряд!

— Но это не я поклялся...

— Стало быть, нас поубивают турки или татары? Но даже и они не способны...

— Вовсе нет, господа! Ведь я же сказал: вами будет править только *философия,* только *разум.* И все те, кто погубит вас, будут *философами;* они станут с утра до ночи произносить речи подобные тем, что я выслушиваю от вас уже целый час; они повторят все ваши максимы, процитируют, подобно вам, стихи Дидро и „Деву"...

Слушавшие перешептывались: «Да ведь он *безумец* (ибо Казот сохранял полнейшую серьезность, говоря все это). Неужто вы не видите, что он шутит, — всем известно, что ему нравится приправлять свои шутки мистикой».

— Верно, — согласился с ними Шамфор, — однако чудеса его что-то слишком невеселы, это юмор висельника. Но скажите, господин Казот, когда же сбудется ваше пророчество?

— *Не пройдет и шести лет, как случится все мною предсказанное.*

— Вот так диво! — сказал на сей раз я сам. — Но что же вы меня-то пропустили?

— О, вас действительно ожидает диво, и диво необыкновенное: вы станете христианином.

Громкие восклицания встретили эти слова.

— Ага! — обрадовался Шамфор. — Ну, теперь я спокоен: ежели нам суждено погибнуть, когда Лагарп обратится

в христианскую веру, мы смело можем рассчитывать на бессмертие.

— Что же до нас, женщин, — вмешалась тут госпожа герцогиня де Грамон, — то мы счастливее мужчин; революции нас вовсе не касаются. То есть, я хочу сказать, что даже если нам и случается как-нибудь принять в них участие, нас за это никогда не карают, ведь мы — слабый пол.

— *Пол ваш, уважаемые дамы, на сей раз не защитит вас;* пусть даже вы ни в чем не станете принимать участия, с вами поступят точно так же, как с мужчинами, без всякого снисхождения.

— Да что вы такое говорите, господин Казот! Уж не конец ли света вы нам пророчите?!

— Этого я не знаю; знаю лишь, что вас, госпожа герцогиня, *привезут на эшафот* вместе со многими другими дамами в тележке палача, со связанными за спиной руками.

— Ах, вот как?! Ну, в таком случае, я надеюсь, что меня хотя бы посадят в карету, задрапированную черным.

— Нет, сударыня, еще более знатные дамы, чем вы, будут доставлены к эшафоту на простой телеге и, как вам, им свяжут руки за спиной.

— Более знатные, чем я? Ах, скажите! Значит, *принцессы крови?*

— *Еще более знатные.*

Тут собравшиеся дрогнули, лицо хозяина омрачилось. Все начали находить, что шутка становится слишком опасною.

Госпожа де Грамон, стараясь разрядить обстановку, не стала просить разъяснений и лишь весело промолвила: „Вот увидите, он мне даже исповедника не оставит!“

— *Нет, сударыня, исповедника не будет ни у вас, ни у кого другого. Последний казнимый, кому выпадет такая милость, это...*

Казот запнулся и умолк. „Ну, что же вы, какому счастливому смертному выпадет такая удача?“

— Да, то будет единственная его удача; это *король Франции.*

Хозяин дома резко встал, все последовали его примеру. Подойдя к Казоту, он сказал ему весьма настойчиво: „Дорогой господин Казот, по моему разумению, ваш мрачный розыгрыш слишком затянулся; вы компрометируете и общество наше, и себя самого!“

Ничего не ответив, Казот собрался было удалиться, как вдруг госпожа де Грамон, все еще надеясь свести дело к шутке, подошла к нему со словами:

— Господин пророк, вы нагадали всем, кроме самого себя, отчего это?

Казот, опустив глаза, помолчал, затем сказал:

— Сударыня, приходилось ли вам читать об осаде Иерусалима у Иосифа Флавия?

— Ну разумеется, кто же этого не читал! Но говорите, говорите так, словно я ничего не знаю.

— Ну так вот, сударыня, один человек в течение семи дней кряду обходил крепостную стену на виду у осажденных и осаждающих, восклицая мрачным громовым голосом: *„Горе Иерусалиму! Горе мне самому!“* И в какой-то миг камень, пущенный вражескою метательной машиною, попал в него и раздавил насмерть.

С этими словами Казот откланялся и вышел».

Можно, разумеется, отнестись к этому документу скептически, особенно если вспомнить вполне разумное объяснение Шарля Нодье: по его словам, в ту эпоху нетрудно было предугадать, что надвигающаяся революция вначале обрушится на высшее общество, а затем пожрет и собственных вождей; однако приведем все же любопытнейший отрывок из поэмы об Оливье, изданной ровно за тридцать лет до 1793 года; в нем автор с весьма странным тщанием описы-

вает отрубленные головы, и это тоже можно счесть своего рода пророчеством:

«Тому уже четыре года, как оба мы были завлечены волшебством во дворец феи Багас. Сия коварная колдунья, зная о продвижении христианской армии по Азии, решила остановить ее, заманивая в ловушки рыцарей — защитников веры. Для этого она выстроила роскошный дворец. К несчастию нашему, мы вступили на дорогу, к нему ведущую, и вскоре, влекомые магической силою, которую ошибочно приняли за очарованность красотою пейзажа, подошли к колоннаде, окружающей дворец; едва лишь ступили мы на мраморные плиты, казавшиеся незыблемыми, как они словно растаяли у нас под ногами: нежданное падение, и мы очутились в подземелье, где огромное колесо с острыми, как меч, лопастями во мгновение ока рассекло тела наши на части; самое поразительное, что за этим странным расчленением не воспоследовала смерть.

Влекомые собственным весом, части наших тел попали в глубокую яму, где смешались со множеством чужих разъятых туловищ. Головы же наши покатились прочь, точно бильярдные шары. Сумасшедшее это вращение отняло последние остатки разума, затуманенного сим невероятным приключением; и я осмелилась открыть глаза лишь по прошествии некоторого времени; тут же увидела я, что голова моя помещается на чем-то вроде ступени амфитеатра, а рядом и супротив установлено до восьми сотен других голов, принадлежавших людям обоего пола, всех возрастов и сословий. Головы эти сохраняли способность видеть и говорить; самое странное было то, что все они непрестанно зевали, и я со всех сторон слышала невнятные возгласы: „Ах, какая скука, с ума можно сойти!“

Не в силах воспротивиться общему примеру, я принялась зевать, как другие.

— Ну вот и еще одна зевака явилась! — произнесла массивная женская голова, стоявшая напротив меня. — О господи, до чего же тоскливо! — И она продолжала зевать еще усерднее.

— Но, по крайней мере, эти уста еще молоды и свежи! — возразила другая голова. — А какие беленькие зубки!

Затем, обратясь уже прямо ко мне, она спросила:

— Могу ли я узнать, сударыня, имя любезной товарки по несчастью, которую послала нам фея Багас?

Я взглянула на говорившую со мной голову — она принадлежала мужчине. Я не могла различить ее черты, но выражение ее было живое и уверенное, а в голосе звучало неподдельное сострадание.

Я начала было рассказывать: „У меня есть брат...", но мне не дали окончить даже эту первую фразу.

— О господи! — воскликнула женская голова, первою заговорившая со мною. — Еще одна болтушка со своими историями; мало нам докучали всякими несносными россказнями! Лучше уж зевайте, милочка, а братца вашего оставьте в покое! Ну у кого из нас нет братьев?! Не будь у меня моих, я бы нынче преспокойно царствовала, а не торчала бы здесь!

— Боже милостивый! — сердито отвечала мужская голова. — Ишь как вы заважничали; не с вашей бы физиономией эдак заноситься!

— Какая неслыханная наглость! — воскликнула та. — Ах, будь при мне руки-ноги!..

— Да будь при мне одни только руки!.. — отозвалась ее противница. — Впрочем, — продолжала она, обращаясь ко мне, — судите сами: на что способна голова?! Все ее угрозы — лишь пустая болтовня!

— О, не кажется ли вам, что спор ваш переходит все границы приличия? — заметила я.

— Ах, нет, не мешайте нам препираться, уж лучше ссориться, чем зевать со скуки. Чем еще могут заниматься люди,

имеющие лишь глаза да уши и обреченные целый век томиться вместе; ведь мы не имеем, да и не можем завязывать новых знакомств, особливо приятных; стало быть, нам и злословить-то не о ком...

Голова еще долго продолжала бы разглагольствовать, но вдруг всех нас охватило неудержимое желание чихать; миг спустя чей-то неведомый гортанный голос приказал нам искать отрубленные части наших тел; тут же головы покатились туда, где были свалены эти последние».

Не странно ли найти в ироикомической поэме весьма молодого автора кровавое видение отрубленных голов и мертвых тел? Эта причудливая, на первый взгляд, выдумка о заточенных вместе женщинах, воинах и ремесленниках, ведущих споры и отпускающих шуточки по поводу пыток и казней, скоро воплотится в жизнь в тюрьме Консьержери, где будут томиться эти знатные господа, дамы, поэты — современники Казота; да и сам он сложит голову на плахе, стараясь, подобно другим, смеяться и шутить над фантазиями неумолимой феи-убийцы, чье имя — Революция — он тридцать лет назад еще не смог назвать.

IV

Но мы несколько предвосхитили события: едва описав две трети жизни нашего героя, вдруг приоткрыли перед читателем завесу, скрывавшую последние его дни, заглянув, по примеру самого духовидца, из настоящего в будущее.

Впрочем, в наши планы входило рассматривать Казота и как литератора, и как философа-мистика, но, хотя большинство его книг и несет отпечаток занятий каббалистикой, все же, им, как правило, не хватает догматической убежденности; видимо, Казот не принимал участия в совместных трудах иллюминатов-мартинистов, а просто соста-

вил для себя, на основе их идей, личную, особую жизненную концепцию. Однако не следует смешивать эту секту с масонскими организациями того времени, хотя их и связывало определенное внешнее сходство; мартинисты признавали падение ангелов, первородный грех, животворящее Слово Господне и ни в одном существенном пункте не отклонялись от учения церкви.

Самого знаменитого среди них — Сен-Мартена — можно отнести к числу христианских спиритуалистов в духе Мальбранша. Выше мы уже упомянули о том, что он осудил внедрение *неистовых духов* в Лионскую секту. Как бы ни трактовать это понятие, очевидно, что с тех пор деятельность общества приняла политическую окраску, оттолкнувшую от него многих членов. Быть может, влияние иллюминатов как в Германии, так и во Франции, было сильно преувеличено, но нельзя отрицать тот факт, что они оказали сильное воздействие на французскую Революцию, на ее развитие в определенном направлении. Монархические пристрастия Казота удалили его от этого направления, не дав поддержать своим талантом доктрину, чуждую его воззрениям.

Печально видеть, как этот замечательный человек, одаренный писатель и философ, в последние годы своей жизни проникся отвращением к литературному труду и предчувствием политических бурь, которые он бессилен был заклясть. Цветы его поэтического воображения поблекли и увяли; ум, доселе ясный и живой, сообщавший блестящую форму любым, самым причудливым своим измышлениям, проявлялся теперь крайне редко и лишь в переписке политического толка, которая позже и стала причиною процесса над ним, а затем и гибели. И если верно, что некоторым душам дано провидеть грядущие мрачные события, следует назвать это свойство скорее несчастьем, нежели даром небес, поскольку такие люди, подобно зло-

счастной Кассандре, бессильны убедить других и спастись сами.

Последние годы жизни Казота, проведенные в шампанском имении Пьерри, были, однако же, отмечены счастьем и спокойствием, царившими в его семье. Покинув литературный мир, куда он попадал теперь лишь во время кратковременных наездов в Париж, сторонясь бурной, почти лихорадочной деятельности всевозможных философских и мистических сект, славный Казот, отец очаровательной дочери и двух пылко преданных его убеждениям сыновей, казалось, соединил у себя в доме все необходимое для безмятежного будущего; однако люди, знавшие его в ту пору, свидетельствуют о непрестанно владевшей им тревоге, словно за этим ясным горизонтом он уже провидел мрачные тучи.

Дворянин по имени де Пла попросил у него руки его дочери Элизабет; молодые люди давно уже любили друг друга, но Казот, не запрещая влюбленным надеяться на счастье, все же медлил с окончательным ответом. Изысканная, прелестная писательница Анна-Мари сообщает нам некоторые подробности визита в Пьерри друга семьи Казота, госпожи д'Аржель. Она описывает элегантно обставленную гостиную на первом этаже, благоухающую пряными ароматами растений, привезенных с Мартиники госпожою Казот; эта замечательная в своем роде женщина сообщала своему окружению особую, причудливую изысканность. Темнокожая служанка, сидящая подле нее с работою в руках, американские птицы в клетках, множество экзотических безделушек, даже наряд и прическа хозяйки дома — все свидетельствовало о ее нежной привязанности к покинутой родине. «В молодости она была необыкновенно хороша собою и сохранила красоту поныне, хотя имела уже взрослых детей. Ее отличала небрежная, томная грация, вообще свойственная креолкам; лег-

кий акцент придавал ее тону что-то детское и в то же время ласкающее; он делал ее еще более обольстительной. Рядом с нею на подушке лежала крошечная болонка; собачку звали Бьондеттою, как малютку-спаниэля из „Влюбленного дьявола“».

Маркиза де ла Круа, вдова знатного испанского вельможи, высокая и величественная пожилая дама, считалась членом семьи и пользовалась в ней большим авторитетом, поскольку убеждениями и образом мыслей совершенно сходилась с Казотом. Уже многие годы она была одною из ревностных адепток учения Сен-Мартена, которое соединяло ее с Казотом тончайшей духовной связью, считавшейся у мартинистов предвестием будущей совместной жизни. Этот второй, мистический брак Казота, исключающий всякие нескромные предположения ввиду почтенного возраста обеих сторон, причинял госпоже Казот не столько огорчение, сколько тревогу чисто человеческого свойства, внушенную смятением, гнетущим эти две благородные души. Трое же детей, напротив, искренне разделяли мысли их отца и его старой подруги.

Мы уже высказали свое мнение по этому поводу; однако всегда ли нужно соглашаться с канонами того вульгарного здравого смысла, который ведет по жизни людей заурядных, не смущая их души темными тайнами грядущего и смерти? И отчего самые счастливые люди так упорно держатся за свою слепоту, делающую их безоружными перед нагрянувшим мрачным событием, когда остается лишь в ужасе плакать и стенать под запоздалыми, но неотвратимыми ударами рока?! Госпоже Казот пришлось страдать тяжелее всех других членов семьи, для которых жизнь была нескончаемой борьбой, где шансы на победу были весьма сомнительны, зато награда казалась обеспеченной наверняка.

В дополнение к сказанному было бы небесполезно ознакомиться с теориями Казота по нескольким нижеприве-

денным отрывкам из переписки, ставшей причиною процесса над ним; вот некоторые цитаты в пересказе все той же Анны-Мари:

«Мы все, говорил Казот, живем среди духов наших предков; невидимый мир тесно обступает нас со всех сторон... и в нем обитают наши духовные друзья, что безбоязненно приближаются к нам. У моей дочери есть ангелы-хранители; есть они и у всех нас. Каждая наша мысль, и достойная и скверная, приводит в движение определенного, соответствующего ей духа; точно так же любое движение нашего тела колеблет несомую им колонну воздуха. Все заполнено, все обитаемо в этом мире, где со времен первородного греха неведомые покровы скрывают материю... И я, в силу особой посвященности, коей нимало не искал, часто горько сетуя на сию злосчастную способность, приподнял эти покровы подобно ветру, вздымающему завесу тумана. Я вижу добро и зло, добрых и злых; по временам взору моему предстает такое неразличимое множество существ, что я не сразу могу отделить тех, кто облечен плотью, от других, кто уже сбросил грубую земную оболочку».

«Да, есть души до некоторой степени материальные, ибо они были столь крепко привержены земной своей сущности, что унесли часть ее в иной мир, ставши не полностью призрачными. Таковые долго еще сохраняют сходство с людьми...

Но — осмелюсь ли признаться вам? — бывают мгновения, когда либо по слабости зрения, либо в силу удивительного сходства я впадаю в основательное заблуждение. Нынче утром все мы сошлись на молитву, представ взору Всевышнего, как вдруг комната заполнилась живыми и умершими всех времен и народов, так что я не в силах был отличить жизнь от смерти; странное смешение, но, однако же, какое великолепное зрелище!»

Госпожа д'Аржель была свидетельницей отъезда юного Сцеволы Казота ко двору, где ему предстояло служить в королевской страже; уже близились тяжелые времена, и его отец предвидел, какой опасности подвергает сына.

Маркиза де ла Круа присоединилась к Казоту, дабы передать молодому человеку то, что оба они называли *мистическою властью;* позже мы увидим, как он отчитался им в своей миссии. Эта вдохновенная женщина осенила лоб, уста и сердце юноши тремя таинственными знаками, сопроводив их тайным заклятием; тем самым освятила она будущее того, кого называла своим *духовным сыном.*

Сцевола Казот, не менее ревностный монархист и мистик, чем его отец, попал в число тех, кому по возвращении из Варенна удалось защитить жизнь королевской семьи от ярости республиканцев. В какой-то миг бушующая толпа вырвала было дофина из рук родителей, и именно Сцевола Казот вызволил ребенка и вернул его королеве, которая со слезами на глазах благодарила юношу. Вот что он пишет отцу после этого события:

«Дорогой папа,

Итак, 14 июля миновало, и король вернулся к себе живой и невредимый. Я постарался елико возможно лучше исполнить миссию, вами на меня возложенную. Вы, вероятно, узнаете, достигла ли она полностью той цели, на которую вы уповали. В пятницу пошел я к причастию; потом, выйдя из церкви, отправился к Алтарю отчизны, где произнес на все четыре стороны света необходимые заклинания, дабы отдать Марсово поле под покровительство ангелов Господних.

Затем подошел я вплотную к карете, следя за тем, как король садится в нее; мадам Елизавета даже удостоила меня взглядом, вознесшим мысли мои к небесам; под охраною одного из товарищей я сопроводил карету внутрь ограждения. Король подозвал меня и спросил: „Казот, с вами ли я

виделся и говорил в Эпернэ?" Я отвечал: „Да, сир", — и помог ему выйти из экипажа. Удалился я лишь тогда, когда удостоверился, что все они уже в помещении.

Марсово поле было до отказа забито народом. Окажись я достоин того, чтобы веления мои и молитвы исполнились, вся эта обезумевшая свора тотчас угодила бы в тюрьму или в сумасшедший дом. На обратном пути все кричали: „Да здравствует король!" Национальные гвардейцы ликовали от всего сердца вместе с толпою; проезд короля вылился в истинный триумф. Погода стояла прекрасная — полковник наш заметил, что последний день, который Господь уступил дьяволу, он окрасил в розовый цвет.

Прощайте, молитесь все вместе, дабы помочь моим молитвам достичь цели. Не ослабим наших усилий!

Целую маму Забет (Элизабет). Почтительный поклон госпоже маркизе (Де ла Круа)».

Как бы ни разнились наши убеждения, какими бы смешными ни казались нам те слабые средства, на которых зиждились столь пылкие упования, все же преданность этой семьи способна растрогать любое сердце. Питаемые чистыми душами иллюзии, в чем бы они ни выражались, достойны уважения; да и кто осмелится с полной уверенностью утверждать, что идея о высших таинственных силах, управляющих миром и позволяющих людям действовать с их помощью, всего лишь иллюзия?! Этой идеей имеет право пренебречь философия, но никак не религия, и политические секты пользуются ею как надежным оружием. Этим-то и объясняется разрыв Казота с иллюминатами, бывшими его братьями. Известно, как охотно республиканцы пользовались идеей мистицизма в период английской революции; мартинисты держались того же принципа, но, вовлеченные в движение, направляемое философами, они тщательно скрывали религиозную сторону своей доктрины, которая в ту пору не имела никаких шансов на успех.

Хорошо известно, какую важную роль сыграли иллюминаты в революционных движениях разных стран. Их секты, организованные по принципу глубокой секретности и тесно связанные меж собою во Франции, в Германии и в Италии, обладали особым влиянием на сильных мира сего, посвященных в их истинные цели. Иосиф II и Фридрих-Вильгельм многое совершили по их наущению. Так, Фридрих-Вильгельм, проникшийся мыслью о коалиции монархов, вторгся в пределы Франции и был уже в тридцати лье от Парижа, когда иллюминаты на одном из своих тайных заседаний вызвали дух его дяди, великого императора Фридриха, который и запретил ему продвигаться дальше. Именно в результате данного запрета (который все толковали по-разному) Фридрих-Вильгельм внезапно отступил с французский территории, а позже даже заключил мирный договор с Республикой, которая, можно сказать, обязана своим спасением союзу французских и германских иллюминатов.

V

Корреспонденция Казота постепенно, шаг за шагом, знакомит читателя с его сожалениями по поводу пагубного выбора, сделанного его бывшими братьями по секте, и рассказывает об одиноких попытках борьбы с политической эрой, в которой он видел роковое царство *Антихриста,* тогда как именно иллюминаты радостно приветствовали приход невидимого *Спасителя.* Те, кого Казот считал демонами, выглядели в их глазах божественными духами-мстителями. Зная эту ситуацию, легко понять некоторые места в письмах Казота и те особые обстоятельства, что побудили позже республиканские власти вынести ему приговор именно устами иллюмината-мартиниста.

Письма, короткие отрывки из которых мы процитируем ниже, помечены 1791 годом и адресованы другу Казота, секретарю гражданского суда господину Понто.

«Ежели Господь не вдохновит кого-нибудь из людей на то, чтобы решительно и безоговорочно покончить со всем этим, нам грозят величайшие бедствия. Вы знаете систему моих убеждений: *добро и зло на земле всегда были делом рук человеческих, ибо человеку дарована эта планета вечными законами Вселенной.* Вот почему во всем свершаемом зле мы должны винить лишь самих себя. Солнце неизменно посылает на землю свои лучи, то отвесные, то наклонные; так же и Провидение обходится с нами; время от времени, когда местонахождение наше, туман либо ветер мешают нам постоянно наслаждаться теплом дневного светила, мы упрекаем его в том, что оно греет недостаточно сильно. И если какой-нибудь чудотворец не поможет нам, вряд ли можно уповать на спасение.

Мне хотелось бы, чтобы вы услышали мое толкование книги магии Калиостро. Впрочем, ежели вы попросите у меня разъяснений, я постараюсь прислать их вам, изложив в самой ясной и недвусмысленной форме».

В приведенном пассаже излагалась доктрина теософов; а вот и другой, относящийся к былым отношениям Казота с иллюминатами.

«Я получил два письма от близких знакомых из числа бывших моих собратьев-мартинистов, таких же демагогов, как Брет; известнейшие, благороднейшие люди, но, увы, демон завладел ими. Они считают, будто это я навлек на Брета болезнь, тогда как в этом виновато его безумное увлечение магнетизмом; янсенисты, как и конвульсионеры, являют собою тот же случай; к ним ко всем точно приложима фраза: *нет спасения вне церкви,* и, я бы добавил, здравого смысла также нет.

Я уже предуведомлял вас, что во Франции нас таких было всего восемь человек; мы не знали друг друга в лицо,

но непрестанно, подобно Моисею, обращали к небесам наши взоры и молитвы, прося благоприятного исхода битвы, в коей приняли участие даже стихии. Мы считаем, что грядет событие, записанное в Апокалипсисе: оно сулит великую эпоху. Но успокойтесь: я говорю не о конце света; от этого нас отделяют еще тысячи лет. И не время пока приказывать горам: *„Обрушьтесь на нас!“* — пусть это будет, в ожидании лучших времен, призывом якобинцев, ибо вот где виновным несть числа».

В этом отрывке явственно просматривается система Казота, основанная на необходимости человеческого действия для установления связи небес с землей. Так, в своих письмах он часто сетует на недостаток мужества у короля Людовика XVI, который, по его мнению, слишком полагается на Провидение и мало — на себя самого. В подобных рекомендациях чувствуется даже больше протестантской назидательности, нежели чистого католицизма.

«Нужно, чтобы король пришел на помощь национальной гвардии; чтобы он показался народу, чтобы он твердо сказал: „Я так хочу, я приказываю!“ Ему дарована власть от Бога, ему все обязаны повиноваться, нынче же на него смотрят как на мокрую курицу; демократы осмеивают его, причиняя мне этим почти физические страдания.

Пусть он сядет на коня и внезапно, в сопровождении двух-трех десятков гвардейцев, явится перед мятежниками; всё склонится перед ним, все падут ниц. Самое главное уже сделано, друг мой: король смирился и предал себя Господней воле; судите сами, какое могущество это сулит ему, когда даже Ахав, погрязший в грехах Ахав, лишь на один миг и единым деянием угодивший Богу, одержал затем победу над врагами. У Ахава было дикое сердце и развращенная душа, мой же король обладает чистейшей душою, преданной Господу, а небесная, августейшая Елизавета наделена поис-

тине божественной мудростью... Не опасайтесь ничего со стороны Лафайета, — у него, как и у его сообщников, связаны руки. Как и каббала, им исповедуемая, он обуян духами смятения и ужаса и не сможет избрать путь, ведущий к победе; *самое лучшее для него — это попасть в руки недругов стараниями тех, кому он столь безраздельно доверяет.* А мы по-прежнему станем возносить мольбы наши к Небу, по примеру того пророка, что взывал к Господу, пока сражался Израиль.

Человек должен действовать здесь, на земле, ибо она — место приложения его сил; и добро, и зло могут твориться лишь его волею. Поскольку почти все церкви ныне закрыты — либо по приказу властей, либо по невежеству, пусть дома наши станут нашими молельнями. Для нас настал решительный миг: либо Сатана продолжит царствовать на земле, как нынче, и это будет длиться до тех пор, пока не сыщется человек, восставший на него, как Давид на Голиафа; либо царство Иисуса Христа, столь благое для людей и столь уверенно предсказанное пророками, утвердится здесь навечно. Вот в какой переломный момент мы живем, друг мой; надеюсь, вы простите мой сбивчивый и неясный слог. Мы можем, за недостатком веры, любви и усердия, упустить удобный случай, но пока что у нас еще сохраняется шанс на победу. Не станем забывать, что Господь ничего не свершит без людей, ибо это они правят землею; в нашей воле установить здесь то царствие, которое Он заповедал нам. И мы не потерпим, чтобы враг, который без нашей помощи бессилен, продолжал, при нашем попустительстве, вершить зло!»

В общем, Казот почти не питает иллюзий по поводу победы своего дела; письма его изобилуют советами, которым, вероятно, полезно было бы следовать; однако видно, что и его самого одолевает отчаяние полного бессилия, заставляющее усомниться и в себе и в своей науке:

«Я доволен, что мое последнее письмо порадовало вас. *Вы не посвященный*! — поздравьте же себя с этим. Вспомните слова: „Et scientia eorum perdet eos"*. Если уж я, кому Божией милостью удалось избежать западни, подвергаюсь опасностям, то судите сами, чем рискуют люди, в нее угодившие... Знание оккультных тайн — это бурный океан, где трудно достичь берегов».

Означает ли это, что Казот забросил обряды, вызывавшие, по его мнению, духов тьмы? Неизвестно; видно только, что он надеялся победить демонов их же оружием. В одном из писем он рассказывает о некоей пророчице Бруссоль, которая, подобно знаменитой Катрин Тео, добивалась сношений с мятежными духами к пользе якобинцев; он надеется, что и ему удалось, действуя по ее примеру, добиться некоторого успеха. Среди этих прислужниц официальной пропаганды он особенно выделяет маркизу Дюрфе, «предводительницу французских Медей, чей салон ломится от эмпириков и людей, жадно ухватившихся за оккультные науки...». В частности, Казот упрекает ее в том, что она «обратила и вовлекла во зло» министра Дюшатле.

Невозможно поверить, что эти письма, захваченные в Тюильри кровавым днем 10 августа, способствовали обвинению и казни старика, тешащегося безвредными мистическими грезами, если бы некоторые фразы не наводили на мысль о вполне реальных замыслах. Фукье-Тенвиль в своем обвинительном акте привел выражения, свидетельствующие о причастности Казота к так называемому заговору «рыцарей кинжала», раскрытому 10—12 августа; в другом, еще более недвусмысленном письме указывались способы организации бегства короля, находящегося, по возвращении из Варенна, под домашним арестом; намечался даже маршрут: Казот предлагал свой дом для временного приюта королевской семьи.

* Им и знание их на погибель (*лат.*).

«Король проедет до долины Аи, там он окажется в двадцати восьми лье от Живе и в сорока — от Меца. Он, конечно, может остановиться в Аи, где для него самого, для свиты и гвардейцев сыщется не менее тридцати домов. Но я был бы рад, если бы он предпочел Пьерри, где также имеется два-три десятка домов; в одном из них стоит двадцать кроватей; у меня самого довольно места, чтобы принять на ночлег две сотни людей, поместить в конюшнях тридцать-сорок лошадей и разбить палатки в пределах крепостной стены. Но пусть кто-нибудь другой, более смышленый и менее заинтересованный, чем я, взвесит преимущества обеих возможностей и сделает верный выбор».

Почему так случилось, что политические пристрастия помешали оценить запечатленную в этом отрывке трогательную самоотверженность почти восьмидесятилетнего старика, почитающего себя *слишком заинтересованным* в том, чтобы предложить законному королю жизнь своей семьи, гостеприимство в своем доме, имение для поля битвы? Отчего подобный «заговор» не сочли одною из иллюзий, порожденных ослабевшим старческим умом?! Письмо, написанное Казотом своему тестю, господину Руаньяну, в ту пору секретарю Совета Мартиники, с призывом организовать сопротивление шести тысячам республиканцев, посланных на захват колонии, воскрешает память о доблестном мужестве, с которым он в молодости дал отпор англичанам: он перечисляет все необходимые меры обороны, пункты, требующие укрепления, провиант и боеприпасы, словом, все, что подсказывал ему былой опыт борьбы с морскими захватчиками. Вполне естественно, что подобное послание было сочтено преступным; прискорбно только, что его не сопоставили с другим документом, датированным тем же годом; документ этот ясно доказал бы, что планам несчастного старика следует придавать не больше значения, чем его снам.

«Мой сон в ночь с субботы на воскресенье
в канун праздника Святого Иоанна

1791

Уже давно находился я в непотребном доме, даже не подозревая о том, хотя крошечная собачонка, бегавшая по крыше и прыгавшая с одного черепичного ската на другой, должна была натолкнуть меня на эту догадку.

Я вхожу в помещение и вижу там юную девицу, сидящую в одиночестве; каким-то образом мне становится известно, что это родственница графа де Дампьер; она узнает и приветствует меня. Вскоре я замечаю, что она словно страдает головокружением; кажется, она нежно беседует с кем-то, находящимся прямо перед нею; я понимаю, что этот кто-то — дух; внезапно перекрестив лоб девушки, я приказываю духу явиться.

Предо мною возникает некто в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, недурной наружности; по одежде, выражению лица и повадкам это юный хлыщ; я связываю его по рукам и ногам, невзирая на крики и сопротивление. Тут появляется другая женщина, столь же одержимая; с нею я обхожусь тем же манером. Оба призрака сбрасывают одежду и дерзко насмехаются надо мною, как вдруг отворяется дверь и входит коренастый мужчина, с виду и по костюму похожий на тюремщика; он вынимает из кармана маленькие наручники, которые сами собою защелкиваются на руках моих пленников. Я препоручаю их воле Иисуса Христа. Не знаю, по какой причине выхожу я из этой комнаты, однако почти сразу же возвращаюсь назад, чтобы допросить схваченных; они сидят на скамье в какой-то нише, при виде меня оба встают, и тут шестеро неизвестных, в бедняцкой одежде, окружают и уводят их. Я выхожу следом; кто-то вроде капеллана шагает рядом со мною. „Я иду к маркизу такому-то, — сообщает

он, — это весьма достойный человек, я пользуюсь каждым свободным часом, дабы навещать его". Кажется, я принимаю решение сопровождать его, но вдруг замечаю, что на ногах у меня комнатные туфли; остановясь, ищу, куда бы поставить ногу, дабы подтянуть завязки; тут какой-то толстяк нападает на меня посреди просторного двора, полного народа. Возложив незнакомцу руку на лоб, я связываю его во имя Святой Троицы и Иисуса, под покровительство коего и отдаю моего обидчика.

„Под покровительство Иисуса Христа!" — восклицает толпа, меня окружившая. „Да, — говорю я, — и вас предам в его же руки, прежде связав". Толпа с ропотом расступается.

Подъезжает экипаж, похожий на извозчицкий; выглянувший из окошка человек окликает меня по имени: „Но, сир Казот, как же это вы толкуете об Иисусе Христе, разве можем мы быть отданы под его власть?" Тут меня посетило красноречие, и я с жаром принялся прославлять Иисуса Христа и милосердие Его к грешникам. „Сколь вы счастливы! — заключил я. — Теперь вы сможете сменить оковы". — „Оковы? — вскричал человек, запертый в экипаже, на крышу коего я тем временем взобрался. — Да неужто же нам не могли дать хоть миг передышки?!"

— Ну-ну, не ропщите! — откликнулся кто-то. — Вы и впрямь счастливы, вы получите нового господина, и какого господина!

На что тот, первый, заметил: „Я так и думал".

Повернувшись спиною к экипажу, я побрел через этот поистине гигантский двор, освещенный одними лишь звездами. Взглянув на небо, увидел я, что оно прекрасного бледно-голубого цвета и сплошь усеяно звездами; пока я мысленно сравнивал его с иными небесами, увиденными в непотребном доме, ужасная буря, внезапно налетевшая, смутила и заволокла его; ударил гром, в одно мгновение не-

босвод охватило пламенем; оконное стекло, упавшее в сотне шагов от меня, вдруг оказалось у ног моих; из него возник дух в виде птицы величиною с белого петуха, но с более длинным телом, короткими ногами и широким клювом. Я ринулся на птицу, творя крестные знамения; почуяв во мне сверхъестественную силу, дух замертво упал предо мною. Мне захотелось размозжить ему голову... Но какой-то человек, схожий с бароном де Луа, молодой и красивый, в сером, шитом серебром камзоле нежданно явился с просьбою не топтать птицу ногами. Вынув из кармана футляр, украшенный бриллиантами, а из оного — ножницы, он передал мне их, давая понять, что птице нужно отрезать голову. Не успел я взять ножницы, как меня отвлек громкий хор, — это толпа, находившаяся в непотребном доме, во весь голос нестройно завела песню с незарифмованными строчками:

Воспоем избавление наше,
О, счастливый свободный народ...

Проснувшись, я принялся молиться; встревоженный сим странным сновидением, я отнес его к числу тех, что насылает Сатана, желая исполнить меня гордынею, и потому обратился к Господу через заступницу наше Деву Марию и долго взывал к Нему, дабы узнать, какую миссию Ему угодно возложить на меня; что бы ни было, но я исполню на земле то, что обязан исполнить к вящей славе Господней и на благо всех божьих созданий».

Как бы ни отнеслись благоразумные люди к этому слишком подробному изложению смутных ночных сновидений, оставляющих впечатление бессвязного бреда, но в веренице этих странных картин все-таки чувствуется нечто пугающе таинственное. Не следует видеть в этом за-

ботливо описанном, внешне бессмысленном сне всего лишь самокопание мистика, связывающего реальные события со своими сновидениями. Ни один из множества письменных документов, вышедших из-под пера Казота в этот период, не свидетельствует даже о частичном помрачении его умственных способностей. Откровения его, неизменно носившие отпечаток монархических убеждений, направлены на одно: найти связь во всем происходящем с неясными пророчествами Апокалипсиса. Именно это школа Сведенборга и называет наукой о соответствиях. Несколько фраз из предисловия заслуживают особого внимания:

«Представляя сию достоверную картину, я хотел дать полезный урок тем тысячам индивидуумов, чье малодушие вечно побуждает их сомневаться в очевидном, ибо для того, чтобы поверить в него, им необходимо сделать значительное усилие. В круге жизни они выделяют лишь несколько более или менее кратких мгновений, уподобляясь циферблату, коему неведомо, какая пружина заставляет стрелки отсчитывать часы или отмечать расположение планет.

Кто из нас, в приступе гнетущей тоски, в отчаянии от того, что ни один из живущих или, вернее, прозябающих вокруг людей не может ответить на самые жгучие его вопросы и принести тем самым если не счастие, то покой, не обращал взора, застланного слезами, к вечному своду небес?!

И тогда огромное пространство, что разделяет сей подлунный мир и вечность, где на незыблемом своем основании покоится престол Отца небесного, исполнится для него сладостной надеждою. Эти лучистые огни на необъятном лазурном небосводе услаждают не только взор его; небесное сияние озаряет его душу, сообщает его мыслям свет гениальности. Он вступает в разговор с самим Предвечным,

и даже природа благоговейно замолкает, дабы ни единым звуком не помешать этому возвышенному общению».

Какое величественное и, главное, утешительное зрелище — Господь Бог, открывающий человеку тайны высшей, божественной мудрости, коим подчиняет Он натуры, увы, слишком часто неблагодарные, дабы вернуть их под свою отеческую власть! Ибо для истинно чувствительного человека нежная любовь составляет нечто куда более важное, нежели даже дыхание гениальности; для него радости славы или гордыни кончаются там, где начинаются горести великого множества благородных дворян, преданных королю; один из сыновей Казота сражался в рядах этих последних, второй служил в армии эмигрантов. Республиканцы повсюду искали доказательства роялистского заговора так называемых «рыцарей кинжала»; завладев бумагами королевского интенданта Лапорта, они обнаружили среди них письма Казота и Понто; тотчас же было состряпано обвинение, и Казота арестовали прямо у него в доме в Пьерри.

— Признаете ли вы эти письма? — спросил его представитель Законодательного собрания.

— Да, они писаны мною.

— Это я писала их под диктовку отца! — вскричала его дочь Элизабет, страстно желавшая разделить с отцом любую опасность.

Она была арестована вместе с ним; обоих препроводили в Париж в экипаже Казота и заключили в тюрьму при аббатстве Сен-Жермен-де-Пре. Случилось это в последние дни августа. Госпожа Казот тщетно умоляла позволить ей сопровождать мужа и дочь.

Несчастные узники этой тюрьмы тогда еще пользовались в ее стенах относительной свободой. Им разрешалось встречаться друг с другом в определенное время дня, и нередко бывшая часовня — место их собраний — напомина-

ла великосветский салон. Воодушевленные этой свободой, узники забыли об осторожности; они произносили речи, пели, выглядывали из окон; возмущенный народ обвинял «пленников 10 августа» в том, что они радуются успехам армии герцога Брауншвейгского и ждут его как своего избавителя. Осуждалась медлительность чрезвычайной комиссии, созданной под давлением Коммуны Законодательным собранием; ходили слухи о заговоре, зреющем в тюрьмах, о подготовке к бунту, связанной с приближением иностранных армий; говорили, что аристократы, вырвавшись из заточения, собираются устроить республиканцам вторую Варфоломеевскую ночь.

Известие о взятии Лонгви и преждевременные слухи о захвате Вердена окончательно распалили народ. Был провозглашен лозунг: «Отечество в опасности».

Однажды, когда узники собрались в часовне за обычной беседой, вдруг раздался крик тюремщика: «Женщины на выход!». Тройной пушечный залп и барабанная дробь, последовавшие за этой командой, вселили ужас в узников; не успели они опомниться, как женщины были выведены прочь; двое священников из числа арестованных поднялись на кафедру и объявили оставшимся об ожидавшей их участи.

В часовне воцарилось гробовое молчание; вошедшие тюремщики, а с ними десяток горожан-простолюдинов выстроили пленников вдоль стены и отобрали пятьдесят три человека.

Начиная с этого момента каждые четверть часа выкликали новые имена; этого промежутка времени импровизированному судилищу у ворот тюрьмы едва хватало на то, чтобы огласить приговор.

Некоторые были помилованы; среди них оказался почтенный аббат Сикор; остальных убили прямо в дверях часовни фанатики, добровольно взявшие на себя эту страшную работу. К полуночи выкрикнули имя Жака Казота.

Старик хладнокровно предстал перед неумолимым трибуналом, заседавшим в небольшой приемной аббатства; председательствовал грозный Майяр. В этот момент опьяненные кровью убийцы потребовали судить и женщин, заставив их по очереди выходить из камер, однако члены трибунала отклонили это предложение. Майяр приказал надзирателю Лавакри увести их обратно и, перелистав список арестованных, громко вызвал Казота. Услышав имя отца, Элизабет, как раз выходившая вместе с другими женщинами, опрометью бросилась назад и пробилась сквозь толпу в тот миг, когда Майяр произнес роковые слова: «К производству!», что означало «казнить».

Отворилась наружная дверь; двор, где совершались казни, окруженный высокой монастырской стеной, был полон народу; слышались стоны умирающих. Бесстрашная Элизабет кинулась к двум убийцам, уже схватившим ее отца, — говорят, их звали Мишель и Соваж, — и стала умолять их пощадить старика.

Ее неожиданное появление, трогательные мольбы, преклонный возраст узника, чье политическое преступление трудно было сформулировать и доказать, жалость, внушаемая благородным видом двух несчастных и горячей дочерней любовью, смутили часть толпы, пробудив в ней сострадание. Раздались крики о помиловании. Майяр заколебался. Мишель налил стакан вина и протянул его Элизабет со словами: «Послушайте, гражданка, коли вы хотите доказать гражданину Майяру, что вы не из аристократов, выпейте это за спасение Отечества и победу Республики!»

Смелая девушка без колебаний осушила стакан; марсельцы расступились перед нею; рукоплещущая толпа пропустила отца и дочь, и их тотчас же увезли домой.

Многие пытались найти в вышеописанном сне Казота связь со сценой его счастливого избавления от смерти по

воле растроганной толпы; увы, попытка эта напрасна: упорное предчувствие говорило Казоту, что даже благородная преданность дочери бессильна спасти его от неумолимой судьбы.

На следующий день после того, как народ с триумфом сопроводил Казота до дома, к нему явились с поздравлениями друзья. Один из них, господин де Сен-Шарло, бросился к Казоту со словами: «Слава Богу, вы спасены!»

— О, ненадолго! — отвечал Казот с грустной улыбкой. — За миг до вашего прихода мне было видение: за мною приехал жандарм от Петьона и приказал следовать за ним; далее предстал я перед мэром Парижа, который велел посадить меня в Консьержери, а оттуда привели меня в революционный трибунал. Вот так и настал мой час.

Господин де Сен-Шарло расстался с Казотом в полном убеждении, что рассудок старика помутился от перенесенных ужасных испытаний. Адвокат по имени Жюльен предложил Казоту убежище в своем доме, обещая укрыть от преследований, но тот твердо положил не перечить судьбе. И действительно: 11 сентября явился человек из его видения; то был жандарм, вручивший ему приказ, подписанный Петьоном, Пари и Сержаном. Его увезли в мэрию, а оттуда в Консьержери; свидания с друзьями были запрещены. Тем не менее Элизабет умолила тюремщиков позволить ей ухаживать за отцом и прожила в тюрьме до последнего дня его жизни. Однако все ее ходатайства перед судьями не возымели того успеха, что в первый раз перед народом, и после двадцатисемичасового допроса Казот был приговорен, на основании обвинения Фукье-Тенвиля, к смертной казни.

Перед оглашением приговора Элизабет заключили в камеру, боясь, что ее мольбы растрогают присутствующих; адвокат обвиняемого взывал к милосердию судей, напоминая, что несчастную жертву помиловал сам народ; трибу-

нал остался глух в его речам и твердо держался принятого решения.

Самым странным эпизодом этого процесса можно назвать речь председателя трибунала Лаво — тоже, как и Казот, бывшего члена общества иллюминатов.

«Бессильная игрушка старости! — возгласил он. — Твое сердце не смогло оценить все величие нашей святой свободы, но твердость суждений на этом процессе доказала твою способность пожертвовать самою жизнью во имя своих убеждений; выслушай же последние слова твоих судей, и да прольют они в твою душу драгоценный бальзам утешения, и да исполнят они тебя готовностью сострадать тем, кто приговорил тебя к смерти, и да сообщат они тебе тот стоицизм, что поможет тебе в твой последний час, и то уважение к закону, которое мы сами питаем к нему!.. Тебя выслушали равные тебе, ты осужден равными тебе, но зато суд их был чист, как их совесть, и никакая мелкая личная корысть не повлияла на их решение. Итак, собери все свои силы, призови все свое мужество и без страха взгляни в лицо смерти; думай о том, что она не имеет права застать тебя врасплох: не такому человеку, как ты, убояться единого мгновения. Но перед тем, как расстаться с жизнью, оцени все величие Франции, в лоно которой ты безбоязненно и громогласно призывал врага; убедись, что отчизна бывшая прежде и твоею, противостоит подлым недругам с истинным мужеством, а не с малодушием, каковое ты приписывал ей. Если бы закон мог предвидеть, что ему придется осуждать виновных, подобных тебе, он из почтения к твоим преклонным летам не подверг бы тебя никакому наказанию; но не сетуй на него: закон строг до тех лишь пор, пока преследует, когда же настает миг приговора, меч тотчас выпадает из рук его, и он горько оплакивает потерю даже тех, кто пытался растоптать его. Взгляни, как он оплакивает седины того, кто заставил уважать

себя вплоть до самого вынесения приговора, и пусть зрелище это побудит тебя простить ему все, и пусть он сподвигнет тебя, злосчастный старец, на искреннее раскаяние, коим искупишь ты в это краткое мгновение, отделяющее тебя от смерти, все до единого гнусные деяния твоего заговора!

И еще одно слово: ты был мужчиною, христианином, философом, *посвященным,* так сумей же умереть как мужчина и как истый христианин — это все, чего твоя страна еще ждет от тебя!»

Речь эта, с ее странной, таинственной подоплекой, поразившей страхом всех собравшихся, не произвела, однако, никакого впечатления на самого Казота; пока председатель взывал к его совести, он поднял глаза к небу и жестом подтвердил незыблемость своих убеждений. Затем он сказал окружающим, что «знает, что заслуживает смерти и что закон суров, но справедлив». Когда ему обрезали волосы, он посоветовал состричь их как можно короче и попросил своего духовника передать их дочери, все еще запертой в одной из тюремных камер.

Перед тем как пойти на казнь, он написал несколько слов жене и детям; поднявшись на эшафот, громко вскричал: «Я умираю, как и жил, верным Господу и моему королю»*. Казнь состоялась 25 сентября, в семь часов вечера, на площади Карусель.

Элизабет Казот, давно уже помолвленная с шевалье де Пла, офицером полка, стоявшего в Пуату, восемь лет спустя вышла замуж за этого молодого человека, перешедшего на сторону партии эмиграции. Судьба не пощадила героическую женщину и в замужестве: она погибла в результате ке-

* Г-н Сцевола Казот прислал нам письмо, в котором протестует против этой фразы, являющейся, по его мнению, дешевым вымыслом. Он утверждает, что отец не мог произнести подобных слов.

сарева сечения. Перед тем как произвести на свет ребенка, она приказала врачам разрезать себя на куски, чтобы спасти его. Младенец пережил ее лишь на несколько минут.

Другие члены семьи Казота остались в живых. Его сын Сцевола, каким-то чудом избежавший кровавой резни 10 августа, живет в Париже и благоговейно хранит память о верованиях и добродетелях своего отца.

КАЛИОСТРО

I

О РЕВОЛЮЦИОННОМ МИСТИЦИЗМЕ

Католицизм окончательно восторжествовал над язычеством по всей Европе и построил феодальное общество, просуществовавшее до XV века, иными словами, в течение тысячи лет, но он оказался бессилен подавить и полностью уничтожить дух былых народных верований и философские идеи, которые изменили суть язычества в эпоху политической реакции при императоре Юлиане.

Мало было низвергнуть последнее прибежище греческой философии и древних религий, разрушив Александрийский *Серапейон,* рассеяв и преследуя неоплатоников, которые заменили внешний культ богов духовной доктриной, выведенной из Элевсинских мистерий и египетских инициаций; церковь вдобавок стремилась распространить свою мощь на всю без исключения территорию Европы, на все ее уголки, еще зараженные античными суевериями; то была трудная победа, и ей в большой мере способствовали время и забвение.

Взяв в качестве примера одну лишь Францию, можно убедиться, что языческие культы довольно долго сопротивлялись новой религии, официально принятой королями династии Меровингов. Почитание простыми людьми заповедных святилищ, развалин храмов и даже обломков поверженных статуй заставило католических священников возвести большинство церквей именно на месте разоренных капищ. Всюду, где они пренебрегли этой хитростью,

особенно в отдаленных уголках страны, языческий культ продолжали исповедовать как и прежде; пример тому — гора Сен-Бернар, где еще в прошлом веке поклонялись богу *Жу* на месте бывшего храма *Юпитера.* И хотя старинная богиня парижан, Исида, была заменена новой покровительницей, Женевьевой, изображение Исиды, по недосмотру католиков сохранившееся в нише церкви Сен-Жермен-де-Пре, вплоть до XI века набожно почиталось женами рыбаков, что и заставило архиепископа Парижского приказать разбить его вдребезги и выбросить в Сену. Статую той же богини можно было еще несколько лет назад увидеть в Канпильи, в Бретани, где ей поклонялось местное население. В некоторых районах Эльзаса и Франш-Конте сохранился культ *Матерей;* барельефы, их изображающие, украшают многие архитектурные памятники; это не кто иной, как *великие богини* Кибела, Церера и Веста.

Сложно описывать различные суеверия, при том что они с каждым новым веком воплощались во множество новых форм. В XVIII веке нашлись священники — такие, как аббат де Виллар, отец Бужан, дом Пернетти и другие, — которые утверждали, что античные боги не были демонами, вопреки заключению слишком строгих казуистов-католиков, и что они не принадлежали к аду. Этих богов они зачисляли в разряд *духов стихии,* которые не принимали участия в великой битве ангелов с демонами и потому не могли быть прокляты или уничтожены божественным велением; им оставлялась некоторая власть над стихиями и людьми, в ожидании второго пришествия Христа. В доказательство аббат де Виллар приводил чудеса, в самой Библии признанные как свершения аммонейских, филистимлянских и других богов в пользу их народов, а также нередко сбывавшиеся предсказания *духов Тифона.* Сюда же он относил пророчества Сивилл, благоприятные для Христа, и последние пророчества Дельфийского оракула, которые цитировались отцами церкви в качестве до-

казательств Божественной миссии Сына человеческого на земле.

Согласно их системе, католицизм должен был отвести всей античной иерархии языческих божеств скромную роль прислужников религии, коим доверялись второстепенные, низшего порядка чудеса, свершающиеся в материи и в пространстве; все эти божества были, так сказать, «понижены в звании» и назывались теперь духами или гениями четырех стихий, а именно: сильфами, обитающими в воздухе, саламандрами — в огне, ундинами — в воде и гномами — под землей.

Именно по поводу этой частности между аббатом де Вилларом и отцом-иезуитом Бужаном и возник ожесточенный спор, который надолго занял внимание просвещенных людей прошлого века. Бужан категорически отвергал преображение античных богов в духов стихий; он утверждал, что, не будучи уничтоженными, они должны, в качестве чистых духов, превращаться в души животных из поколения в поколение. Согласно его системе, полезных и безобидных животных одушевляли боги, нечистых же и кровожадных — демоны. Подобные доводы уже могли быть высказаны в середине XVIII века, не рискуя попасть в число еретических.

Ясно, что в данном случае речь шла только о божествах низшего порядка, таких, как фавны, зефиры, нереиды, ореады, сатиры, циклопы и проч. Что же до богов и полубогов, то считалось, что они покинули землю как место, ставшее слишком опасным после установления абсолютного владычества Христа, и переселились на далекие светила, которые во все времена посвящались им; так в средневековье ссылали какого-нибудь мятежного принца либо в другой город, либо в отдаленное селение, предварительно заставив принести клятву на верность царствующему монарху.

Эта доктрина пользовалась в средние века особым успехом среди самых известных каббалистов, астрологов, алхимиков и врачей той эпохи. Ею и объясняется большинство заклинаний, основанных на взывании к звездам, гороскопов,

талисманов и лечебных приемов, то есть либо освященных целебных составов, либо хирургических вмешательств, применяемых в соответствии с вращением и расположением планет. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно открыть любую книгу по оккультным наукам.

II

ПРЕДВЕСТНИКИ

Если тщательно проанализировать вышеизложенную доктрину, то можно понять причины, по которым наряду с ортодоксальной церковью развилась полурелигиозная, полуфилософская школа, несомненно богатая еретическими концепциями, но часто принимаемая или хотя бы терпимая католическим духовенством; она-то и способствовала поддержанию определенного духа мистицизма или сверхнатурализма, свойственного мечтательному и тонкому воображению некоторых народов, более, чем другие, подверженных восприятию духовных идей.

Обращенные иудеи первыми попытались в XI веке привнести в католицизм отдельные положения, основанные на интерпретации Библии и восходящие к учению ессеев и гностиков.

Именно с этого времени слово *каббала* стало часто звучать в теологических диспутах. В них естественно просачиваются намеки на Платоновы формулы Александрийской школы, многие из которых и без того закрепились в доктринах отцов церкви.

Продолжительные контакты христиан с населением Востока в эпоху крестовых походов способствовали восприятию ими еще большего количества подобных идей, которые без труда находили благоприятную почву в местных традициях и суевериях европейских народов.

Тамплиеры первыми среди крестоносцев попытались установить всесторонние связи между восточными верованиями и догматами римского христианства.

Стремясь укрепить союз своего ордена с покоренными сирийскими племенами, тамплиеры разработали нечто вроде нового учения, включающего в себя все местные религии, исповедуемые левантинцами, но созданного на основе католицизма; впрочем, находясь во враждебной стране, им нередко приходилось идти на компромиссы, приспосабливаясь и изменяя христианские догматы в угоду обстоятельствам.

Это учение и послужило отправной точкой для франкмасонства, тесно связанного по своим обрядам с различными мусульманскими сектами, которые существуют и по сей день, особенно в Хоране, Ливане и Курдистане.

Самой необычной и жестокой среди них оказалась секта, именуемая орденом *ассасинов*. Друзы и ансариты доныне исповедуют отдельные его заповеди.

Вскоре тамплиеров обвинили в основании одной из самых ужасных ересей, какие когда-либо угрожали христианству. Преследуемые и наконец уничтоженные во всех европейских странах объединенными усилиями папства и монархов, они теперь представляли интерес лишь для утонченных интеллектуалов, которые и сплотились против феодальных притеснений в то, что нынче назвали бы *оппозицией*.

Из их развеянного в прах наследия родилось мистическое философское направление, оказавшее огромное влияние на ту первую морально-религиозную революцию, которая на севере страны получила название *реформы*, а у южан — *философии*.

И если Реформа была, в целом, спасением христианства как религии, то философия, напротив, постепенно стала ее врагом и, развиваясь особенно активно среди народов, сохранивших верность католичеству, очень скоро разделила общество на две непримиримые категории — верующих и неверующих.

Есть, однако, множество умов, которые не удовлетворяются чистым материализмом; не отказываясь от религиозной традиции, они любят тем не менее свободно интерпретировать ее. Вот они-то и объединились в первые масонские группы, которые вскоре переросли в сообщества и в то, что еще сегодня именуется *союзами подмастерьев.*

Самые избранные общества масонство образовало в Шотландии; благодаря связям Франции с этой страной со времен Марии Стюарт до эпохи Людовика XIV у нас прочно внедрились мистические институты масонов, ведущих свое происхождение от *розенкрейцеров.*

В этот же период, начиная с XVI века, в Италии появилось множество дерзких мыслителей, в числе которых можно назвать Марсилио Фичино, Пико делла Мирандолу, Мерсиуса, Николая Кузанского, Джордано Бруно, пользовавшихся покровительством или, по крайней мере, снисходительностью герцогов Медичи; их иногда называют *флорентийскими неоплатониками.*

Взятие Константинополя, за которым последовало изгнание знаменитейших ученых, нашедших убежище в Италии, также оказало огромное влияние на философское движение, пропагандирующее идеи Александрийской школы, и заставило вновь обратиться к теориям Плотина, Прокла, Порфирия, Птолемея — первых противников нарождающегося католицизма.

Здесь следует заметить, что большинство просвещенных медиков и натуралистов средневековья, таких, как Парацельс, Альберт Великий, Джероламо Кардано, Роджер Бэкон и другие, в большей или меньшей степени были привержены этим доктринам, по-новому трактовавшим то, что называлось тогда оккультными науками, иначе говоря, каббалу, хиромантию, алхимию, физиогномику и проч.

Именно из этих разнообразных элементов, а также частично из гебраистики, которая получила более широкое распространение начиная с эпохи Ренессанса, и сфор-

мировались многочисленные мистические школы, чей расцвет приходится на конец XVII века. Начало им положили розенкрейцеры; аббат де Виллар стал адептом общества масонов и нескромно выдал их тайны, за что, как утверждают, и был убит.

Затем появились *конвульсионеры* и некоторые янсенистские секты, а к 1770 году — *мартинисты,* последователи *Сведенборга,* и, наконец, иллюминаты, чья школа была основана в Германии Вайсхауптом; учение иллюминатов быстро распространилось по всей Франции и слилось с масонством.

III

СЕН-ЖЕРМЕН. — КАЛИОСТРО

Эти два человека были самыми знаменитыми каббалистами конца XVIII века. Первый из них появился при дворе Людовика XV и пользовался там немалым влиянием благодаря покровительству госпожи де Помпадур; по свидетельству мемуаристов, он не отличался ни опрометчивостью, свойственной шарлатанам, ни красноречием, необходимым фанатикам, ни даром обольщения, увлекающим разных невежд. Занимался он главным образом алхимией, но не пренебрегал и прочими науками. Он показал Людовику XV в магическом зеркале судьбу его детей, и король в ужасе отшатнулся, узрев обезглавленного дофина.

Сен-Жермен встретился с Калиостро в Германии, в Гольштейне, и, как рассказывают, посвятил его в мистические степени. Во время посвящения тот и заметил пресловутое зеркало, служащее для вызывания душ умерших.

Граф Сен-Жермен утверждал, будто хранит воспоминания о множестве предыдущих своих жизней, и рассказывал самые невероятные приключения чуть ли не от сотво-

рения мира. Однажды стали расспрашивать его слугу по поводу одного из таких приключений, поведанного графом за столом, в большой компании, и относящегося к эпохе Юлия Цезаря. Вот что тот ответил любопытным:

— Благоволите извинить меня, господа, но я состою на службе у господина графа всего только триста лет.

Граф устраивал сеансы магии и излагал свои теории в доме по улице Платриер в Париже, а также в Эрменонвиле.

Калиостро, после посвящения графом Сен-Жерменом, отправился в Санкт-Петербург, где имел огромный успех. Позже он посетил Страсбург и там, как говорили, взял большую власть над архиепископом принцем де Роганом.

Всем хорошо известна история с ожерельем королевы, в которую оказался замешан знаменитый каббалист; впрочем, он сумел выйти из этого дела не только без ущерба для себя, но и к вящей своей пользе, и народ Парижа с триумфом доставил его из тюрьмы домой.

Жена Калиостро была очень красива и необычайно умна; она сопровождала его во всех странствиях. Она сидела во главе стола на знаменитом ужине, где присутствовали известнейшие философы конца века, для которых граф вызвал с того света многих недавно умерших людей: согласно его системе, *мертвых не бывает.* На столе стояло двенадцать приборов, хотя приглашенных было всего шестеро; д'Аламбер, Дидро, Вольтер, герцог де Шуазель, аббат де Вуазенон и еще кто-то один, будучи к тому времени уже покойниками, явились, сели за стол на отведенные им места и беседовали с живыми de omni re scibili et quibusdam aliis*.

К этому времени Калиостро основал и широко известную *Египетскую ложу*, предоставив своей жене устроить для представительниц женского пола другую такую же, состоящую под покровительством Исиды.

* О всех вещах, доступных познанию, и о некоторых других (*лат.*).

IV

ГОСПОЖА КАЛИОСТРО

Женщины, вообще крайне ко всему любопытные, не будучи допущены к мужским тайнам, постоянно осаждали госпожу Калиостро просьбами посвятить их. Она же весьма хладнокровно отвечала герцогине де Т..., приступившей к ней с таким требованием, что проведет свой сеанс магии лишь тогда, когда наберется тридцать шесть кандидаток; в тот же день список был составлен.

Предварительные условия были таковы: 1) каждая дама должна внести в общую кассу сто луидоров. Поскольку парижанки вечно сидят без гроша в кармане, условие это показалось сперва трудновыполнимым, но Мон-де-Пьете да несколько галантных свиданий на стороне доставили требуемые суммы; 2) начиная с указанного момента в течение девяти дней женщины должны воздерживаться от плотских связей с кем бы то ни было; 3) они обязаны поклясться исполнять все, что им прикажут, даже если приказы эти покажутся им противу всякого приличия.

Седьмого числа месяца августа настал желанный день. Событие состоялось в просторном особняке на улице Верт-Сент-Оноре. Дамы собрались там к одиннадцати часам вечера. Войдя в первую залу, каждая из них должна была скинуть юбки, лиф, корсет, парик и облачиться в белый хитон с цветным поясом. Шесть поясов были черные, шесть — синие, шесть — пунцовые, шесть — фиолетовые, шесть — розовые и шесть — цвета «невозможности». Вдобавок следовало накинуть на голову длинную прозрачную вуаль, завязав концы крест накрест, слева направо.

Когда все были готовы, их по двое ввели в освещенный храм, где стояли тридцать шесть кресел, затянутых черным атласом. Госпожа Калиостро, одетая в белое, сидела на чем-то напоминающем трон, по бокам которого находились две

высокие фигуры в таком облачении, что невозможно было определить, призраки ли это, мужчины или женщины. Свет, озарявший залу, постепенно угасал; когда с трудом уже различались контуры предметов, верховная жрица приказала дамам обнажить левую ногу до колена. После этого она повелела им поднять правую руку и опереться ею о соседнюю колонну. Тут две женщины внесли меч; подойдя к госпоже Калиостро, они приняли от нее шелковые путы и связали ими всех тридцать шесть дам по рукам и ногам.

Когда и с этой церемонией было покончено, госпожа Калиостро произнесла следующую речь:

«Положение, в коем вы оказались, есть символ того, какое занимаете вы в обществе. Если мужчины не допускают вас к своим тайнам, к своим планам, следовательно, они желают держать вас в вечной зависимости. Во всех частях света женщина — первая раба мужчина, от сераля, где восточный деспот содержит по пяти сотен наложниц, до тех суровых и диких краев, где жена не смеет даже сесть в присутствии мужа-охотника!.. Увы, с самого детства мы — беззащитные жертвы, отданные на заклание этим жестоким богам. Разорвем же постыдные узы, объединимся в наших действиях, и вскоре вы увидите, как эти обуянные гордынею тираны станут ползать у ног ваших, вымаливая самые ничтожные милости. Пускай их ведут свои смертоносные войны или разбираются в бессмысленных законах; мы же возьмем на себя право управлять общественным мнением, способствовать очищению нравов, насаждать духовность, воспитывать учтивость в людях, уменьшать число несчастий в мире. Заботы такого рода куда драгоценнее, нежели ведение хозяйства, ссоры да сплетни. Ежели какая-нибудь из вас желает возразить мне, пусть выскажется без всякого стеснения!»

Всеобщий одобрительный гул был ответом на эту речь.

Тогда верховная жрица приказала снять путы с дам и продолжала в следующих словах:

«Без сомнения, душа ваша, полная огня, пылко приветствует сей план обретения свободы — наипервейшего достояния всякого живого существа; но вам предстоит еще не одно испытание, долженствующее научить вас, до какой степени можете вы полагаться на самих себя; испытания эти, когда вы их преодолеете, позволят мне посвятить вас в тайны, от коих будет зависеть отныне вся ваша жизнь.

Сейчас вы разделитесь на шесть групп, по цветам поясов, каждая группа войдет в предназначенный ей покой рядом с этим храмом. Та из вас, кто дрогнет, никогда более не войдет туда; лавры победы достанутся другим, более стойким, что сумеют совладать со своею натурою».

Итак, каждая группа вошла в скромно убранный зал, куда тотчас подоспело множество кавалеров. Одни из них разразились упреками, вопрошая своих дам, как это порядочные женщины могли поверить коварным речам какой-то авантюристки; особенно напирали они на опасность публичной огласки... Другие горько сетовали на то, что их подруги пожертвовали любовью и дружбою ради старозаветных и нелепых обрядов, не приносящих ни пользы, ни удовольствия.

Но женщины почти не вслушивались в унылые эти иеремиады. Они видели в соседнем помещении множество развешанных по стенам картин, принадлежащих кисти великих мастеров; на них были изображены Геракл за прялкою у ног Омфалы, Ринальдо, простертый у ног Армиды, Марк Антоний, прислуживающий Клеопатре, прекрасная Агнес, царившая при дворе Карла VII, Екатерина II, с триумфом несомая мужчинами на захваченных вражеских знаменах. Один из кавалеров сказал: «Это ли, по-вашему, пол, что держит вас в рабстве? Для кого же тогда созданы все услады и все внимание общества? Неужто, избавляя вас от забот и тревог, мы тем самым хотим навредить вам? И разве не нравится нам наряжать и украшать вас, точно

идолов? Разве следуем мы жестоким нравам азиатов? Разве ревнивое покрывало скрывает ваши прелести? Разве ставим мы на охрану ваших будуаров мерзких евнухов? О нет, напротив: как часто с лукавой робостию исчезаем мы прочь с ваших глаз, дабы оставить вашему кокетству поле битвы!»

Речь эту держал любезный и скромный, приятный с виду кавалер. Но одна из дам возразила ему в ответ:

— Все красноречие ваше не разрушит, однако, унижающие нас решетки монастырей, не изгонит дуэний, коих вы нам навязываете, не покончит с беспомощностью собственных наших писаний, с вашими покровительственными замашками и приказами под видом советов.

Невдалеке, в соседнем помещении, разыгралась сцена еще более трогательная. Дамы в сиреневых поясах оказались там в обществе постоянных своих воздыхателей. Сперва женщины решили навсегда изгнать их. В комнате этой имелись три двери, выходившие в сад, озаренный нежным лунным светом. Дамы пригласили мужчин выйти туда, сочтя, что обязаны даровать опечаленным любовникам сию последнюю милость. Одна из них — назовем ее Леонорою — с трудом скрывала душевное смятение, следуя за графом Гедеоном, доселе нежно любимым ею.

— Пощадите! — молил он. — Благоволите хотя бы назвать, в чем я провинился перед вами? Разве был я жесток или коварен? Разве обидел чем-нибудь за последние два дня? Разве не посвятил вам все свои чувства, мысли, кровь, самую жизнь? Что же за безжалостный фанатизм похитил у меня сердце, коего завоевание стоило мне стольких мук?

— О, это не вас я ненавижу, — отвечала дама, — но ваш пол, ваши жестокие, тиранические законы!

— Увы, среди представителей этого пола, ныне проклинаемого, вы пока что знали одного лишь меня. Так в чем же заключается мой деспотизм? Когда и чем имел я несчастье огорчить ту, что столь пылко люблю?

Вместо ответа Леонора только вздыхала, не имея сил обвинять того, кого любила больше жизни. Граф захотел взять ее руку.

— Если вы любите меня, — воскликнула она, — берегитесь осквернить мою руку нечестивым поцелуем! Ибо в этом случае, боюсь, я уже не смогу с вами расстаться. Но коли вы хотите, чтобы я поверила в вашу преданность, докажите мне ее, не видясь со мною девять дней; обещаю, что жертва ваша не останется напрасною для моего сердца.

Гедеон покорно удалился; не желая подозревать ее в неверности и не осмеливаясь сетовать на свое несчастье, он мог лишь горестно размышлять о причинах, его вызвавших.

Слишком долго пришлось бы нам повествовать обо всем, что произошло в эти два часа испытаний. Но достоверно одно: ни уговоры, ни горькие упреки и насмешки, ни слезы и отчаяние, ни обещания и посулы, словом, ничто из богатого арсенала соблазнов любви не смогло растрогать и поколебать дам, чье любопытство и тайная надежда возвыситься над мужчинами от века является мощной побудительной силою у женского пола. Все они вернулись в храм такими, какими приказывала им быть верховная жрица.

Пробило уже три часа ночи. Каждая из дам заняла свое прежнее место. Слуги разнесли множество сладких ликеров, дабы они смогли подкрепиться. Затем последовал приказ снять с головы покрывало и закрыть им лицо. После четверти часа тишины раскрылся купол над храмом, и оттуда на огромном золотом шаре спустился некто, закутанный в просторный, со множеством складок плащ, какие облекают духов стихий; в руке держал он змею; сверкающий нимб окружал его голову.

— Это гений истины, — объявила верховная жрица, — я хочу, чтобы он поведал вам тайну, столь долго скрываемые от вашего пола. Сейчас вы услышите ее из уст знамени-

тейшего, бессмертного, божественного Калиостро, рожденного из лона Авраамова непорочным путем, хранителя всего, что было, есть и будет на земле.

— Дщери земли! — вскричал тот. — Если бы мужчины не держали вас в заблуждении, вы давно бы уже объединились в невидимый союз, и ваша кротость, ваши уступчивость и всепрощение заставили бы склониться перед вами мужчин, коими надобно повелевать, дабы заслужить их уважение. Вам неведомы ни пороки, смущающие разум, ни ненависть, из-за которой льется кровь по всему королевству. Природа одарила женщину всеми достоинствами, но мужчины из ревности оскверняют это ее творение в надежде скрыть его от чужих восхищенных взоров. И ежели вы оттолкнули бы от себя сей лживый, коварный пол и стали искать истинной любви и дружбы у вашего собственного, вам никогда не пришлось бы краснеть из-за постыдного соперничества, из-за низменной ревности. Обратите взоры на своих подруг, научитесь ценить их и себя, откройте сердца ваши для чистой, ничем не омраченной нежности, и пусть поцелуй истинной дружбы скрепит то, чем живут сердца ваши!

Оратор умолк. Все женщины обнялись, и в тот же миг свет сменился тьмою, дух истины вознесся под купол и исчез. Верховная жрица быстро обошла всех женщин, здесь наставляя, там советуя и повсюду воспламеняя воображение. Одна лишь Леонора продолжала лить горестные слезы. «Я угадываю причину вашей печали, — шепнула ей жрица, — но не довольно ли с вас воспоминания о том, что вы любили?!»

Затем по ее приказу вновь зазвучала светская музыка. Мало-помалу в зале становилось все светлее; прошло несколько минут, и в тишине раздался шум — казалось, рушится пол. Он и в самом деле опустился куда-то, а на его месте возник роскошно накрытый стол. Дамы уселись за него. Тут вошли тридцать шесть духов истины, облаченных в белый

атлас; лица их были скрыты масками. Но по проворству и изяществу, с коими служили они дамам, можно было заключить, что эти воздушные создания во всем превосходят грубые человеческие существа. В самом разгаре пиршества верховная жрица знаком повелела им снять маски, и тут дамы признали в них своих возлюбленных. Некоторые женщины, верные данной клятве, собрались было встать и удалиться. Но жрица посоветовала им умерить свой пыл, заметив, что время трапезы посвящено радостям и удовольствиям. Дамы спросили у своих кавалеров, каким чудом собрались они здесь все вместе. Те отвечали, что и их посвятили в некоторые тайны, и они явились сюда в одеждах духов, желая доказать, что основою всего является равенство; что не столь уж это необычно — видеть тридцать шесть дам в компании тридцати шести возлюбленных и, наконец, что главною целью великого Калиостро было исправление тех зол, в коих повинно общество, тогда как природа всех сотворила равными.

Кавалеры также уселись за стол. Двадцать раз, не меньше, пенистый фонтан искристого вина из Сийери ударял в потолок; веселье удвоилось, зазвучали эпиграммы, потоком хлынули остроты, речи становились все вольнее, опьянение счастьем заблистало во всех взорах, и вот уже дозволены невинные ласки и виден легкий беспорядок в туалетах; начинаются танцы, в коих партнеры позволяют себе даже вальсировать, ибо крепкий пунш заставил их пренебречь чинным контрадансом; Амур, половину ночи бывший в изгнании, ликующе размахивает факелом любви, и дамы, начисто забыв о недавних клятвах, о гении истины, о провинностях мужского пола, в восторге отрекаются от своего заблуждения.

Однако все трусливо прячут глаза от верховной жрицы, которая с улыбкою наблюдает за ослушницами. «Любовь властвует над миром, — говорит она, — но не забывайте о нашем уговоре, и постепенно души ваши очистятся. Вы про-

шли через один только искус; от вас зависит, возобновим ли мы наши встречи».

В последующие дни никто из участников не осмелился обсуждать подробности той ночи, однако восторг перед графом Калиостро дошел до апогея; такого преклонения не видывали еще в Париже. Он воспользовался этим, чтобы развить и обнародовать главные принципы египетского франкмасонства. Так, он объявил светочам Великого Востока, что работать можно только под тройным сводом, что он может иметь не более и не менее тринадцати адептов, которые должны быть чисты, как солнечный луч и неподвластны клевете; им не положено жениться, заводить любовниц и вести рассеянный образ жизни, но нужно обладать состоянием, дающим более 53 тысяч ливров ренты, а главное, уметь поддерживать сношения с многочисленными духами и призраками, что случается весьма редко.

V

ЯЗЫЧНИКИ ВРЕМЕН РЕСПУБЛИКИ

Эпизод, приведенный выше, дает ясное представление о тогдашнем направлении умов, постепенно освобождавшихся от груза католических догм. Иллюминаты Германии стали почти язычниками; их французские собратья, как уже было сказано, назвали себя *мартинистами*, по имени родоначальника движения, Мартинеса, основавшего многочисленные общества в Бордо и Лионе; они разделились на две секты, одна из которых продолжала исповедовать учение Якова Бёме, замечательно развитое знаменитым Сен-Мартеном по прозвищу *Неизвестный философ*; другая же, обосновавшись в Париже, преобразовалась в ложу *филалетов*, вскоре без колебаний влившуюся в революционное движение.

Мы уже цитировали здесь различных авторов, объединивших свои усилия, чтобы создать во Франции философско-религиозную доктрину, проникнутую этими идеями. Среди них можно назвать в первую очередь маркиза д'Аржана, автора «Каббалистических писем», дома Пернетти, автора «Мифогерметического словаря», д'Эспремениля, Лаватера, Делиля де Саль, аббата Террасона, автора «Сета», Бергасса, Клоотца, Кур де Жеблена, Фабра д'Оливе и других.

Нужно прочесть «Историю якобинства» аббата Баррюэля и «Доказательства заговора иллюминатов» Робинсона, а также комментарии Мунье к обоим этим произведениям, чтобы получить представление о количестве известнейших деятелей той эпохи, подозреваемых в принадлежности к мистическим обществам, под влиянием которых и произошла Революция. К сожалению, большинство современных историков пренебрегли изучением этих подробностей — кто по невежеству, а кто из боязни примешать к высокой политике теорию, которую они считали не стоящей внимания*.

Отец Робеспьера, как известно, основал в Аррасе масонскую ложу шотландского обряда. Отсюда легко предположить, что первые жизненные впечатления самого Робеспьера оказали существенное влияние на многие его последующие действия. Робеспьера часто упрекали в мистицизме, особенно в силу его отношений со знаменитой Катрин Тео. Его рассуждения в Конвенте о необходимости введения нового общественного культа, вероятно, доставили мало радости материалистам.

— Остерегайтесь, — говорил он, — рвать священную связь людей с их творцом: если народ глубоко проникнут этой верой, крайне опасно разрушать ее, ибо с нею неотъемлемо связаны основы морали и сознание долга; уничтожить такую веру — значит лишить народ основ нравственности.

* Этим вопросом, однако, занимались Луи Блан и Мишле.

Из того же принципа следует, что выступать против давно укоренившегося культа можно только с крайней осторожностью и деликатностью, действуя так, чтобы внезапное и грубое вмешательство не показалось людям угрозою их морали, оскорблением самой их вере. Вот почему того, кто сможет заменить одно божество другим в системе общественной жизни, я назову гением-чудотворцем, того же, кто, не заменяя его ничем иным, стремится лишь изгнать его из людского сознания, сочту глупцом или безумцем.

Среди частей ритуала, который Робеспьер разработал для почитания Верховного существа, легко видеть те, что почерпнуты из церемоний иллюминатов, — например, статуя под покрывалом, которое сжигалось; сама же статуя олицетворяла Природу или Исиду.

После падения Робеспьера многие философы продолжали искать религиозную формулу, лежащую вне католических догматов. Именно тогда Дюпон де Немур — известный экономист, друг Лавуазье — опубликовал свою «*Философию вселенной*», где изложил подробнейшую систему иерархии *небесных духов*, явно восходящую к учению иллюминатов и доктрине Сведенборга. Оклер, о котором мы расскажем ниже, пошел еще дальше, предложив возродить язычество и поклонение светилам.

Ретиф де ла Бретон также разработал, как известно, систему пантеизма, отрицавшую бессмертие души, но заменявшую ее неким метемпсихозом; согласно этой системе, глава рода регулярно, через определенные промежутки времени, воплощается в своих потомках. Убеждения автора основывались на принципе *обратимости*, иначе говоря, на неизбежности, с которой люди вознаграждаются за добродетель и караются за грехи. В этой системе есть нечто от примитивного учения первых иудеев.

СТАТЬИ
И ЗАМЕТКИ

МИСТИЧЕСКАЯ ЛИТОГРАФИЯ

Служитель Слова Божия. — Пиршество. — Будущее медведей

Всякий мог видеть у торговцев гравюрами большую литографию, о которой уже писали некоторые газеты. На ней изображен Наполеон под покрывалом и в короне авгуров; он водит пальцем по карте мира и намечает на ней новые границы. Подпись на этом странном листе гласит: «Все глубже постигая Божественную истину, обретая все больше сил для ее осуществления, он завершит то, что начал». Под изображением можно прочесть: «Служитель Слова Божия перед Богом». Сбоку, на полях — изречение святого Петра.

Подобные явления встречаются слишком редко, и посему мы должны попытаться удовлетворить любопытство наших читателей в связи с вышеизложенным. К тому же в ходе одной из недавних дискуссий в Палате депутатов обращалось внимание на распространение нового лжеучения, оперирующего образами, Словом и символами.

По этому поводу довольно нелестно упоминался Коллеж де Франс: трое его преподавателей обвиняются в том, что объявили о пришествии новых богов. Мы считаем, что то немногое, что известно закону по данному делу, уже обходится довольно дорого. Господин Леспинасс и господин Эрбетт, не ожидая для себя никаких наград, заявляют, что новых откровений больше не последует.

Однако профессора прикрываются Платоном, говорившим, что на земле существуют два вида людей, один из

которых сродни богам по своей природе, а также ссылаются на Вико, утверждающего, что божества воплощаются в великих гениев, добрых королей и благодетелей человечества; поэтому необходимо оказывать почести именитым покойникам и, безусловно, не оставлять без внимания живых.

Эта мысль, ставшая азбучной истиной, не стоит того, чтобы приводить в ярость собрание, которому, по правде сказать, никогда не стать пантеоном... Депутаты приводили цитаты из так называемого евангелия новых апостолов — книги «Пиршество», поначалу приписывающейся преподавателю славянских языков, в которой впоследствии признали произведение некоего Андрея Товянского.

Этот пророк, славный литовец, которого не следует путать с укротителем зверей Мороком, никоим образом не пытается повлиять на Палату депутатов, где и без него хватает богов. Несколько студентов-славян и их преподаватель заявили, что признают его, и ему пока этого достаточно.

К тому же следует отметить, что ученики Товянского, и в первую очередь вышеупомянутый преподаватель, не собираются отказываться от католицизма, и папский трибунал еще не вынес решения по данному вопросу, как в ноябре прошлого года он сделал это относительно Мишеля Вентра и Лиги Милосердия, которую он объявил крайне опасной сектой.

Вот слова католика Жозефа де Местра, на которые ссылались приверженцы нового пророка. «Еще немного, — писал он, — и, в силу природного сходства религии и науки, они объединятся в голове какого-нибудь гениального человека, появление которого, видимо, не за горами и, возможно, он уже существует. Он возвеличится и положит конец *восемнадцатому веку, который все еще продолжается*, ибо столетия духа не равняются на календарь, подобно обычным столетиям. Тогда мнения, которые кажутся нам сегодня легкомысленными или безрассудными, станут ак-

сиомами, в которых будет непозволительно сомневаться, и люди будут говорить о нашей нынешней тупости, как мы говорим о суевериях средних веков».

Станет ли Андрей Товянский пророком согласно данному предсказанию? Нам дозволено судить об этом лишь по его произведению «Пиршество 17 января», предвещающему «осуществление во внешнем мире деяния, которое до сих пор всецело принадлежало миру духов».

В одной из речей, произнесенных на этом пиршестве, где неофиты собрались в память о Тайной вечере, говорится, что свет Христа, который должен был изливаться на мир *тысячу лет и более*, но, по выражению самого Спасителя, не может продлиться до двухтысячного года, сегодня якобы угас, что сделало неизбежным пришествие *седьмого* посланца. Поскольку две тысячи лунных лет вскоре истекут, именно *середине девятнадцатого века* суждено увидеть новую благодать *двухтысячного юбилея,* когда Бог, вняв зову избранных душ, спустится на землю в окружении светлых ратей, способных рассеять сгустившийся в последнее время мрак.

Согласно учению пророка, следует представить себе, что на видимый мир, то есть человеческое общество, со всех сторон наступает внешний мир, населенный могущественными духами — душами созданий, которые жили в разные времена и «которые свершают покаяние, понемногу оплотняясь и ожидая, когда Божественная воля снова допустит их к земной жизни». Эти духи обладают разнообразными силами, которые они могут пускать в ход лишь под влиянием извне либо проявлять их в материальной форме согласно гармоническим законам, установленным их последним воплощением.

Таким образом, тело — это нечто вроде *капсулы,* посредством которой незримо действуют духи. Душа каждого существа сообщается с целым рядом светлых и темных духов, которые через нее воздействуют на земные явления,

придавая им благотворное либо пагубное направление. Бывают времена, когда число темных *ратей* увеличивается до такой степени, что светлые духи должны заключать между собой союз и прилагать совместные усилия, дабы снова призвать божественную волю и крепко привязать наше землю к стволу божественного дерева. Иисус Христос правит во *многих мирах*, но некоторые ускользнули от него и находятся во власти мятежных духов. Объединение сил тьмы, которые уже праздновали победу на земле, вынудило Христа самому спуститься на нашу планету и распространить на ней новый дух благодати и милосердия. То же в этот раз проделает новый посланец.

«Избранники Бога, которые уже знают, каким образом вызвать светлые рати, эту единственную защиту против происков тьмы, будут и впредь неизменно расшатывать трон зла... Так, Моисей путем молитвы, то есть вызывая могущественную рать, решил судьбу сражений, хотя внешне он казался слабым, потому что в одиночку не мог поднимать руки к небу».

Мы не будем излагать далее эту теорию, которая смыкается с учением Сведенборга и напоминает нам один из отрывков этого великого писателя, где он рассказывает, как мысленно присутствовал на совещании нескольких душ, населяющих мир; он подразделяет эти души на несколько разрядов, добрых либо злых *ангелов*. Некоторые из них — философы, ибо там также представлены все сословия, и когда они появляются на собрании в столь трудный и неясный час, их речи бывают до такой степени насыщены софизмами и грубыми парадоксами, что освещающий их духовный свет меркнет, и их заблуждения зримо спускаются в небесный дворец, где они собрались, в виде темных ратей. Тогда к ним слетает ангел с высших небес, вновь ставит вопросы в истинном свете и таким образом разгоняет мрак.

Вот вам темные и светлые силы Андрея Товянского! Указывать на это соответствие отнюдь не значит покушать-

ся на саму идею как на откровение либо мистическую гипотезу. Однако пифагорейская традиция проглядывает здесь более явно, чем у Сведенборга, о чем свидетельствует еще один отрывок из «Пиршества»: «Самый сильный земной свет — ничто по сравнению со светом Божьим. Тот, кто вознесся выше всех на земле, может в *другой жизни* даже не быть человеком; дух медведя, покинувший полярные просторы, может возвыситься до предела в столице мира». Это суждение, которое заставит многих улыбнуться, также не ново; в прошлом веке была издана книга, где доказывалось, что прачеловек, существовавший до Адама, геологические следы которого не смог обнаружить Кювье, принадлежал к медвежьему роду. Барельефы Фив и Персеполиса в случае надобности подтвердили бы эту гипотезу, опровергаемую нашими учеными, которые утверждают, что прачеловек, этот современник мастодонтов и птеродактилей, был саламандрой длиной около семи футов.

Не от подобных ли дискуссий мрачнеет небо, как в знаменитом споре философствующих ангелов Сведенборга?

Впрочем, мы опасаемся, что кому-нибудь покажется, будто мы высмеиваем здесь взгляды, которые разделяют некоторые выдающиеся умы; поэтому мы лишь снова обратим ваше внимание на то, что эта секта создала своего рода культ Наполеона. Разумеется, человечество знало и более нелепые апофеозы. По мнению Андрея Товянского, Наполеон мог бы стать сыном Божьим, но в конце концов был отброшен темными силами; он якобы готов вернуться на землю в другом обличье, дабы завершить прерванное дело. На этот раз Палата депутатов, видимо, скажет ему: «Nescio vos!»*

* Не знаю вас (*лат.*).

КАРНАВАЛЬНЫЙ БЫК

В этом году карнавал продолжался всего лишь два дня! Он был еще более скоротечным, чем тот же карнавал в пору Реставрации, воспетый веселой музой Беранже, карнавал, который, помнится, длился по меньшей мере целую неделю. Если бы раннее наступление поста поторопило приход весны! Природа обязана возместить нам строгую пунктуальность календаря.

Эти недолгие сатурналии, которым следовало бы, по крайней мере, быть столь же совершенными, как в древнем Риме, начались в скоромное воскресенье, на сей раз совпавшее со Сретением. В связи с этим мы оживили свои воспоминания о древнем мире и попытались найти объяснение странному празднику, который возвращает нашей христианской цивилизации память о языческом мире. Мифологическая колесница, на которой раз в год разъезжают под гром оваций боги, вызывавшие преклонение у наших предков, наводила на серьезные размышления лишь с точки зрения ученого и мыслителя. Каждый толковал это событие на свой лад: одни видели в нем символ отживших суеверий, преданных победившей религией на всеобщее осмеяние; другие усматривали в ежегодном шествии самого откормленного быка прославление крестьянского труда; наконец, третьи приписывали данное явление религиозной терпимости, которая в начале строгого поста позволяет плоти показать свою силу и распроститься с весельем, перед тем как при-

ступить к покаянию. Фурьеристская газета выступила против атмосферы причудливого маскарада, окружающей карнавального быка, и задалась вопросом, не достойнее и логичнее было бы придать этому празднику чисто сельскохозяйственный характер, показывая рядом с быком не диковинные и нелепые маски, а животноводов или фермеров, которые одарят страну огромным количеством говяжьих бифштексов и филе.

Нам не стоит особенно скорбеть по поводу подобных заблуждений общественности. Шествие карнавального быка — не сельскохозяйственный праздник, а религиозный, исторический и, так сказать, мистический обряд. Было бы жаль, если бы на наших глазах его низвели до разряда соревнований, выставок или скачек, призванных поддерживать дух соперничества деревенских тружеников. Тем более что превосходство Франции в отношении быков и лошадей было бы отнюдь не легко доказать Европе. Наши скачки на Марсовом поле завершаются триумфом Англии, а конкурсные показы скота принесли бы славу Швейцарии или Германии. Прежде чем выставлять напоказ чудо-быка, откормленного неким крестьянином специально для карнавала, следовало бы вспомнить о том, что несостоятельность наших животноводов вынудила власти обложить налогом в размере более пятидесяти франков ввоз откормленных либо тощих быков из приграничных областей Германии, но даже несмотря на эту таксу мы весьма плохо выдерживаем конкуренцию... Однако вернемся к вопросам искусства.

Повторяем, что будет очень печально, если забудутся традиции, которые еще придают современным обычаям некий колорит. Шествие карнавального быка прежде всего напоминает о Древней Греции и Риме, от которого ведет начало наша цивилизация. Во все времена люди прославляли память о предшествующей эпохе, когда все жило счастливо, на земле царили любовь и радость, правосудие уравнивало все сословия и без труда улаживало братские от-

ношения между людьми: для греков то было воспоминание о царстве Вакха, изображение которого занимало главное место во всех играх; отсюда происходят дионисии или вакханалии.

Всем известно, что благодаря учреждению этих праздников у нас появилось драматическое искусство; вслед за идеей рядить людей в маски во время народных гуляний возникла мысль вкладывать в их уста диалоги и вводить в действие исторических либо сказочных персонажей, способствующих усилению интереса к представлению.

Латины, признав большую часть религиозных догм Древней Греции, привнесли в свои обряды изменения, обусловленные местными традициями. В Италии, древней земле пеласгов, было живо смутное воспоминание о владычестве Сатурна, сосланного в этот край новыми богами Греции. Таким образом, признавая законы новых богов, латины в то же время воздавали прежнему культу дань памяти и благодарности; люди всегда недовольны своим нынешним положением, и поэтому мечтают о возвращении Золотого века, воспетого их предками. Так, Вергилий восклицает, предвидя лучшие дни: «Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna!»*

Не пронизаны ли три последних дня нашего карнавала той же мыслью? Если плоть страдала уже во времена древнеримской цивилизации, если уже тогда люди сожалели о царстве более милостивых богов, это чувство, вероятно, с тем большим основанием было перенесено в суровое христианское общество первых веков нашей эры. Не без труда удалось уничтожить веселые праздники язычества; шумные мирские утехи, которые отныне становились уделом храмов, жертвоприношения — признак изобилия, первые плоды которых принадлежали богам; священные танцы, лучезарные теории, вечно возрождающийся союз земли и

* Вот уже Дева грядет, грядет Сатурново царство (*лат.*).

неба — обо всем этом следовало позабыть либо подчинить это коренной переделке догм и символов, предпринятой новой церковью. Переходный период был трудным; долгое время на Юге, как и во Фландрии, в процессиях участвовали мифологические или символические персонажи; церемонии сопровождались своеобразными ритуалами, относившимися к более ранним традициям, большинство из которых было уничтожено революцией; однако традиция скоромных дней была восстановлена в эпоху Империи. Сохраним же ее по крайней мере как память о древнеримской цивилизации, которой мы стольким обязаны. Коль скоро латины сожалели о временах Сатурна, разве не приятно нам сожалеть о Древней Греции и Риме, печальную пародию на которые являют собой наши современные учреждения?

Разве сама *демократия*, с которой мы здесь спорим, не пытается вернуть царство богов природы или ее обожествленных сил? Если она и не восклицает, как Альфред де Мюссе:

> Где времена, когда бессмертные, бывало,
> Гостили на земле, покинув небеса,
> Когда, рожденная из вспененного вала,
> Венера блещущие кудри выжимала,
> Животворя поля и долы, и леса?* —

у нее сохранились те же инстинктивные побуждения, которые гений облекает в поэтическую форму или же вдохновение возводит к древним теогониям!

Признаться, когда в прошлый вторник мы смотрели, как по нашим набережным, заполненным толпой, шествует священный бык, перед которым шагают приносящие жертвы ликторы; когда мы смотрели, как тяжело катится

* Перевод Е. Баевской. *Ред.*

позолоченная колесница античной формы, где, как во времена Древнего Рима восседает старый Сатурн, вдвойне оплакиваемый в наши дни, мы не могли не проникнуться чувством почтения к этому образу из древних верований наших предков! Каким бы убогим он ни был, как бы плохо ни был представлен — радостно лицезреть, как наше солнце льет свой тусклый свет на эти веселые символы, эти увенчанные коронами головы и эти сверкающие золотом и пурпуром наряды... Итак, с точки зрения искусства, а также истории мы изо всех сил отвергаем материалистическую тенденцию, которая, будучи лишена веры и символического значения и отдавая лишь дань труду, отказывалась бы прославлять небесный дух.

КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ

I

Не пугайтесь этого персонажа — он ведь не столько черный, сколько темно-красный. Не все дьяволы непременно черные, а этот по природе своей куда более принадлежит земле, нежели аду; он даже не столь уж большое участие принимал в великой битве, случившейся некогда в небесных сферах, которую назвали *Восстанием Сатаны и ангелов его против Адонаи* (Вседержителя) *и его присных.*

Сатана был неким подобием Кошута, который осмелился поднять знамя восстания против своего законного императора и вовлек в этот заговор множество беспокойных умов, пропитавшихся республиканскими теориями.

Мы знаем, что с самого начала всякой звездой, всякой планетой, даже самой что ни на есть захудалой кометой ведал какой-нибудь дух либо ангел, который одушевлял ее, подобно тому как душа одушевляет тело. Что до нас, людей и животных, населяющих Землю, то мы не более как чужеядные насекомые, что обитают на поверхности каждого небесного тела, и питаемся мы — нередко из рук вон плохо — лишь за счет внешней ее оболочки.

Сатана был одним из тех властолюбивых, непокорных и неблагодарных созданий, которые не терпят чужого превосходства; скажем без обиняков — себя он считал гениальным. Святую Троицу он рассматривал как династию тиранов, коварно увековечившую свое могущество, объявив его

Божественным правом, или ловких узурпаторов, добившихся мирового господства с согласия подкупленного ими большинства.

В свой заговор он вовлек целую толпу планет, небесных светил, туманных пятен, даже несколько звезд первой величины, поддавшихся его прельстительным речам. Кометы, которые ничего не стоит склонить ко злу, взяли на себя роль иррегулярных войск — и завязалась чудовищная битва, в ходе которой между небесными телами происходили отчаянные схватки. Остававшиеся после этого сражения обломки образовали то, что мы ныне называем *Млечный Путь*. Дождь из аэролитов, явившийся следствием этих столкновений, произвел во вселенной неописуемую кутерьму. Еще и сегодня нет-нет да и стукнется о наш земной шар какой-нибудь старый обломок тех далеких времен, тысячелетиями кружившийся в небесном пространстве.

Подробности этой чудовищной катастрофы можно прочитать в «Потерянном рае» Мильтона, целиком основанном на одной из так называемых апокрифических книг Библии, известной под названием «Книги Еноха»*.

Книгу эту всегда исключали из ортодоксальных библий, опасаясь, как бы повесть о восстании Сатаны не представила его в ореоле некоторого величия, способного соблазнить воображение малых сих. Один католический ученый, иезуит отец Кирхер, перевел оттуда отрывок и поместил его в своем «Oedipus Aegypticus»**.

Вот из этой последней книги, хорошо известной каббалистам, и позаимствовали мы достоверную фигуру Красного дьявола, о котором собираемся здесь рассказать.

---

* «Книга Еноха» была переведена целиком с древнесирийского на латинский язык епископом Кентерберийским.

** «Эдип Египетский» *(лат.)*.

II

...Бедняга дьявол! Да полно, дьявол ли он? Древние называли его всего только «демоном» — словом, которое в какой-то мере происходит от «demos» и означает лишь несчастливца, бунтовщика, но в общем-то неплохого малого. В слове «демон», сугубо греческом, никогда не было и тени какого-либо неодобрительного смысла.

Положение Красного дьявола после одержанной Предвечным победы оказалось, если верить тому, что сообщает Данте в своей «Божественной комедии», весьма плачевным. До участия своего в заговоре Сатаны он был правителем вечерней звезды, которую называли попросту Люцифер*. Имя это он сохранил, при этом утратил все свои полномочия, которые переданы были его супруге Астарте — у той оказались большие связи в Раю.

Во время небесной революции бедный Люцифер был командующим артиллерией (Мильтон сообщил нам, что, дабы противостоять небесным молниям, Сатана изобрел пушки за много тысяч лет до того, как их придумали на Земле). Батарея, которой командовал Люцифер, была полностью разгромлена, а его самого поразил удар молнии прямо в грудь, да так, что беднягу сбросило с его звезды, и он со всего размаха вонзился головой в только что образовавшийся земной шар, который еще недостаточно затвердел, — и это ослабило силу удара.

Не следует судить о размерах обитателей небесных сфер, исходя из наших ничтожных масштабов: мы — атомы. Но если правда, что люди, населявшие Землю до потопа, имели милю в вышину и жили по тысяче лет (надо же верить тому, что говорится в Библии), нетрудно понять, что суще-

* Люцифер означает «носитель света», вот почему, вероятно, дьявол этот изображается, как мы видим это на картинке, освещающим семью факелами все семь планет.

ства, которые жили еще до Адама и квартировали на звездах, в тысячу раз превосходили их величиной. Вот почему не следует удивляться тому, что прославленный поэт в XXXIV песне своей поэмы приписал Люциферу такой огромный рост. Он утверждает, будто тело его протыкает весь земной шар таким образом, что голова находится непосредственно над самым Королевством обеих Сицилий, а ноги образуют два острова в Океании по ту сторону Земли, как раз напротив нашей Европы. Один его рог сопряжен с Везувием, другой — с Этной. Как только он пошевелится, происходит землетрясение, как только чихнет — извержение вулкана.

Данте со свойственной итальянцам напыщенностью называет его «червем презренным, коим мир пронзен»*.

Ведомый Вергилием флорентийский поэт добрался до средоточия «недр ледяного слоя», который окружает стан Нечистого и образует последний из семи кругов земного ада. Вода вокруг него превратилась в лед, хотя наверху рот и ноздри его изрыгают пламя. Вот слова Данте: «Мучительной державы властелин Грудь изо льда вздымал наполовину».

Пройдя через подземное жерло, где терпят адские муки грешники и которое, попросту говоря, зовется геенной, Данте и его вожатый, ухватившись за шерсть Люцифера и перебираясь с одного ее клока на другой, ухитрились проскользнуть вдоль его косматых чресел. И когда они миновали центр земного шара, Данте в себя не мог прийти от изумления, оказавшись вскоре на другой стороне Земли. И на выраженное им удивление Вергилий отвечает так: «Тут — день встает, там — вечер наступил». «А этот вот, чья лестница мохната, — продолжает он, указывая поэту на позу демона, — Все так же воткнут, как и прежде был. Сюда с небес вонзился он когда-то; Земля, что раньше наверху цвела, Застлалась морем, ужасом объята, И в наше полушарье перешла...»

* Здесь и далее цитаты из Данте даются в переводе М. Лозинского. *Ред.*

III

Читателям нашим должно быть ясно, что Люцифер, Красный дьявол, есть не кто иной, как тот самый персонаж, которого древние называли *демогоргоном* — именем, в коем легко обнаруживается корень «демос» — народ.

Для греков он был одним из титанов, боровшихся против Юпитера. Для жителей Сиракуз и Великой Греции (неаполитанцев) — тем же, что и Анселад, к которому вполне применимо описание, данное Данте. В описании отца Кирхера, на которого мы ссылаемся в начале настоящей статьи, он, пожалуй, скорей смахивает на великого Пана, то есть Духа Земли, столь боготворимого и превозносимого современным *пантеизмом*. Словом, у нас есть все основания предполагать, что все эти персонажи представляют собой один, который ни в коей мере не следует отождествлять с дьяволом, каким его обычно представляют, то есть с Духом Зла.

IV

В самом деле, ведь отнюдь не доказано, что Всевышний предал незадачливого Люцифера вечному проклятию. В самый момент его падения, жене его Астарте, которая до того без устали отговаривала мужа от каких бы то ни было действий против законного порядка, удалось внушить Вседержителю, что *бедный дьявол* попросту глуп и потому неспособен был противиться подлым ухищрениям Сатаны и его изощренному красноречию. Этим она добилась того, что беднягу оставили в покое, предоставив ему барахтаться в глинистой почве, куда его так несчастливо занесло.

А чтобы он все же приносил какую-то пользу в те промежутки, когда ему надоедает курить и кряхтеть, его произвели в надзиратели земного ада — тюрьмы, не имеющей

одиночных камер, устроенной еще по старинке, которую не следует смешивать с чудовищной, ужасной преисподней, предназначенной для необозримой массы грешников всего мироздания. Последние, по словам Иисуса Христа, ввергнуты во *тьму кромешную*, то есть пребывают за пределами оного.

Милейший этот дьявол — можем же мы теперь применить к нему этот смягчающий эпитет — вел себя столь безупречно, что, когда Господь снизошел на нашу Землю, он счел для себя возможным остановиться, чтобы побеседовать с ним, как это явствует из второй главы книги Иова. Он доверил ему и кое-какие полицейские обязанности, которые не имеют ничего общего с обязанностями агента-провокатора, ибо, как было сказано, задача не в том, чтобы вводить человека *во искушение*, а в том, чтобы побуждать в нем волю к действию, каковая имеет склонность ослабевать, как доказал нам это знаменитый Гёте, автор «Фауста».

В этой связи вряд ли стоит приписывать невежеству некоторых средневековых монахов высказанное ими предположение, будто дьявол был вдохновителем всех знаменитых открытий, составивших славу XV века. Вспомним, ведь порох выдумал не кто иной, как монах по имени Бертольд Шварц, а если в самом деле подсказал это ему Люцифер, то, может статься, тому просто захотелось воскресить в памяти былые свои подвиги артиллериста в пору службы у Сатаны. Но факт этот отнюдь не доказан; зато все знают, что именно он внушил доктору Фаусту идею книгопечатания, этой всенародной могущественной силы, способной противостоять пушкам, — ultima ratio, последнему доводу королей.

Пушка и книгопечатание суть, таким образом, две противоборствующие силы, стремящиеся уничтожить друг друга: первая — во имя мрака, вторая — во имя света. А ведь сказано в Евангелии: «И несть раздоров в преисподней». Так что если книгопечатание изобрел наш дьявол, пушку изобрести он не мог.

Оставим эти беспредметные споры. Бедняга Люцифер и без того оказывается кругом виноватым в глазах известного рода людей. Его обвиняют, и не без основания, в материализме и в коммунизме и сильно подозревают в том, что он имел касательство к событиям прошлого года. Мы полагаем, что у него были чистые намерения и что присущая людям злоба преувеличила их последствия. Вот почему мы просим отнестись все же снисходительно к этому существу, скорее несчастному, чем виновному, которого, надо думать, коснется та всеобщая амнистия, что уготована всем бедолагам, которых его теории сбили с толку.

ДИОРАМА

Театральным гвоздем этой недели, впечатляющей драмой и новостью было повторное открытие Диорамы и представление «Потопа», пышно поставленной мистерии, в которой действуют стихии. Воздух, Вода, Земля и Огонь, четыре древних образа, которые современные справочники перевели в разряд фантастических существ, ведут на сцене борьбу за господство над миром и в течение четырех актов являют собой крайне грозный и страстный квартет. Но по природе сюжета ведущая роль в спектакле отводится Воде; именно грозная стихия влаги, которую Фалес считал первопричиной и концом всего сущего, грозит уничтожить еще юное творение Бога и стереть с лица земли живущие на ней виды, за исключением рыб и во имя их владычества.

Положение было серьезным; мы очень хотели бы услышать, что сказали бы власти Парижа, если бы завтра это явление повторилось у нас и если бы, подобно мирным обитателям города Еноха мы ощутили, как умеренный дождь постепенно переходит в нарастающий ливень и небесный водопад, картину коего явил нам господин Бутон!

Город Еноха, сей допотопный Париж, цитадель первобытных мерзостей, о которых Библия упоминает лишь вскользь, был построен Каином, назвавшим город именем своего сына. Не стоит путать последнего с другим Енохом, внуком Сифа, которого жители Востока именуют Идрисом,

чье преимущество наряду с Илией и Мельхиседеком заключается в том, что он покинул землю, обретя бессмертие. Город Каин был главным местопребыванием той промежуточной расы, злодеяния которой превосходили людские грехи, ибо мы и поныне не ведаем, являлись ли эти диковинные существа порождениями ангелов или демонов, соединявшихся с человеческими дочерьми.

Библейский текст в этом месте неясен, и переводы отличаются друг от друга в зависимости от вероисповедания переводчиков. В древнееврейском языке существует выражение *бни элохим*, что означает: *бни* — «сыновья», *элохим* — «боги», как считают Филон, гностики и каббалисты, а также по мнению Кура де Жебелена, Фабра д'Оливе и Лакруа — автора любопытной книги, озаглавленной «*Элохим*, или Боги Моисея». Дабы объяснить сей точный перевод, одни предполагают, что слово *элохим*, то есть боги, приписывалось как основным духам, так и верховному Богу, кроме того, именуемому Адонаи; другие считают, что множественное число имени, данного Всевышнему, говорит о том, что это многоликое существо; третьи даже утверждают, что Моисей был политеистом, ибо он неизменно величает создателя лишь во множественном числе. По их мнению, элохимы были сродни богам, отождествлявшимся с богом Амоном, которые изображались на египетских памятниках и якобы вылепили модель мира, придали ей форму и отделали ее под руководством главного из них.

Церковь, по крайней мере Римская церковь, не утвердила данную ересь. Она привносит в перевод схоластическую суетность, умышленно заменяя множественное число единственным. Она говорит: «Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Согласно каноническим комментариям, сыны Божии (в единственном числе) означают род Авеля, а *люди* — род Каина. Но в таком случае это были попросту мужчины и женщины; как же объяснить строфу, в

которой далее говорится, что от этих союзов родились исполины? Протестанты перевели «сынов Божиих» как «ангелов», и мы обязаны этому толкованию тем, что приобрели «Любовь ангелов» Томаса Мура и «Каина» лорда Байрона.

Сколь странными ни показались бы эти подробности, мы не считаем их неуместными ни в связи с тем, что касается критики, ни в связи с искусством; живопись и поэзия существуют благодаря этим великим вопросам, ответы на которые человеческий ум с трепетом ищет в древних преданиях. Среди апокрифических книг Библии — книга Еноха, которая дала нам «Потерянный рай» Мильтона и «Падение ангела» Ламартина. Это не что иное, как история борьбы мятежных умов с всемогущим Богом и его святой ратью. Отец Кирхер приводит весьма длинный отрывок из этого апокрифа в переводе на греческий язык и латынь. Художникам, которым приходится обращаться к религиозным темам, следовало бы подчас черпать в этих источниках вдохновение. Если бы господин Бутон пришел к мысли, что полубоги могли участвовать в строительстве города Еноха, он, возможно, придал бы этому городу более сложный и великолепный облик. Ламартин, благодаря знанию мистических источников, превратил жителей города Еноха в людей, более искушенных в чудесах цивилизации, чем мы сами; они открыли даже искусство воздухоплавания, чрезвычайно хитроумные приемы которого разъяснил поэт. Именно на этой стадии, когда человек становится равным Богу в своей ловкости и изобретательности, Бог останавливает человека и показывает ему, что он должен возвышаться до него лишь посредством разума и любви.

Впрочем, господин Бутон создал достаточно странный город, прекрасный, простой и величественный по своей природе. Он привольно расстилается по бескрайней долине и у самого горизонта омывает свои мраморные стопы в море. Толстая стена с громадными воротами эпохи пеласгов опоясывает гигантский город, где там и сям возвыша-

ются обелиски и пирамиды. Массивные дворцы тянутся по правую сторону, слева изгибаются арки уже пришедшего в упадок моста. Изображение развалин едва зарождающегося мира можно считать смелым поэтическим образом. В первую очередь привлекает внимание огромное незаконченное строение: первый набросок Вавилонской башни, спираль которой грозит небесам.

Мало-помалу горизонт омрачается; тучи сгущаются и приобретают красный оттенок; море сияет на дальнем плане прощальными лучами бледнеющего солнца; по стенам струятся ручьи; площади и улицы заполняются клокочущей водой, пришедшей в волнение от грозы; с высоты затопленных крепостных стен льется вода, как из переполненных чаш; жители города укрываются на крышах, башнях и в горах; наконец все исчезает в гуще облаков и темных водяных столбов, пронизывающих их со страшным шумом.

Непредвиденное происшествие лишило нас третьего явления, представляющего спокойную картину потопа и ковчег, плывущий по волнам. С тех пор неполадки устранили, и теперь зритель не упустит ничего. Четвертое явление показывает нам частично оголенную, еще сырую землю с вмятинами и трещинами от уходящей воды, оставляющей на поверхности ракушки и всевозможные обломки. Семейство Ноя, члены которого стоят на коленях на вершине горы Арарат, видит, как радуга — знак божественного прощения — описывает свою бесконечную дугу над рассеивающейся мглой потопа.

Единственное, в чем можно было бы упрекнуть господина Бутона, — это то, что он придал своим героям довольно крупные размеры, особенно в последней картине. Человек так мало значит на земле, что невозможно написать мало-мальски обширный горизонт, не будучи вынужденным при этом сделать людей незаметными. «Какое счастье, что ты — поэт! — сказал как-то раз Давид Баур-Лормиану. — Ты хочешь изобразить любовь в Альпах, описываешь влюб-

ленных, описываешь Альпы, отводишь двадцать страниц влюбленным, двадцать страниц — горам, и все это превосходно сочетается. У меня — иначе: когда я хочу написать картину, то у меня выходят либо величественные влюбленные и крошечные Альпы, либо гигантские Альпы и вот такие вот влюбленные». При этом он показывает свой мизинец. Гора Арарат показалась нам чересчур маленькой по сравнению с фигурой Ноя. Господин Бутон может возразить нам на сей упрек, что тогдашние люди, которые жили по тысяче лет, были в десять раз выше, чем мы, и, быть может, он будет прав. К тому же его картины великолепны и обладают удивительной достоверностью, воспроизводя отчасти идеальную природу. В особенности небеса довершают иллюзию своим сиянием, а игра света и тени, вкупе с изменениями, привнесенными на почву разливом и отступлением воды, превращают эту череду явлений в подлинное драматическое зрелище с присущими ему неожиданностями, перипетиями и кульминационными пиками.

НЕВЕДОМЫЕ БОГИ

Мы живем, как утверждают хорошо осведомленные люди, в эпоху неверия и скептицизма. Тем не менее ныне нет недостатка ни в богах, ни в пророках. Некогда, в десять часов утра, в облачную и одновременно солнечную пору, мы лицезрели апостола, хотя ни одна необычная примета не предвещала нам его появления!

Этот апостол зовется Жан Журне; у него — темная короткая курчавая борода, в которой уже начинают посверкивать серебряные нити; низкий лоб, волосы ежиком и твердый взгляд живых глаз; он довольно сносно отвечает нашему представлению о ловцах человеческих душ и при случае мог бы позировать в качестве святого Петра в мастерских художников. В то время как наша одежда не имеет ничего общего с одеянием апостолов и проповедник во фраке, скорее всего, выглядел бы нелепо, Жан Журне сумел привести свой наряд в согласие с родом своих занятий. Он носит нечто вроде плаща с капюшоном или стихаря из грубошерстной бурой ткани — одеяние, напоминающее византийские далматики с картины Зиглера «Святой Лука», которая выставлялась в художественном салоне несколько лет тому назад. Преимущество этой накидки заключается в том, что она живописна и в то же время не слишком привлекает внимание уличных мальчишек, неизменно готовых прирастать к спинам пророков, как хвост; новоявленный апостол не носит сапог; одно из излюбленных речений его образ-

ного слога гласит: «Я отряс пыль со своих башмаков», и, стало быть, обувь апостола должна соответствовать его фразеологии.

С пылким красноречием излагал он нам теории Фурье, с которыми, впрочем, мы давно знакомы, и открывал сказочные перспективы грядущего мира. В ярких тонах он обрисовал нам счастье, коим будет упиваться человечество, когда обретет гармонию; фаланстер, который Рабле, очевидно, предвосхитил в своем Телемском аббатстве, сделает доступными дворцы «Тысячи и одной ночи»: простые граждане будут жить в них вольготнее нынешних королей. Большего нам и не надо, и мы заранее заказываем себе местечко в первом же из учрежденных фаланстеров.

У этого апостола нет золотого нимба над головой, но он хранит в кармане множество фурьеристских брошюр в прозе и стихах, раздавая их своим слушателям. Жан Журне обладает довольно редким достоинством: он убежден в своей правоте; у него есть вера. Приходя в какой-нибудь город, он говорит себе: «Через два часа сей город будет моим» и добавляет с неподражаемым простодушием: «Через два часа город — мой!»

В сколь странный век мы живем! Ныне любой прохожий рискует столкнуться с богом in partibus*, с безработным мессией, с творцом откровений, несущим миру новые варваризмы и небывалые солецизмы.

Список современных богов и пророков занял бы довольно много места. Отец Анфантен отчасти отрекся от этого титула и довольствуется тем, что вдохновляет своего старого и преданного ученика Фелисьена Давида, силой своего взора заставляя зал Итальянской оперы покоряться ему; он затаился на время под личиной весьма сведущего инженера и лишь изредка выдает свое первоначальное звание кое-какими странными выходками. Во

* В странах неверных (*лат.*).

время недавно предпринятой им научной экспедиции в Алжир он увидел исключительно безобразную жабу доселе неизвестного вида, и эта встреча исторгла из его уст знаменательные слова: «Вот что творит *ваш* бог». При этом его полная иронии улыбка явно подразумевала: «Жабы моего производства гораздо лучше».

Как-то раз, в пору расцвета сен-симонизма, мы удостоились чести созерцать на небосводе улицы Монсини сияющий лик творца. То был весьма красивый лик. Творец наложил на нас руки, и мы ощутили (что это было: иллюзия или реальность?), как по нашим волосам пробежали огненные разряды. Фанатизм, который он внушал своим приверженцам, был безграничен, и по сей день падший бог все так же почитается его адептами, хотя ученики его разбрелись в разные стороны.

Мы лишь упомянем бога Коэссена, который в свободное время предавался торговле лампами, таким образом изливая на мир двойной свет.

Бог Шесно является в некотором роде собственностью Альфонса Карра, который правдиво описывает его образ жизни и учение. Этот бог — фабрикант, производящий пуговицы, — обретается в Бурже, на главной военной границе Франции. По-видимому, он сочетает великие мистические идеи с этим стержневым положением. Графический символ бога Шесно — треугольник, вписанный в круг, который находится в кубе.

Одним из самых причудливых творцов откровений, безусловно, является Мапа, которого всякий мог видеть на улицах; его украшением служит рыжая борода, свисающая до пояса; сей бородой можно было бы три раза опоясать стол, как бородой императора Фридриха Барбароссы в пещере Кайзерслаутерна.

Его учение называется «евадизмом»; бог, которого оно проповедует, является гермафродитом, то есть сочетает мужскую и женскую природу, что воплощают Ева и Адам,

слитые воедино в имени Евада. Началом летосчисления, хиджрой этой новой религии является Еда. Ее верховный жрец или мессия зовется Мапа — сложносокращенное слово, образованное от слов «мама» и «папа»; слог «ма» поставлен первым из соображений галантности, а также в порядке субординации, подобно тому как Ева стоит впереди Адама в слове Евада, ибо, согласно этой вере, женское начало благороднее мужского.

Мапа распространяет свою религию посредством пестрых афиш с собственными именами, объединенными самым удивительным образом, и с помощью таинственных колдовских книг, заимствованных у всевозможных тайных учений.

Поначалу он пользовался фигурками и группами фигурок, отлитых из гипса и раскрашенных киноварью, но этот способ распространения идей оказался сложным и дорогостоящим, и он ограничился обычными листками, вырванными из блокнота, за которыми сохранили общее название «гипсовые статуэтки».

Перед нами — одно из объявлений со следующей подписью:

> «С нащего ложа в нашем городе Париже, в великую земную Еду, сегодня, 14 июля 1840 года, в день Рождества народа Франции и Мессии народов;
>
> во имя великого Евада, во имя великого Бога, матери, отца, за Париж, вселенную, откровенность, любовь.
>
> Мапа!
>
> N.B. Он был лишь прахом и ничтожеством; капля любви, упавшая с груди матери, вдохнула в него жизнь и свет».

Картинки, обычно сопровождающие гипсовые статуэтки верховного жреца евадической религии, чем-то напоминают чудовищную мешанину индийских идолов со слоновыми хоботами, многочисленными руками и сросшимися

головами; остается лишь облечь их в гранит и базальт в каком-нибудь подземном храме Элефанты или Эллоры, дабы они по праву могли навевать ученым космогонические мечтания и рассуждения небывалой глубины. Эти картинки отражают евадизм, анимализм, вегетализм и минерализм посредством причудливейших знаков.

Тем не менее при подобной религии Мапа ухитрился приобрести ученика, что само по себе является немалым чудом. Этот ученик издал брошюру, озаглавленную «Ковчег нового завета» и представляющую собой, так сказать, Апокалипсис данного учения. Под этой вещью значится подпись: «Тот, кто был Кайо!» Евадический апостол подразумевал под этим, что он окончательно отрекся от старика и возродился для новой жизни. При том он говорил о себе, намекая на события, происходившие до его обращения в веру, лишь в третьем лице, как о человеке, не имеющем к нему никакого отношения.

Литургия этого культа заключалась в приготовлении мясного жаркого с овощами верховным жрецом и его помощником, согласно ряду предписаний, в присутствии соседей, допущенных к таинству в назидательных целях.

Говорят, что тот, кто был Кайо, вновь стал самим собой. Раскол, возникший в результате споров, развел учителя и ученика. Кайо, вновь ставший собой, принялся скорбеть о периоде своего евадического апостольства, ибо лучше верить в безумную идею, чем ни во что не верить.

Закончим слегка затянувшийся перечень неведомых — или, точнее, непризнанных — «богов» на Товянском, который ввел у нас моду на мессианство и нашел в великом польском поэте Мицкевиче, преподававшем славянскую литературу в Коллеж де Франс, если не апостола и единоверца, то по крайней мере красноречивого распространителя и популяризатора своих идей.

Идеи Товянского в общих чертах отражены на литографии, где мы видим Наполеона в костюме верховного

жреца под покрывалом и с короной авгуров на голове; он держит в руках земной шар, разминая его и деля на части. Последователи мессианства полагают, что Наполеон облечен высшим духовным саном; он является посланником Провидения и даже после своей кончины продолжает управлять землей. Его душа воплотилась в Товянском; это воплощение произошло некоторое время спустя после возвращения праха Наполеона. Приверженцы мессианства считают, что душа великого человека, воспользовавшись вскрытием гроба на острове Святой Елены, последовала за его телом до Дома Инвалидов и выбрала в качестве нового пристанища оболочку Товянского. Прежде чем предпринять что-либо решающее для человечества, Товянский, переполненный этой необъятной душой, которую он с трудом мог удерживать в себе, отправился для одиноких раздумий на поле битвы при Ватерлоо, куда приверженцы мессианства совершают паломничество, чтобы навестить своего пророка и место, которое, как они считают, освящено страстями наполеоновского мессии.

Жалуйтесь же после этого на позитивизм и неверие нашей эпохи! Самые нелепые бредни находят своих приверженцев. Каждый смотрится по утрам в зеркало, глядя, не выросли ли за ночь на его челе сияющие рожки Моисея или Бахуса. При любой мало-мальски шальной мысли, проносящейся в вашей голове, вы спрашиваете себя, не озарение ли это свыше и не следует ли пристегнуть сандалии и обмотать поясницу, собираясь объявить миру сию благую весть. Возгласу поэта: «Кто из нас, кто из нас вскоре станет Богом?» — вторят не одни уста, внимает не одно ухо; эта навязчивая идея являет нам свою смешную сторону, но в ней присутствует и серьезная сторона.

Не нам развивать далее эту мысль; мы и так уже, вероятно, слишком задержались на данной теме. Нас призывает ипподром, не будем же заставлять его ждать...

НАСЛЕДНИКИ ИКАРА

Daedalus interea Creten, longumque perosus Exilium, taetusque soli natalis amore, Clausus erat pelago. — Terras licet, inquit, et undas Obstruat; at certe caelum patet: ibimus illac...[*]

Такими словами Овидий начал историю первой попытки, предпринятой, по его мнению, для того, чтобы подняться в небо. Построив лабиринт, Дедал и его сын стали тосковать на острове Крите, царь которого хотел удержать их у себя; отрезанные от своей родной Сицилии морем, они сказали друг другу: «Суша и волны преграждают нам путь... но небо открыто: мы пойдем этой дорогой!»

Но тогда ли на самом деле зародилось воздухоплавание? Библия рассказывает нам, что Илия поднялся в небо на огненной колеснице, но это следует расценивать как чудо. Вернемся к всемирному потопу. Известно, что в предшествовавший ему период дети Тувала-Каина совершили столько необычайных открытий, что уподобились богам (*элохим*). Господин де Ламартин, взяв за основу одно из преданий Талмуда, посвятил прекрасные стихи изобретению, весьма схожему с интересующим нас открытием.

[*] Дедал, наскучив меж тем изгнанием долгим на Крите, Страстно влекомый назад любовью к родимым пределам, Замкнутый морем, сказал: «Пусть земли и воды преградою Встали, зато небеса — свободны, по ним понесемся!» (*Овидий.* Метаморфозы. VIII. 183—186. Пер. С. Шервинского. *Ред.*).

Нет смысла приводить здесь отрывок из этого произведения. Господин де Ламартин описал в двадцати александрийских строфах летательный аппарат, состоящий из огромного воздушного насоса, опирающегося на аэростат; насоса, который путем всасывания и отсасывания надувает парус, позволяющий машине двигаться даже против ветра благодаря большой силе, сообщаемой ему насосом. Он изображает человека, который управляет аэростатом, восседая на этих *двойных мехах*. Возможно, из-за поэтической формы описание аппарата лишилось точности, но, тем не менее, дает о нем представление.

Некоторые отважные авторы предположили, что боги-олимпийцы, обитавшие на вершинах Иды, Олимпа и Парнаса, почти как знатные феодалы средневековья, строившие свои замки на горах, придумали, как спускаться с этих высот при помощи летательных аппаратов, приводя невежественных горцев в изумление. Греческие и латинские поэты даже подробно описали эти механизмы, упоминая то о крыльях, то о легких колесницах, запряженных птицами.

Существуют точные описания, изложение которых заняло бы слишком много места; они указывают, что фессалийские женщины, которых зачастую обвиняли в колдовстве, спускались с гор на аппаратах, состоявших из двух наполненных паром воздушных шаров, находившихся у них за спиной, подобно тому как неумелые пловцы держатся на воде благодаря наполненному воздухом пузырю.

Симон-волхв также придумал способ для воздушных полетов, но святой Петр воспротивился колдовству, и Симон, упав на землю, разбился.

Возможно, конь Пегас летал на манер лошади господина Пуатевена.

Все читали в сказках «Тысячи и одной ночи» описание сундука, изобретенного неким мусульманином, который на

этом аппарате летает в гости к дочери персидского шаха. Она принимает его за Мухаммеда и в конце концов знакомит со своим отцом, который доволен таким женихом для дочери.

В день свадьбы мусульманин собирается поразить народ своим появлением; к несчастью, в сундук попадает петарда, он сгорает, и злополучный изобретатель лишается возможности осуществить этот замысел.

Мы слышали о скифе Абарисе, жившем в 563 году до новой эры, который передвигался по воздуху на золотой стреле, подаренной ему Аполлоном, — данный способ смахивает на полет ведьм на шабаш.

Капнобаты, народ Малой Азии, название которого означает «паровые скороходы», изобрели средство, позволяющее подниматься ввысь с помощью нагретого воздуха.

У дикарей Каролины существует предание, как бы предполагающее знакомство с аэростатами; они верят в злых и добрых небесных духов; один из таких духов женского пола, спустившись на землю, чтобы разрешиться от бремени, произвел на свет трех детей.

«Увидев, что земля суха и бесплодна, она усеяла ее цветами, травами, фруктовыми деревьями и населила разумными людьми. Поначалу люди не знали смерти, но некий злой дух, терзавшийся по причине их счастья, отнял его у них. У одного из добрых духов родился сын. Улефат (так звали малыша) узнал о своем божественном происхождении; ему не терпелось увидеть отца, и он взмыл в небо. Но едва он поднялся ввысь, как рухнул на землю. Это падение огорчило его; он горько оплакивал свою злую участь, но все же не отказался от первоначального замысла. Улефат разжег большой костер, во второй раз поднялся в небо с помощью дыма, и вскоре ему удалось насладиться объятиями своего божественного отца». Это скорее напоминает монгольфьеры, чем дротик Абариса.

Теперь дошла очередь до знаменитого голубя Архита, философа-пифагорейца, жившего в Таренте за 360 лет до новой эры. Он придумал воздушного змея для игр молодых жителей Тарента, чьи повседневные забавы казались ему слишком грубыми и опасными. Затем, продолжая свои труды, он смастерил голубя, который летал сам по себе, но если он садился на землю, то не мог больше подняться ввысь. Мы зачислили его в разряд аэростатов из-за следующих слов Авла Геллия: «Ita erat libramentis suspensum et aura spiritus inclusa atque occulta concitum»*.

Наша уверенность подкреплена мнением Скалигера, споривше го с Карданом и советовавшего создать голубя, подобного голубю Архита: «Vesiculis amicta aut pelliculibus quibus auri bracteatores aut foliatores utuntur»**.

Преподобный Лоретто Лауро, немало рассуждавший о голубе Архита, высказал следующее предположение, которое вплотную приближается к открытию Монгольфьера: «Если положить на солнце пустые яйца, наполнить их утренней росой и хорошенько закупорить, то они поднимутся в воздух и будут держаться там некоторое время. Если же выбрать яйца самых больших лебедей или сшить мешки из очень тонкой кожи, наполнить их селитрой, чистой серой, ртутью либо подобным же веществом, которое разжижается под действием тепла, снабдив их перьями, *придав им внешний вид голубей,* и выставить их на солнце, эти искусственные голуби, возможно, последуют примеру настоящих птиц. Если вы хотите, чтобы голубь был большим и тяжелым, воспользуйтесь огнем (adhibeamus ignem***)». Но каким образом и для чего? Отец Лоретто об этом умалчивает.

---

* Итак, он удерживался в воздухе противовесами и был заполнен заключенными внутри неведомыми парами (*лат.*).

** Он был обтянут оболочками пузырей или кожицами, которыми пользуются изготовители золотых блесток и золотой фольги (*лат.*).

*** Добавим огня (*лат.*).

Говорят, что в XV веке у Архита появился соперник — астроном из Франконии Иоганн Мюллер по прозвищу Regiomontanus*, так как он родился в Кёнигсберге («королевская гора»). По словам его биографа Гассенди, он смастерил летающую железную муху и орла, парившего над головой императора.

В эпоху императора Мануэля Комнгена, то есть в XII веке, в Константинополе жил «некий сарацин, который сначала прослыл магом, а впоследствии был признан сумасшедшим. Этот обманщик-сарацин, говорится в „Истории Константинополя" господина Кузена, поднялся однажды на башню ипподрома и стал хвастаться, что пролетит по воздуху через весь манеж. Он стоял на башне в белой, очень длинной и широкой мантии, полы которой, приподнятые с помощью ивовых веток, должны были служить ему парусом, помогая при встречном ветре. Не было ни одного человека, кто бы не устремлял на него взор и то и дело не кричал ему: „Лети, лети, сарацин, и не держи нас так долго в неведении, определяя силу ветра". Присутствовавший там император отговаривал его от этой тщетной и опасной затеи». А турецкий султан, находившийся в это время в Константинополе и также наблюдавший за экспериментом, был охвачен и страхом, и надеждой одновременно; ему хотелось, чтобы сарацин добился успеха, и в то же время он опасался, что тот бесславно погибнет. «Сарацин время от времени протягивал руки навстречу ветру; наконец, сочтя его благоприятным, он взмыл в небо как птица, но его полет был столь же злополучным, как и полет Икара, ибо искусственные крылья, удерживавшие его в воздухе, не смогли справиться с весом тела, увлекавшим его вниз; он разбился, и неудача его была столь велика, что никто его не жалел».

* Королевская гора (*лат.*).

«В XV веке некий человек по имени Джованни-Батиста Данте открыл секрет воздушных полетов на небывалой высоте. Правда, как-то раз рычаг, с помощью которого он управлял одним из крыльев, сломался, и он упал на церковь Божьей Матери Перуджийской, но отделался сломанным бедром. В результате этого несчастного случая он получил место заведующего кафедрой математики в Венеции, где и скончался в возрасте сорока лет» («Физический словарь» о. Польяна. Статья «Данте»).

Сирано де Бержерак, этот остроумный и изобретательный юморист, питавший интерес к физике, описывает в так называемом *макароническом* стиле, подражая итальянцам, машину, которую он придумал: «Вот как я воспарил в небо. Я обвязал себя множеством склянок, наполненных росой, которые солнце столь неистово разило своими лучами, что жар, увлекавший их за собой ввысь, подобно тому, как он образует тяжеленные тучи, поднял меня, да так высоко, что я в конце концов оказался над средней областью неба; однако эта сила притяжения заставляла меня подниматься слишком быстро, и вместо того, чтобы приближаться к луне, как я рассчитывал, мне показалось, что она стала от меня еще дальше, чем при отлете; я разбивал свои склянки до тех пор, пока не почувствовал, что моя тяжесть превзошла силу притяжения и я спускаюсь на землю; мое суждение не было ложным, ибо некоторое время спустя я упал».

В своем романе «Государства и империи Солнца» он описывает другую машину, именуя ее «деревянной птицей».

Свифт, человек с таким же складом ума, описал некий остров, под названием Лапута, который, парит в воздухе благодаря использованию силы электричества.

Англичанин Пьер Уилкинс написал книгу под названием «Летающие люди». Ретиф де ля Бретон последовал его примеру; всем известны его гравюры с изображением ге-

роя по имени Викторен, взмывающего в небо на крыльях летучей мыши, которые поднимаются и опускаются при помощи некоего механизма, унося изобретателя в неведомые края.

Согласно преданию, в эпоху Людовика XIV жил канатный плясун по имени Аллар, который хвастался своим умением летать. Двор находился тогда в Сен-Жермен-ан-Лэ. Аллар избрал местный театр в качестве места для своего эксперимента. Надев крылья, строение которых мне неизвестно, он прыгнул в присутствии короля и придворных с плоской крыши Сен-Жерменского театра, намереваясь приземлиться в одном из намеченных им уголков леса, но упал раньше и сильно расшибся.

«Оливер из Мальмесбери, английский ученый монах-бенедиктинец и отличный механик, ринулся с высоты одной из башен, но крылья, которые он привязал к своим рукам и ногам, позволили ему пролететь лишь около ста двадцати шагов; при падении он переломал ноги и умер в Мальмесбери в 1060 году».

Иезуит Пьетро Лана в своей книге «Prodromo d'ell arte maestra»*, изданной в 1670 году в Брешии, описывает летающую ладью, подвешенную к четырем шарам, состоявшим из тонких металлических пластинок, из которых откачивали воздух, чтобы они стали легче равновеликой массы атмосферного воздуха. Француз по имени Беснье опубликовал в 1676 году в «Ученой газете» описание «летательной машины». Неаполитанский врач Борелли в книге «De motu animalium»** доказывал, что с точки зрения анатомии сложные движения, производимые при прыжках и беге, свидетельствуют о том, что человек обладает достаточной мускульной силой, чтобы подниматься в воздух подобно птицам.

* Предвестник главного искусства (*итал.*).

** О движении животных (*лат.*).

Но то не была еще подлинная теория воздухоплавания, которую открыл и даже применил на практике португальский физик Гусман. Во время публичного эксперимента, проделанного в Лиссабоне в 1736 году в присутствии короля Хуана V, он поднялся в небо в корзине из ивовых прутьев, накрытой бумагой. Под машиной был разведен костер; однако, оказавшись на уровне крыш, корзина налетела на карниз королевского дворца, была повреждена и упала. Тем не менее посадка оказалась довольно мягкой, и Гусман остался цел и невредим. Восторженные зрители наградили его титулом «Овоадор» (летающий человек). Воодушевленный полууспехом, ученый собирался возобновить испытания, но вскоре его арестовали как колдуна по приказу инквизиции. Несчастный воздухоплаватель был брошен в застенок и вышел оттуда лишь для того, чтобы взойти на костер, не дождавшись заступничества всесильного короля. Его неизменно путают с преподобным Бартоломео Луренсо, чье изобретение было совершенно непригодно на практике, но тем не менее удостоилось пенсии португальского короля в размере трех тысяч семисот пятидесяти ливров.

До нас дошли лишь жалкие наброски трудов этого предшественника Монгольфьера, тем не менее получивших бóльшую огласку, чем деяние бедного лиссабонского монаха. Монах-доминиканец из Авиньона Жозеф Гальен издал в 1757 году книгу «Искусство летать по воздуху». Он полагает, что воздух делится на два соприкасающихся между собой горизонтальных слоя, которые становятся все более тонкими по мере удаления от земли. «Итак, — говорит он, — корабль держится на воде благодаря тому, что наполнен воздухом, а воздух легче воды; предположим, что верхние и нижние слои воздуха отличаются друг от друга по весу, как воздух и вода; представим также корабль, киль которого находится в нижнем слое воздуха, а корпус — в верхнем, бо-

лее легком слое: с этим кораблем произойдет то же, что и с судном, погруженным в воду».

Преподобный Жозеф Гальен добавляет, что в тех областях атмосферы, где образуется град, воздух разделен на два слоя, один из которых вдвое тяжелее другого. Следовательно, направив корабль в область града и подняв его борта на восемьдесят три туаза (!) выше, в верхний слой, который в два раза легче нижнего, можно превосходно летать. Однако очень важно, чтобы края воздушного судна возвышались над слоем града именно на восемьдесят три туаза; иначе при движении корабля в него может проникнуть тяжелый воздух, и воздушное судно рухнет.

Каким же образом доставить корабль в область града? Преподобный Жозеф Гальен не освещает этот второстепенный вопрос, но зато дает весьма подробные разъяснения относительно размера и строения корабля.

«Таким образом, — говорит отец Гальен, — мы подошли к вопросу строения нашего корабля, предназначенного для воздухоплавания и, если угодно, для перевозки многочисленной армии со всем ее воинским снаряжением и съестными припасами в сердце Африки либо в другие неизведанные области: для этого нужно придать ему большую емкость. Мы сделаем этот корабль из прочного и толстого двойного полотна, покрытого воском и смолой, обшитого кожей и укрепленного кое-где веревками и даже канатами, в тех местах, где это потребуется, внутри либо снаружи; таким образом, вес корпуса такого корабля, не считая тяжести груза, будет составлять примерно по два центнера на квадратный туаз».

Форма корабля вызывает у него сомнение: будет ли это шар, куб или что-то другое? Наконец он выбирает куб, который уводит его на тысячу туаз в сторону: «Корабль будет длиннее и шире города Авиньона, высота его будет подобна громадной горе». Примерно в десять раз больше, чем

Ноев ковчег! Что и говорить, отец Гальен считает безупречно и с величайшей точностью! Что касается груза, то его тяжесть составит пятьдесят восемь миллионов центнеров, что более чем в пятьдесят четыре раза превышает приблизительный вес ковчега, включая всех находившихся на нем животных и запасы продовольствия на год.

Понятно, что подобный корабль вместит огромное количество пассажиров; посему преподобный Гальен рассчитывает примерно на четыре миллиона человек, каждому из которых он разрешает взять с собой около девяти центнеров багажа.

В числе неудачных опытов можно также упомянуть попытку сира маркиза де Баквиля, особняк которого располагался на углу улицы Святых Отцов и набережной Театинцев. Он объявил, что перелетит через Сену и приземлится в центре сада Тюильри. В назначенный день собралось множество народа, как на набережной Театинцев и набережной Лувра, так и на Новом и Королевском мостах; даже в Тюильри немало людей поджидали его с большим нетерпением. В обещанный час он появился перед народом с крыльями за спиной; видимо, это были настоящие крылья, похожие на те, что приписывают ангелам; их длина соответствовала массе тела, которую им предстояло удерживать в воздухе. Одна из сторон его особняка завершалась галереей; отсюда он и прыгнул. Утверждают, что до середины реки полет протекал удачно, но затем движения воздухоплавателя сделались неуверенными, и он упал в лодку, где сидели прачки.

Он не разбился благодаря длине своих крыльев, но сломал бедро.

Наконец, остается аббат Дефорж, каноник из Сент-Круа, которому не слишком повезло. Это происходило летом 1772 года. Местом эксперимента был избран Этамп; люди сбежались туда со всех окрестностей. Каноник разместился в своей летающей карете и привел ее крылья в дви-

жение. Но зрителям казалось, что чем больше он ими размахивал, тем сильнее его машина жалась к земле, словно желая с ней слиться. Это замечание по поводу давления доказывает, что аппарат каноника двигался в направлении, противоположном тому, которое хотел придать ему изобретатель, и если бы он изменил направление, то, возможно, добился бы какого-то результата.

Последним был Бланшар, но его история всем известна.

Будем же уповать на то, что новое изобретение, испытания которого на ипподроме прошли успешно, наконец-то откроет нам эру завоевания воздуха.

ИЗ КНИГИ

«ДОЧЕРИ ОГНЯ»

ИСИДА

До проведения железной дороги из Неаполя в Резину поездка в Помпею была настоящим путешествием. Нужен целый день, чтобы посетить Геркуланум, Везувий и расположенную на две мили дальше Помпею; часто же случается, что путешественник остается там до следующего дня, чтобы пройти по Помпее ночью, при свете луны, и таким образом получить полную иллюзию.

Тогда в самом деле каждый легко может представить себе, перенесясь за ряд столетий назад, что он вдруг очутился на улицах и площадях заснувшего города; тихая луна подходит, быть может, больше, чем солнечный свет, к этим руинам, которые с первого взгляда не возбуждают ни восхищения, ни удивления и где древность показывается, так сказать, в скромном домашнем виде.

Один из неаполитанских посланников устроил несколько лет тому назад необычный праздник. Добившись от властей всех необходимых разрешений, он нарядил множество людей в античные костюмы; приглашенные присоединились к его плану, надели подобные же костюмы, и целый день и целую ночь они пытались воскресить обычаи древней римской колонии. Понятно, что наука играла большую роль в самой постановке праздника: по улицам проезжали колесницы, в лавках сидели торговцы; в назначенные часы в главных домах собирались на пир компании при-

глашенных. Там Эдил Панса, там Саллюстий, там Юлия Феликс, богатая дочь Скавра, принимали гостей и открывали им внутренние покои. В доме Весталок поселились женщины, укрытые покрывалами; дом Танцовщиц теперь уж не опровергал своих грациозных фресок. В двух театрах предлагались комические и трагические представления; под колоннадами форума праздные граждане обменивались ежедневными новостями, тогда как в открытой базилике на площади слышались резкие голоса адвокатов или жалобы тяжущихся. Во всех местах, где были устроены зрелища, холст и ткани увеличивали эффект праздника, которому могло бы мешать полное отсутствие крыш; но хорошо известно, что, за исключением крыш, все здания сохранились достаточно хорошо, чтобы не помешать впечатлению от этой археологической попытки.

Одним из самых любопытных зрелищ была церемония, разыгранная при заходе солнца в маленьком удивительном храме Исиды, который, может быть, благодаря своей полной целости, кажется самой интересной из всех помпейских развалин.

Было нетрудно восстановить костюмы, необходимые для культа доброй таинственной богини благодаря двум античным картинам в неаполитанском музее, изображающим утреннюю и вечернюю священные службы. Исследование и подготовка главных сцен, которые нужно было передать, породили весьма любопытную работу одного немецкого ученого. Маркиз Г.., директор библиотеки, позволил мне извлечь следующие частности из рукописного тома, где рассказывается о церемониях и учреждении культа Исиды в Помпее. Там есть также интересные данные о тех формах египетского культа, которые он принял ко времени борьбы с рождающейся религией Христа.

II

После смерти Александра Великого две главные религии — откуда уже вышли все другие — культ звезд и культ огня, высшим выражением которого явилось учение Зороастра, сочетались с самым простым идолопоклонством, образуя вместе странное соединение. Религиозные учения Востока и Запада встретились в Эфесе, Антиохии, Александрии и Риме. Новое учение египтян распространилось повсюду с необычайной быстротой. Уже давно идеи и мифы старой теогонии не удовлетворяли больше римлян и греков. Юпитер и Юнона, Аполлон и Диана и все другие обитатели Олимпа еще призывались в молитвах и не потеряли доверия народа. Их алтари дымились в определенные торжественные дни года; их изображения с большой пышностью проносили по улицам; храмы и театры наполнялись в праздники многочисленными зрителями. Но зрители теперь стали чужды всякой религиозности. Даже искусство, служившее для идеального изображения богов, было теперь только утонченным наслаждением чувств. Вследствие чего у небольшого количества верных, еще существовавших на свете, было убеждение, что божество живет только в старых изображениях, неподвижных и наивных по форме и как бы принадлежащих тем самым к древней теогонии. Эта народная вера тщетно противилась усилиям философов и насмешливых скептиков. Божественные и человеческие законы и все то, что простосердечные предки чтили как символ святости, было теперь презираемо и попрано. Но в это время общего разложения человеческая душа только еще сильнее чувствовала бесконечную пустоту, которая пришла в мир, и испытывала тайное желание найти в нем нечто божественное, неизъяснимое. Эта необходимость понималась тысячами пресыщенных умов, и старая поговорка, что там, где цар-

ствует безверие, отворяется дверь к суеверию, была снова подтверждена. Иудейская вера показалась многим людям естественно призванной, чтобы заполнить эту печальную пустоту. Известно, с какой быстротой религия Моисея приобрела себе последователей не только в римской империи, но и за ее пределами.

Однако догматы этой веры не допускали изображений, а для материалистического характера той эпохи нужны были осязательные и говорящие формы. Тогда Египет, отец и хранитель всевозможных чудес и вымыслов в религии, дал удовлетворение всем этим запросам души и чувств. Серапис и Исида пришли на помощь, один — страдающему телу, другая — томящимся душам. Юпитер-Серапис с корзиной плодов на величественной и сияющей голове скоро свергнул в Риме и Греции Юпитера Олимпийского и Капитолийского, вооруженных молниями. Старый Юпитер мог громыхать только у себя на Олимпе, но его громы не шли дальше посвященного ему храма или дерева. Египетский бог, наследник тайн и древних традиций старого культа Аписа и Озириса и всего великолепия греческого Олимпа, не напрасно держал в своей руке ключи Нила и царства теней. Он мог избавить смертных от всех зол и болезней. Этот новый александрийский спаситель действовал своими чудесными исцелениями еще в большей мере, чем когда-то Эскулап, утешитель скорбей в Эпидавре. Почти все большие гавани итальянского моря имели *серапейоны* — так назывались храмы и больницы бога-врачевателя, — с колоннадами и преддвериями, с огромным количеством комнат и зал-купален для больных. Конечно, там употреблялись простые естественные средства, прежде всего вода и массаж, но к ним примешивались магнетизм, сомнамбулизм и всякое другое, чем располагали жрецы, передававшие друг другу свою тайну; все это держалось в глубоком знании людей, и отсюда вышла замеча-

тельная и всесильная медицина. О чудесном могуществе бога свидетельствуют развалины его храма в Поццуоли, в трех милях от Неаполя, на морском берегу Кампании. Обвитые растениями гигантские колонны, совсем заброшенные и окруженные грудами руин, возвещают древнюю славу бога, который под именем Сераписа Дузара давал убежище и исцеление людям, стекавшимся в эту многолюдную приморскую гавань. Превосходная колоннада, перенесенная теперь в замок Казерта, окружала залы и галереи. Там были найдены комнаты для больных и комнаты жрецов и сторожей. По всему морскому берегу, от роскошной бухты Неттуно и до самого юга, есть много мест, находившихся под покровительством всеобщего отца Сераписа.

III

Но возрожденный культ Исиды, казавшийся таким могущественным и пленительным для расслабленных людей той эпохи, действовал главным образом на женщин. Все, что странные церемонии и мистерии Кабиров и богов греческого Элевсина, все, что вакханалии в честь отца Либера и Гебона Кампании и Великой Греции, а также празднества доброй богини Рима предлагали людям, падким не только до чудес, но и до суеверий, — все это было соединено в тайном культе египетской богини, как в подземном канале, собирающем воды многих притоков.

Кроме особых ежемесячных праздников и больших торжеств, каждый день два раза бывала всенародная служба для верующих обоих полов. С первого часа дня богиня была уже на ногах, и тот, кто хотел заслужить ее особую милость, должен был явиться при ее пробуждении на утреннюю молитву. Храм открывался с большой торжествен-

ностью. Главный жрец выходил из святилища в сопровождении своих прислужников. Благоухающий ладан курился на алтаре, слышались нежные звуки флейты. Между тем молящиеся разделялись на два ряда в преддверье, не доходя до первой ступени храма. Голос жреца приглашал к молитве, состоящей из пения псалмов; затем из рядов поклонников раздавались громкие звуки систра Исиды. Часто здесь же происходили пантомимы и символические танцы, изображавшие отдельные картины из истории богини. Сущность служения заключалась в обращении к коленопреклоненному народу, который пел или шептал свои молитвы.

Так, при восходе солнца праздновалось утро богини, а когда кончался день, верующие собирались для вечерних приветствий и пожеланий ей счастливой ночи; была даже особенная формула, составлявшая одну из важных частей литургии, — она начиналась с возвещения самой богине *часа вечернего*.

Древние не располагали устройством, подобным нашим часам, и заменяли, насколько могли, стальные и медные механизмы живыми машинами — рабами, которые выкрикивали время по водяным или солнечным часам; были даже люди, которые по длине тени могли верно определить точный час дня или вечера. Этот обычай выкрикивать часы утвердился и в храмах. В Риме были такие благочестивые люди, которые занимали эту должность при Юпитере Капитолийском. Главным же образом этот обычай применялся при утренней и вечерней службе великой Исиды, и с ним связано самое учреждение ежедневной службы.

IV

Происходило это после полудня, в минуту торжественного закрытия храма, около четырех часов по новому счету времени, а по древнему — после восьмого часа дня. Это было то, что можно назвать le petit coucher* богини. Боги всегда должны были сообразовываться с обычаями и привычками людей. Зевс Гомера ведет на своем Олимпе патриархальную жизнь с женами, сыновьями и дочерьми, живет совершенно так же, как Приам и Арсиной в землях троянцев и феаков. И так же два великих божества Нила, Изида и Серапис, с той минуты, как они поселились в Риме и по морскому берегу Италии, стали сообразовываться с ходом жизни римлян. Еще со времени последних царей в Риме все вставали очень рано, и к первому или второму часу дня все было в движении на площадях, во дворах суда, на рынках. Но потом, к восьмому часу дня (древнего исчисления), или к четвертому пополудни, это движение прекращалось. Все спешили к домашнему отдыху, в термы или к обеду, усталые от общественной жизни под открытым небом. Восьмой час был тогда, как известно, временем обеда не только в Риме, но и во всем древнем мире. Вот почему в это время все храмы были заперты. Еще позже, на торжественной вечерней службе Изиде, ей в последний раз поклонялись с песнопениями и звуками золотого систра.

Почти все части этой вечерней литургии были те же, что и утром, с той только разницей, что литании и гимны под шум систров, флейт и труб пелись псалмистом или певцом, который нес службу гимнода в ранге жреца. В самую торжественную минуту главный жрец, стоя на последней ступени перед алтарем, с двумя служками или пастофорами по обе стороны, поднимал главную святыню культа, сим-

* Отход ко сну (*фр.*).

вол Нила-плодоносца, благословенную воду, и предлагал ее ревностному поклонению верных. Церемония кончалась обрядом обыкновенного отпуста.

Посвящению святейшей богини тысячи качеств и добродетелей предшествовали бесконечные мистические обряды, приуроченные к отдельным дням: омовения, посты, искупление грехов, умерщвление плоти и изможение тела; мужчины и женщины лишь после многих испытаний и жертвоприношений поднимались к богине тремя ступенями. Существование этих мистерий давало возможность для всяких любовных приключений. Для приготовлений и испытаний, часто продолжавшихся много дней, — во время которых ни один муж не смел отказывать ни в чем своей жене и ни один любовник любовнице, из боязни бича Озириса и змей Исиды, — в святилище назначались двусмысленные свидания, прикрытые непроницаемыми покровами посвящения в таинство. Но развращенность была общей чертой всех культов во время их разложения. Те же самые обвинения не раз бывали обращены против таинственных ритуалов и трапез любви у первых христиан. Идея *святой земли,* с которой у всех народов связана память о первых традициях, и *святой воды* для освящения и очищения верных дает превосходное доказательство тому, что надо изучать вместе оба эти культа, из которых один служил переходом к другому.

Всякая вода была сладка для египтян, но в особенности вода из реки, родной Осирису. В годовой праздник вновь обретенного Осириса, после долгих рыданий они кричали: *мы его нашли и мы все радуемся!* Они бросались на землю перед кружкой нильской воды, только что зачерпнутой и принесенной главным жрецом, подымали руки к небу, восхваляя чудо божественного сострадания.

Святая вода Нила, сохраненная в священном сосуде, и на празднике Исиды была самым живым символом отца

живых и мертвых. Исида никогда не могла быть почитаема без Осириса. Верующий верил в действительное присутствие Осириса в воде Нила; и каждую утреннюю и вечернюю службу великий жрец показывал народу *гидрию* — святую чашу — и призывал к поклонению ей. Жрецы всячески старались, ничем не пренебрегая, убедить молящихся в возможности этого божественного пресуществления. Сам прорицатель, как ни была велика святость его сана, не смел касаться голыми руками сосуда, в котором происходила божественная мистерия. Чтобы взять его, он закутывался в тонкую piviale (пелерину) из льна или кисеи, покрывавшую его плечи и руки. Взяв святой сосуд, он нес его, наподобие Климента Александрийского, прижимая к груди. В глазах набожных египтян Нил обладал благодетельным свойством. О нем всегда говорили как об источнике оздоровления и чудес. Существовали сосуды, в которых нильская вода сохранялась множество лет. «У меня в погребе уже четыре года есть нильская вода», — говорил с гордостью египетский купец жителю Константинополя или Неаполя, хвалившемуся своим старым вином Фалерна или Хиоса. Каждый египтянин надеялся, что даже после смерти, в состоянии мумии, ему будет позволено Осирисом утолять жажду священной водой. «Пусть даст тебе Осирис свежей воды!» — говорят эпитафии. Поэтому-то у мумий на груди всегда нарисована чаша.

V

Справа от прорицателя, который нес гидрию, шла женщина, своим нарядом и всеми атрибутами изображавшая богиню Исиду. Исида всегда должна была разделять поклонение, воздаваемое Осирису. Волосы жрицы не были выбриты, как у остальных священнослужителей, а падали длинными и завитыми кольцами.

То, что держала в руках жрица, было очень характерно для изображений Исиды. В правой руке у нее был тот знаменитый инструмент, который греки называли *sistron*, а египтяне *kemkem*. Печаль по случаю смерти Осириса и радость, когда он снова был обретен, были главными чертами египетской религии в период, следующий за покорением Египта персами. Систр Исиды отбивал такт для всех песен печали и радости, которые пелись во время этих больших праздников. Хорошо устроенный систр должен был состоять, в память четырех стихий, из четырех пластинок. Можно думать, что систр всегда напоминал о смерти и воскресении Осириса. В левой руке жрица держала лейку — знак плодородия, которое Нил давал земле. Исида черпала из Нила воду для нужд культа и для плодородия земли. И если Осирис — сила воды, Исида — сила земли и начало плодородия.

Священник, который пел гимны и молитвы, — главный певец — пользовался чрезвычайным уважением. Он стоял на нижней ступени храма, среди двойного ряда народа и управлял богослужением при помощи жезла. Греки называли этого литурга или главного жреца культа Исиды певцом и певцом гимнов (*odos, hymnodos*). Он напоминал рапсодов, которые пели с лавровыми ветками в руках. Апулей во многих местах говорит о флейтах и трубах, которые в церемониях Исиды и Осириса переходили от жалостных тонов к радостным и приводили присутствующих в соответствующее состояние духа; изобретение этих флейт приписывалось Осирису.

Второе лицо, которым заканчивался ряд верных с другой стороны, носило одежду, похожую на одежду жрецов Исиды низшего чина, у него была выбритая голова и повязка вокруг бедер. В руке он держал один из самых древних египетских символов — крест с кольцом наверху (*crux ansata*). Ученый Дону нашел целый ряд изображений такого креста в храме Филе.

Само собой разумеется, что здесь никогда не приносили кровавых жертв и что пламя алтаря никогда не пожирало трепещущего тела. Исида, начало жизни и всего живущего, презирала кровавые жертвы. Для нее проливалась только вода священной реки и молоко; для нее воскурялся ладан и другие благовония.

В храме все имело большое значение; нечетное число ступеней, на которых возвышалась капелла, также несло в себе мистический смысл. Египетский жрец старался окружить себя воспоминаниями священной земли Нила и при помощи растений и животных Египта перенести последователей этой новой религии в те земли, где она родилась. И вовсе не случайно были посажены две пальмы по обе стороны благоухающей рощи, которая окружала храм; потому что пальма, каждый месяц пускающая новые ветви, была символом могущества великих богов. Отсюда — носители пальмовых веток, шедшие в процессиях, о которых сделано упоминание в знаменитой Розеттской надписи.

В конце церемонии, по описанию Апулея, один из жрецов произносил обычную формулу: «Отпуст народу!», превратившуюся в христианскую формулу: «Ite, missa est»; и на это народ отвечал своим обычным прощанием с богиней: «Будь здорова!» или: «Да сохранится твое здоровье!».

VI

Каждый путешественник должен бояться испортить первое впечатление от знаменитых мест предварительным знакомством с ним по книгам. Я посетил Восток со смутным уже воспоминанием о моем классическом образовании. По возвращении из Египта Неаполь стал для меня местом отдыха и изучения; драгоценные хранилища его библиотек и музеев помогали мне разобраться в гипотезах,

которые образовались в моем уме при виде стольких таинственных и немых развалин. Может быть я обязан славной памяти Александрии, Фив и пирамид тем почти религиозным впечатлением, которое теперь доставил мне вид храма Исиды в Помпее. Я оставил моих спутников восторгаться во всех деталях домом Диомеда и, укрывшись от внимания сторожей, пустился наугад по улицам древнего города, избегая попадавшихся по дороге инвалидов, которые издали спрашивали меня, куда я иду, мало интересуясь тем, какое имя подыскала наука для того или другого здания. Разве драгоманы и арабы не достаточно уже испортили мне впечатления от пирамид, чтобы подвергнуться еще тирании неаполитанских *ciceroni*? Я направился по Дороге гробниц, зная, что, пройдя несколько шагов по этой улице, вымощенной туфом, где видна еще глубокая колея античных колес, я найду храм в виде египетской башни, построенный на краю города, около театра трагедии.

В то время как храмы, посвященные греческим и римским богам, поражали мой взор своей внушительной массой и многочисленными колоннами, *Iseum*, святилище Исиды, показался мне потерянным среди частных домов. Я вошел в ограду через низкую дверь и там понял, что, вне всякого сомнения, две античные картины, которые я видел в музее и которые изображали церемонии культа Исиды, вполне соответствовали архитектуре памятника, бывшего перед моими глазами. То был узкий двор, когда-то окруженный решеткой; на нем стояло несколько колонн и два алтаря, справа и слева, из них последний хорошо сохранился; в глубине стояла античная *целла*, подымающаяся на семь ступеней, покрытых прежде паросским мрамором.

Восемь колонн дорического ордера, без базы, поддерживали боковые стороны храма, а десять других — фронтон; вокруг шел закрытый портик, ограда же была открыта

согласно архитектурному типу, называемому *hypoetron*. Святилище имеет форму маленькой квадратной часовни, крытой черепицей; в ней было три ниши для изображений египетской троицы; на двух алтарях, помещенных в глубине святилища, лежали таблицы Исиды, одна из которых сохранилась. На пьедестале главной статуи богини, стоявшей в центре внутреннего нефа, сохранилась надпись, гласящая, что L. C. Phoebus воздвигнул ее на этом месте по повелению декуриона.

Около левого алтаря, во дворе, была маленькая ниша, предназначенная для очищения; несколько барельефов украшало ее стены. Две вазы с очистительной водой стояли при входе, у внутренней двери, как наши кропильницы в церкви. Гипсовые рельефы с изображением пасторальных сцен, растений и животных Египта — священной земли для этого культа украшали храм внутри.

В неаполитанском музее я уже восхищался всеми богатствами, которые извлекли из этого храма. Там есть лампы, чаши, кадила, сосуды, кропильницы, митры и блестящие посохи жрецов, систры, рожки и цимбалы, позолоченная Венера, Бахус, гермы, кресла из серебра и из слоновой кости, базальтовые статуэтки, мозаичные полы, украшенные надписями и эмблемами. Большая часть этих драгоценных вещей, указывающих на богатство храма, была найдена в особой комнате, уединенно расположенной позади святилища. Чтобы попасть туда, надо было пройти пять дверей. Маленький продолговатый дворик ведет теперь к этой комнате, содержавшей священные церковные украшения. Слева от храма находилось жилище священников Изиды, состоящее из трех комнат; в ограде нашли много трупов этих жрецов, заставляющих предполагать, что их религия запрещала покидать святилище даже в смертный час.

Из всей Помпеи этот храм лучше всего сохранился, потому что он являлся самым новым памятником в ту эпо-

ху, когда город был погребен. За несколько лет перед тем старый храм Исиды был разрушен землетрясением, и на его месте выстроен тот, который мы видим теперь. Я не знаю, была ли именно здесь найдена хотя бы одна из трех статуй Исиды неаполитанского музея, которыми я восхищался накануне. Присоединив к ним воспоминание о двух античных картинах, я сумел мысленно воссоздать всю сцену вечерней церемонии культа Исиды.

Как раз в это время солнце начало опускаться за Капри, и луна медленно поднялась со стороны Везувия, покрытого легкой завесой дыма. Я сел на камень, созерцая два светила, которым некогда поклонялись в этом храме под видом Осириса и Исиды, мистически истолковывая различные их изменения. Меня охватило сильное волнение. Дитя века, скорее только скептического, чем определенно неверующего и колеблющегося между двумя противоположными воспитаниями, между воспитанием все отрицающей революции и ее реакции, пытающейся вернуть единство христианских верований, — могу ли я так же во всё поверить, как могли наши отцы-философы все отрицать? Я думал о великолепном вступлении Вольнея к его «Развалинам», где он заставляет появиться гения прошлого на остатках Пальмиры и пользуется талантом только для того, чтобы одно за другим разрушить все разнообразие религиозных традиций человеческого рода! Так был отвергнут усилиями новейшего разума сам Христос, последний пророк, который во имя еще более высокого разума когда-то опустошил небеса. О природа! О вечная мать! Это ли, поистине, было суждено последнему из твоих божественных сыновей? Неужели смертные дошли до того, что отвергают всякую надежду, всякий авторитет, приподымая твое священное покрывало, богиня Саиса! Неужели самый смелый из твоих последователей оказался лицом к лицу только с образом смерти?

Если постепенное падение верований привело к такому результату, разве не было бы утешительнее впасть в противоположную крайность и попытаться возвратить все иллюзии прошлого?

VII

По-видимому, в последние годы существования язычество укреплялось в сознании своего египетского происхождения и все более и более старалось вернуть изначальное единство различным мифологическим концепциям. Та вечная Природа, которую Лукреций призывал под именем Венеры Небесной, была названа Кибелой — Юманом, Уранией или Церерой — Плотином, Проклом и Порфирием. Апулей давал ей все эти имена, охотнее называя ее Исидой; это имя повторяло все другие ее имена; это была царица неба с различными атрибутами, с меняющимся ликом! Она являлась ему одетая по-египетски, но лишенная твердой походки, тесных повязок и наивных форм архаического времени.

Густые и длинные волосы, завитые на концах, рассыпались по ее божественным плечам, разноцветная корона украшала ее голову, и посеребренная луна блестела у нее на лбу; на обоих плечах вились змеи между золотыми колосьями; цвет ее одежды переливался, сообразно движению ее складок, от самого чистого белого к желтому, шафрановому или красному, как пламя. Ее темный плащ был усеян звездами и окружен светлой бахромой; в правой руке богиня держала систр, издающий чистый звон, в левой — золотую вазу в виде ладьи.

Такой, дышащей ароматами счастливой Аравии, она явилась Луцию и сказала ему:

«Меня тронули твои молитвы; я мать природы, царица стихий, первый источник веков, величайшее из божеств,

царица усопших душ. Я соединила в себе богов и богинь, я та, которой вселенная поклонялась под тысячью форм, как единственному и всемогущему божеству. Во Фригии меня называли Кибелой, в Афинах — Минервой, на Кипре — Дианой, в Сицилии — Прозерпиной, в Элевсине — древней Церерой; а иногда Юноной, Беллоной, Гекатой или Немезидой; что же касается египтян, которые предшествовали в науках всем другим народам, то они воздавали мне почести под моим истинным именем богини Исиды».

«Помни, — говорила она Луцию, показав ему, как избежать колдовства, жертвой которого он невольно сделался, — что ты должен посвятить мне остаток твоей жизни; и даже когда ты вступишь на темный берег, ты все еще не перестанешь боготворить меня, будешь ли ты во мраке Ахерона или в Елисейских полях; и если ты, исполняя мой завет и живя в ненарушимом целомудрии, будешь достоин меня, то узнаешь тогда, что я одна могу продолжить жизнь твоего духа сверх назначенных границ».

Произнеся эти слова, непобедимая богиня исчезла, укрывшись в *свою собственную неизмеримость.*

Конечно, если бы язычество всегда являло столь чистую концепцию Божества, религиозные представления старой египетской земли об Исиде сохранились бы еще в том же виде и среди новой цивилизации. Но разве не замечательно, что первые проблески христианства также пришли к нам из Египта? Орфей и Моисей оба были посвящены в мистерии Исиды, и оба принесли в мир высокие истины, которые потом мало-помалу были изменены или совершенно искажены разницей нравов, языков и течением времени. Кажется, что теперь сам католицизм претерпевает эволюцию, подобную той, которая свершалась в последние годы политеизма. В Италии, Польше, Испании, у всех народов, самым искренним образом привязанных к римской церкви, не превратилась ли преданность Деве в своего рода

исключительный культ? Разве не подобна Исиде эта вечно святая Мать, держащая в руках Младенца Спасителя, который владычествует над умами и своим явлением производит чудеса, подобные чуду, случившемуся с героем Апулея? У Исиды нет ни ребенка на руках, ни креста, как у Девы; но ей посвящен тот же зодиакальный знак, тот же лунный серп блещет под ногами; тот же нимб горит вокруг головы. О тысяче аналогичных подробностей в церемониях было сказано выше. И даже чувство целомудрия тоже было в культе Исиды, пока он оставался чистым и учреждения его были подобны монастырям и братствам. Я, конечно, не стану делать из всех этих сходств тех же заключений, что Вольней и Дюпюи. Напротив, разве не должно казаться даже философу, а не только богослову, что во всех разумных культах была известная часть Божественного Откровения? Древнее христианство призывало сивилл и вовсе не отвергало свидетельства последних оракулов Дельф. Новая догматика, быть может, еще заставит согласоваться между собой религиозные свидетельства разных времен. О, если бы можно было оправдать и вырвать из вечных проклятий героев и мудрецов древности!

Я далек от мысли соединить все эти частности для того, чтобы доказать, что христианская религия много заимствовала у последних форм язычества: этого никто не отрицает. Всякая религия, которая следует за другой, еще долго чтит отдельные обычаи и формы прежнего культа, только приведя их в гармонию со своими собственными догматами. Так древняя теогония египтян и пеласгов была лишь изменена и перелицована у греков и украшена новыми именами и атрибутами. Позже, в той религиозной фазе, которую мы описали, Серапис, бывший уже превращением Осириса, в свою очередь превратился в Юпитера; Исида, чтобы войти в греческий миф, приняла имя Ио. Но сколько уподоблений нашло бы и христианство в этих превращениях

различных догм? Оставим в стороне *крест* Сераписа и пребывание в аду этого бога, который *судит души. Искупитель* обещан земле, и это давно уже предчувствовали поэты и оракулы: не он ли это дитя Горус, выкормленный молоком божественной матери, который будет *Словом* (logos) будущих времен? Или это Иакх Элевсинских мистерий, уже взрослый и сошедший с рук богини Деметры? Разве безумна мысль соединить все эти разные образы одной и той же идеи, разве не существовала всегда эта удивительная теогоническая система, давшая для почитания людям небесную мать, дитя которой — надежда мира?

Что значат крики отчаяния и радости, это небесное пение, эти веющие пальмовые ветви, эти святые хлебы, которыми наделяют верующих в определенные дни года? Это значит, что дитя-спаситель родился когда-то в это самое время. А что значат в другие дни плач и похоронное пение и поиски тела бога убитого и окровавленного, когда стенания разносятся от берегов Нила до берегов Финикии, с высот Ливана до равнин, где была когда-то Троя? Почему тот, кого ищут и оплакивают, называется в одном месте Осирисом, в другом Адонисом, в третьем Атисом? И почему другой вопль, идущий из глубин Азии, также ищет в таинственных гротах останки бога, принесенного в жертву? Обожествленная женщина, мать, жена и возлюбленная омывает своими слезами его кровавое и обезображенное тело — жертву злого начала, восторжествовавшего в миг его смерти, но которое рано или поздно будет побеждено! Небесная жертва изображалась в мраморе или воске, с окровавленным телом и живыми ранами, к которым верующие набожно прикладывались. На третий день все меняется: тело исчезло, бессмертный восстал; плач сменяется радостью, вновь родилась надежда на земле; это праздник возобновления молодости и весны.

Этот восточный культ был по отношению к греческой мифологии в одно и то же время и более ранним и более

поздним, и он отнял понемногу власть у богов Гомера. Мифологическое небо сияло слишком чистым светом, оно было слишком красиво, спокойно и светло, оно дышало счастьем, изобилием и ясностью, одним словом, оно подходило к взглядам счастливых людей, богатых народов, победителей. Оно не могло внушить стойкого благоговения миру встревоженному и страдающему. Греки заставили его торжествовать победу в борьбе почти космогонической, которую воспел Гомер, а после того сила и слава богов была воплощена в судьбе Рима; но скорбь и дух возмездия были в душе остального мира, который больше не хотел предаться ничему, кроме религии отчаяния. С другой стороны, философия понемногу исполнила работу сплочения и духовного единения. И вот дело, о котором только мечтали, совершилось в действительности. Божественная Мать и Спаситель, бывшие до сих пор лишь пророческими видениями, краткими сполохами на разных концах мира, явились наконец как великий день, сменивший смутные проблески зари.

СИЛЬВИЯ

I

ПОТЕРЯННАЯ НОЧЬ

Я вышел из театра, где каждый вечер появлялся в обличье воздыхателя. Иногда этот театр бывал полон, иногда пуст. Мне было все равно, останавливать ли взгляд на партере, где со скучающим видом сидело около тридцати поклонников, на ложах, усеянных чепцами и вышедшими из моды нарядами, — или же быть частью живого и волнующегося зала, украшенного во всех своих ярусах свежими туалетами, сверкающими драгоценностями и веселыми лицами. Относясь безразлично к созерцанию зала, я так же мало интересовался самой сценой, пока, во втором или третьем действии скучного шедевра того времени, хорошо знакомое мне явление не освещало пустого пространства, одним своим вздохом, одним словом наделяя жизнью окружавшие меня праздные фигуры.

Я чувствовал, что живу в ней, и она живет для меня одного. Ее улыбка наполняла меня бесконечным блаженством; колебание ее голоса, такого нежного и вместе с тем звучного, заставляло трепетать от радости и любви. Казалось, она была само совершенство; она отвечала всем моим требованиям, всем восторгам, всем капризам, — прекрасная, как день, при огнях рампы, освещающей ее снизу; бледная, как ночь, когда опущенная рампа позволяла освещать ее сверху лучам люстры, и она казалась тогда даже еще естественнее, сверкая в тени одной своей красотой, как божественные Оры со звездами на лбу, выделяющиеся на темном фоне фресок Геркуланума!

За целый год я не и подумал справиться, кем она была вне театра; я боялся замутить магическое зеркало, доставлявшее мне ее изображение, — и, самое большее, выслушивал иной раз злословие, касавшееся ее не как актрисы, а как женщины. Я так же мало верил этому, как слухам, которые могут ходить об Элидской царице или Трапезундской королеве. Мой дядя, живший в предпоследние годы восемнадцатого века так, как нужно было жить, чтобы хорошо его знать, давно уже предупредил меня, что актрисы не женщины, и что природа забыла дать им сердце. Несомненно, он говорил это про актрис своего времени; но он рассказывал мне столько историй своих разочарований, своих обольщений, он показывал столько портретов на слоновой кости, прелестных медальонов, которыми он украшал свои табакерки, столько пожелтевших записок, столько увядших знаков благосклонности, попутно сообщая их историю и подводя их итоги, что я привык плохо думать обо всех актрисах, не считаясь с различием времен.

Мы жили тогда в странную эпоху, какие обыкновенно следуют за революциями или падениями великих государств. То не было больше ни героическое волокитство Фронды, ни изящный и приукрашенный порок Регентства, ни скептицизм и безумные оргии Директории; это была смесь активности, колебания, лени, блестящих утопий, философских и религиозных исканий, неопределенной восторженности вкупе с некоторой тягой к возрождению, тоской по прошлым распрям и смутными надеждами; то была как бы ожившая эпоха Перегрина и Апулея. Человек снова мечтал о букете роз, который должен был возродить его руками прекрасной Исиды; вечно молодая и чистая богиня являлась нам ночью и заставляла нас стыдиться потерянных дней. Честолюбие, тем не менее, не было принадлежностью нашего времени, и повальное расхищение положений и почестей отдаляло нас от возможного круга деятельности. Единственным убежищем оставалась для нас пресловутая

башня из слоновой кости, на которую мы взбирались, чтобы отделиться от толпы. На тех высотах, куда нас вели наши учителя, мы вдыхали, наконец, чистый воздух уединения, мы пили забытье из золотой чаши легенд, мы были пьяны поэзией и любовью. Любовь, увы! Это были только неясные формы, розовые и голубые цвета, метафизические призраки! Увиденная вблизи, реальная женщина оскорбляла нас; надо было, чтобы она явилась нам королевой или богиней; главное, не нужно было к ней приближаться.

Некоторые из нас, тем не менее, мало ценили эти платонические парадоксы, и среди наших возобновленных мечтаний об Александрии взмахивали иногда факелом подземных богов, который на одно мгновенье оставлял свой сверкающий след во мраке. И теперь, выходя из театра с горькой печалью, оставшейся от исчезнувшего сна, я охотно присоединился к друзьям, отправившимся ужинать в большом обществе, в котором всякая меланхолия должна была бы забыться перед неисчерпаемой даровитостью некоторых блестящих умов, живых, бурных, порой даже высоких, — таких, какие всегда являлись в эпохи обновления или в эпохи упадка. В этом обществе споры часто разгорались до такой степени, что самые робкие из нас подбегали к окнам и смотрели, не явились ли, наконец, гунны, турки или казаки, чтобы прекратить речи этих риторов и софистов.

«Пить, любить — вот наша мудрость!» Таково было единственное мнение наиболее молодых. Один из них сказал мне: «Вот уже давно я встречаю тебя в одном и том же театре каждый раз, как бываю там. Для *которой* ты туда ходишь?»

Для которой?.. Мне казалось, что туда нельзя было ходить для *другой*. Впрочем, я назвал ее имя. «Э! — сказал мой друг снисходительно, — посмотри на того, кто счастливее тебя; он только что проводил ее и, верный законам нашего общества, пойдет к ней, может быть, только под утро».

Без особого волнения я перевел глаза на молодого человека, строго одетого, с бледным нервным лицом; у него были хорошие манеры и мягкий меланхоличный взгляд. Он бросал золото на стол, играя в вист и проигрывая с полным равнодушием. «Не все ли мне равно, — сказал я, — он или кто другой? Кто-нибудь должен же быть, и он, мне кажется, достоин ее выбора». — «А ты?» — «Я? Я преследую только видение, ничего более».

Проходя через зал для чтения, я машинально взял газету и стал ее просматривать, чтобы увидеть биржевой курс. Довольно большая сумма моих денег была вложена в иностранные акции. Прошел слух, что, стоя долгое время низко, они снова поднялись после перемены министерства. Бумаги эти были помечены в газете очень высоким курсом; я стал богат.

Перемена положения вызвала у меня единственную мысль: женщина, которую я любил, будет моей, если я этого захочу. Мне было рукой подать до моего идеала. Но не было ли это известие только иллюзией, обидной ошибкой? Другие газеты говорили то же самое. Выигранная сумма высилась передо мной, как золотая статуя Молоха. «Что скажет, думал я, молодой человек, которого я только что видел, если я пойду и займу его место рядом с женщиной, которую он оставил одну?» Я задрожал от этой мысли, и вся моя гордость возмутилась.

Нет! Это не то; в мои годы не убивают любовь золотом: я не хочу быть развратителем. Кроме того, это идея не современна. И почему, собственно, я думаю, что эта женщина продажна? Я мельком пробежал газету, которую еще держал в руках, и прочел две строчки: «*Провинциальный праздник букета*. Завтра стрелки Санлиса должны вернуть букет стрелкам Луази». Эти простые слова пробудили во мне совсем новые чувства: то было воспоминание о давно забытой провинции, далекое эхо наивных праздников моей молодости. Рожок и барабан звучали вдали, в деревушках и

лесах; молодые девушки плели гирлянды и с песнями собирали цветы в букеты, перевязывали их лентами. Тяжелая повозка, запряженная волами, наполнялась по дороге этими дарами, а мы, дети тех мест, образовывали кортеж, неся луки и стрелы, украшали себя титулами рыцарей, не подозревая даже, что лишь повторяли из года в год друидический праздник, переживший новые монархии и новые религии.

II

АДРИАННА

Я лег в постель и не находил покоя. Я был погружен в полусон, и предо мной проходила вся моя молодость. Я был в том состоянии, когда ум, еще противясь причудливым образам сна, позволяет в несколько минут увидеть самые памятные картины прежней жизни.

Мне представился замок времен Генриха IV, с остроконечными крышами, покрытыми серыми плитами; я видел его красноватый фасад и на углах башенки с зубцами, большую зеленую площадку, окруженную вязами и липами, сквозь листья которых заходящее солнце бросало свои горящие стрелы. Молодые девушки танцевали в кругу на лужайке и пели старинные песни, переданные им матерями; эти песни были на столь чистом французском языке, что чувствовалось, как давно они были сложены в этой старой земле Валуа, где более тысячи лет билось сердце Франции.

Я был единственным мальчиком в том кругу, куда я привел мою совсем еще молодую подругу Сильвию, маленькую девочку из соседней деревушки, такую живую и свежую, с черными глазами, с правильным профилем и слегка загорелой кожей... Я любил только ее и видел только ее — до того

времени! До того времени, пока я не заметил там, где мы танцевали, высокую и красивую белокурую девочку, которую называли Адрианной. Внезапно, по правилам танца, Адрианна очутилась одна со мной посреди круга. Мы были одинакового роста. Нам велели поцеловаться, и, казалось, все — и танец, и песни — было оживленнее, чем всегда. Поцеловав ее, я не мог удержаться, чтобы не пожать ей руку. Длинные, завитые кольца ее золотых волос задели мои щеки. С этой минуты незнакомое волнение охватило меня. Прекрасная девушка должна была спеть, чтобы иметь право опять вступить в танец. Все сели вокруг нее, и свежим, трогательным голосом, чуть глуховатым, как у всех девушек этой туманной страны, она запела один из тех старинных романсов, полных меланхолии и любви, которые говорят о бедной принцессе, запертой в башне по воле отца, наказывающего ее за то, что она полюбила. Мелодия кончалась на каждой строфе теми переливчатыми трелями, которые выходят так особенно хорошо у молодых голосов, когда, переходя из тона в тон, они подражают дрожащему голосу предков.

Пока она пела, большие деревья отбросили тень, и свет взошедшей луны падал на нее одну, сидящую отдельно от нашего внимательного круга. Она замолчала, и никто не смел нарушить тишину. Лужайка была окутана парами тумана, которые цеплялись своими белыми хлопьями за траву. Нам казалось, что мы в раю. Наконец, я вскочил, побежал в партер замка, где росли лавры в больших фаянсовых вазах, разрисованных медальонами. Я принес две ветви, из них сплели венок и перевязали его лентой. Я возложил его на голову Адрианны, и гладкие листья лавра заблестели на белокурых волосах под бледными лучами луны. Она была похожа на Беатриче Данте, которая улыбалась поэту, блуждавшему у предела святых жилищ.

Адрианна встала, грациозно поклонилась нам и, вспорхнув, скрылась в замке. Позже я узнал, что она была внуч-

кой одного из представителей семьи, родственной древним королям Франции; кровь Валуа текла в ее жилах. В этот праздник ей позволили участвовать в наших играх; но больше мы ее не видали: на следующий день она уехала в монастырь, где была пансионеркой.

Подойдя к Сильвии, я заметил, что она плакала. Причиной слез был венок, который я своими руками отдал прекрасной певице. Я предложил сделать ей другой, но она сказала, что не возьмет его, потому что не заслуживает этого. Напрасно пытался я оправдаться, она не сказала мне больше ни слова, пока я провожал ее к родным.

Когда меня отправили в Париж, чтобы продолжить занятия, я увез с собой этот двойной образ: нежной дружбы, так печально прервавшейся, — и неосуществимой, далекой любви, сделавшейся источником печальных мыслей, которых преподававшаяся в школе философия была не в силах успокоить.

Образ Адрианны восторжествовал над всем; этот мираж славы и красоты скрашивал и наполнял часы моей суровой школьной жизни. На каникулах в следующем году я узнал, что жизнь красавицы, которую я едва успел разглядеть, была, по желанию ее семьи, посвящена религии.

III

РЕШЕНИЕ

Все объяснилось этими воспоминаниями, наполовину мне приснившимися. Неопределенная и безнадежная любовь к актрисе, любовь, которая каждый вечер во время спектакля захватывала меня и оставляла только в часы сна, имела свое начало в воспоминаниях об Адрианне, ночном цветке, распустившемся при бледном свете луны, призраке светлом и розовом, скользящем по зеленой траве, слегка ув-

лажненной белыми парами. Ее забытый образ рисовался теперь мне со странной ясностью; то был рисунок карандашом, слегка стертый временем, подобно выставленным в музеях наброскам старых мастеров, по которым узнают ослепительный оригинал.

Любить монахиню в образе актрисы!.. И если бы еще это была одна и та же женщина! Есть от чего сойти с ума! Это роковое увлечение, где неизвестное притягивает, как блуждающий огонь, мелькающий в болотных тростниках... Но вернемся к действительности.

Почему три года я не вспоминал Сильвию, которую я так когда-то любил?.. Она была очень красивая девушка, самая красивая в Луази!

Она по-прежнему та же, добрая и чистая сердцем. Я как бы вижу ее окно, где виноградная ветвь свивается с розовым кустом, а слева висит клетка малиновки; я слышу шум ее звонкого веретена и ее любимую песенку:

Красавица сидела
У быстрого ручья...

Она еще ждет меня... Кто на ней женится? Она ведь так бедна!

В ее деревне и в округе живут только славные крестьяне в блузах, с грубыми руками, исхудавшими лицами, загорелой кожей! Она любила меня одного, меня, маленького парижанина, когда я приезжал навещать близ Луази бедного дядю, теперь уже давно умершего. За три года я растратил все скромное наследство, которое он мне оставил и которого могло бы хватить на всю мою жизнь. Я сохранил бы его, если бы жил с Сильвией. Случай возвращает мне одну его часть. Еще не поздно...

Что она делает в этот час? Она спит... Нет, она не спит: ведь праздник стрелков из лука, единственный праздник в году, когда танцуют всю ночь. Она на празднике...

Который час? Карманных часов у меня нет. Среди всего великолепия того старинного хлама, собирание которо-

го было модой эпохи, стремившейся воссоздать убранство прежних домов, блестели освеженным блеском перламутровые часы Возрождения, у которых был позолоченный купол с возвышающейся на нем фигурой Времени, поддерживаемый кариатидами в стиле Медичи, поставленными, в свою очередь, на спины лошадей, поднявшихся на дыбы. Диана, опершаяся локтем на своего оленя, была изображена на барельефе под циферблатом, где на гравированном фоне выступали эмалевые цифры. Эти превосходные часы не заводились уже два века. Вовсе не для того, чтобы узнавать время, я купил эти часы около Тура.

Я спустился к консьержу. Кукушка на его часах показывала час ночи. «К четырем утра, — сказал я себе, — я могу поспеть на бал в Луази. На площади Пале-Рояль стояло еще пять или шесть фиакров, дожидаясь выходящих из клубов и игорных домов. «В Луази!» — крикнул я ближайшему. — «Где это?» — «Около Санлиса, в восьми милях отсюда». — «Я отвезу вас на почтовую станцию», — сказал кучер, более рассудительный, чем я.

Как печальна эта дорога Фландрии, которая делается красивой только тогда, когда начинается полоса лесов! Вдоль нее тянутся две монотонные линии расплывчатых деревьев; за ними квадраты зелени и вспаханной земли, граничащие слева с голубоватыми холмами Монморанси, Экуана, Люзарша. Вот Гонесс, грязная деревушка, полная воспоминаний о Лиге и Фронде...

Дальше, за Лувром, идет дорога, обсаженная яблонями; как много раз видел я их цветы, сверкающие ночью, как зеленые звезды. Это самая короткая дорога в Луази. Пока экипаж поднимается по косогорам, попытаюсь воскресить воспоминания того времени, когда я бывал здесь так часто.

IV

ПОЕЗДКА НА КИФЕРУ

Прошло несколько лет: время, когда я встретил Адрианну перед замком, сделалось уже воспоминанием детства. Снова я был в Луази во время местного праздника, снова присоединился к рыцарям лука, заняв место в компании, к которой принадлежал уже давно. Молодые люди из старинных семейств, владеющих еще большей частью этих замков, разбросанных в лесах и больше пострадавших от времени, чем от революций, устраивали праздник. Из Шантильи, из Компьена и Санлиса приезжали веселые кавалькады и занимали места в кортеже общества стрелков из лука. После долгой прогулки через деревни и селения, после службы в церкви, после состязания и раздачи наград победители приглашались к обеду, который давался на острове, осененном липами и тополями, посередине одного из прудов, образуемых Нонеттой и Февой. Разукрашенные флагами лодки отвозили нас на остров. Выбор пал на него, потому что там стоял овальный храм с колоннами, он должен был служить залом для праздника. Как и около Эрменонвиля, вся эта местность усеяна легкими павильонами восемнадцатого века, где знатные вольтерьянцы вдохновлялись беседами во вкусе своего времени. Я думаю, что этот храм был когда-то посвящен Урании. Три колонны упали, увлекая в своем падении часть архитрава; но зал внутри был свободен; между колоннами спускались гирлянды цветов, и уже подновлена была вся эта недавняя развалина, принадлежавшая скорее мифологии Буфле и Шолье, чем мифологии Горация.

Переправа через пруд была придумана, быть может, только для того, чтобы напомнить «Поездку на Киферу» Ватто. Только наши современные костюмы нарушали иллюзию. Бесчисленное количество букетов, снятых с колесницы,

которая их везла, было положено на большую лодку; процессия молодых девушек, одетых в белое, сопровождала ее по обычаю; они заняли места на лавках, и эта прелестная, возобновленная с античных дней сцена отразилась в тихих водах пруда, отделявшего нас от алого при вечерних лучах острова, с растущим на нем густым терновником, с колоннадой и светлой чащей листвы. Вскоре все лодки причалили к берегу. На средину стола была поставлена корзина с цветами, которую внесли с большой торжественностью, и каждый занял место вокруг нее, более счастливые рядом с молодыми девушками: для этого надо было быть знакомым с их родными. Потому-то я опять очутился рядом с Сильвией. Ее брат уже подходил ко мне во время праздника, упрекая за то, что я так давно не посещал их семью. Я извинялся, ссылаясь на занятия, которые удерживали меня в Париже, и сказал, что приехал сюда с намерением побывать у них. «Да, и меня он забыл, — сказала Сильвия. — Мы — деревенские люди, и насколько Париж *выше нас!*» Я хотел поцеловать ее, чтобы заставить замолчать; но она дразнила меня и только когда вступился брат подставила мне щеку с самым безразличным видом. Я нисколько не обрадовался этому поцелую, который другому показался бы знаком особой милости, потому что в этой патриархальной стороне, где приветствуют каждого проходящего мимо человека, поцелуй есть только соблюдение вежливости между добрыми людьми.

Между тем нас ожидал сюрприз. В конце обеда со дна большой корзины с цветами поднялся вдруг дикий лебедь, который, разбрасывая своими сильными крыльями переплетенные между собой гирлянды и венки, освободился, наконец, рассыпав их во все стороны. И пока он радостно подымался в последних лучах солнца, мы поспешно расхватали венки, украшая ими головы своих соседок. Мне достался один из самых красивых венков, и Сильвия, улыбаясь, позволила поцеловать себя на этот раз нежнее, чем прежде.

Я понял, что загладил давнишнюю вину. На этот раз я восхищался ею безраздельно: она стала такой красивой! То не была больше маленькая деревенская девочка, которой я пренебрег для другой, более привлекательной и способной нравиться. Теперь она расцвела: очарование ее черных глаз, столь пленительных еще с детства, сделалось непреодолимым под выгнутыми дугой бровями; ее улыбка, освещая правильные и спокойные черты лица, имела в себе что-то аттическое. Я с восхищением любовался ее лицом, достойным античного искусства и так резко выделявшимся среди неправильных лиц ее подруг. Ее нежные длинные руки, побелевшие и ставшие круглыми плечи, ее гибкий стан, — все делало ее другой, чем прежде. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей это, надеясь теперь заставить ее забыть мою старую неверность.

Все доставляло мне тогда удовольствие: дружба ее брата, очаровательное впечатление от этого праздника, вечерний час и даже самое место, где воображение, полное вкуса, воспроизвело любовные обряды прежнего времени. Насколько было можно, мы отделялись от круга танцующих, чтобы болтать о воспоминаниях нашего детства и любоваться, мечтая, на отражение неба в воде сквозь тени деревьев. Наконец, брат Сильвии вывел нас из этого состояния, так как была пора возвращаться в деревню, находившуюся довольно далеко.

V

ДЕРЕВНЯ

Они жили в Луази, в старом доме лесничего. Я проводил их, а сам вернулся в Монтаньи, где остановился у дяди. Сойдя с дороги, чтобы перейти через лесок, отделяющий Луази от Сент С., я скоро попал на глухую тропу, идущую

вдоль Эрменонвильского леса. Я ожидал сейчас же увидеть стену монастыря, но до него пришлось идти четверть мили. Луна время от времени пряталась за облаками, едва освещая темные скалы и вереск под моими ногами. Направо и налево тянулся нехоженый лес, и время от времени предо мной вставали друидические камни этой страны, хранящие воспоминание о сынах Арминия, истребленных римлянами. С высоты их я видел далекие озера, мерцавшие, как зеркала, в туманной равнине, но я не мог отыскать того озера, где происходил праздник.

Стояла теплынь, воздух был полон благоуханий; я решил не идти дальше и дожидаться утра, выспавшись на густом мху. Проснувшись, я узнал мало-помалу места, где блуждал ночью. Налево от меня вырисовывалась длинная линия стен монастыря Сент С., с другой стороны долины виднелся холм с развалинами древней резиденции каролингов. Недалеко оттуда, над густым лесом, высокие здания Тьерского аббатства вырисовывались на горизонте своими готическими окнами и сводами. Еще далее показалось Понтарме, окруженное водой, которая отражала первые лучи солнца, между тем, как на юге стали видны высокий шпиц Турнеля и четыре башни Бертран Фоссе на ближних холмах Монмельяна.

Эта ночь была дорога мне, и я думал только о Сильвии; впрочем, на одну минуту вид монастыря навел меня на мысль, что в нем живет Адрианна. В моих ушах звучал еще звон утреннего колокола, который меня разбудил. На минуту я решил бросить взгляд на стены, взобравшись на самую высокую точку холма, но, подумав, испугался этого, как святотатства. Поднимающийся день изгнал это ненужное воспоминание, в моей душе оставались только нежные черты Сильвии. «Пойду будить ее», — сказал я себе и направился в Луази.

Вот, наконец, и деревня в конце тропинки, идущей вдоль леса: двадцать домов, стены которых увиты виногра-

дом и вьющимися розами. Перед одной фермой сидели за работой прядильщицы в красных платках на голове. Сильвии с ними не было. Она стала почти барышней с тех пор, как начала плести тонкие кружева, тогда как ее родные оставались все теми же добрыми крестьянами. Я поднялся в ее комнату, никого этим не удивив; она уже давно встала и двигала кружевными спицами, тихо постукивавшими по зеленой подушке, лежавшей у нее на коленях. «А, вот вы, ленивец, — сказала она со своей божественной улыбкой, — я уверена, что вы только что встали с постели!» Я рассказал ей о моей бессонной ночи, о моих блужданиях по лесам и скалам. Она ласково слушала меня. «Если вы не устали, я заставлю вас еще побегать. Пойдемте к моей бабушке в Отис». Едва я успел ей ответить, как она весело вскочила, поправила перед зеркалом волосы и надела шляпу из деревенской соломки. Невинная радость блестела в ее глазах. Мы вышли и направились по берегу Февы через луга, усыпанные маргаритками и лютиками, затем вдоль леса Сен-Лоран, то и дело перепрыгивая через ручьи и кустарники, чтобы сократить дорогу. Дрозды свистели в деревьях, и ящерицы весело убегали из кустов, задетых нашими шагами.

Иногда нам встречались барвинки, которые так любил Руссо; их голубые венчики выглядывали сквозь переплетенные ветви, похожие на маленькие лианы, цеплявшиеся за быстрые ноги моей спутницы. Равнодушная к воспоминанием о философе из Женевы, она искала повсюду душистую землянику, а я говорил о «Новой Элоизе» и декламировал оттуда наизусть некоторые места. «Разве это хорошо?» — спрашивала она. «Это превосходно». — «Это лучше, чем Лафонтен?» — «Это трогательнее». «О, — сказала она, — так мне надо это прочесть. Я скажу брату, чтобы он мне привез ее в первый раз, как поедет в Санлис». И я продолжал декламировать отрывки из «Элоизы» в то время, как Сильвия собирала землянику.

VI

ОТИС

Выйдя из леса, мы оказались в зарослях душистых трав. Сильвия сделала из них огромный букет и сказала: «Это мы отнесем бабушке, она будет так рада поставить их к себе в комнату». До Отиса оставалось пройти только кусок равнины. Колокольня деревни выделялась уже на голубоватых холмах, идущих от Монмельяна к Даммартену. Фева снова шумела между камнями, образуя заводь в виде маленького озера, заросшего шпажником и ирисами. Скоро мы подошли к первым домам. Бабушка Сильвии жила в маленьком домике, построенном из неотесанного камня; стены его были покрыты трельяжем из хмеля и винограда. Она жила одна на нескольких десятинах земли, которую крестьяне этой деревни обрабатывали для нее после смерти ее мужа. В доме бывал целый праздник, когда приходила внучка. «Здравствуйте, бабушка! Вот и мы, — сказала Сильвия, — мы очень голодны!» Она нежно поцеловала ее, протянула ей пук трав и, наконец, решив меня представить, сказала: «Это мой жених!»

Я поцеловал бабушку в свою очередь; она сказала: «Он мил... Так это блондин!» — «У него очень красивые волосы», — вступилась Сильвия. «Это не надолго, — ответила бабушка, — но у вас еще много времени, и к тебе, брюнетке, он очень подходит». — «Надо дать ему позавтракать, бабушка», — сказала Сильвия. Она нашла молоко, черный хлеб, сахар, расставила, без особого порядка, фаянсовые тарелки и блюда с нарисованными на них большими цветами и петухами в пестрых перьях. Центр стола занимала миска из крейльского фарфора, наполненная молоком, в котором плавала земляника. Затем Сильвия нарвала в саду несколько горстей вишен и смородины и поставила две вазы с цветами по краям стола. Но тут бабушка произнесла следую-

щие приятные для меня слова: «Ну, это все только десерт. Теперь позволь мне приняться за дело». Она сняла с крюка сковороду и бросила охапку хвороста в большой камин. «Я не хочу, чтобы ты касалась этого, — сказала она Сильвии, пытавшейся было ей помочь, — не хочу, чтобы ты портила красивые пальцы, делающие кружева лучше, чем в Шантильи; ты мне их показывала, а я в этом кое-что понимаю!» — «Ах! Бабушка... Скажите, нет ли у вас кусков старых кружев, они послужили бы мне для образца?» — «Хорошо! Поди, посмотри наверху, может быть, ты что-нибудь и найдешь у меня в комоде». — «Дайте мне ключи», — промолвила Сильвия. «Да ведь ящики отперты», — сказала бабушка. — «Неправда, один из них всегда заперт». И пока добрая женщина чистила сковородку, сняв ее с огня, Сильвия отцепила с колечка на ее поясе маленький стальной узорчатый ключ и с торжеством показала его мне.

Я пошел за ней, быстро поднимаясь по деревянной лестнице, ведущей в комнату наверху. О, святая молодость, о, святая старость! Кто осмелился бы омрачить чистоту первой любви в этом святилище воспоминаний? Портрет юноши доброго старого времени улыбался нам своими черными глазами и розовым ртом из золоченой рамы, висевшей в головах деревенской постели. На нем была форма лесничего на службе у фамилии Конде; его полувоенный вид, милое лицо, чистый лоб под напудренными волосами придавали пастели довольно среднего достоинства прелесть молодости и невинности. Какой-то скромный художник, приглашенный на княжеские охоты, постарался изобразить его, а также и его молодую жену, смотревшую из другого медальона, наилучшим образом. То была привлекательная стройная женщина в открытом корсаже, зашнурованном лентами, кокетливо и задорно глядящая на птичку, сидевшую у нее на пальце. Однако это была та самая добрая старушка, которая в эту минуту стряпала, нагнувшись над деревенским очагом. Я вспомнил о феях из театра «Фюнанбель»,

прячущих под морщинистой маской привлекательное лицо и снимающих личину в храме Амура, перед его вращающимся солнцем, светившимся искусственными огнями. «О, добрая бабушка, — воскликнул я, — как ты была красива!» — «А я?» — сказала Сильвия, которая, наконец, открыла заветный ящик. Она вытащила оттуда длинное платье из старого шелка, заскрипевшего в ее руках. «Я хочу посмотреть, пойдет ли оно мне», — вскричала она. — «Ах, у меня будет вид старой феи!»

«Вечно юной феи легенд!» — сказал я себе. А Сильвия уже расстегнула свое ситцевое платье, и оно упало к ее ногам. Тяжелое платье бабушки превосходно подошло к тонкой талии Сильвии. «О! гладкие рукава, как это смешно!» — говорила она, пока я застегивал ей платье. Обшитые кружевами обшлага восхитительно подчеркивали ее голые руки, шея выделялась, как в рамке, в корсаже из желтоватого тюля с полинялыми лентами, который когда-то только слегка прикрывал исчезнувшие прелести бабушки. «Ну, торопитесь же! Неужели вы не умеете застегивать платье?» — спросила меня Сильвия. У нее был вид деревенской невесты Грёза... «Нужно бы пудры», — сказал я. — «Сейчас поищем». Она снова стала рыться в ящиках. «О! какие богатства! Как это прекрасно пахнет, как это блестит, как это отливает живым цветом!» Два перламутровых, немного сломанных веера, китайская пудреница, янтарное ожерелье и множество простых украшений, между которыми блестели две маленькие белые туфли с пряжками, украшенными ирландскими алмазами. «О! я хочу их надеть, — воскликнула Сильвия, — только мне надо найти вышитые чулки!»

Минуту спустя мы уже разворачивали тонкие розовые чулки с зеленой вышивкой; но голос бабушки, сопровождаемый стуком сковороды, внезапно вернул нас к действительности. «Уходите скорее!» — сказала Сильвия, и что я ни пытался говорить, она не позволила мне помочь ей надеть туфли.

Между тем бабушка выложила на блюдо то, что было на сковороде, — ломоть жареного свиного сала с яйцами. Голос Сильвии скоро опять позвал меня. «Одевайтесь скорее!» — сказала она, совершенно уже одетая, и показала мне на свадебное платье лесничего, лежащее на комоде. В одну минуту я превратился в жениха прошлого века. Сильвия ждала меня на лестнице, и мы оба сошли вниз, держась за руки. Бабушка, обернувшись, воскликнула: «О дети!» — и принялась плакать, а затем смеяться сквозь слезы. Это был образ ее юности, жестокое и очаровательное видение! Мы сели около нее, растроганные, почти важные, но скоро веселость опять вернулась к нам, потому что, когда прошла первая минута, добрая старушка стала припоминать и рассказывать нам о пышном праздновании своей свадьбы. Она даже отыскала в своей памяти свадебные песни, переходившие, по обычаю того времени, с одного конца стола на другой, и наивные стихи, встречавшие молодых после окончания каждого танца. Мы повторяли эти любовные строфы, так просто рифмованные, цветистые, как песни Экклезиаста. В тот прекрасный летний день мы чувствовали себя мужем и женой.

VII

ШААЛИ

Четыре часа утра; дорога идет вниз, затем опять поднимается. Мы проехали Орри, потом Шапель. Налево есть дорога, идущая вдоль леса Аллат. По ней, однажды вечером, брат Сильвии вез меня в своей двуколке на местное торжество. То был, кажется, вечер святого Варфоломея. По плохо проложенной дороге, его лошадка летела, как на бесовской шабаш. Мы выехали на шоссе в Мон-Левек и спустя несколько минут остановились у сторожки древнего аббатства Шаали. Шаали, еще одно воспоминание!

От этого старого убежища императоров остались только развалины монастыря с византийскими аркадами, последний ряд которых еще виден был на фоне прудов, — забытый остаток благочестивого строительства в наследственных поместьях Карла Великого. Религия в этом краю, далеком от больших дорог и городской жизни, сохранила особые черты от долгого пребывания там кардиналов из дома д'Эсте в эпоху Медичи: ее обряды сохранили еще черты жизни вельмож и поэтов. Дух Возрождения витает над сводами, украшенными итальянскими художниками. Розовые фигуры святых и ангелов вырисовываются на нежно-голубых фонах, рядом с аллегорическими фигурами, навеянными языческой мифологией, заставляя думать о чувствительности Петрарки и мистической поэзии Франческо Колонны.

Я и брат Сильвии побывали там на особенном торжестве, которое поисходило в ту ночь. Владелец имения — лицо знатного происхождения — пригласил несколько соседних семейств на аллегорическое представление, которое разыгрывали пансионерки одного из окрестных монастырей. Содержание было заимствовано не из трагедий Сен-Сира, оно подражало первым лирическим опытам, появившимся во Франции во времена Валуа. То, что я увидел, было как бы исполнением мистерии старых времен. Костюмы состояли из длинных одежд и отличались друг от друга только цветом — голубым, гиацинтовым, алым. Действие происходило между ангелами на остатках разрушенного мира. Каждый голос воспевал одно из чудес нашей погасшей планеты, и ангел смерти объяснял причину ее разрушения. Некий дух поднимался из пропасти, держа в руке пылающий меч, и призывал прийти поклониться славе Христа, победителя ада. Этого духа изображала Адрианна, преображенная своим дарованием и измененная костюмом. Ее голову окружал нимб из позолоченного картона, казавшийся нам кругом света; ее голос достигал

теперь еще большей силы и широты, и бесконечные, похожие на щебетание птицы фиоритуры итальянской мелодии расцвечивали суровые фразы торжественного речитатива.

Вспоминая теперь все эти подробности, я спрашиваю себя, происходило ли это в действительности или во сне. Брат Сильвии был немного навеселе в тот вечер. На несколько минут мы зашли в домик управляющего, где, что меня сильно поразило, на двери висело чучело лебедя с распростертыми крыльями. В комнатах я помню высокие шкафы орехового дерева, большие часы в футляре и трофеи побед — лук и стрелы над красной и зеленой мишенью. Причудливый карлик в китайском колпаке, держа в одной руке бутылку, а в другой кольцо, казалось, приглашал стрелков целиться вернее. Этот карлик, я хорошо помню, был вырезан из железного листа. Но так же ли действительностью было явление Адрианны, как и эти маленькие подробности и как неоспоримое существование аббатства Шаали? Однако в ту залу, где было представление, нас в самом деле провел сын управляющего, и мы в самом деле стояли там у дверей, позади большого общества, важного и внимательного. Это был день святого Варфоломея, так странно связанный с Медичи, чей герб, вкупе с гербом дома д'Эсте, украшал эти старые стены...

Не наваждение ли все эти воспоминания? К счастью, экипаж останавливается на дороге в Плесси; я опять возвращаюсь в жизнь из мира сновидений: до Луази мне только четверть часа ходьбы по заброшенным тропам.

VIII

БАЛ В ЛУАЗИ

Я пришел на бал в Луази в тот меланхолический и нежный час, когда огни бледнеют и дрожат от приближения дня. Верхушки лип, потемневших внизу, приняли голубоватый оттенок. Деревенская флейта не боролась больше с трелями соловья. Все были бледны, и в перемешавшихся группах я с трудом узнавал знакомые лица. Наконец, я заметил высокую Лизу, одну из подруг Сильвии. Она поцеловала меня.

— Уже давно тебя не видно, парижанин! — сказала она.

— О! да, давно.

— И ты приехал сейчас? На почтовых?

— Да, и не очень-то быстро! Я хочу видеть Сильвию, она еще на балу?

— Она уйдет только утром; она так любит танцевать.

В одну минуту я очутился около нее. Лицо девушки казалось усталым; тем не менее черные глаза блестели все той же аттической улыбкой прежних лет. Какой-то молодой человек был около нее. Она сделала ему знак, что приглашена на следующий танец. Он отошел, поклонившись.

Мы вышли с бала, держась за руки. Цветы поникли в растрепавшихся волосах Сильвии; букет у ее корсажа осыпался на смятые кружева, работу ее собственных рук. Я предложил проводить ее до дому. Было уже светло, но небо оставалось пасмурным. Фева шумела слева от нас, образуя на своих поворотах заводи, где распускались белые и желтые кувшинки. Поля и луга были покрыты скирдами хлеба и стогами сена, запах которого ударял мне в голову, но не опьянял, как когда-то опьянял свежий запах лесов и цветущих кустов терновника.

Теперь у нас не было уже мысли бродить по тем лесам.

— Сильвия, — сказал я ей, — вы меня больше не любите!

Она вздохнула.

— Мой друг, нужно помнить одну истину: никогда не бывает в жизни так, как мы хотим. Когда-то вы мне говорили о «Новой Элоизе»; читая эту книгу, я вздрогнула, когда мне попалась фраза: «Каждая девушка, которая прочтет эту книгу, уже погибла». Тем не менее я стала читать дальше, положась на свой разум. Помните день, когда мы оделись в свадебные платья бабушки?.. На гравюрах той книги были изображены влюбленные в таких же костюмах прошлого века, и вы были для меня Сен Прё, а в себе я видела Юлию. Ах! Почему вы не вернулись тогда! Но, говорят, вы были в Италии! Вы видели там девушек гораздо красивее меня!

— Нет, Сильвия, я не видел ни одной, у которой был бы ваш взгляд и такие же чистые черты лица. Вы — древняя нимфа, о чем вы и не подозреваете. И леса этой страны так же хороши, как леса римской Кампаньи, а вот эти гранитные скалы не менее величественны, чем те, с которых в Терни падают каскады. И ничего там нет такого, о чем я мог бы пожалеть здесь.

— А в Париже? — спросила она.

— В Париже...

Я опустил голову, ничего не ответив.

И сразу вспомнил об ускользающем образе, который давно уже совлек меня с пути истинного.

— Сильвия, — сказал я, — посидим здесь, хорошо? — Я бросился к ее ногам, плача горькими слезами, я признался ей в моих вымыслах, в моих колебаниях; я вновь вызвал гибельный призрак, прошедший сквозь всю мою жизнь.

— Спасите меня! — прибавил я. — И я вернусь к вам навсегда.

Она обратила на меня ласковый взгляд...

В эту минуту наш разговор был грубо прерван взрывом хохота. Это оказался брат Сильвии, который подошел к нам, полный деревенским весельем, подогретым свыше всякой меры многочисленными напитками, что было обычным следствием праздничной ночи. Он позвал того, кто был

кавалером Сильвии на балу, и тот показался вдали в кустах терновника. Они оба не замедлили к нам присоединиться. Этот молодой человек был нисколько не крепче на ногах, чем его спутник. Он, казалось, был смущен присутствием парижанина еще более, чем присутствием Сильвии. Его простодушное лицо, полное уважения, смешанного с замешательством, не позволило мне рассердится за то, что он был тем самым танцором, ради которого Сильвия так долго оставалась на празднике. Я счел его не слишком опасным соперником.

— Пора домой, — напомнила Сильвия брату. — До свидания! — сказала она мне, подставляя щеку.

Ее воздыхатель не обиделся на это.

IX

ЭРМЕНОНВИЛЬ

У меня не было никакого желания спать. Я пошел в Монтаньи, чтобы взглянуть на дом дяди. Глубокая печаль охватила меня, когда я издали увидел его желтый фасад и зеленые ставни. Все оставалось в том же виде, что и прежде; надо было только найти фермера, чтобы добыть ключ от двери. Открыв ставни, я с умилением увидел старую мебель, сохранившуюся в том же состоянии, хотя лишь время от времени с нее стирали пыль: высокий ореховый шкаф, две фламандские картины — произведения старого художника, нашего предка; большие гравюры с оригиналов Буше и целую серию эстампов в рамках, изображающих сцены из «Эмиля» и «Новой Элоизы» работы Моро; на столе стояло чучело собаки, которую я знал живой, — старого спутника моих блужданий по лесам.

— Что до попугая, — сказал мне фермер, — он еще жив; я взял его к себе.

Сад весь зарос превосходной густой растительностью. В одном его углу я узнал детский садик, который когда-то устроил. С трепетом вошел я в кабинет, где все еще стоял книжный шкафчик, полный редких изданий, старых друзей того, кого уже не было в живых; на бюро лежало несколько античных вещей, найденных в его саду, — ваз, римских медалей, — местная коллекция, делавшая его счастливым.

— Мне хочется увидеть попугая, — сказал я фермеру.

Попугай, как и в свои более счастливые дни, просил завтракать и глядел на меня с выражением, напоминающим испытующий взгляд старика.

Полный печальных мыслей, наведенных этим поздним возвращением в дорогие места, я почувствовал горячее желание увидеть Сильвию, единственное существо, еще живое и молодое, которое привязывало меня к этому краю. Я направился по дороге в Луази. Была середина дня; все спали, усталые от праздника. Чтобы немного рассеяться, я решил пройти через Эрменонвиль, находящийся в одной миле оттуда, по лесной дороге. Была прекрасная летняя погода. Я с удовольствием вдыхал прохладу этой дороги, похожей на аллею парка. Темная зелень больших дубов изредка сменялась белыми стволами берез с дрожащими листьями. Птицы молчали, и был слышен лишь дятел, стучавший по дереву. Одно мгновение я боялся заблудиться, потому что на столбах, указывающих направление разных дорог, буквы местами были стерты. Наконец, оставив Эрмитаж слева, я дошел до танцевального круга, где стояла еще скамья стариков. Все воспоминания философической древности, воскрешенные прежним хозяином* этих мест, пришли ко мне толпой перед этим художественным воплощением обстановки «Анахарсиса» и «Эмиля».

Когда я увидел блестевшее сквозь ветви ивы и орешника озеро, я тотчас же узнал место, куда дядя в наших прогул-

* Ж.-Ж. Руссо. *Примеч. пер.*

ках водил меня много раз: это был *храм философии*, неоконченный здешним строителем. Он был похож по форме на храм Тибуртинской сивиллы и, находясь под защитой сосновой рощи хранил на стенах имена всех великих мыслителей, начиная с Монтеня и Декарта и кончая Руссо. Недостроенное здание превратилось уже в развалину; плющ красиво обвил его, терновник пророс сквозь развалившиеся ступени. В детстве я видел празднества, когда молодые девушки, одетые в белое, получали в этом храме награды за науку и прилежание. Но где же кусты роз, окружавшие прежде холм? Теперь шиповник и малина заглушают последние их отпрыски, вернувшиеся к дикому состоянию. Где же лавры? Не срезали ли их, как говорится в песне молодых девушек, те, кому лень идти за дровами? Нет, эти деревья милой Италии погибли под нашим туманным небом. К счастью, цветок Вергилия еще цветет как бы для того, чтобы поддержать слова учителя, написанные над дверью: «Rerum cognoscere causas!» Да, и этот храм упадет, как многие другие; утомленные и забывчивые люди перестанут к нему приходить, равнодушная природа возьмет обратно землю, отнятую у нее искусством; но жажда познания останется вечной, напрягая все силы и способности человека.

Вот тополя острова и могила Руссо, лишенная его праха. О мудрец! Ты вспаивал нас молоком сильных, но мы были слишком слабы, чтобы оно могло пойти нам впрок. Мы забыли твои уроки, которые хорошо знали наши отцы, мы потеряли смысл твоих слов, последнее эхо древней мудрости. Но будем надеяться и, как ты в час смерти, обратим наши взоры к солнцу!

Снова увидел я замок, окружающие его тихие воды, водопад, шумящий в скалах, плотину, соединяющую две части деревни, расстилающийся за ней широкий луг, окаймленный темными холмами. Башня Габриэли далеко отражается в водах искусственного озера, покрытого недолговечными цветами. У плотины вода пенится и шумит, жужжат

комары... Надо бежать от коварного воздуха этих мест, который очищается лишь за болотистым лугом, где красный вереск уже сменяет зелень папоротников. Как все здесь печально и уединенно! Полный очарования взгляд Сильвии, ее веселая беготня, ее радостные крики придавали когда-то столько прелести местам, где я проходил теперь! Она была тогда совсем диким ребенком, с босыми ногами, с загорелым цветом лица, хотя и носила соломенную шляпу, широкие ленты которой развевались вперемежку с косами ее черных волос. Мы пили молоко на швейцарской ферме, и все говорили мне: «Какая красивая у тебя невеста, парижанин!» О! тогда ни один крестьянин не танцевал с ней! Она танцевала только со мной один раз в году, на празднике стрелков из лука.

X

МОЛОЧНЫЙ БРАТ

Я опять направился в Луази; там все уже поднялись. Сильвия была одета, как барышня, почти по городской моде. Она позвала меня к себе в комнату так же простодушно, как и прежде. Ее глаза все время блестели улыбкой, полной прелести, но сдвинутые дуги бровей придавали ей минутами серьезный вид. Комната ее была очень просто убрана, мебель была новая; зеркало с золоченой рамой заменило теперь старинное трюмо с идиллическим пастухом, протягивающим гнездо пастушке в голубом с розами платье. Вместо кровати с колоннами, целомудренно задрапированной старинным ситцем с цветами, стояла теперь ореховая кушетка, завешенная занавесью на кольцах. За окном в клетке вместо прежних малиновок пели канарейки. Мне захотелось уйти из этой комнаты, где не осталось ничего из прошлого.

— Вы теперь вовсе не занимаетесь кружевами? — спросил я Сильвию.

— О! я больше не плету кружев, на них нет спроса; даже в Шантильи фабрика закрыта.

— Что же вы теперь делаете? Она отыскала в одном углу комнаты какой-то железный инструмент, похожий на длинные щипцы.

— Что это такое?

— Это пружина, поддерживающая кожу, когда шьются перчатки.

— А! так вы теперь перчаточница, Сильвия?

— Да, мы работаем здесь на фирму Даммартен; это дает неплохой заработок; но сегодня я свободна, пойдемте, куда хотите. Я обратил взгляд на дорогу в Отис; она опустила голову; я понял, что бабушки больше не было в живых. Сильвия позвала маленького мальчика и велела ему оседлать осла.

— Я устала от вчерашних танцев, — сказала она, — но я рада прогуляться; поедем в Шаали.

Мы двинулись через лес; позади нас шел мальчик с веткой в руках. Сильвия скоро пожелала остановиться, и я обнял ее, помогая ей сойти. Но разговор между нами больше уже не мог быть интимным. Я рассказывал ей о моей парижской жизни, о моих путешествиях...

— Как можно ездить так далеко? — сказала она.

— Я и сам удивляюсь этому, когда смотрю на вас.

— Это только так говорится!

— Но согласитесь, что вы не были так красивы прежде!

— Не знаю.

— Помните время, когда мы были детьми, и вы были больше меня?

— А вы умнее меня!

— О! Сильвия! Нас обоих сажали тогда на одного осла, каждого в свою корзину.

— И мы не говорили друг другу *вы*...

— Помнишь, как ты научила меня ловить раков под мостами на Феве и Нонетте?

— А ты помнишь твоего молочного брата, который вытащил тебя из реки?

— А! *Кудрявый*! Да, ведь это он и подучил меня сунуться в воду!

Я поспешил переменить разговор. Это воспоминание живо напомнило мне то время, когда я приезжал на родину, одетый в костюмчик английского покроя, что заставляло крестьян подымать меня на смех. Одна Сильвия находила меня хорошо одетым; но я не смел напомнить ей мнение, высказанное так давно. Не знаю, почему моя мысль перенеслась на свадебные платья, которые мы примеряли у старой бабушки в Отисе. Я спросил, что стало с ними. «Ах! добрая бабушка! — сказала Сильвия. — Она отдала свое платье мне, чтобы я танцевала на карнавале в Даммартене, два года тому назад. Год спустя она умерла. Бедная бабушка!»

Она вздыхала и плакала, и я не решился спросить ее, при каких обстоятельствах ходила она на маскированный бал; я отлично понимал, что Сильвия не была больше крестьянкой. Только ее родные жили еще по-прежнему, и она оставалась с ними, как трудолюбивая фея, расточая вокруг свои благодеяния.

XI

ВОЗВРАЩЕНИЕ

По выходе из леса открылся чудесный вид. Мы пришли к берегам прудов Шаали. Галерея монастыря, часовня с высокими стрельчатыми сводами, феодальная башня и маленький замок, скрывавший любовь Генриха IV и Габриэли, были окрашены в красный цвет лучами заходящего солнца, выделяясь на темной зелени леса.

— Это пейзаж Вальтера Скотта, не правда ли? — сказала Сильвия.

— Кто говорил вам о Вальтере Скотте? Вы много прочли за эти три года!.. Я же стараюсь забыть книги, и сейчас меня так радует опять видеть вместе с вами это старое аббатство, где совсем маленькими детьми мы прятались в развалинах. Помните, Сильвия, как вы боялись, когда сторож рассказывал нам историю о красных монахах?

— О, не говорите мне об этом.

— Тогда спойте мне песню о прекрасной девушке, похищенной из сада отца, из-под куста белых роз.

— Этого больше уже не поют.

— Вы занялись пением?

— Немного.

— Сильвия, Сильвия, вы, наверное, поете теперь арии из опер!

— О чем же вы жалеете?

— Ах, я так любил старые песни, а вы разучились их петь.

Сильвия стала напевать начало большой арии из одной новой оперы... Она *фразировала!*

Мы обошли соседние пруды. Вот зеленая лужайка, окруженная липами и молодыми вязами, где мы так часто танцевали! Я счел своим долгом определить эпоху старых стен и растолковать герб дома д'Эсте. «Ах, насколько больше меня вы читали!» — сказала Сильвия. — «Вы такой ученый!»

Мне не нравился тон ее вопросов. До сих пор я все искал удобной минуты, чтобы возобновить утренние признания, но как это можно было сделать, когда нас сопровождали осел и очень живой мальчик, который все время вертелся около нас, чтобы послушать, что скажет парижанин? Тогда я имел несчастье поведать ей про оставшееся в моей памяти театральное зрелище, которое я видел здесь, в Шаали. Я повел Сильвию в ту самую залу, где слышал пение Адрианны. «О, как хотел бы я вас послушать!» — сказал я ей. — О, если бы ваш нежный го-

лос раздался под этими сводами и отогнал бы духа, искушающего меня!» Она повторила слова и мелодию вслед за мной:

Ангел, сойди с небес
В глубь чистилища!..

— Это очень печально, — сказала она.

— Это великолепно... Я думаю, это взято из Порпоры, а стихи переводные, шестнадцатого века.

— Не знаю, — ответила Сильвия.

Мы возвращались обратно долиной, по дороге, идущей в Шарлепон. Сильвия не садилась на осла, а шла, опираясь на мою руку. Дорога была пустынна, и я пробовал говорить о том, что было у меня на душе; но, не знаю почему, у меня ничего не нашлось, кроме избитых слов или пышных фраз из романа, вроде тех, какие читала Сильвия. Я говорил с остановками, в совершенно классическом вкусе, и она удивлялась на эти прерывистые излияния. Дойдя до стен Сент С., мы пошли медленнее. Мы проходили теперь через мокрые луга, где извивалось множество ручьев.

— Что же сталось с монахиней? — спросил я вдруг.

— Ах, вы ужасны с вашей монахиней... Это кончилось плохо, вот вам и все.

Сильвия не захотела прибавить больше ни слова.

Чувствуют ли женщины, что иногда те или другие слова слетают с языка, не выходя из сердца? Этому трудно поверить, когда видишь их так легко обманывающимися и не отдающими себе отчета в выборе, который они делают: есть мужчины, так хорошо играющие комедию любви! Я никогда не мог бы пойти на это, хотя знал, что многие женщины умышленно принимают обман. Кроме того, любовь, начавшаяся в детстве, есть нечто священное... Сильвия, которая росла на моих глазах, была для меня как сестра. Я не посмел бы соблазнить ее... Вдруг совсем иная мысль пришла мне в голову. «В этот час, — сказал я себе, — я был бы в театре... Что должна играть Аврелия (таково было имя актрисы) в этот вечер? Наверное, роль принцессы в новой драме. О, как она тро-

гательна в третьем акте!.. А в любовной сцене второго! Когда с ней играет этот первый любовник, весь в морщинах!

— Вы погружены в размышления? — спросила Сильвия и начала петь:

В Даммартене было три красавицы,
Из них одна прекраснее, чем день...

— Ах, недобрая, — вскричал я, — вот видите, вы все еще отлично знаете старые песни.

— Если вы будете приезжать сюда чаще, я снова возьмусь за них, — сказала она, — но будем серьезны: у вас дела в Париже, у меня работа; не станем возвращаться слишком поздно: завтра мне надо вставать с солнцем.

XII

ДЕД ДОДЮ

Я хотел ответить, я хотел упасть к ее ногам, хотел предложить ей дом моего дяди, который еще возможно было выкупить, потому что наследников было несколько, и эта маленькая собственность оставалась неподеленной; но в эту минуту мы пришли в Луази. Нас ждали ужинать. Суп из лука далеко распространял свой домашний запах. На этот послепраздничный ужин было приглашено несколько соседей. Я тотчас же узнал старого дровосека, деда Додю, рассказывавшего нам когда-то такие страшные или смешные истории в вечернюю пору. В одно и то же время он был пастухом, почтарем, лесным сторожем, рыболовом и даже браконьером, а в свободные минуты мастерил заводных кукушек или вертелы. Некогда он водил англичан по Эрменонвилю, указывая им места размышлений Руссо и рассказывая о его последних минутах. Он был тем самым маленьким мальчиком, которого философ заставлял разбирать его растения и собирать ту траву, сок которой он выжимал в чаш-

ку своего кофе с молоком. Трактирщик из «Золотого Креста» присваивал себе ту же роль, из-за чего между ними возникла продолжительная ненависть. Деда Додю подозревали еще в знании некоторых тайн, правда, очень невинных, как, например, лечить коров, читая наоборот стих из Библии или рисуя знак креста левой ногой; но он давно уже бросил эти суеверия, как он говорил, — в память бесед Жан-Жака.

— Вот и ты, парижанин! — сказал мне дед Додю.

— Ты приехал портить наших девушек?

— Я, дед Додю?

— Ты уводишь их в лес, когда там нет волка?

— А вы — волк, дед Додю?

— Я им был, когда были овцы; теперь я встречаю только коз, но они отлично умеют защищаться! Но вы-то, вы, парижские плуты! Жан-Жак был прав, говоря: «Человек портится в отравленном воздухе городов».

— Ах, дед Додю, вы слишком хорошо знаете, что человек портится повсюду.

Он стал напевать застольную песню; напрасно хотели остановить его на одном непристойном куплете, который все знали наизусть. Сильвия не захотела петь, несмотря на наши просьбы, говоря, что теперь уже больше не поют за столом. Я заметил, что вчерашний кавалер сидел слева от нее. В его круглом лице, в растрепанных волосах было что-то мне знакомое. Он поднялся и, подойдя ко мне, сказал: «Ты меня не узнаешь, парижанин?» Женщина, которая нам прислуживала, прошептала мне на ухо: «Вы не узнаете вашего молочного брата?» Я попал бы в смешное положение, если бы она не предупредила меня.

— Ах! Так это ты, *Кудрявый!* — сказал я, — ты такой же, как был раньше, когда вытащил меня из воды!

Сильвия рассмеялась, услышав нашу беседу.

— У тебя были красивые серебряные часы, — сказал он, обнимая меня, — ты гораздо больше беспокоился о них, вылезая из воды, чем о самом себе, потому что они перестали

идти; ты говорил: «*Зверек утонул*, он больше не делает „тик-так“, что скажет теперь дядя?..»

— Зверек в часах! — воскликнул тогда дед Додю, — вот чему учат этих детей там, в Париже!

Сильвии хотелось спать; я решил, что совсем погиб в ее глазах; она поднялась, чтобы идти к себе в комнату, но, когда я поцеловал ее, сказала: «Завтра приходите к нам!»

Дед Додю остался за столом со мной и моим молочным братом; мы долго разговаривали за бутылкой *ратафии* из Лувра.

— Люди равны, — приговаривал дед Додю, между двумя куплетами песни, — я пью с кондитером, как стал бы пить с королем.

— Где же кондитер-то? — спросил я.

— Погляди, вот рядом с тобой молодой человек, мечтающий открыть заведение.

Молочный брат казался смущенным. Я все понял. Какая ирония судьбы, что у меня был молочный брат в краю Руссо, призывавшего уничтожить кормилиц! Дед Додю сказал мне, что поговаривают о браке Сильвии с *Кудрявым*, который хочет открыть кондитерскую в Даммартене. Я больше ни о чем не стал спрашивать. Лошадь из Контейль-ле-Одуан отвезла меня на следующий день в Париж.

XIII

АВРЕЛИЯ

В Париж! Езды пять часов. Я мог приехать только вечером. Около восьми часов я уже сидел на моем обычном месте в театре; Аврелия вкладывала свое вдохновение и очарование в стихи, написанные под Шиллера одним из современных талантов. В сцене в саду она сделалась величественна. Во время четвертого действия, в котором она не

играла, я купил букет цветов. Я вложил в него письмо, подписанное: *Незнакомец*. Я сказал себе: это должно решить мое будущее, — и на следующий день был на пути в Германию.

Что я стану там делать? Приводить в порядок мои чувства? Если даже я напишу роман, мне никогда не удастся заставить людей поверить в историю сердца, охваченного одновременно двумя страстями. Сильвия покинула меня по моей вине; но увидеть ее хотя бы на один день значило бы опять перевернуть всю мою душу. Я поместил ее, как одушевленную статую, в храм мудрости: ее взгляд удержал меня на краю пропасти. Но еще с большей силой гнал я от себя мысль идти к Аврелии, чтобы состязаться со столькими вульгарными поклонниками, порхавшими вокруг нее один лишь миг и тут же скрывавшимися из виду. «Поглядим еще, — сказал я себе, — есть ли сердце у этой женщины».

Однажды утром я прочитал в газете, что Аврелия больна. Я написал ей из гористых окрестностей Зальцбурга. Письмо было так сильно проникнуто немецким мистицизмом, что я не надеялся на успех и не просил ответа. Я немного рассчитывал на случай и на *Незнакомца*.

Шли месяцы. Во время путешествий и безделья меня охватило вдруг желание запечатлеть в стихах любовь художника Колонны к прекрасной Лауре, которую родные сделали монахиней и которую он любил до самой смерти. Что-то в этой теме имело отношение к моим постоянным мыслям. Написав последние строфы драмы, я думал только о том, как бы вернуться во Францию.

Что могу я сказать, не перепевая другие подобные истории? Я прошел через все круги испытаний в этих ужасных местах, называемых театрами. «Я вкушал бубны и пил кимвалы», — как говорит лишенный явного смысла обет посвященных в таинства Элевсина. Он означает несомненно, что иногда необходимо преступать границы здравого рассудка и логики. Весь смысл жизни для меня состоял теперь в том, чтобы завоевать и осуществить мою мечту.

Аврелия согласилась на главную роль в драме, которую я привез из Германии. Я никогда не забуду того дня, когда она позволила мне прочесть ей пьесу. Любовные сцены были написаны с мыслью о ней. Я думаю, что я читал их с большим чувством и даже с энтузиазмом. В разговоре, после чтения, я признался, что *Незнакомцем* двух писем был я. Она сказала: «Вы безумец, но приходите ко мне еще... Я никогда не могла найти того, кто умел бы меня любить».

О женщина! Ты ищешь любви... А я?

В последующие дни я писал ей письма, самые нежные, самые тонкие, каких, без сомнения, она ни когда не получала. Я читал ее ответы, полные рассудительности. На одну минуту она растрогалась. Она позвала меня к себе и призналась, что ей трудно разорвать одну очень старую связь. «Если действительно вы любите во мне меня, — сказала она, — то поймете, что я могу принадлежать только кому-нибудь одному».

Спустя два месяца мне пришло от нее письмо, полное чувства. Я побежал к ней. Еще раньше кто-то сообщил драгоценную для меня новость: красивый молодой человек, которого я видел однажды ночью за картами, поступил в полк зуавов.

Следующим летом были скачки в Шантильи. Труппа театра, где играла Аврелия, давала там одно представление. Актеры остались после него еще на три дня по распоряжению режиссера. Я подружился с этим честным человеком, игравшим некогда Доранта в комедиях Мариво, потом долгое время исполнявшего роли первых любовников и видевшего свой последний успех в роли влюбленного в подражавшей Шиллеру пьесе, где его лицо показалось мне таким морщинистым. Вблизи он оказался моложе, и хотя был чрезвычайно тощ, все же производил еще большой эффект в провинции. В нем был огонь. Я состоял при труппе в качестве поэта и потому убедил режиссера дать спектакли в Санлисе и Даммартене. Он собирался сначала ехать в Компьен,

но Аврелия была одного мнения со мной. На следующий день, пока шли переговоры с владельцами залов и властями города, я нанял верховых лошадей, и мы поехали по дороге к прудам Коммель, чтобы позавтракать в замке королевы Бланш. Аврелия, в амазонке, с развивающимися белокурыми волосами, скакала по лесу, словно королева былых времен, и крестьяне останавливались, ослепленные ее красотой. После завтрака мы отправились в деревни, напоминающие Швейцарию, где воды Нонетты двигали механизмы лесопилок. Вид этот, дорогой мне по воспоминаниям, не слишком интересовал ее. Я решил провести Аврелию в замок Шаали, на тот самый зеленый луг, где в первый раз увидел Адрианну. В ней не было заметно никакого волнения. Тогда я ей все рассказал; я рассказал об источнике любви, которая долго мерещилась мне по ночам, о которой я столько мечтал и которая, наконец, осуществилась в ней. Она серьезно выслушала меня и сказала: «Вы меня не любите! Вы ждете, что я скажу вам сейчас: артистка и монахиня — это все та же я. Вы придумываете драму, вот и все, но развязка вам не удастся! Уходите, я вам больше не верю».

Эти слова поразили меня, как молния. Как, странный восторг, который я так долго испытывал, эти сны, эти слезы, это отчаяние и эта нежность... все это не любовь? Но что же тогда любовь?

Аврелия играла в тот вечер в Санлисе. Мне казалось, что я заметил ее расположение к режиссеру — молодому человеку со старым лицом. У него был превосходный характер, и он уже оказал ей множество услуг. Однажды Аврелия сказала мне:

— Вот кто меня действительно любит!

XIV

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Таковы химеры, очаровывающие и искушающие утро нашей жизни. Я пробовал изобразить их, хотя и без большого порядка, но многие сердца меня поймут. Иллюзии отпадают одна за другой, как кожица плода, а плод — это опыт. Его вкус горек: но он имеет и нечто терпкое, что укрепляет, — да простят мне этот старомодный стиль. Руссо сказал, что вид природы утешает людей во всем. По временам я стараюсь вернуться опять к моим Кларанским рощам, потерянным в туманах к северу от Парижа. Все там очень переменилось!

Эрменонвиль! Страна, где цветет еще античная идиллия, пересказанная во второй раз после Гесснера! Ты потеряла твою единственную звезду, горевшую для меня двойным блеском. И голубая, и розовая, как обманчивая звезда Альдебаран, она олицетворяла для меня и Адрианну и Сильвию — то были две половины одной любви. Одна была высокой мечтой, другая — милой действительностью. Зачем мне теперь твоя тень, твои озера и даже твое уединение? Отис, Монтаньи, Луази, бедные соседние деревушки, замок Шаали, который уже успели реставрировать, — в вас ничего не сохранилось от прошлого! Сколько раз мне хотелось увидать опять эти места мечты и уединения! Я печально собирал там следы той эпохи, когда даже аффектация была естественна, я улыбался, читая на камне стихи Руше, которые казались мне в детстве такими величественными, или нравственные правила, украшающие фонтан и грот, посвященный Пану. Пруды, вырытые с таким большим трудом, высохли, и лебеди пренебрегают их мертвой водой. Прошло уже время, когда мчались здесь охоты Конде, когда скакали гордые амазонки и далеко слышался рог, повторенный эхом!.. В Эрменонвиль уже не было теперь прямой дороги. Иногда я ездил туда через Крейль и Санлис, иногда через Даммартен.

В Даммартен приезжаешь только вечером. Я иду тогда ночевать в гостиницу. Мне дают обыкновенно довольно чистую комнату, затянутую старым ковром; с большим зеркалом. Эта комната — последний возврат к старине, от которой я давно отказался. Тепло спать под пуховиком по обычаю этой страны. Утром, когда я открываю увитое розами и виноградом окно, я с восхищением вижу зеленый горизонт на десять миль вокруг и тополя, вытянутые в линию, как солдаты. Несколько деревень открываются там и сям с их острыми колокольнями. Сначала я различаю Отис, затем Эв, затем Вер; за лесом можно было бы увидеть и Эрменонвиль, если бы у него была колокольня, — но в этом философическом месте пренебрегали церковью. Вдохнув в легкие чистый воздух, каким дышат на этих равнинах, я весело спускаюсь и иду к кондитеру. «Так это ты, *Кудрявый!*» — «Так это ты, парижанин!» Мы дружески хлопаем друг друга, затем я поднимаюсь по лестнице, где мое появление встречают радостные крики двух детей. Аттическая улыбка Сильвии освещает их прелестные черты. Я говорю себе: вот где было, может быть, счастье...

Я называю ее иногда Лолотой, а она находит во мне немного сходства с Вертером, только без пистолета, который теперь не в моде. Пока молочный брат заботится о завтраке, мы водим детей гулять в липовые аллеи, окружающие развалины старых башен замка. Пока ребята занимаются стрельбой из лука, пуская в соломенное чучело отцовские стрелы, мы читаем какие-нибудь стихи или те короткие истории, каких теперь больше уже не пишут.

Я забыл добавить, что в тот день, когда труппа, где играла Аврелия, давала представление в Даммартене, я привел Сильвию на спектакль и спросил ее, не находит ли она в актрисе сходства с особой, которую знала давно. «С кем же это?» — «Помните Адрианну?»

Она рассмеялась, говоря: «Полноте, что вы!» Затем, как бы укоряя себя за смех, добавила, вздохнув: «Бедная Адрианна! Она умерла в монастыре Сент С. в 1832 году».

ОКТАВИЯ

Весной 1835 года меня охватило страстное желание увидеть Италию. Каждый день, просыпаясь, я уже словно бы вдыхал горький запах альпийских каштанов; по вечерам каскады Терни и пенящиеся струи Тевероне шумели для одного меня в кулисах маленького парижского театра... Нежный голос, подобный голосу сирены, звучал в моих ушах, как будто со мной заговорили камыши Тразимены... Необходимо было уехать, оставив в Париже несчастную любовь; я бежал от нее, чтобы забыться.

Остановившись сначала в Марселе, каждое утро ходил я купаться у зеленого замка и, плавая, видел вдали веселые острова залива. И каждый день я встречался в лазоревой бухте с девушкой англичанкой; ее тонкое тело рассекало зеленую воду около меня. Эта морская дева, которую звали Октавией, подошла ко мне однажды, с гордостью показывая рыбу, только что ею пойманную. Она держала ее в своих белых руках и потом подарила мне.

Я не мог не улыбнуться такому подарку. Между тем, в городе свирепствовала холера; чтобы избежать карантина, я решил ехать дальше сухим путем. Я видел Ниццу, Геную и Флоренцию; я любовался на Собор и Баптистерий, на шедевры Микеланджело, на падающую башню и Кампо-Санто в Пизе. Затем, направившись через Сполето, я остановился на десять дней в Риме. Собор Святого Петра, Ватикан, Колизей прошли передо мной, как во сне. Я спешил в Чивита-

веккио, где должен был сесть на пароход. Три дня бушующее море задерживало его прибытие. На печальном пляже, где я задумчиво бродил, однажды меня чуть не разорвали собаки. Накануне моего отъезда в театре давали французский водевиль. Одна белокурая головка привлекла мое внимание. То была молодая англичанка, сидевшая в ложе бенуара. Она приехала сюда со своим больным отцом, которому доктора порекомендовали климат Неаполя.

На следующий день утром я с радостью получил свой билет. Молодая англичанка уже была на палубе. Она ходила большими шагами и в нетерпении от медлительности парохода вонзала свои белоснежные зубы в кожу лимона.

— Бедная девушка, — сказал я ей, — у вас больная грудь, я в этом уверен, и это очень жаль.

Она пристально посмотрела на меня и проговорила:

— Кто вам сказал об этом?

— Тибуртинская сивилла, — ответил я, не смутившись.

— Неужто! Я не верю ни одному вашему слову.

Сказав это, она нежно посмотрела на меня, и я не мог удержаться, чтобы не поцеловать ее руку.

— Если бы я была сильнее, я показала бы вам, как лгать!..

И смеясь, она погрозила мне палочкой с золотым набалдашником, которую держала в руках.

Наш пароход приближался к неаполитанской гавани; мы плыли по заливу между Искией и Низидой, залитыми восходящими лучами солнца.

— Если вы меня любите, — промолвила она, — будьте завтра на Портичи. Я не всем назначаю свидания!

Сойдя с парохода, она вместе со своим отцом направилась в отель «Рим», недавно выстроенный на молу. Я же поселился позади театра Флорентийцев. Днем я прохаживался по улице Толедо и по набережной, посетил научный музей, а вечером пошел смотреть балет в Сан-Карло. Там я встретил маркиза Гаргалло, которого знал в Париже, и он повел меня после спектакля пить чай к своим сестрам.

Никогда я не забуду этого приятного вечера. Маркиза поддерживала честь большого салона, наводненного иностранцами. Беседа была немного похожа на разговор в «Жеманницах»; мне даже казалось, что я в голубой комнате дворца Рамбулье. Сестры маркиза, прекрасные как Грации, возобновили для меня очарование Эллады. Мы долго спорили о том, какой формы камень Элевсина, треугольный или квадратный. Маркиза могла обо всем говорить с уверенностью, потому что была красива и горда, как Веста. Я вышел из дворца с отяжелевшей от этого философского спора головой и не мог отыскать мое жилище. Принужденный блуждать по городу, я, наконец, должен был сделаться героем некоего приключения. Встреча, происшедшая этой ночью, послужила темой для письма, адресованного впоследствии той, которую я думал разлюбить, бежав от нее и от Парижа.

«Я в крайнем беспокойстве. Уже четыре дня я вас не вижу или вижу только на людях; у меня какое-то роковое предчувствие. Я верю, что вы были искренни со мной; но не изменились ли вы за эти несколько дней, я этого боюсь. Боже мой! сжальтесь же над моими сомнениями, а не то вы навлечете на нас какое-нибудь несчастье. Смотрите, ведь я буду обвинять в этом только самого себя. Я был робким и послушным больше, чем это пристало мужчине. Я окружил мою любовь такой сдержанностью, я так сильно боялся оскорбить вас, уже наказавшую меня однажды за это. Может быть, ради деликатности я слишком отдалился от вас, и вы могли подумать, что я охладел. Да, я с уважением отнесся к важному для вас событию, я сдержал чувства, разрывавшие мне душу, и я надел на себя улыбающуюся маску, когда мое сердце задыхалось и сгорало. Никто другой не будет таким бережным, никто не сможет доказать вам такой истинной привязанности, никто так хорошо не оценит вас.

Будем говорить искренне: я знаю, есть связи, которые женщина может разорвать лишь с трудом, есть докучливые

отношения, окончить которые можно только постепенно. Разве я требую от вас слишком тяжелых жертв? Откройте мне вашу печаль, я ее пойму. Ваши страхи, ваши фантазии, зависимость вашего положения, — ничто не может смутить ни того бесконечного чувства, которое я вам несу, ни чистоты моей любви. Но мы вместе посмотрим, что можно принять и что надо преодолеть; если есть узлы, которые надо разрубить, а не затягивать еще больше, положитесь в этом на меня. Быть неискренной в такую минуту — бесчеловечно; потому что, я вам уже об этом говорил, моя жизнь вся в вашей воле, и вы хорошо знаете, что для меня не может быть большего желания, как умереть за вас!

Умереть, великий Боже! Почему эта мысль всегда приходит ко мне, как будто только моя смерть равна тому счастью, которое вы обещаете? Смерть! Это слово нисколько не омрачает мою душу. Она представляется мне увенчанной бледными розами, как женщина при конце пира. Часто я мечтал, что она будет ждать меня с улыбкой у изголовья любимой и после минут счастья, после опьянения, скажет мне:

„Идем, юноша! Ты вкусил свою долю радости в этом мире. Теперь иди, усни и отдохни в моих объятиях. Я не прекрасна, но я добра и сострадательна, я не даю наслаждений, но дарую вечный покой!"

Но где же этот образ однажды явился мне? Ах! Я вам рассказывал, это было в Неаполе, три года назад. Я встретился ночью около Вилла-Реале с молодой женщиной, похожей на вас, милым созданием, промышлявшим вышиванием по золоту для церковных украшений; она казалась слегка не в своем уме; я проводил ее домой, хотя она мне и говорила о любовнике, швейцарском гвардейце, и боялась его возвращения. Однако она призналась мне, что я нравился ей больше. Что вам еще сказать? Мне пришла фантазия забыться на весь этот вечер и вообразить, что эта женщина, речь которой я едва понимал, были вы сами, сошедшая ко мне как по волшебству. Зачем мне умалчивать об этом при-

ключении и о той странной иллюзии, которой без труда пленилась моя душа, особенно после нескольких стаканов пенистого *lacrima-cristi*, выпитых мною за ужином? В комнате, куда я вошел, было что-то мистическое по странному подбору вещей, в ней находившихся. Черная Мадонна, покрытая мишурой, странный наряд которой пыталась обновить моя хозяйка, красовалась на комоде, подле кровати с занавесками из зеленой саржи; статуя святой Розалии, увенчанная фиолетовыми бумажными розами, виднелась дальше, как бы охраняя колыбель спящего ребенка. Выбеленные известью стены были украшены старыми картинами, изображавшими четыре стихии в виде мифологических божеств. Прибавьте к этому лежащие в беспорядке ткани, искусственные цветы, этрусские вазы, зеркала, окруженные блестками, в которых ярко отражался свет единственной медной лампы, и на столе книгу гаданий и снов, заставившую меня подумать, что моя спутница была немного колдуньей или, по крайней мере, цыганкой.

Старуха с важными чертами лица то входила, то выходила, прислуживая нам; я думаю, это была ее мать! А я задумчиво, не говоря ни слова, не переставал смотреть на ту, которая так напоминала мне вас.

Эта женщина повторяла мне каждую минуту:

— Вы печальны?

А я отвечал ей:

— Не говорите, я с трудом вас понимаю; мне трудно слушать и говорить по итальянски.

— О! — сказала она, — я умею разговаривать и по-другому.

И она вдруг заговорила на языке, которого мне не доводилось слышать. Это были звонкие гортанные слова, журчащие, полные очарования, без сомнения, какой-то первобытный язык, еврейский или сирийский, кто знает? Она улыбнулась моему удивлению, подошла к комоду, вынула оттуда украшения из фальшивых камней, ожерелья, брасле-

ты, диадему; надев все это на себя, она вернулась к столу и очень долго оставалась серьезной. Старуха, войдя, громко рассмеялась и сказала мне, насколько я понял, что так она обыкновенно одевается по праздникам. В эту минуту проснулся ребенок и начал кричать. Обе женщины побежали к его колыбели, и скоро молодая вернулась ко мне, гордо держа в своих руках внезапно успокоившегося *bambino*.

Она разговаривала с ним на языке, так удивившем меня, она возилась с ним, выказывая кокетство, полное грации. А я, мало привыкший к действию вулканических вин Везувия, почувствовал, как предметы кружатся перед моими глазами; эта женщина со странными манерами, разубранная по-царски, гордая и капризная, казалась мне одной из волшебниц Фессалии, за один взгляд на которых можно пожертвовать душой. О! почему я не боюсь вам рассказывать об этом? Впрочем, вы хорошо знаете, что это был лишь сон, где царили вы одна!

Я вырвался от этого призрака, который в одно и то же время пленял меня и пугал; я бродил по пустынному городу до звона первых колоколов; затем, почувствовав приближение утра, поднялся по маленьким улицам позади Киайа и взобрался на Позилиппо над гротом. Взойдя на самый верх, я прогуливался там, глядя на уже голубое море, на город, где были слышны еще утренние звуки, и на острова залива, откуда солнце начало золотить верхушки вилл. Я не был печален нисколько, я ходил большими шагами, катался по росистой траве; но мое сердце тяготила мысль о смерти.

О боги! что за глубокая печаль царила тогда в моей душе; это было не что иное, как ужасная мысль, что я не любим. Я только что видел словно бы призрак счастья, я пользовался всеми дарами Бога, я был под самым лучшим в мире небом, среди самой совершенной природы, перед самым прекрасным зрелищем, которое дано видеть людям, но в четырехстах милях от единственной женщины, существующей для меня и не желающей знать о моем существовании. Не быть любимым и не иметь никакой надежды быть

им когда-нибудь! Тогда-то я испытал искушение спросить у Бога отчет о моей странной жизни. Нужно было сделать только один шаг: в том месте, где я находился, берег был обрывист, внизу бурлило голубое, чистое море; не больше минуты продолжалось бы страдание. О! безумие этой мысли было ужасно. Два раза я пытался кинуться вниз и не знаю, какая сила, наконец, повергла меня живым на землю, которую я стал целовать. Нет, Боже! Ты создал меня не для вечного страдания. Я не хочу оскорбить Тебя моей смертью; но даруй же мне твердость, которая приводит одних к трону, других — к славе, третьих — к любви!»

В ту странную ночь произошло редкое явление. Под утро все окна дома, где я находился, вдруг осветились, горячая серная пыль мешала дышать; и, оставив мою легкую победу спящей на террасе, я поднялся по переулкам, ведущим к замку Сант-Эльмо; по мере того, как я взбирался на гору, чистый утренний воздух наполнял мои легкие; я отдыхал под трельяжами вилл и без страха смотрел на Везувий, покрытый облаком дыма.

И в эту минуту я почувствовал тревогу, о которой уже писал. Мысль о свидании, назначенном мне молодой англичанкой, отвлекла меня от роковых воспоминаний. Освежившись кистью винограда, купленной на улице, я направился к Портичи и решил пройти на развалины Геркуланума. Улицы были засыпаны вулканическим пеплом. Дойдя до развалин, я спустился в подземный город и долго переходил от одного здания к другому, спрашивая у этих памятников тайну их прошлого. Храмы Венеры и Меркурия ничего не сказали моему воображению. Надо было населить их живыми фигурами. Я поднялся к Портичи и задумчиво остановился под трельяжами, ожидая мою чужестранку.

Она не замедлила явиться, помогая идти своему отцу, и крепко пожала мне руку, сказав только:

— Отлично.

Мы взяли карету и отправились смотреть Помпею. С каким счастьем я водил ее по тихой улице древней римской колонии! Я раньше уже изучил все закоулки развалин. Когда мы пришли в маленький храм Исиды, я был счастлив рассказать ей все подробности культа и церемоний, о которых прочел у Апулея. Она захотела сама играть роль богини, а я взял на себя роль Осириса.

При возвращении, пораженный величием тем, затронутых нами, я не посмел говорить ей о любви... Видя мою холодность, она стала меня упрекать. Тогда я сознался, что больше не чувствую себя достойным ее. Я рассказал ей тайну видения, пробудившую в моей душе прежнюю любовь, и всю печаль этой роковой ночи, когда призрак счастья был только свидетельством нарушенной клятвы.

Увы! как все это теперь далеко от меня! Десять лет тому назад я вновь проезжал через Неаполь, возвращаясь с Востока. Я остановился в отеле «Рим» и там опять встретил молодую англичанку. Она была замужем за знаменитым художником, которого вскоре после свадьбы совершенно разбил паралич; он лежал на кушетке; на его лице живыми были только большие черные глаза; будучи еще совсем молодым, он не мог надеяться на выздоровление. Бедная женщина посвятила себя печальной жизни между мужем и отцом, и ни ее кротость, ни девственная чистота не могли успокоить жестокой ревности, скрывавшейся в душе первого. Ничто никогда не могло убедить его позволить жене гулять одной, и он напомнил мне черного гиганта, вечно бодрствующего в пещере духов, жена которого принуждена была бить его, чтобы помешать ему спать. О тайна человеческой души! Нужно ли видеть в таком проявлении жестокие знаки мщения богов!

Я не мог дольше одного дня созерцать это печальное зрелище. Пароход, увезший меня в Марсель, прервал, как сон, воспоминание об этом нежном видении, и я сказал себе, что там я оставил, может быть, свое счастье. Октавия заключала в себе его тайну.

АВРЕЛИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Сон — это вторая жизнь. Я никогда не мог без трепета пройти сквозь эти врата из слоновой кости или рога, которые отделяют нас от невидимого мира. Первые минуты сна — это образ смерти; смутная оцепенелость охватывает наши мысли, и мы не можем точно определить минуту, когда наше *я*, уже в другой форме, продолжает дело существования. Мрачное подземелье мало-помалу освещается, и из тени и ночи выступают бледные, неподвижные существа, обитающие в загробных пределах. Затем картина проясняется, загорается новый свет и заставляет двигаться эти причудливые видения: нам открывается мир духов.

Сведенборг называет эти видения *memorabilia*; он относит их скорее к мечтаниям, чем к снам. «Золотой осел» Апулея, «Божественная комедия» Данте являются поэтическими образами таких состояний души человеческой. Я попробую по их примеру описать впечатления долгой болезни, протекавшей в глубоких тайниках моего духа. Не знаю, зачем я сказал здесь слово «болезнь», потому что никогда, что касается меня самого, я не чувствовал себя более здоровым. Иногда я думал даже, что моя сила и энергия удваиваются; мне казалось тогда, что я все знаю, все понимаю; воображение приносило мне бесконечные наслаждения. И, вернув то, что люди называют разумом, разве смел бы я пожалеть, что эти наслаждения утрачены?..

Эта *vita nuova* имела для меня две фазы. Вот что относится к первой из них. Одна дама, которую я долго любил и которую называл именем Аврелии, была для меня потеряна. Мало значения имеют подробности этого события, оказавшего такое большое влияние на всю мою жизнь. Всякий может найти в своих воспоминаниях какое-нибудь наиболее терзавшее душу чувство, какой-нибудь самый ужасный удар, нанесенный душе судьбой; тогда надо решиться умереть или жить: я скажу позже, почему я не избрал смерти. Я был виноват перед той, которую я любил, и не надеялся получить прощения. Мне оставалось только предаться простому упоению жизнью. Я принял радостный и беззаботный вид и ездил по свету, безрассудно плененный разнообразием и чудесами мира. В особенности любил я странные обычаи и нравы далеких народов; мне казалось, что таким образом я перемещаю понятия добра и зла, выхожу, так сказать, за пределы того, что является *чувством* для нас, французов. «Какое безумие, говорил я себе, любить платонической любовью женщину, которая тебя больше не любит! Это вина прочитанных мною книг; я всерьез принял фантазии поэтов и сотворил себе Лауру или Беатриче из обыкновенной женщины нашего века... Надо только отдаться новым любовным приключениям, и это скоро забудется». Веселый карнавал в одном итальянском городе прогнал все мои меланхолические мысли. Я был так счастлив освобождением, которое испытывал, что делился моею радостью с друзьями и в своих письмах выдавал за постоянное состояние моего духа то, что было только лихорадочным возбуждением душевных сил.

Однажды в тот город прибыла дама, пользующаяся большой известностью, и подарила меня своей дружбой. Она привыкла нравиться и обольщать и скоро без труда ввела меня в круг своих поклонников. После одного вечера, где она очень просто держалась и вместе с тем была полна вызывающего очарования, я почувствовал себя влюбленным

в нее до такой степени, что не мог медлить ни минуты и написал ей. Я был так счастлив чувствовать, что мое сердце способно на новую любовь!.. Исполненный придуманного восхищения, я употребил в письме те же самые выражения, которые так недавно еще служили мне, чтобы изображать любовь настоящую и долго испытываемую. Когда письмо было отправлено, мне захотелось его вернуть, и в уединении я стал думать, что оно было осквернением моих воспоминаний.

Наступивший вечер возвратил моей новой любви все обаяние вчерашнего дня. Дама, казалось, была тронута тем, что я ей написал, хотя и выказывала некоторое удивление по поводу столь внезапной вспышки чувств. В один день я прошел через несколько степеней чувства, которое могло быть вызвано столь искренней женщиной. Она призналась, что мое послание ее удивило, хотя и наполнило в то же время гордостью. Я пытался заставить ее мне верить, но во всем, что хотел ей сказать, не мог найти тона своего письма. И тогда со слезами на глазах я был принужден открыть ей, что ошибался сам, обманывая ее. Мое доверие растрогало ее, и сильная в своей нежности дружба заняла место тщетных уверений в любви.

II

Несколько позже я встретил ее в другом городе, где находилась и та дама, которую я безнадежно любил. Случай заставил их познакомиться, и первая нашла возможность смягчить ту, которая изгнала меня из своего сердца. И вот однажды, находясь в одном обществе с ней, я вдруг увидел, что она направляется ко мне, протягивая мне руку. Как истолковать этот поступок и печальный, глубокий взгляд, сопровождавший ее приветствие? Я думал, что в этом было прощение прошлому. Божественное выражение со-

страдания придало простым ее словам, обращенным ко мне, невыразимую ценность, как будто что-то религиозное примешалось теперь к волнениям любви, до тех пор совершенно земной, и сообщило ей печать вечности.

Необходимые дела заставили меня уехать в Париж, но я решил остаться там лишь на несколько дней и сейчас же вернуться к дорогим мне женщинам. От радости и нетерпения я был в каком-то рассеянии, увеличившемся от дел, которые я спешил кончить. Однажды вечером, около полуночи, возвращаясь в ту часть города, где я жил, я случайно поднял глаза и заметил номер дома, освещенный фонарем. Это число равнялось числу моих лет. Тотчас, опустив глаза, я увидел перед собой женщину с бледным лицом и глубоко запавшими глазами; мне показалось, что она походила на Аврелию. Я сказал себе: «Это предсказание ее смерти или моей!» И, не знаю почему, я остановился на последнем предположении; я был осенен мыслью, что это должно произойти завтра, в тот же самый час.

В ту ночь я видел сон, утвердивший меня в этой мысли. Я бродил по обширному зданию, состоящему из многих залов; в одних шли уроки, в других происходили философские прения и диспуты. Я с интересом остановился в одном из первых залов, где думал увидеть моих старых учителей и товарищей. Чтение греческих и латинских авторов сопровождалось там монотонным бормотанием, похожим на молитву богине Мнемозине. Я прошел в другой зал, где велись философские беседы. Пробыв там некоторое время, я вышел оттуда, чтобы вернуться в свою комнату, находившуюся тут же, в гостинице со множеством лестниц, наполненной деловыми путешественниками.

Я несколько раз запутывался в ее длинных коридорах и, проходя одну из главных галерей, вдруг остановился, пораженный странным зрелищем. Существо непомерной величины — мужского или женского пола, я не знаю, — с трудом летало в этом пространстве, билось в наполнявших

его густых облаках. Лишившись дыхания и сил, оно упало наконец в темный двор, цепляясь своими крыльями за крыши и стены. Я мог рассмотреть его только в течение одной минуты. Оно было окрашено в алый цвет, а его крылья сверкали тысячью изменчивых отсветов. Облаченное в длинную одежду с античными складками, оно походило на ангела Меланхолии Альбрехта Дюрера. Я вскрикнул от ужаса и внезапно проснулся.

На следующий день я поспешил повидать всех моих друзей. Я мысленно прощался с ними и, ничего не говоря им о том, что занимало мой ум, принялся горячо рассуждать на мистические темы, удивляя их особенным красноречием; мне казалось, что я знаю все и что тайны мира открываются мне в эти последние часы.

Вечером, в ожидании рокового часа, я сидел с двумя друзьями за столом в гостях и рассуждал о живописи и музыке, определяя, со своей точки зрения, происхождение красок и значение чисел. Один из приятелей, по имени Поль***, хотел проводить меня домой, но я сказал ему, что не буду туда возвращаться. «Куда же ты идешь?» — спросил он меня. «*На Восток*». И пока он шел со мной, я стал искать на небе звезду, которую я знал и о которой всегда думал, что она имеет какое-то влияние на мою судьбу. Отыскав ее, я продолжал путь по тем улицам и в таком направлении, чтобы она была мне видна, идя, так сказать, за своей судьбой и желая видеть звезду до той минуты, когда смерть поразит меня. Дойдя, однако, до пересечения трех улиц, я не захотел идти дальше. Помнится, мой друг употреблял сверхчеловеческие усилия, чтобы заставить меня сдвинуться с места; он вырастал на моих глазах и принимал черты апостола. Мне казалось, я вижу, как место, где мы стояли, возвышается и теряет городской вид; на холме, окруженном безграничными пустынями, эта сцена сделалась сценой борьбы двух духов, образом библейского искушения. «Нет! — говорил я. — Я не принадлежу твоим небесам. На

этой звезде меня ждут те, кто существовал еще до возвещенного тобой откровения. Оставь меня соединиться с ними, потому что среди них та, которую я люблю, и там мы должны снова найти друг друга!»

III

Здесь началось для меня то, что я назову вторжением сна в действительную жизнь. С этой минуты все принимало для меня двойственный вид — но так, что в моих рассуждениях всегда была логика, и моя память сохранила мельчайшие подробности всего, что со мной происходило. Мои действия, с виду безумные, были подчинены тому, что человеческий разум называет иллюзией...

И после много раз являлась мне опять та же мысль: что в некоторые важнейшие минуты жизни некий Дух внешнего мира воплощался вдруг в обыкновенного человека и действовал или старался действовать так, что этот человек не знал о нем и не сохранял о нем никакого воспоминания.

Видя, что его усилия бесполезны, мой друг оставил меня, без сомнения, считая, что я подвержен какой-то навязчивой идее, которую успокоит ходьба. Оставшись один, я с трудом поднялся и направил свой путь к звезде, не переставая следить за ней глазами. Я пел, продолжая идти, мистический гимн; мне казалось, я слышал его в каком-то другом моем существовании, и это наполняло меня несказанной радостью. На ходу я снял мои земные одежды и разбросал их вокруг. Дорога, казалось, все время подымалась, а звезда становилась больше. Затем я остановился с простертыми руками, ожидая минуты, когда душа моя отделится от тела, магнетически привлеченная лучом звезды. По мне пробежала дрожь; сожаление о земле и о тех, кого я на ней любил, охватило мое сердце, и я стал так горячо умолять Духа, привлекавшего меня к себе, что мне показалось, буд-

то я снова вернулся к людям. Меня остановил ночной обход, и тут у меня возникла мысль, что я превратился в великана и что во мне таится такой мощный электрический заряд, что я могу опрокинуть любого, кто приблизится ко мне. Было что-то комическое в той заботе, с какой я старался беречь свои силы и жизнь солдат, которые меня подобрали.

Если бы я не думал, что задача писателя состоит в искреннем исследовании всего, что он испытал в роковые минуты своей жизни, и если бы не считал нужным поведать о том читателю, я прервал бы свое повествование и не пробовал описывать то, что явилось мне потом в целом ряде видений, бессмысленных, а то и, прямо сказать, болезненных...

Когда я повалился на походную кровать, мне показалось, будто небо разверзается и раскрывается в тысячах образов невиданного великолепия. Предназначение освобожденной души открылось мне с такой силой, что я устыдился своего недавнего желания вернуться на землю, к людям. Множество кругов расходилось в бесконечности, как круги, образующиеся на воде, взволнованной упавшим в нее телом; пространства между кругами, наполненные лучезарными фигурами, различно окрашивались, сдвигались и вдруг расплывались, и некое божество, всегда одно и то же, являло скрытые маски своих различных воплощений, и после этого исчезало, неуловимое, в мистическом блеске неба Азии.

Это небесное видение, одно из тех явлений, какие могут возникнуть перед каждым из нас во сне, не сделало меня чуждым тому, что происходило вокруг. Лежа на походной кровати, я слышал, как солдаты разговаривали о каком-то незнакомце, задержанном ими, как и я. Его голос слышался в том же зале. Вибрация этого голоса была такой странной, что мне казалось, будто он исходит из моей груди и моя душа раздваивается, так сказать, ясно разделяясь меж-

ду видением и действительностью. Внезапно у меня явилась мысль обратиться, собрав все силы, к тому, о ком шла речь, и я задрожал, вспомнив известную в Германии легенду, говорящую, что у каждого человека есть свой *двойник* и что, когда он его видит, смерть близка. Я закрыл глаза и впал в беспокойное состояние духа, когда фантастические и реальные лица, окружавшие меня, дробились на тысячи мимолетных образов. В какой-то миг я увидел около себя двух друзей, пришедших за мной, солдаты указали им на меня. Затем дверь открылась, и кто-то моего роста — лица его я не видел — вышел вместе с моими друзьями; напрасно я звал их. «Но вы ошибаетесь! — кричал я. — Они пришли за мной, а с ними ушел другой!» Я так шумел, что меня посадили в карцер.

Я пробыл там несколько часов в состоянии какого-то ожесточения; наконец, два друга, которых, *мне казалось, я уже видел*, приехали за мной в карете. Я рассказал им все, что произошло, но они отрицали свое появление у солдат ночью. Я пообедал с ними довольно спокойно, но, по мере приближения ночи, мне стало казаться, что я должен бояться того самого часа, который стал для меня роковым накануне. Я попросил у одного из них бывшее у него на пальце восточное кольцо — я смотрел на него как на древний талисман — и, взяв шелковый платок, привязал кольцо себе на шею, приложив то место, где была вставлена бирюза, к затылку, в котором я чувствовал боль. По моему мнению, это была точка, откуда душа могла вылететь в ту минуту, когда луч звезды, увиденной мною накануне, протянется между мной и зенитом. Случайно или вследствие сильного предубеждения, я упал, как пораженный громом, в тот самый час, что и накануне. Меня уложили в постель, и на долгое время я потерял всякое чувство и всякую связь образов, являвшихся мне.

Это состояние продолжалось много дней. Я был перенесен в больницу. Родные и друзья навещали меня, но я

никого не узнавал. Единственным отличием бодрствования от сна было тогда то, что в первом случае все преображалось в моих глазах; каждое приближавшееся лицо казалось мне искаженным, а предметы отбрасывали какие-то колеблющие их форму тени. Игра света и сочетания цветов все время менялись, как бы поддерживая постоянный ряд впечатлений, связанных между собой, переходивших уже в сон, менее подверженный действию внешней жизни.

IV

Однажды вечером мне представилось с полной несомненностью, что я нахожусь на берегах Рейна. Передо мной были суровые скалы, очертания которых едва вырисовывались во мраке. Я вошел в какой-то очень уютный домик; луч заходящего солнца весело пробивался сквозь его зеленые ставни, увитые виноградом. Мне казалось, что я вступил в знакомое жилище, в дом моего родственника с материнской стороны, фламандского художника, умершего больше ста лет тому назад. Наброски картин висели по стенам, на одной из них была изображена знаменитая фея этих мест. Старая служанка, которую я называл Маргаритой и которую, казалось, знал с детства, сказала мне: «Ложитесь спать, ведь вы пришли издалека, а дядя вернется поздно; вас разбудят к ужину». Я бросился на постель, завешенную ситцевым пологом с большими красными цветами. Передо мною на стене висели деревенские часы, и птица на этих часах принялась говорить человеческим голосом. Мне пришла мысль, что душа какого-то предка была в этой птице; но я так же мало удивился ей и ее разговорам, как и тому, что был перенесен на целый век назад. Птица рассказывала мне о членах моей семьи, живших и умерших в разное время, как если бы они существовали одновременно. Она ска-

зала еще: «Вы видите, ваш дядя позаботился заранее сделать *ее* портрет... Теперь *она* с нами». Я перевел глаза на портрет, изображавший женщину в старинном немецком костюме, сидящую на берегу реки, устремив взор на кустик незабудок. Между тем ночь мало-помалу сгущалась, и вид, звуки и ощущения тех мест перемешивались в моем грезящем сознании; мне казалось, что я падаю в бездну, пронизывающую землю насквозь. Меня уносил, не доставляя ни малейшего страдания, поток расплавленного металла, и тысяча рек цвета различных химических составов бороздили грудь земли, как артерии и вены, извивающиеся между долями мозга. Все текло, кружилось, менялось, и у меня было чувство, что это реки из живых душ в состоянии первичных молекул и что только быстрота движений мешает мне их различить. Мало-помалу белый свет стал проникать в эти протоки, и, наконец, я увидел расширяющийся подобно большему кругу новый горизонт, на котором виднелись острова, окруженные сверкающими волнами. Я очутился на берегу, освещенном этим бессолнечным днем, и увидел старика, возделывающего землю. Я узнал в нем того предка, который разговаривал со мной голосом птицы, и потому ли, что он мне говорил, или я понял это сам, но для меня стало ясно, что наши предки принимают образы разных животных, чтобы посещать нас на земле, и, таким образом, они немыми зрителями присутствуют при событиях нашего существования.

Старик бросил свою работу и проводил меня к дому, стоявшему неподалеку. Пейзаж, окружавший нас, напомнил мне французскую Фландрию, где жили мои родные и где были их могилы: поле, окруженное рощами и лесными опушками, озеро, река и прачечные мостки на ней, деревня на косогоре, холмы из темного песчаника, поросшие дроком и вереском, — так воскрес здесь образ дорогих для меня мест. Только дом, куда я вошел, был мне совсем не знаком. Я понял, что он существовал в неизвестные мне времена и

что в мире, который я тогда посетил, призраки вещей сопровождают человеческие призраки.

Я вошел в обширную залу, где было много народу. Повсюду я находил знакомые лица. Черты умерших родных, которых я оплакивал, мелькали в лицах других людей, одетых в старинные костюмы, и они оказывали мне то же отеческое гостеприимство. Казалось, они собрались на семейный праздник. Один из них подошел и нежно обнял меня. На нем был старинный выцветший костюм, а его улыбающееся лицо под напудренными волосами имело какое-то сходство с моим. Он казался мне более живым, чем все остальные, и, так сказать, более доступным для моей души. Это был мой дядя. Он усадил меня рядом с собой, и между нами установилось какое-то общение. Я не могу сказать, что слышал его голос, но когда моя мысль останавливалась на чем-нибудь, тотчас же смысл этого делался мне ясен, и образы проносились перед моими глазами, как живые картины.

— Итак, это правда, — говорил я с восхищением, — что мы бессмертны, что мы храним здесь образы того мира, где жили прежде. Какое счастье думать, что все, что мы любили, будет всегда существовать вокруг нас!.. Я так устал от жизни!

— Не спеши радоваться, — сказал он, — ибо ты еще принадлежишь к миру, находящемуся наверху, и тебе предстоят суровые годы испытаний. Инобытие, так восхитившее тебя, имеет свои печали, свою борьбу и опасности. Земля, где мы жили, это — театр, где завязываются и развязываются узлы нашей судьбы; мы — лучи центрального огня, которым живет еще земля и который уже ослабевает.

— Как! — воскликнул я. — Земля может умереть и нас поглотит небытие?

— Небытия, — ответил он, — нет в том смысле, как его понимают; сама земля — это материальное тело, душа ко-

торой есть сумма духовных существований. Материя не может умереть окончательнее, чем дух, но способна изменяться сообразно проявленному в нем добру или злу. Наше прошлое и наше будущее взаимосвязаны. Мы живем в нашем роде, наш род живет в нас.

Эта мысль немедленно стала для меня чем-то осязаемым. Стены залы как будто бы открыли бесконечную перспективу, и мне показалось, что я вижу непрерывную цепь мужчин и женщин: я был в них, а они были во мне. Одеяния всех народов, образы всех стран явились передо мною сразу, как будто мои зрительные способности умножились, и как будто пространство подчинилось чуду, подобному чуду времени, сосредоточивающему целый век жизни в одной минуте сна. Мое удивление возросло, когда я увидел, что это бесконечное количество людей составилось только из лиц, находившихся в зале, и я видел, как их образы множатся и образуют череду зыбких, изменчивых явлений.

— Нас семеро, — сказал я моему дяде.

— Это верно, — ответил он, — семь — символическое число каждой человеческой семьи и, исходя из этого, семь раз по семь и так далее.

Я не могу объяснить ответ, который для меня самого остался неясным. Я не нашел в метафизике подтверждения для наблюдений, сделанных мною тогда об отношении этого числа людей ко всеобщей гармонии. В отце и матери можно усмотреть аналогию электрическим силам природы; но как установить число индивидуальных центров, продолжающих их существование? Являет ли это продолжение коллективный духовный *образ,* состоящий из многообразных и в то же время закономерных сочетаний? Если так, надо было бы спросить отчет у цветка о количестве его лепестков и разделении его венчика... У земли — о фигурах, которые она образует, у солнца — о красках, которые оно производит!

V

Все изменило форму вокруг меня. Дух, с которым я разговаривал, не имел больше своего прежнего вида. Теперь это был молодой человек, скорее воспринимающий от меня идеи, чем сообщающий их мне... Не слишком ли опрометчиво забрался я на высоты, вызывающие головокружение? Я понял, казалось, что некоторые вопросы были темны или опасны даже для духов того мира, который я тогда посетил... А может быть, некая верховная власть воспретила мне эти поиски. Я увидел себя теперь блуждающим по улицам многолюдного и незнакомого мне города. Я заметил, что он был расположен на холмах и что над ним возвышалась гора, покрытая жилищами. Я обратил внимание на отдельных людей, принадлежавших, казалось, к особенной нации; их живой, решительный вид, энергичное выражение лиц заставило меня принять их за независимый, воинственный горный народ или за народ с далеких островов, редко посещаемых чужестранцами; как бы то ни было, среди большого города и смешанной будничной толпы его они умели сохранить свою гордую самобытность. Кто были эти люди? Мой провожатый вел меня по крутым и многолюдным улицам, где раздавался шум различных мастер-ских. Мы поднимались затем по целому ряду лестниц, и с верхней из них перед нами открылся обширный вид. Там и сям виднелись террасы, покрытые трельяжами, сады, разбитые на уступах холмов, крыши, легкие павильоны, украшенные живописью и лепкой, исполненными с фантастической тщательностью; здесь, наверху, аллеи, перевитые зеленью, пленяли глаз и радовали дух как зрелище дивного оазиса или укрытого от всех убежища над сутолокой и шумом жизни внизу, доходившим сюда лишь в виде слабого рокота.

Рассказывают о народах, обреченных жить вечно в тени некрополей и катакомб; здесь, очевидно, все было по-другому.

Какой-то счастливый народ создал это убежище, любимое птицами, цветами, с чистым и прозрачным воздухом. «Это сделали, — сказал мне мой вожатый, — прежние обитатели горы, которая возвышается над городом и на которой мы сейчас находимся. Они долго жили здесь, простые нравами, добрые сердцем и справедливые, сохраняя естественные добродетели первых дней мира. Народ почитал их и подражал им».

Я спустился с горы и, следуя за вожатым, вошел в одно из этих высоких жилищ, которым придавали такой странный вид их соединенные крыши. Мне казалось, будто я постепенно погружался в разные слои, заключавшие здания различных эпох. За призраками одних зданий вырисовывались очертания других, и каждый такой ряд был отмечен стилем своего века. Это походило бы на раскопки античных городов, если бы только не было текучим, воздушным и пронизанным переливающимся светом. Наконец я очутился в просторной комнате, где увидел старика, работавшего над чем-то подле стола. В ту минуту, когда я вошел, какой-то человек, одетый в белое, лица его я не успел различить, угрожающе направил против меня оружие, бывшее у него в руке; но тот, кто был со мной, сделал ему знак удалиться. Казалось, что некто хотел помешать мне проникнуть в тайну этих жилищ. Ничего не спросив у вожатого, я понял, что эти высоты, бывшие в то же время глубинами, были убежищем древних обитателей горы. Презрев неудержимые приливы новых рас, они продолжали там жизнь, простую нравами и полную любви, оставаясь справедливыми, искусными, сильными и талантливыми, одерживая мирную победу над слепыми массами, успевшими столько раз разделить их имущество. Да! ни разврата, ни угнетения, ни рабства, — чистыми остались они в своей победе над косностью и, живя в довольстве, сохранили все добродетели бедности.

Ребенок играл тут же на земле кристаллами, раковинами и камеями, превращая свою игру в средство познания.

Пожилая, но еще миловидная женщина хлопотала по хозяйству. В эту минуту несколько молодых людей вошли в комнату с шумом, словно возвращаясь с работы.

Я удивился, что все они были одеты в белое. Но, кажется, то была лишь аберрация моего зрения: чтобы убедить меня в этом, мой вожатый нарисовал их костюмы и раскрасил их яркими красками, заставляя меня понять, что такими они были в действительности. Белизна, удивившая меня, происходила, вероятно, от чрезмерного блеска их одежд и слияния в нем обыкновенных цветов призмы. Я вышел из комнаты и оказался на террасе, превращенной в регулярный сад. Там гуляли и играли молодые девушки и дети. Их одежды показались мне также белыми, но обшитыми тесьмой красного цвета. Они были так хороши, черты их лиц были так прекрасны и свет их душ так сиял сквозь нежную телесную оболочку, что все они внушали любовь без страсти и без предпочтения, воплощая в себе все неопределенные мечтания юношеской любви.

Я не могу передать чувство, испытанное мною среди этих прелестных существ, сразу сделавшихся дорогими для меня, хотя я и не знал их прежде. То была как бы одна семья, небесная и первозданная. Их улыбающиеся глаза обратились на меня с нежным сожалением. Я залился горючими слезами, словно вспомнив о потерянном рае. Я с болью чувствовал, что был только прохожим в этом мире, таком странном и вместе с тем дорогом для меня, и содрогался при мысли, что должен вернуться в жизнь. Напрасно женщины и дети теснились вокруг, как бы желая удержать меня здесь. Их пленительные образы уже растворялись в темных парах, их красивые лица бледнели; их ясные черты, их блестящие глаза исчезали в тени, где светился еще последний блеск их улыбки...

Таково было это видение, или, по крайней мере, главные подробности его, которые я запомнил. Каталептическое состояние, в которое я впал на несколько дней, было мне потом объяснено научно. Рассказы же тех, кто видел меня та-

ким, раздражали меня, когда я слышал, что они приписывали умственному расстройству все мои слова и движения, совпадавшие с разными фазисами видений, которые имели для меня ясную логическую связь. Приятнее были для меня те из моих друзей, которые, вследствие ли снисходительности или вследствие склонности к идеям, похожим на мои, заставляли меня подробно рассказывать им, что я увидел духовно.

Один из них сказал мне со слезами:

— Ведь правда же, что есть Бог?

— Да! — воскликнул я с энтузиазмом. И мы обнялись, как два брата, у которых общей была та мистическая родина, где я недавно был. Какое счастье открылось мне в этом убеждении! Итак, сомнение в бессмертии души, которое поражало лучшие умы, было разрешено теперь для меня окончательно. Нет более смерти, нет печали, нет тревог. Те, кого я любил, родные, друзья, подали мне весть о своем вечном существовании; только дневные часы отделяли меня от них. И в сладостной тоске ожидал я пришествия ночи.

VI

Один сон, увиденный тогда, еще более утвердил меня в этой мысли. Я лицезрел себя в одной из зал дедовского дома. Она показалась мне только более просторной. Старая мебель блестела в ней как-то удивительно, ковры и занавеси были как новые, особенный свет, в три раза ярче обычного дневного света, проникал сквозь окно и дверь, и в воздухе была такая свежесть, такой аромат, какие бывают только в первые теплые весенние утра. В этой комнате работали три женщины, являвшие для меня, хотя и без полного сходства, родственниц и подруг, сопровождавших мою юность. Казалось, что каждая из этих женщин совмещала в себе черты нескольких из них. Очертания их фигур колебались, как пламя лампы, и каждую минуту что-то от одной из них переда-

валось другой. Улыбка, голос, цвет глаз и цвет волос, нечаянные движения — всем этим они обменивались между собой, точно жили одной жизнью и каждая из них была сотворена из всех других подобно тому, как в образах некоторых художников соединялись для достижения совершенной красоты несколько моделей.

Старшая говорила со мной мелодичным грудным голосом, который я уже слышал в детстве, и ее слова поражали меня глубокой истинностью. Потом мои мысли обратились к самому себе, и я увидел себя одетым в старинного покроя темный костюм, сотканный из тонких, как паутина, нитей. Он был наряден, красив и пахнул сладкими духами. Я почувствовал себя молодым и праздничным в этом наряде, вышедшем из рук трех фей, поблагодарил их, краснея, как маленький ребенок перед взрослыми и красивыми дамами. Затем одна из них встала и направилась в сад.

Всем известно, что во сне никогда не видишь солнца, хотя в то же время бывает ощущение света еще более яркого, чем солнечный. Тела и предметы светятся сами собой. Я увидел себя в небольшом парке, где сводом подымались трельяжи, отягченные крупными гроздьями черного и белого винограда. По мере того, как шедшая впереди меня дама проходила под трельяжами, их перекрещивающиеся тени колебали очертания ее фигуры и ее платья. Она прошла, наконец, сквозь них, и мы оба очутились на открытом пространстве. С трудом там можно было различить следы старинных аллей, пересекавших это пространство крестнакрест. Много лет здесь никто не ухаживал за садом, и разросшиеся ветви жимолости, хмеля, жасмина, плюща обвивались вокруг деревьев и свешивались с них наподобие лиан. Корни деревьев, обремененные плодами, тянулись по земле среди густых зарослей сорных трав, сквозь которые кое-где пробивались одичавшие садовые цветы.

Там и сям поднимались высокие тополя, акации и сосны, в тени которых вырисовывались статуи, потемневшие

от времени. Я заметил перед собой груду камней, покрытых мхом, откуда бил свежий ключ и с приятным журчанием стекал в бассейн с неподвижной водой, почти сплошь покрытой большими листьями.

Дама, за которой я следовал, открыла свою стройную фигуру одним движением, заставившим засверкать складки ее платья из переливающегося разными оттенками шелка. Она легко обняла обнаженной рукой длинный стебель вьющейся розы, затем стала расти в ярких лучах света так, что мало-помалу весь сад принял ее образ, а цветники и деревья стали вышивками и украшениями ее платья. Ее лицо и руки слились с очертаниями пурпурных облаков в небе. Я терял ее из вида по мере преображения, ибо казалось, что она растворяется в собственном величии.

— О, не улетай! — вскричал я. — Потому что природа умирает вместе с тобой.

Говоря эти слова, я с трудом пробирался сквозь колючие кусты, как бы желая схватить ускользающую от меня тень. Но вдруг наткнулся на остаток обвалившейся стены, у подножия которой лежал бюст, изображавший женщину. Поднимая его, я твердо знал, что это *она*... Я узнал дорогие черты, и когда посмотрел вокруг, то увидел, что сад принял вид кладбища. Какие-то голоса говорили в нем: *«Вселенная объята ночью»*.

VII

Этот сон, такой счастливый вначале, ввергнул меня в большую тревогу. Что значит он? Я узнал это лишь впоследствии. Аврелия умерла.

Сначала до меня дошло только известие об ее болезни. Вследствие состояния моего сознания я почувствовал тогда лишь неопределенную грусть, смешанную с надеждой. Мне казалось, что я сам проживу недолго, и я был уверен теперь в

существовании мира, в котором снова встречаются сердца любящих. Кроме того, в смерти она принадлежала бы мне вернее, чем могла принадлежать в жизни... Эгоистическая мысль, за которую я заплатил потом горьким раскаянием.

Я не хотел бы настаивать теперь на предчувствии: простой случай часто делает странные вещи. Но тогда я был слишком поглощен воспоминаниями о нашем недолгом союзе. Я помнил, что подарил ей кольцо старинной работы с опалом в форме сердца. Так как это кольцо было ей велико, мне пришла в голову роковая мысль отдать его сузить и я понял ошибку только тогда, когда услышал жужжание пилки. Мне показалось, что я увидел, как потекла кровь...

Хороший уход вернул мне здоровье, но сознание еще не обрело отчетливости человеческого разума. Дом, в котором я теперь жил, стоял на высоком холме и был окружен обширным садом, состоявшим из прекрасных деревьев. Чистый воздух, первое дыхание весны, приятные люди принесли мне долгие дни спокойствия.

Первые листья платанов восхищали меня яркостью своих красок. Вид на равнину открывал целый день чудесные горизонты, и моему воображению нравились постепенно смягчавшиеся цвета далей. Я населял холмы и облака божественными фигурами, очертания которых, мне казалось, я отчетливо различал. Я хотел еще более закрепить эти образы и при помощи угля и кусков кирпича, подобранных мной, покрыл стены рядами фресок, выражавших мои чувства. Одно лицо всегда было в них на первом плане — Аврелия, с чертами божественности, такой, какой она явилась мне во сне. Под ногами ее вращалось колесо, и боги составляли ее свиту. Мне удалось даже раскрасить эту картину соком трав и цветов. Сколько раз грезил я перед этим дорогим для меня кумиром! Я сделал больше, я попытался вылепить из глины подобие той, кого я любил. Каждое утро мне приходилось начинать работу сначала, потому что дру-

гие больные, завидуя моему счастью, с удовольствием разрушали его образ.

Мне дали бумаги, и долгое время я упорно изображал в тысяче рисунков, сопровождаемых описаниями, стихами и подписями на всевозможных языках, нечто вроде истории мира, составившейся из школьных воспоминаний и обрывков снов, которые от этих занятий стали еще более тревожными и продолжительными. Я не останавливался долго на новейших легендах о сотворении мира. Моя мысль воспаряла выше. Мне мерещился, точно воспоминание, первый договор, заключенный гениями при помощи талисмана. Я пытался воссоединить камни священной Скрижали, изображая вокруг них семь первых *элохимов*, разделивших между собой мир.

Моя панорами истории, заимствованная из восточных сказаний, начиналась со счастливого соглашения всех сил природы, образовавших вселенную. Ночью, накануне работы, мне представилось, что я нахожусь на неизвестной планете, на которую брошены первые семена творения. Из лона еще влажной земли поднимались гигантские пальмы, ядовитые эвфорбии и акантовые листья, окружавшие кактусы. Жесткие контуры скал подымались, как скелеты, в этом первом наброске творения, и отвратительные пресмыкающиеся ползали, извивались и свертывались посреди непроходимой чащи диких растений. Бледный свет звезд один освещал голубоватые дали этого странного пейзажа. И по мере того, как подвигалось дело творения, новые и более яркие звезды открывали в нем источники своего света.

VIII

Чудовища, замеченные мною, стали менять форму и, сбросив кожу, поднялись еще более могучими на своих гигантских лапах. Неимоверные их тела ломали ветви и топ-

тали травы, и в этом хаосе природы они вступали между собой в борьбу, в которой принимал участие и я, потому что тело мое было так же чудовищно, как их тела. Вдруг таинственная гармония звуков послышалась в нашей пустыне, и стало казаться, что рев, рычание и свист первобытных существ сливаются теперь с этой божественной арией. Перемены следовали одна за другой до бесконечности, планета становилась мало-помалу светлее, и божественные формы начали вырисовываться на фоне зелени и в тени рощ. Отныне укрощенные, чудовища теряли свои необычайные формы и превращались в мужчин и женщин. Некоторые же из них принимали после своего преображения вид обыкновенных зверей, рыб и птиц.

Кто же сотворил это чудо? Лучезарная богиня вела теперь в этих *аватарах* развитие человеческого рода. Тогда началось разделение на расы, которое, отправляясь от птиц, распространялось на зверей, рыб и гадов. Так появились дивы, пери, ундины и саламандры, и каждый раз, как только одно из этих существ умирало, оно тотчас же возрождалось в более прекрасной форме и пело славу богам. Но один из элохимов пожелал создать пятую расу из земных частиц; он назвал эти существа *аффитами*. Это был сигнал к полному перевороту в мире духов, которые не захотели знать новых владетелей земли. Не знаю, сколько тысяч лет длилась эта борьба, покрывшая кровью нашу планету. Трое из элохимов со всеми духами созданных ими рас были наконец изгнаны на южную оконечность земли, где основали обширные царства. Они унесли с собой тайну божественной *каббалы*, которая связывает между собой миры, и нашли свою силу в поклонении особенным светилам, с которыми навсегда сохранили связь. Эти некроманты, изгнанные к пределам земли, нашли способ не упускать власть из своих рук. Окруженный женщинами и рабами, каждый из их царей был уверен, что снова родится к жизни в одном из своих собственных детей. Их жизнь длилась ты-

сячу лет. При приближении смерти могущественные каббалисты заключали их в потайные склепы, где давали им эликсиры и сохраняющие жизнь вещества. Еще долго они не утрачивали признаков жизни, а потом, подобно куколке, прядущей свой кокон, засыпали на сорок дней, чтобы возродиться под видом ребенка, который позже был призываем на царство.

Тем временем живительные силы земли истощились, питая эти семейства, в которых кровь производила новые отпрыски без всякого обновления. В обширных подземельях, вырытых под некрополями и пирамидами, они накопили все сокровища сменившихся рас и хранили там талисманы, отводившие от них гнев богов.

В глубине Африки, за Лунными горами и древней Эфиопией, совершались эти странные мистерии. Вместе с большой частью человеческого рода я долго томился там в рабстве. Рощи, которые я видел такими зелеными, не давали теперь ничего, кроме бледных цветов и увядших листьев. Неумолимое солнце выжигало окрестности, и слабые дети этих вековых династий, казалось, были обременены всею тяжестью жизни. Всех давило унылое и монотонное величие, управляемое лишь этикетом и иератическим церемониалом, и никто не мог вырваться из его власти. Старцы угасали под тяжестью императорских венцов и украшений, среди врачей и священников, чьи знания могли обеспечить им бессмертие. Народ же, навсегда разделенный на касты, не мог располагать ни своей жизнью, ни своей свободой. У корней деревьев, пораженных смертью и бесплодием, у высохших источников, на выжженной траве можно было увидеть погибающих детей и женщин, бледных и бессильных. Великолепие императорских дворцов, величие портиков, блеск одежд и украшений были лишь слабым утешением в тоске, объявшей эти пустыни.

Скоро болезни оставили в живых только десятую часть населения, животные и растения вымерли; и сами бессмерт-

ные стали погибать в своих пышных нарядах. Еще более грозный бич, чем все остальные, явился наконец, чтобы спасти и обновить мир. Созвездие Ориона низвергло с неба потоки воды. Земля, отягченная льдами противоположного полюса, обернулась вокруг своей оси, и моря хлынули на берега, затопив высокие плоскогорья Азии и Африки. Наводнение затопило пески, проникло в гробницы и пирамиды, и в продолжение сорока дней таинственный ковчег носился по волнам, храня в себе надежду нового творения.

Трое из элохимов бежали от потопа на самую высокую вершину африканских гор. Между ними началась борьба. Здесь память мне изменяет, и я не помню исхода этой борьбы. Я вижу только на горе, омываемой морем, женщину с распущенными волосами, которую они оставили; она кричит и борется с волнами. Ее жалобные стоны заглушают шум наводнения... Спаслась ли она? Я не знаю. Боги, ее братья, осудили ее, но над ее головой засверкала вечерняя звезда, излившая на ее лоб потоки света.

Прерванный гимн небес и земли стал снова звучать гармонически, призывая к согласию новые расы. Но в то время, как сыны Ноя изнемогали в тяжелом труде при лучах нового солнца, некроманты, укрывшиеся в своих подземельях, продолжали хранить там сокровища и любоваться на них в безмолвии ночей. Лишь иногда выходили они тайком из своих убежищ, наводя ужас на живых и распространяя среди злых свои печальные знания.

Таковы воспоминания, к которым возводило меня смутное чувство прошлого. Я дрожал, вызывая из тьмы отвратительные черты этих пр6клятых народов. Повсюду я видел страдальческий образ Вечной Матери, которая рыдает, томится и умирает. Сквозь разнообразные цивилизации Азии и Африки мне виделась вечно возобновляющаяся картина резни и кровавой оргии, произведенной все теми же духами, но в разном обличье.

Последняя сцена произошла в Гренаде, где священный талисман был завален телами истреблявших друг друга христиан и мавров. Сколько лет будет еще страдать мир, потому что ненависть этих вечных врагов будет всегда возобновляться под различными небесами! Части разрубленной на куски змеи, которая обвивает землю, стремятся к соединению. Разъединенные железом, они стремятся снова слиться в ужасном поцелуе, спаянном кровью людей.

IX

Таковы были образы, которые один за другим проносились перед моими глазами. Мало-помалу спокойствие овладело моей душой, и я покинул дом, который был для меня раем. Роковые обстоятельства привели много времени спустя к возобновлению моей болезни, и тогда возобновился прерванный ряд этих странных видений.

Я жил в деревне и однажды гулял, занятый мыслями о некой работе на религиозную тему. Проходя мимо какого-то дома, я услышал птицу, произносившую несколько слов, которым ее научили, и в ее бессвязном говоре мне почудился какой-то смысл. Она напомнила мне птицу описанного выше видения, и меня охватил трепет дурного предчувствия. Пройдя несколько шагов, я встретил друга, которого не видел уже очень давно; он жил по соседству. Он захотел показать мне свой дом и повел меня на высокую террасу, откуда открывался широкий вид. Это было на закате. Спускаясь по ступеням деревенской лестницы, я оступился и ударился грудью об угол. У меня хватило сил подняться и добраться до середины сада; мне показалось, что я разбился насмерть, и мне захотелось перед смертью бросить последний взгляд на заходящее солнце. Вместе с сожалением, охватившим меня в это мгновение, я почувствовал счастье умереть в этот час, среди деревьев, вью-

щихся веток и осенних цветов. Но это был только обморок, и, очнувшись, я кое-как добрался до дому и лег в постель. Мной овладела лихорадка. Вспоминая, на каком месте я упал, я сообразил, что вид, которым я любовался, был открыт в сторону кладбища, того самого, где была могила Аврелии. Я подумал об этом только теперь, иначе я мог бы приписать мое падение тому впечатлению, которое заставил меня испытать этот вид. Еще более я уверился тогда в роковой неизбежности случившегося. И еще более стал жалеть, что смерть не соединила меня с ней. Затем, подумав, я решил, что не был достоин этого. Я с горечью вспомнил жизнь, какую вел после ее смерти, упрекая себя не в том, что забыл ее, потому что я не забыл, но в том, что у меня были легкие увлечения, оскорблявшие ее память. Мне пришла мысль искать ответа у сна. Но *ее* образ, который снился мне так часто, перестал являться. Мои видения были теперь смутны и переполнены кровавыми сценами. Казалось, что проклятые расы овладели тем идеальным миром, который мне грезился когда-то и в котором она была королевой. Тот дух, который угрожал мне однажды, когда я входил в жилища чистых семейств, обитавших на высотах *таинственного Города,* прошел теперь передо мной, но уже не в белых одеждах, как прежде, а в одеянии восточного султана. Я бросился к нему с угрозами, но он спокойно обернулся ко мне. О, ужас! О, негодование! У него было мое лицо, и весь он повторял мой облик, идеализированный и преувеличенный... Я вспомнил тогда, что некто был задержан на улице в ту же ночь, что и я, а потом отпущен караулом под моим именем, когда друзья приехали за мной. Теперь у него было в руке оружие, какое именно — я не мог различить, и кто-то, кто был тут же, сказал: «Вот чем он нанес ему этот удар».

Не могу объяснить, каким образом действительные события согласовались в моих мыслях с явлениями сверхъестественными. Легче *почувствовать* это, чем выразить

словами. Но кто же этот дух, который был в одно и то же время мной и вне меня? Не был ли это легендарный *двойник* или мистический брат, которого на Востоке называют *феруер*?

Не был ли я под влиянием истории рыцаря, сражавшегося целую ночь в лесу с незнакомцем, который оказался им самим? Как бы то ни было, я думал, что человеческое воображение не создаст ничего, что не было бы истинным в этом мире или в других, и я не мог сомневаться в том, что я видел так отчетливо.

Ужасная мысль пришла мне в голову. «Человек двойствен!» — сказал я себе. «Я чувствую в себе двух людей», — написал один из отцов церкви. Из двух различных душ образовалось составное начало жизни в человеческом теле, которое само состоит из двух совершенно во всем повторяющихся частей. В каждом человеке есть актер и зритель, тот, кто говорит, и тот, кто отвечает. Восток видел в этом двух врагов: доброго и злого гениев. «Какой же из них я, добрый или злой?» — спрашивал я себя. Все равно, *другой* был моим врагом. Кто знает, нет ли таких обстоятельств или такого времени, когда эти два духа бывают принуждены разлучиться? Они прикреплены материально к одному и тому же телу, но, может быть, одному из них суждена слава, а другому — гибель и вечные муки? Роковой луч света прорезал вдруг тьму... Аврелия больше не моя!.. Мне казалось даже, что я слышу уже о церемонии, совершавшейся где-то, о приготовлениях к мистическому браку, который должен был быть моим, если бы другой не воспользовался заблуждением моих друзей и самой Аврелии. Души самых близких людей, которые теперь навещали и утешали меня, стали казаться мне зыбкими и словно бы состоящими из двух частей, из которых одна была преданная мне и дружественная, а другая как бы пораженная смертью. Во всем, что они говорили, был двойственный смысл, хотя они и не отдавали себе в том отчета, потому что не были в мире

духов, как я. Одно мгновение эта мысль показалась мне даже забавной, когда я подумал об Амфитрионе и его двойнике. Но не было ли и в этом смешном образе чего-то иного, не скрывал ли он, как и другие старинные предания, роковой истины под маской шутки? «Что же, — сказал я, — будем бороться против рокового Духа и хотя бы против самого Бога, вооружившись традицией и наукой. Пусть все это свершается во мраке ночи, я еще жив, и для победы у меня еще есть столько времени, сколько мне дано жить на земле».

X

Как изобразить то странное отчаяние, в которое малопомалу повергли меня такие мысли? Злой гений занял мое место в мире душ. Для Аврелии это был я сам, и печальный дух, который жил еще в моем теле, ослабевший, пренебрегаемый и непризнанный ею, видел себя обреченным на небытие и отчаяние. Я собрал всю силу воли, чтобы проникнуть глубже в тайну, с которой мне удалось совлечь несколько покровов. Сон насмехался над моими усилиями и вызывал передо мной лишь кривляющиеся мимолетные образы. Я могу дать здесь лишь причудливый абрис того, что было результатом такого напряжения ума.

Я чувствовал себя как бы скользящим по протянутой нити, длина которой казалась бесконечной. Глубины земли, пронизанные, как я уже видел однажды, жилами расплавленного металла, освещались по мере приближения к центральному огню, белизна которого сливалась с багровым цветом, окрашивавшим внутренние стенки земного ядра. Меня удивили встречавшиеся время от времени большие объемы воды, подвешенные так, как бывают подвешены в воздухе облака, и притом такой плотности, что можно было захватить рукой клок этого вещества. Очевидно, то была

жидкость, отличная от нашей воды, образовавшаяся, по-видимому, от испарения того, что было морем и реками в мире духов.

Я достиг обширных гористых пространств, поросших зеленоватым тростником, который кое-где пожелтел, точно опаленный солнцем. Но солнца я не видел здесь так же, как и в тот раз. На склоне горы, по которому я стал взбираться, возвышался замок. На другом ее склоне я увидел огромный город. Пока я переваливал через гору, настала ночь, и я различал свет в домах и на улицах. Спустившись, я оказался на рынке, где продавали плоды и овощи, подобные плодам и овощам юга.

Сойдя вниз по темной лестнице, я очутился на улице. Расклеенные афиши извещали об открытии казино и описывали все подробности его устройства. Рамка объявления представляла собой гирлянду цветов, и они были так хорошо изображены и раскрашены, что казались живыми. Одна часть этого здания еще только строилась. Я вошел в мастерскую, где увидел рабочих, лепивших из глины огромное животное вроде ламы, но казалось, что его собирались снабдить еще и крыльями. Это чудовище было как бы пронизано огненной струей, которая оживляла его мало-помалу, так что оно начало извиваться, и тысячи пурпуровых струек потекли в нем, образуя вены и артерии и, так сказать, оплодотворяя косную материю. Я приостановился, созерцая это чудо искусства, похитившее, казалось, тайны божественного творчества. «Это потому, что у нас есть еще, — сказал мне чей-то голос, — первородный огонь, давший жизнь первым существам... Некогда он выходил на поверхность земли, но теперь те источники иссякли». Я увидел также ювелирные работы, на которые шли два металла, неизвестные на земле: один красный, как киноварь, другой лазорево-голубой. Украшения не были ни коваными, ни чеканными, но они образовывались, окрашивались и распускались, как те минеральные цветы, которые рождает при-

рода в некоторых химических соединениях. «Не создают ли здесь также и людей?» — спросил я у одного из работников, но он ответил: «Люди приходят сюда сверху; разве мы можем создать самих себя? Здесь вырабатывают более тонкое вещество, чем то, из которого состоит земная кора. Эти цветы, показавшиеся вам естественными, это животное — только произведения искусства, возвысившегося до высшей точки познания, и каждый должен судить о них так же».

Приблизительно такими были слова, которые мне сказали там или в смысл которых я проник сам. Я прошел по залам казино и увидел там толпу народа, в которой узнал нескольких моих знакомых, одних — еще живых, других — умерших в разное время. Первые, казалось, меня не заметили, тогда как вторые разговаривали со мной, меня, по-видимому, не узнавая. Я дошел до самого большого зала, затянутого алым бархатом, богато затканным золотом. Посредине находилась софа в форме трона. Некоторые из присутствующих присаживались на нее, чтобы испытать ее упругость; но не все приготовления еще были окончены, и толпа переходила в другие залы. Все говорили о предстоящем здесь браке и о том, что сейчас должен прибыть жених, который возвестит о наступлении празднества. Тотчас же я был охвачен неистовым порывом. Я вообразил, что тот, кого ждали, был моим *двойником*, собравшимся жениться на Аврелии. Я поднял шум, удививший всех присутствовавших. Я принялся угрожать словами, объяснял мое горе и умолял о помощи тех, которые меня знали. Один старик сказал мне: «Но нельзя же так себя вести — вы всех перепугали». Тогда я вскричал: «Я хорошо знаю, что он уже поразил меня однажды своим оружием, но я жду его без страха, и мне известно знамение, которое должно его победить».

В эту минуту один рабочий вышел из мастерской, где я только что был. Он держал в руках длинный шест, на конце которого был шар, раскаленный докрасна. Я хотел бросить-

ся на него, но шар, который он выставил вперед, угрожал моей голове. Казалось, все вокруг меня смеялись над моею беспомощностью... Тогда я отступил к трону и с видом, полным непередаваемой гордости, поднял руку, чтобы совершить то знамение, которое, по-моему, имело магическую силу. Крик женщины, отчетливый и вибрирующий крик, исполненный раздирающим душу страданием, заставил меня вскочить и проснуться! Слоги какого-то слова, которое я собирался произнести, застыли у меня на губах... Я бросился на пол и стал усердно молиться и плакать горючими слезами. Но что же это был за голос, прозвучавший среди ночи с таким отчаянием?

Это было не во сне. Это был голос живого существа, и, однако, для меня это был голос Аврелии...

Я открыл окно; все было тихо, и крик не повторился более. Я принялся расспрашивать окружающих, но никто ничего не слышал. И, тем не менее, даже теперь я уверен, что крик тот был в действительности и что воздух мира живых был поколеблен им... Мне скажут: могло случиться, что какая-нибудь больная женщина закричала тогда в одном из соседних домов. Но, по моей мысли, все земные происшествия были связаны с жизнью неведомого мира. Вот один из странных примеров этого, в чем я сам не могу дать отчета и который легче привести, чем объяснить...

Что же я сделал? Я нарушил гармонию волшебного мира, где моя душа черпала уверенность в вечном бессмертии. Быть может, я был проклят за то, что захотел проникнуть в ужасную тайну и преступить божественные законы. Мне нечего было ждать теперь, кроме гнева и презрения! Оскорбленные тени бежали от меня, испуская крики и вычерчивая в воздухе роковые круги, как птицы перед приближением грозы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Эвридика! Эвридика!

Второй раз потеряна!

Все кончено, все миновало! Теперь мой черед умереть и умереть без надежды на воскрешение. Но что такое смерть? Если бы только небытие!.. На все, как говорится, Божья воля. Но и самому Богу не под силу сделать так, чтобы смерть была небытием.

Почему же теперь только в первый раз я подумал о *Нем*? Роковая система, которая сложилась в моем сознании, не допускала возможности никакого единоличного верховенства... Оно растворялось в сумме многих существований, как бог Лукреция, бессильный, затерявшийся в своей безмерности.

Но *она* верила в Бога, и один раз я подслушал имя Иисуса на ее устах. Оно было произнесено ею так нежно, что я заплакал. Боже мой, эти слезы, эти слезы... Они высохли уже так давно! Боже мой, верни мне эти слезы!

Когда душа колеблется между действительностью и снами, между смятением разума и холодным рассуждением, тогда надо искать помощи у религиозной мысли. Я никогда не мог найти поддержки у философии, знающей только принципы эгоизма или взаимодействия причин, тщетность опыта или горечь сомнений. Философия борется против душевных страданий, убивая самую способность чувствовать; она подобна хирургии, которая удаляет то, что причиняет боль. Но для нашего поколения, родившегося на свет в дни революционных бурь, когда все верования были разбиты, воспитанного в смутном сознании веры, ограничивающемся только видимостью и более преступном в своем безразличии, чем нечестие и ересь, — для нас трудно в минуту необходимости возвести в своем сердце то мисти-

ческое здание, образ которого носят в себе люди чистые и простые сердцем.

«Древо познания — это не древо жизни!» Но можем ли мы отбросить сразу приобретения разума, отвергнуть все хорошее и дурное, что было накоплено мыслью стольких поколений? Неведению нельзя научиться.

Я питаю лучшую надежду на благость Бога. Быть может, уже близится обещанное время, когда познание совершит полный круг анализа и синтеза, веры и отрицания, когда оно очистится само и заставит возникнуть из хаоса и развалин чудесное здание будущего... Следует ли так мало ценить человеческий разум, следует ли думать, что он должен идти к полному смирению, и не есть ли в этом оскорбление его божественного происхождения?.. Бог узнает, без сомнения, чистоту наших намерений, и какой же отец был бы рад сыну, отказавшемуся от всякого рассуждения, всякой гордости? Апостол, который хотел прикоснуться, чтобы уверовать, не был же проклят за это!

Что я написал? Все это сплошное богохульство. Христианское смирение не может говорить так. Такие мысли далеки от того, чтобы смягчить душу. У них на челе сияет венец сатанинской гордости... Договор с самим Богом? О познание! О суета!

Я собрал кое-какие книги о каббале и, углубившись в их изучение, пришел к убеждению в правильности всего, что накопил здесь веками человеческий ум. Понятие, которое я составил себе о существовании, слишком хорошо совпадало с моим чтением, чтобы отныне я стал сомневаться в откровениях прошлого. Догматы и обряды различных религий, как мне казалось, связывались таким образом, что каждая из них обладала некоторой частью тайны, которая определяла их рост и охраняла существование. Эти формулы могли терять силу, исчезать, одни расы сменялись другими, но ни одна из них не могла ни победить, ни быть побежденной иначе, как духом.

«Все же, — говорил я себе, — эти истины наверняка смешаны с человеческими заблуждениями. Магический алфавит, таинственные иероглифы дошли до нас неполными или искаженными временем и заботами тех, кому надо было держать нас в неведении. Найдем же утраченные буквы и стершиеся знаки, восстановим разбитую гамму, и мы возвратим себе власть над миром духов».

Таким образом я хотел постигнуть отношения действительного мира к миру духов. Земля, ее обитатели и ее история были театром реальных событий, подготовлявших судьбы бессмертных существ, связанных с ее участью. Не нарушая непроницаемую тайну вечности миров, моя мысль восходила к той эпохе, когда солнце, подобно олицетворяющему его подсолнечнику, который отмечает своей склоненной головкой небесный бег светила, сеяло на землю плодотворные семена растений и животных. То было не что иное, как первородный огонь, состоящий из душ и наполняющий ими землю. Дух божества воспроизводился и отражался на земле в образе человеческих душ, и каждая из них сделалась вследствие этого божеством и человеком одновременно. Таковы были элохимы.

Когда чувствуешь себя несчастным, тогда вспоминаешь о несчастии других. Я выказал некоторую невнимательность тем, что не навестил еще ни разу одного из моих лучших друзей, о болезни которого мне уже говорили. Направляясь в больницу, где он лежал, я сильно упрекал себя за это. Я огорчился еще больше, когда мой друг рассказал мне, что накануне ему было особенно плохо. Я вошел в больничную комнату с выбеленными стенами. Солнце бросало на них веселые пятна и играло на вазе с цветами, поставленной сиделкой-монахиней на столике у постели больного. Все это было похоже на келью итальянского отшельника. Похудевшее лицо цвета пожелтевшей слоновой кости, подчеркнутого темным цветом волос и черной бородой, блестящие от жара глаза, и, может быть, также одежда в виде плаща с

капюшоном, наброшенного на плечи, превратили моего друга в особое существо, отличное от того, кого я прежде знал. То не был больше веселый спутник моих занятий и развлечений: в нем было теперь нечто от апостола. Он рассказал мне, как во время самых жестоких страданий он испытал экстаз, показавшийся ему последней минутой жизни. Боль прекратилась точно чудом. То, о чем он говорил мне потом, невозможно передать. Это было ослепительное видение, это была беседа с существом, в одно и то же время отличным от него и неразделимым с ним, у которого, считая себе умершим, он спросил, где Бог. «Бог повсюду, — отвечал ему дух. — Он во всем и в самом тебе. Он судит тебя, слышит тебя и тебя направляет. Это ты и *я*, мы живем и грезим вместе, и мы никогда не расстаемся, и мы вечны!»

Я не стану приводить других подробностей этой беседы, которую я, может быть, плохо запомнил или плохо понял. Знаю только, что она произвела на меня очень сильное впечатление. Я не смею приписывать моему другу заключения, которые, может быть, неверно вывел из его слов. Не знаю даже, было ли чувство, выраженное ими, в соответствии с христианскими идеями...

С ним Бог, вскричал я... но Его уже нет со мной. О горе! Я изгнал Его из себя, произнося угрозы и проклятия! То был Он — мой мистический брат, который все более и более отдалялся от моей души и тщетно предостерегал меня! Этот Супруг избранный, этот Царь славы, это Он осудил меня и навсегда восхитил в свое небо ту, которую мог бы отдать и которой теперь я недостоин.

II

Я не могу описать уныния, в какое повергли меня эти мысли. «Понятно, — сказал я себе, — ведь я предпочел создание Создателю; я обоготворил мою любовь и, как язычн-

ник, молился той, чей последний вздох был посвящен Христу. Но, если верить христианской религии, Бог может еще меня простить. Он может мне вернуть ее, если я смирюсь перед Ним, Его дух еще может снова войти в меня!» Полный этих мыслей, я бродил по улицам. Похоронная процессия пересекла мне дорогу, направляясь к тому кладбищу, где была похоронена Аврелия; я тотчас же решил присоединиться к погребальному шествию. «Я не знаю, — думал я, — кого это везут к могиле, но я хорошо теперь знаю, что мертвые нас видят и слышат, и, может быть, ему будет приятно видеть собрата по печали, идущего за его гробом с большей скорбью, чем все его провожающие». При этой мысли я залился слезами, и меня, наверное, сочли за одного из лучших друзей покойного. О, благословенные слезы! Мне так долго было отказано в вашей сладости!..

Я обрадовался этому, и луч надежды блеснул мне. Я нашел в себе силу молиться и с увлечением отдался ей.

Я даже не справился об имени того, за чьим гробом я следовал. Кладбище, куда я вошел, было для меня священно по многим причинам. Там были когда-то погребены три моих родственника с материнской стороны; но уже несколько лет тому назад они были перевезены отсюда в далекую землю, на родину, и я не мог бы пойти помолиться за них. Долго я искал могилу Аврелии и не мог ее найти. Расположение кладбища теперь было другое, а может быть, мне еще изменяла память... Мне казалось, что моя вина увеличивалась от этого еще больше. Я не мог назвать сторожам имени умершей, на которую не имел никакого священного права... Но вдруг я вспомнил, что у меня дома есть бумага с точным обозначением места могилы; я побежал домой с бьющимся сердцем и затуманившимся рассудком. Я уже говорил раньше, что окружил мою любовь странными суевериями. В маленьком ящичке, принадлежавшем некогда *ей*, у меня хранилось ее последнее письмо. Надо ли еще прибавлять, что из этого ящичка я сделал своего рода релик-

вию, напоминавшую мне время, когда ее мысль была всюду со мной. Там сохранилась роза, сорванная в садах Шубраха, лента, привезенная из Египта, там были листья лавра, сорванные на речном берегу близ Бейрута, два светло-желтых кристалла, мозаики св. Софии, зерно четок и еще много другого. И, наконец, там была бумага, которую мне дали в тот день, когда ее могила была вырыта, чтобы я мог ее отыскать... Кровь прилила к моим щекам, и я дрожал, пересматривая эту причудливую груду вещей. Я взял бумагу, но по дороге к кладбищу, вдруг переменил решение. «Нет, — сказал я, — я недостоин преклонить колена на могиле христианки; не надо прибавлять нового кощунства к стольким другим!..» Чтобы успокоить бурю, свирепствовавшую в моем сознании, я отправился в маленький городок в нескольких милях от Парижа, где в молодости провел несколько счастливых дней у старых родственников, теперь уже давно умерших. Я любил смотреть на заход солнца с порога их дома. Там была терраса, увитая виноградными лозами, она напоминала мне молодых девушек, из числа моих родных, среди которых я рос. Одна из них...

Но сравню ли я эту неопределенную детскую любовь с той, которая захватила всю мою молодость? Как мог я хотя бы одну минуту подумать об этом? Я видел, как солнце склонилось над долиной, наполнившейся туманом и тенью. Оно скрылось, погрузив в красноватый огонь верхушки лесов, окружавших высокие холмы.

Глубочайшая печаль наполнила мое сердце. Я вошел в давно знакомую гостиницу. Хозяин рассказал мне, что один из моих старых друзей, живший в этом городе, застрелился из пистолета вследствие каких-то неудач в делах... Сон принес мне ужасные видения. У меня сохранилось о них только бессвязное воспоминание.

Я был в незнакомом зале и разговаривал с кем-то из внешнего мира — может быть, с другом, о котором я только что упомянул. Позади нас стояло очень высокое зеркало.

Я бросил случайный взгляд на небо, и мне показалось, что в нем я увидел А***. Она была печальна на вид и задумчива, и вдруг, не знаю, вышла ли она из зеркала или находилась в этой комнате раньше, но только вдруг ее тонкое, милое лицо очутилось около меня. Она протянула мне руку, бросила на меня грустный взгляд и сказала: «Мы увидимся снова, позднее... у твоего друга».

В ту же минуту я представил себе ее брак, проклятие, разделившее нас... И я подумал: «Возможно ли это? неужели она снова вернется ко мне?» «Простили ли вы меня?» — со слезами спросил я. Но все уже исчезло. Я очутился в пустынном месте, среди лесов, на трудном подъеме в гору, усеянном камнями. Над этим безотрадным местом стоял дом, показавшийся мне знакомым. Я блуждал взад и вперед по запутанным тропам. Устав бродить между камней и колючих кустарников, я стал искать другую дорогу. «Ведь меня ждут!» — думал я. Где-то пробили часы. Я сказал тогда: «*Слишком поздно*!» И какие-то голоса мне ответили: «*Она потеряна*!» Меня окружала глубокая ночь; вдали светлел дом, освещенный для праздника и полный гостей. «Она потеряна! — воскликнул я. — Но почему же?.. Понимаю — она сделала последнее усилие, чтобы меня спасти; я пропустил решительную минуту, когда еще было возможно прощение. С высоты неба она могла молиться за меня своему Божественному Супругу... Но что значит даже мое спасение? Бездна уже поглотила свою добычу! Она потеряна для меня и для всех!» Мне казалось, что я вижу ее при слабом свете, бледную и умирающую, увлекаемую куда-то темными всадниками... Крик скорби и бешенства, который я испустил в эту минуту, разбудил меня. Я тяжело дышал.

«Боже мой! Боже мой! Ради нее, ради нее одной! Боже мой! Прости!» — вскричал я, бросаясь на колени.

Наступал день. Мне трудно отдать отчет в том движении, которое заставило меня уничтожить тотчас же оба документа, вынутые вчера из ящика: ее письмо — увы! — ко-

торое я перечитывал, обливая слезами, и бумаги о погребении с кладбищенской печатью! «Теперь мне все равно не отыскать ее могилу! — сказал я себе. — Мне надо было вернуться туда вчера, и мой роковой сон — только отражение рокового дня!»

III

Пламя пожрало эти реликвии любви и смерти, связанные с тончайшими движениями моего сердца. Чтобы утишить боль и угрызения совести, я отправился в деревню, ища успокоения в ходьбе и усталости и надеясь будущей ночью видеть менее ужасные сны. Идея, которая открылась мне некогда в видениях, идея о возможности для живого человека общаться с миром духов, давала мне надежду... Я смел еще надеяться. Может быть, Богу достаточно будет этой жертвы. Но на этом я останавливаюсь: не слишком ли дерзко было с моей стороны считать, что состояние духа, в каком я находился, имело единственную только причину в воспоминаниях о любви. Скажу лучше, что я чувствовал еще более сильные угрызения совести при воспоминании о моей беспутной жизни, где зло часто торжествовало над добром, и о грехах, которые я сознавал только тогда, когда чувствовал за них расплату. Я не считал себя больше достойным даже думать о той, кого я тревожил после смерти и обижал при жизни и кому последним взглядом прощения я был обязан только в силу ее доброты и святого сострадания.

Следующую ночь я спал лишь несколько минут. Одна женщина, заботившаяся обо мне в дни моей молодости, явилась мне во сне и упрекнула меня в одном очень дурном проступке, который я совершил когда-то. Я узнал ее, хотя она казалась гораздо старше, чем когда я видел ее в последний раз. Это одно уже заставило меня горько подумать о

том, что я не навестил ее в последние минуты ее жизни. Мне представилось, что она сказала: «Ты не плакал по твоим родным так горько, как по этой женщине. Как же ты можешь надеяться на прощение?» Сон смешался. Лица людей, которых я знал в разное время, быстро проходили перед моими глазами. Они мелькали одно за другим, освещаясь, бледнея и пропадая во тьме, как зерна ожерелья, нить которого разорвалась. Потом я увидел неясно очерченные античные фигуры, которые, по-видимому, символизировали собой нечто, идею чего я схватывал с трудом. Я думаю, смысл этого был таков: тайна жизни могла раскрыться перед тобой, но ты ее не понял. Религии и мифы, святые и поэты готовы были объяснить тебе роковую загадку, но ты плохо истолковал их слова. Теперь слишком поздно!

Я вскочил в ужасе, говоря: «Это мой последний день!» Спустя десять лет та же мысль, которую я провел уже в первой части этого рассказа, опять мне явилась, но теперь еще более твердая и угрожающая. Бог дал мне для раскаяния время, и я им совсем не воспользовался. После посещения *каменного гостя* я оставался еще гостем на пире.

IV

За этими видениями и размышлениями о них в часы уединения наступила пора чувства, полного такой печали, что я ощущал свою гибель. Все события моей жизни представлялись мне с самой неблагоприятной стороны, а память воскрешала передо мной самые давние мои поступки со странной точностью, как бы для испытания совести, мучениям которой я предался. Не знаю, что за ложный стыд помешал мне пойти на исповедь; может быть, то была боязнь запутаться в догматах и правилах грозной религии, против некоторых сторон которой у меня сохранились предубеждения свободомыслящего. Мои первые годы

были слишком насыщены идеями революции, мое воспитание было слишком свободно, жизнь слишком неправильна, чтобы я легко мог подчиниться тому, что во многих пунктах шло против моего рассудка. Я с трепетом думал, каким бы я стал христианином, если бы известные принципы, заимствованные у свободного исследования двух последних веков и сравнения различных религий не остановили бы меня. Я никогда не знал матери, которая сопровождала отца в походе, как жены древних германцев; она умерла от лихорадки и усталости в холодной северной земле, а мой отец сам не мог направить к небу мои первые мысли. Страна, где я вырос, была полна странных легенд и фантастических суеверий. Дядя, занимавшийся моим воспитанием, собирал, ради развлечения, римские и кельтские древности. На своих полях и в их окрестностях он находил изображения богов и императоров; его восхищение заставляло меня почитать их, а по его книгам я узнавал их истории. Бронзовый Марс, Паллада или Венера, Нептун и Амфитрита, высеченные над фонтаном, и в особенности добрая, толстая бородатая фигура бога Пана, улыбающаяся при входе в грот, между фестонами узорных трав и плюща, были семейными богами и покровителями нашего дома. И они внушали мне тогда больше почтения, чем бедные христианские изображения в церкви или два уродливо изваянных святых на ее порталах. Заблудившись среди этих изображений, я спросил однажды у дяди, что такое Бог. «Бог — это солнце»,— ответил он. То была задушевная мысль честного человека, прожившего всю жизнь истинным христианином, но прошедшего через революцию и выросшего в той стране, где многие имели то же представление о Божестве. Это, конечно, не мешало ходить в церковь женщинам и детям, и я обязан одной из моих теток некоторыми сведениями, позволившими мне понять красоту и величие христианства. После 1815 года один англичанин, проезжавший по нашим мес-

там, научил меня Нагорной проповеди и подарил мне Новый Завет... Я привожу все эти подробности только для того, чтобы объяснить причину моей нерешительности. Такая нерешительность овладевает иногда самыми религиозными душами.

Я хочу объяснить, как, сбиваясь долгое время с истинного пути, я был выведен на него воспоминанием о дорогой мне умершей и как уверенность в том, что она существует вечно, заставила войти в мою душу ясное признание истин, которые до тех пор были недостаточно твердо в ней укреплены. Отчаяние и самоубийство бывают результатом подобных роковых положений для людей, не имеющих веры в бессмертие, которое приносит возмездие или радость. И я совершаю добро, чистосердечно излагая мысли, благодаря которым я нашел некоторый отдых и новые силы противиться будущим несчастьям.

Видения моего сна ввергли меня в такое отчаяние, что я едва мог говорить; общество друзей мало развлекало меня; мое сознание, всецело занятое видениями, отказывалось от мыслей; я не мог прочесть и понять и десяти строк. Я говорил себе в утешение: «Мне все равно. Это больше для меня не существует». Один из моих друзей, по имени Жорж, решил переломить это отчаяние. Он водил меня по окрестностям Парижа, говорил все время сам, а я отвечал ему только отрывочными фразами. Его строгий, почти монашеский вид подкреплял его чрезвычайно убедительное возмущение против эпохи скептицизма, политического и социального уныния, последовавшей за Июльской революцией. Я был одним из питомцев этой эпохи и вкусил от ее пыла и ее разочарования. Его слова нашли во мне глубокий отклик; я сказал себе, что такие уроки не даются без воли Провидения и что, наверное, некий дух говорит в нем... Однажды мы обедали под трельяжем в одном маленьком селении, в окрестностях Парижа. Женщина запела около нашего стола, и в ее надтреснутом, но милом го-

лосе что-то напомнило мне голос Аврелии! Я взглянул на нее: даже ее черты имели какое-то сходство с теми чертами, которые я так любил. Ее прогнали, и я не посмел ее удержать, но сказал себе: «Кто знает, быть может, *ее* дух был в этой женщине!». И я был счастлив, что дал ей милостыню.

Я сказал себе: «Ты плохо жил, но если мертвые прощают, то, конечно, с тем условием, что ты будешь всегда воздерживаться от зла и поправишь все дурное, что сделал раньше. Возможно ли это?.. Попробуем же с этой минуты не совершать больше зла и воздадим каждому то, чем мы ему обязаны». У меня была недавняя вина перед одним человеком; это была лишь простая небрежность, но я начал с того, что пошел и извинился перед ним. Радость моя от этого была необычайна. У меня была отныне цель жить и действовать, я вновь приобрел интерес к жизни.

Трудности подстерегали со всех сторон. Казалось, все соединилось против меня, чтобы помешать благому решению. Состояние ума делало для меня невозможным исполнение работ, о которых я условился. Между тем с меня стали теперь требовать обещанное, считая, что я уже достаточно хорошо себя чувствую, и когда я отказывался лгать, меня не задумывались обвинять в этом. Множество поправок, которые надо было сделать в моих работах, сокрушало, свидетельствуя о моем бессилии. Даже политические события косвенным образом влияли на меня, принося огорчения и отнимая возможность привести в порядок дела. Смерть одного из друзей еще более способствовала упадку моего духа. Я опять с печалью увидел его дом, картины, которые он так радостно мне показывал месяц назад, я был у гроба, когда его заколачивали. Друг был моих лет, и я сказал себе: «Что, если и я так же внезапно умру?».

В следующее воскресенье я встал с уверенностью, что сегодня случится какое-то несчастье. Я пошел навестить отца; у него была больна служанка, на что, казалось, он был

в большой досаде. Он собирался сам идти на чердак за дровами, и я услужил ему тем, что достал несколько поленьев, которые были ему необходимы. Я вышел от него совершенно расстроенный. На улице я встретил друга, который позвал меня к себе обедать, чтобы немного развлечь. Я отказался и, не пообедав, направился к Монмартру. Кладбище было закрыто, и в этом я тоже увидел дурное предзнаменование. Один немецкий поэт как-то дал мне перевести несколько страниц и заплатил вперед деньги. Я направился теперь к нему домой, чтобы вернуть их.

Выйдя за заставу Клиши, я стал свидетелем какой-то ссоры. Я пробовал разнять дерущихся, но ничего не мог с ними сделать. В эту минуту по площади, где происходила драка, прошел высокого роста рабочий, неся на левом плече ребенка в гиацинтовом платье. Я вообразил, что это был Христофор, несший Христа, и что я осужден теперь за то, что у меня не хватило сил прекратить драку. С этой минуты я в отчаянии блуждал по предместьям. Было уже слишком поздно для посещения, которое я собирался сделать. Я повернул назад и пошел по улицам, ведущим к центру Парижа. Около улицы Виктуар я встретил священника, и мне захотелось у него исповедаться. Он сказал, что это не его приход и что он идет куда-то в гости, но если я завтра захочу исповедаться в Нотр-Дам, то мне надо только спросить аббата Дюбуа.

В отчаянии, проливая слезы, я направился в Нотр-Дам де Лорет; там я бросился к подножью алтаря Богоматери, прося прощения за мои грехи. Что-то говорило во мне: «Богоматерь умерла, твои молитвы напрасны». Я отошел от алтаря и стал на колени в последних рядах хора; там я снял с пальца серебряное кольцо, на котором было вырезано три арабских слова: *Аллах! Магомет! Али*! Множество свечей зажглось тогда в хоре, и началась служба, к которой я пытался присоединиться душой. Когда служба дошла до *Ave Maria*, священник остановился на середине молитвы и семь

раз начинал читать ее снова, так что я не мог вспомнить следующих слов. Наконец служба кончилась, и священник произнес проповедь, в которой я слышал намек на себя. Когда все свечи погасли, я поднялся и вышел из церкви, направляясь к Елисейским Полям.

Когда я дошел до площади Согласия, у меня была только одна мысль — покончить с собой. Несколько раз я направлялся к Сене, но что-то всякий раз мешало мне исполнить мое намерение. На небе блестели звезды. Вдруг мне показалось, что они погасли сразу, как только что виденные в церкви свечи. Я решил, что исполнились времена и что мы накануне конца мира, возвещенного в Апокалипсисе св. Иоанна. Мне показалось, что я вижу черное солнце на опустевшем небе и кроваво-красный шар над Тюильри. Я сказал себе: «Вечная ночь началась, и она будет ужасна. Что будет, когда люди заметят, что нет больше солнца?» Я свернул на улицу Сент-Оноре, с жалостью глядя на запоздалых прохожих, встречавшихся мне на дороге. Дойдя до Лувра, я пошел по площади, и там меня ожидало странное зрелище. Сквозь быстро гонимые ветром облака я увидел несколько лун, проносящихся одна за другой с огромной быстротой. Я решил, что земля сошла со своей орбиты и блуждает в небесных сферах, как корабль без мачты, то приближаясь, то удаляясь от звезд, которые по очереди то увеличивались, то уменьшались. В продолжение двух или трех часов я наблюдал это небесное расстройство, а затем направился в сторону главного рынка. Крестьяне разгружали привезенные ими продукты, и я подумал: каково будет их удивление, когда они увидят, что ночь все продолжается... Кое-где лаяли собаки и уже стали кричать петухи.

Разбитый усталостью, я вернулся к себе и бросился на постель. Проснувшись, я с удивлением увидел свет. Звуки какого-то мистического хора достигли моих ушей; детские голоса повторяли: *Христос! Христос! Христос!..* Я ре-

шил, что, должно быть, в соседней церкви (Нотр-Дам де Виктуар) собрали множество детей, чтобы умолять о пощаде Христа. «Но Христа больше нет! — сказал я себе. — Они этого еще не знают». Пение продолжалось около часа. Я, наконец, встал и пошел в галереи Пале-Рояля. Я говорил себе, что солнце, наверное, сохранило достаточно света, чтобы освещать землю еще три дня; только сила его уменьшилась, и оно уже казалось мне холодным и темноватым. Я утолил голод маленьким пирожком, чтобы найти силы добраться до дома немецкого поэта. Войдя к нему, я сказал, что все кончено и что нам всем надо готовиться к смерти. Он позвал жену, которая спросила меня: «Что с вами?» — «Не знаю, — ответил я, — я погиб». Она послала за фиакром, и какая-то молодая девушка отвезла меня в лечебницу Дюбуа.

V

Там моя болезнь возобновилась, принимая различные формы. Спустя месяц я поправился. В продолжение следующих двух месяцев я снова стал скитаться в окрестностях Парижа. Самым длинным моим путешествием было посещение Реймского собора. Мало-помалу я принялся за работу и написал одну из лучших моих повестей. Впрочем, я писал ее с большим трудом, почти всегда карандашом, на отдельных листках, под впечатлением моих снов и скитаний. Исправление корректур сильно меня волновало. Немного дней спустя после ее напечатания я начал страдать постоянной бессонницей. Я проводил целые ночи на Монмартрском холме и смотрел оттуда на восход солнца. Я разговаривал там подолгу с крестьянами и рабочими. Иногда я направлялся к главному рынку. Однажды ночью я ужинал в кафе на бульваре и забавлялся тем, что бросал в воздух золотые и серебряные монеты. Затем я подошел к рынку и

там вступил в спор с каким-то незнакомцем, которому дал пощечину: не знаю, каким образом это не возымело никаких последствий. Услышав, как пробили часы на церкви Сент-Эсташ, я стал воображать себе борьбу бургундцев и арманьяков, и мне показалось, что я видел вокруг себя тени людей, сражавшихся в ту эпоху. Я вступил в ссору с одним человеком, у которого на груди была серебряная бляха; мне показалось, что это был сам герцог Жан Бургундский. Я не позволял ему войти в кабачок. Когда он увидел, что я угрожаю ему смертью, его лицо покрылось слезами. Я растрогался и пропустил его.

Я направился к саду Тьюильри, но он был заперт, и я пошел вдоль набережной, затем поднялся до Люксембургского сада и, наконец, вернулся завтракать к одному из друзей. После завтрака я зашел в церковь Сент-Эсташ, где набожно опустился на колени у алтаря Богородицы, думая о своей матери. Пролитые слезы растрогали мою душу, и, выйдя из церкви, я купил серебряное кольцо. Оттуда я пошел к отцу; не застав его дома, я оставил ему букет маргариток, устремившись в Зоологический сад. Там было много народа, и некоторое время я стоял перед гиппопотамом, купающимся в бассейне. Потом я зашел в галерею остеологии. Вид находящихся в ней чудовищ навел меня на мысль о потопе, и когда я вышел оттуда, как раз начался сильный ливень. Я сказал себе: «Какое несчастье! Все эти женщины и дети сейчас вымокнут...» Затем я прибавил: «Но дождь становится еще сильнее! Начинается настоящий потоп!» На соседних улицах вода поднялась высоко. Я пустился бегом по улице Сент-Виктор и, думая остановить то, что я считал всемирным наводнением, бросил в самое глубокое место кольцо, которое перед этим купил в церкви. В ту же минуту гроза успокоилась и просиял луч солнца.

Надежда озарила мою душу. Мне было назначено свидание в четыре часа у моего друга Жоржа; я направился к его дому. Проходя мимо антиквара, я купил два бархатных

экрана, покрытых иероглифическими фигурами. Мне показалось, что в них было свидетельство небесного прощения. Я явился к Жоржу в назначенный час и поведал ему о моей надежде. Я промок и устал; переменив платье, я лег в его постель. Во сне мне явилось чудесное видение. Передо мной была богиня, которая сказала: «Я — та же, кто Мария, та же, кто твоя мать, та же, кого под разными именами ты всегда любил. При каждом твоем испытании я сбрасываю одно покрывало, скрывающее мои черты, и скоро ты увидишь меня такой, какая я есть». Из облаков позади меня выступал дивный плодовый сад, нежный свет освещал этот рай, и, хотя я слышал только ее голос, я чувствовал, как погружаюсь в упоительное забытье. Немного спустя я проснулся и сказал Жоржу: «Пойдем». Пока мы переходили через мост Искусств, я изложил ему учение о переселении душ и добавил: «Мне кажется, что сегодня во мне душа Наполеона, она внушает и велит мне делать великие вещи». На улице Дю-Кок я купил шляпу, и, пока Жорж получал сдачу с золотой монеты, которую я бросил на прилавок, я продолжал идти один и пришел к галереям Пале-Рояля.

Там мне показалось, что все смотрят на меня. В моем мозгу засела настойчивая мысль, что мертвых больше нет. Я обежал галерею де Фуа, говоря: «Я совершил ошибку», но я не знал, какую именно, напрасно обращаясь к своей памяти, которую считал теперь памятью Наполеона. «Есть одна вещь, которую я никогда не искуплю здесь!» Я вошел в кафе де Фуа с этой идеей, и мне показалось, что я узнал, в одном из посетителей отца Бертена из «Журналь де Деба». Затем, проходя через сад, я с интересом поглядел на круг играющих девочек, пересек галерею и направился к улице Сент-Оноре. Я зашел в лавку, чтобы купить сигару, и при выходе толпа, окружившая меня, была так плотна, что я едва не задохнулся. Три моих друга высвободили меня, поручившись, что меня знают; они провели меня в

кафе, пока один из них ходил за извозчиком. Меня отвезли в госпиталь.

Ночью и под утро, когда я увидел, что связан, бред усилился. Я освободился от смирительной рубашки и утром уже прогуливался по залам. У меня явилась теперь мысль, что я подобен Богу и что у меня есть власть исцелять; это побудило меня возлагать руки на некоторых больных, а затем, приблизившись к статуе Богоматери, я снял с ее головы венок из искусственных цветов, чтобы подтвердить могущество, которое я ощущал в себе. Я ходил большими шагами, с воодушевлением говоря о невежестве людей, думающих, что они имеют власть исцелять одной только наукой, и, увидев на столе флакон с эфиром, я опорожнил его одним глотком. Один из фельдшеров, с лицом, похожим на ангела, хотел меня остановить, но нервная сила мне помогла, и я чуть было не опрокинул его, но удержался, говоря, что он не понимает, какова моя миссия. Пришли доктора, и я продолжал перед ними речь о бессилии их искусства. Затем я спустился по лестнице в сад и принялся босиком разгуливать по газону и рвать цветы.

Один из друзей опять явился за мною. Я вышел из цветника, и, пока я с ним разговаривал, мне набросили на плечи смирительную рубашку, посадили в фиакр и отвезли в одну из лечебниц в окрестностях Парижа. Увидя себя среди сумасшедших, я понял, что все до того времени было для меня только иллюзией. Впрочем, обещания богини Исиды, казалось мне, осуществлялись в целом ряде испытаний, которым я должен был подвергнуться. Я принял их с покорностью.

Часть дома, где я находился, выходила на обширный луг, обсаженный ореховыми деревьями. Вдалеке поднимался небольшой пригорок, вокруг которого целый день ходил один из заключенных. Другие, как и я, ограничивались тем, что гуляли на площадке или на террасах, окаймленных газоном. На стене, обращенной на запад, были изображе-

ны разные лица; одно из них имело вид луны, с грубо начерченными глазами и ртом; на этом лице кто-то нарисовал маску. Стена слева была покрыта рисунками разных профилей, один из которых изображал японского идола. Дальше, в штукатурке была выцарапана мертвая голова; на противоположной стороне, на двух каменных плитах кем-то из обитателей сада были высечены две маленькие рожицы, довольно удачные. Две двери вели в погреб, и я воображал, что это были два подземных хода, похожие на те, какие я видел в пирамидах.

VI

Сперва я стал думать, что все жившие тут люди имели какое-то влияние на движение звезд и что человек, который безостановочно ходил вокруг пригорка, управлял самим ходом солнца. Один старик, которого приводили сюда в определенные часы дня и который завязывал узлы, глядя на свои часы, казался мне назначенным определять ход времени. Самому себе я приписывал влияние на движение луны и думал, что это светило получило удар молнии от Всемогущего и этот удар начертал на его лике подобие маски, замеченной мной на стене сада.

Я приписывал таинственный смысл разговорам сторожей и моих товарищей. Мне казалось, что они были представителями всех земных рас и что между нами шла речь о том, чтобы заново определить ход звезд и подтолкнуть развитие солнечной системы. Ошибка прокралась, по-моему, в сочетания чисел, и отсюда произошли все человеческие несчастия. Еще я думал, что небесные духи принимали иногда человеческое обличье и присутствовали при этом великом собрании, хотя на вид казались людьми, всецело занятыми самыми простыми заботами. Я полагал свою роль в восстановлении вселенской гармонии с помощью искусст-

ва каббалистики. Я должен был найти решение, призывая сокровенные силы различных религий.

Кроме лужайки для прогулок, у нас была еще зала; ее окна, разделенные рамами на мелкие квадраты, выходили на зеленый горизонт. Глядя в окно на линию дворовых построек, я видел, как они разбивались на тысячи павильонов, украшенных арабесками, шпилями и зубцами, напоминавшими мне дворцы султанов на берегу Босфора. Это, конечно, обратило мою мысль к Востоку. Около двух часов мне делали ванну; казалось, что я в окружении валькирий, дочерей Одина, желавших вознести меня к бессмертию, очищая мало-помалу мое тело от всего нечистого.

Вечером, полный спокойствия, я гулял при лунном свете и, обращая глаза к деревьям, видел, как причудливо колеблется их листва, образуя фигуры кавалеров и дам на богато украшенных лошадях. Они были для меня торжествующими образами предков. Эта мысль привела меня к другой: все одушевленные существа составили огромный заговор с целью восстановить мир в его первоначальной гармонии. Заговорщики сообщались между собой с помощью магнетизма планет, и, таким образом, неразрывная цепь соединяла вокруг земли души, преданные этому общему заговору. Луну я считал прибежищем братских душ, которые, освободясь от смертного тела, трудились над возрождением Вселенной.

По-моему, продолжительность каждого дня увеличилась уже на два часа; так что, вставая во время, указываемое часами, я все еще блуждал в царстве теней. Окружавшие меня товарищи казались мне уснувшими и напоминали мне зрелище Тартара до того часа, когда, по-моему, поднималось наконец солнце. Тогда я приветствовал его молитвой, и начиналась моя реальная жизнь.

С той минуты, как я уверился, что прохожу священные инициатические испытания, непобедимая сила вошла в мою душу. Я считал себя героем, живущим под покровитель-

ством богов. Все в природе приняло для меня новый вид, я слышал тайные голоса растений, деревьев, животных и самых жалких насекомых, которые предупреждали и ободряли меня. Язык моих товарищей содержал в себе, казалось, мистические обороты, смысл которых был мне понятен; даже безжизненные и бесформенные предметы поддавались исчислениям моего ума. Сочетания камушков, форма углов, щелей или отверстий, вырезы листьев, различные цвета, запахи и звуки свидетельствовали о гармониях, дотоле мне неизвестных. «Как, — говорил я себе, — мог я существовать так долго вне природы, не сливаясь с ней? Все живет, все действует, все находится в соответствии друг с другом; магнетические лучи, исходящие от меня самого или от других, легко проходят сквозь бесконечную цепь материальных вещей, образуя прозрачную сетку, покрывающую весь мир, тонкими нитями сообщающуюся с планетами и звездами. Пленник земли, я в то же время сознаю свою общность с хором светил, принимающим участие в моих радостях и печалях».

Я задрожал от мысли, что даже эта тайна могла быть уже раскрыта. «Если, — сказал я себе, — можно управлять электричеством, то есть магнетизмом физических тел, то тем более враждебные и тиранические духи могут поработить наши душевные силы и воспользоваться их разделением в целях своего владычества. Таким-то образом и античные боги были некогда побеждены и порабощены новыми богами; и таким же образом случилось, что некроманты царили над целыми народами, и много поколений прошло одно за другим в плену их вечной власти. О горе! Сама Смерть не могла их освободить! Ведь мы будем жить в наших детях, как жили в наших отцах, — и немилосердные наши враги сумеют узнать нас везде. Час нашего рождения, то место, где мы появляемся на свет, первое наше движение, имя, комната — все обстоятельства, которые нас сопровождают, все это устанавливает счастливый или

роковой ряд, от которого целиком зависит будущее. Но если это даже по человеческим соображениям кажется ужасным, то как же это должно быть по таинственным формулам, устанавливающим порядки миров! Справедливо говорится, что: во Вселенной нет ничего безразличного и незначительного. Один атом может все разрушить, один атом может все спасти!

О ужас! Вот вечное разделение добра и зла. Что такое моя душа — неделимая ли молекула, частица, вмещающая малое количество воздуха, но занимающая все-таки свое место в природе, или только пустота, образ небытия, растворяющегося в беспредельности? Долго ли будет она еще роковой частицей, предназначенной испытывать во всех своих превращениях мщение могущественных существ?» Я видел себя теперь отдающим отчет в своей жизни и даже в прежних существованиях. Я доказывал себе, что был добрым и что, вероятно, был таким и прежде. «Но, если даже я был некогда дурным, — говорил я себе, — разве моя настоящая жизнь не есть достаточное искупление грехов?» Эта мысль меня успокоила, хотя и не рассеяла страха, что я буду навсегда помещен среди несчастных. Я чувствовал себя погруженным в холодную воду, и еще более холодная вода струилась по моему лбу. Я перенесся мыслью к вечной Исиде, священной матери и супруге; все мои мечты, все молитвы соединились в этом магическом имени; я чувствовал, как я опять оживаю в ней, и порой она являлась мне античной Венерой, порой имела черты христианской Девы. По ночам этот дорогой образ еще отчетливее виделся мне, и, однако, я говорил себе: «Что может сделать она, побежденная и, быть может, несвободная, для своих бедных детей?» Бледный, разорванный серп луны становился все тоньше с каждым вечером и скоро исчез; может быть, мы никогда не увидим его больше на небе! Между тем мне казалось, что эта планета была убежищем всех душ, сестер моей души, и я думал, что она населена

печальными тенями, обреченными когда-нибудь возродиться на земле...

Моя комната находилась в конце коридора, с одной стороны которого жили сумасшедшие, с другой — прислуга. У нее было преимущество перед всеми другими — окно, выходившее на обсаженный деревьями двор, служивший для наших дневных прогулок. Я с удовольствием останавливал взгляд на ветвистом орешнике и двух китайских шелковичных деревьях. За ними сквозь зеленые трельяжи смутно виднелась довольно оживленная дорога. При заходе солнца горизонт расширялся, открывая поселок с увитыми зеленью окнами, где висели клетки с птицами и сохло белье и где порой можно было увидеть профиль молодой или старой хозяйки или розовое личико ребенка. Крики, пение, звонкий смех доносились оттуда. Слышать это было иногда весело, иногда печально, смотря по времени и настроению духа.

Я собрал там все обломки моих разнообразных состояний, остатки мебели, разрозненной и распроданной за двадцать лет. Это был настоящий кабинет доктора Фауста. Там были: античный стол на трех ногах с орлиными головами, другой столик, поддерживаемый крылатыми сфинксами, комод семнадцатого века, книжный шкаф восемнадцатого, кровать того же времени, с балдахином овальной формы из красного шелка (но расставить ее не было места), деревенская этажерка, уставленная фаянсом и севрским фарфором, большей частью перебитым, кальян, привезенный из Константинополя, большая алебастровая чаша, хрустальная ваза; панно из разрушенного старого дома возле Лувра, где я когда-то жил, расписанное мифологическими картинами работы моих друзей, теперь уже известных художников; две большие картины в духе Прюдона, изображающие Музу истории и Музу комедии. Несколько дней подряд я был счастлив, разбирая все это, создавая в тесной комнатке причудливый ансамбль, от

которого веяло то дворцом, то подвалом и который так хорошо отражал мое скитальческое существование. Над кроватью я повесил мои арабские костюмы, два искусно починенных восточных ковра, странническую тыквенную бутылку, большой план Каира. Бамбуковый столик, поставленный у изголовья постели, поддерживал индийское глазурное блюдо, на которое я мог класть принадлежности туалета. Я с радостью перебирал эти скромные реликвии, с которыми связывались воспоминания моей жизни. Мне не дали только одну маленькую картину на меди, во вкусе Корреджо, изображающую Венеру и Амура, зеркала с охотницами и сатирами и стрелу, которую я сохранил в память Валуа и стрелков из лука, к которым принадлежал сам в годы моей молодости; не было также оружия, проданного вследствие новых законов. В конце концов, я увидел здесь почти все, что у меня было в последнее время. Мои книги образовали фантастическую гору всякой всячины: историй, путешествий, религий, каббалы, астрологии, на которую порадовались бы тени самих Пико делла Мирандола, мудрого Мерсия и Николая Кузанского. Вавилонская башня из двух сотен томов — мне таки доставили все это! Есть от чего даже разумному впасть в безумие! Попытаемся же найти в этом что-нибудь такое, от чего безумец сможет снова стать умницей.

С каким наслаждением принялся я раскладывать по ящикам груду моих заметок и писем, интимных и официальных, от никому неведомых людей и от знаменитостей, напоминавших о случайных встречах и о далеких странствиях. В одном свертке, завернутом бережнее, чем другие, я отыскал арабские письма, реликвии Каира и Стамбула. О счастье! О смертная печаль! А эти пожелтелые буквы, эти выцветшие черновики, эти наполовину смятые письма — ведь это сокровище моей единственной любви... Я перечитаю их... Многих писем не хватает, другие разорваны или перечеркнуты.

Как-то ночью я громко говорил и пел, точно в экстазе. Один из больничных служащих пришел в мою келью и повел меня в комнату нижнего этажа, где и запер. Я продолжал бредить и, хотя держался на ногах, мне показалось, что я заперт в каком-то восточном павильоне. Я ощупал все его углы и убедился в его восьмиугольной форме. Вокруг стен тянулся диван, и мне казалось, что стены были из толстого стекла, за которыми сверкали каменья, ковры, драгоценные шали. За проволочной сеткой на двери открылся пейзаж, освещенный луной, и мне почудилось, что я узнаю знакомые формы деревьев и утесов. Я уже бывал там в каком-то другом существовании, и мне казалось, что я очутился в глубоких пещерах Эллоры. Мало-помалу голубоватый дневной свет стал проникать в павильон и начертал на его стенах причудливые образы. Мне представилось, что я нахожусь среди обширного кладбища, где кровью была написана история Вселенной. Передо мной обрисовалось тело гигантской женщины, разрубленное саблей; на других стенах появлялись тела других женщин различных рас, представляя собой кровавое месиво частей тела и голов, принадлежавших разным женщинам, начиная с императриц и королев и кончая простыми крестьянками. То была история всех преступлений, и мне было достаточно устремить глаза в любую точку, чтобы увидеть там трагическое изображение. «Вот, — говорил я себе, — что делает тайная сила, действующая на людей. Они мало-помалу разрушили и разрубили на тысячу кусков вечную красоту, и новые расы все более и более отдаляются от могущества и совершенства...» И в тени, падающей от двери, я уже увидел умаляющиеся поколения грядущих рас.

Вскоре я был оторван от этого мрачного созерцания. Доброе и сострадательное лицо моего превосходного доктора вернуло меня в мир живых. Он увел меня оттуда, чтобы присутствовать при зрелище, которое меня живо заинтересовало. Между больными был один молодой человек, бывший

африканский солдат, который шесть недель отказывался принимать пищу. При помощи длинной каучуковой трубки, введенной в рот, ему вливали в желудок суп и жидкий шоколад.

Это зрелище произвело на меня сильное впечатление. До сих пор я жил всецело в монотонном цикле своих душевных ощущений и страданий; встретив теперь это непонятное существо, такое молчаливое и терпеливое, сидящее, как сфинкс, у высочайших врат бытия, я сразу полюбил его за несчастье и одиночество. Симпатия и сострадание восстановили мои силы. Мне казалось, что он стоял между жизнью и смертью как верховный посредник, как исповедник, предназначенный судьбой для того, чтобы выслушивать душевные тайны, которых слова не смеют и не успевают передать. Это было само ухо Господне, свободное от каких-либо человеческих мыслей. Я проводил целые часы, мысленно исповедывая себя, склонив голову к его голове и держа его за руку. Мне казалось, что особенный магнетизм соединил наши души, и пришел в восхищение, когда в первый раз какое-то слово слетело с его уст. На это давно уже потеряли надежду, и я приписал только моему горячему желанию это начало исцеления. В ту ночь я видел чудесный сон, первый после долгого перерыва. Я был в башне, уходящей так глубоко в землю и высоко в небо, что все мое существо должно было истощиться, поднимаясь и спускаясь по ней. Уже исчерпались все мои силы и исчезло все мужество, когда вдруг открылась потайная дверь; мне явился дух и сказал: «Иди сюда, брат!..» Не знаю, почему мне пришла мысль, что его зовут Сатурнен. У него были черты того бедного больного, но более одухотворенные и преображенные. Мы оказались с ним в поле, освещенном звездами; мы остановились, глядя на них, и дух положил руку на мой лоб, как я сам сделал это вчера, стараясь магнетизировать моего товарища. Тогда одна из звезд, которую я видел на небе, стала увеличиваться в размерах, и мне явилась богиня моих снов, улыбающаяся и в индийском костюме, какой я уже

видел ее когда-то. Она прошла между нами, и луга зеленели, цветы и трава поднимались там, где ступала ее нога... Она сказала мне: «Приходит к концу испытание, которому ты подвергался; эти бесконечные лестницы, по которым ты устал взбираться, были не чем иным, как узами старинных заблуждений, которые занимали твои мысли; теперь вспомни день, когда ты умолял Святую Деву, и при мысли, что она умерла, бред завладел твоей душой. Надо было, чтобы твои мольбы были принесены ей какой-нибудь простой душой, свободной от земных уз. Такая душа встретилась теперь рядом с тобой; и поэтому мне было дозволено явиться и ободрить тебя». Восторг наполнила мою душу, и пробуждение было радостно. День начинался. Мне захотелось иметь материальный знак видения, которое меня так утешило, и я написал на стене: «Ты посетила меня сегодня ночью».

Здесь я записываю под заглавием «Памятные заметки» впечатления других снов, последовавших за тем, о котором я только что рассказал.

ПАМЯТНЫЕ ЗАМЕТКИ

На высоких скалах Оверни послышалось пение пастухов. *Бедная Мария!* Царица небесная! К тебе они взывают так набожно. Эта деревенская мелодия поразила слух корибантов. Они в свой черед вышли с пением из своих тайных гротов, где давала им приют любовь. Осанна! Мир на земле и слава в вышних Богу!

На горах Гималаев родился маленький цветок. Не забудь меня! Мерцающий луч звезды остановился на нем на одну только минуту, и послышался ответ на нежном чужом языке: *«Myosotis!»*.

Серебряная жемчужина горела в песке; золотая жемчужина сверкала на небе... Мир был сотворен. Непорочная любовь, божественные вздохи! Воспламените же священ-

ную гору, потому что у вас есть братья в долинах и боязливые сестры, укрывающиеся в лесах!

Благоухающие рощи Пафоса, вы не стоите этих убежищ, где полными легкими вдыхаешь воздух родины. Там, наверху, в горах весь мир живет счастливо. Дикий соловей поет счастье!

О! как прекрасна моя подруга! Она так великодушна, что прощает миру, и так добра, что простила мне. Я не знаю, в каком дворце она провела прошлую ночь, и поэтому я не мог догнать ее. Моя рыжая лошадь дрожала подо мной. Разорванный повод хлестал по ее потным бокам, и мне понадобилось большое усилие, чтобы помешать ей упасть на землю.

В эту ночь добрый Сатурнен пришел ко мне на помощь, а моя подруга села вместе со мной на белую лошадь, покрытую серебряной попоной. Она сказала мне: «Мужайся, брат! Это последний этап». Ее огромные глаза пожирали пространство, развевались по воздуху ее длинные волосы, надушенные благовониями Йемена.

Я узнал божественные черты ***. Мы совершали победоносный полет, и враги наши были у наших ног. Божий вестник удод вел нас с высоты небес, и светлый лук горел в божественных руках Аполлиона. Волшебный рог Адониса раздавался в лесах.

О смерть! Где же твоя победа, когда победитель Мессия был посреди нас! Его одежда была гиацинтового цвета, а запястья и поножи его блестели бриллиантами и рубинами. Когда его легкий жезл коснулся перламутровой двери нового Иерусалима, всех троих залили потоки света. Тогда я сошел к людям, чтобы объявить им благую весть.

Я очнулся от сладкого сна; я видел ту, которую любил, преображенной и лучезарной. Небо открылось мне во всей своей славе, и я прочел на нем слово *прощение*, начертанное кровью Иисуса Христа.

Загорелась звезда, открыв мне тайну мира людей. Осанна! Слава в вышних Богу и на земле мир!

Из недр немого мрака послышались две ноты, одна низкая, другая пронзительно-высокая, и тотчас же начал вращаться вечный круг. Будь благословенна первая октава, начинающая божественный гимн! Из воскресения в воскресение опутываешь ты все дни своей магической сетью. Горы поют о тебе долинам, ручьи — рекам, реки — океану. Воздух дрожит, и свет целует новорожденные цветы. Вздохи, трепет любви исходят из вздутого лона земли, и хор звезд слышится в бесконечности; он то удаляется, то приближается, ширится и рассевает вокруг семена новых творений.

На вершине голубоватой горы родился маленький цветок. Не забудь меня! Ласковый взор звезды остановился на нем на минуту, и тогда послышался ответ на нежном чужом языке: *«Myosotis!»*.

Горе тебе, бог Севера, тебе, одним ударом молотка разбившему священную таблицу, составленную из семи самых драгоценных металлов. Но ты не разбил *розовую Жемчужину,* находившуюся в центре. Она только подпрыгнула под ударом, и вот теперь мы все вооружились, встав на ее защиту... Осанна!

Макрокосм, или большой мир, был создан каббалистическим искусством; *микрокосм*, или малый мир, имеет свое подобие во всех сердцах. Розовая Жемчужина была окрашена королевской кровью валькирий. Горе тебе, бог-кузнец, хотевший раздробить мир!

Но прощение Христа касается и тебя!

Будь же благословен, даже ты, о Тор, гигант, — самый могущественный из сынов Одина! Будь благословен в Хель, твоей матери, потому что погребальный пир часто сладок, будь благословен в твоем брате Локи и в твоем псе Гармре.

Даже змей, окружающий мир, благословен, ибо он ослабил свои кольца и раскрытым зевом вдыхает запах цветка анксока, вулканического цветка солнца!

Да хранит Бог божественного Бальдра, сына Одина и прекрасной Фреи!

Я перенесся *духом* в Саардам, где побывал уже в прошлом году. Снег покрывал землю. Совсем маленькая девочка шла, скользя по обледенелой земле, направляясь, по-видимому, к дому Петра Великого. В ее важном профиле было что-то напоминающее профили Бурбонов. Ее ослепительно белую шею окутывал воротник шубки на лебяжьем пуху. Маленькой розовой ручкой она защищала от ветра зажженную лампу; она постучалась в зеленую дверь дома, оттуда выскочила тощая кошка, бросилась ей под ноги и повалила ее. «Какие пустяки! Это всего только кошка!» — сказала девочка, вставая. «Кошка — это все-таки уже нечто!» — ответил чей-то нежный голос. Я присутствовал при этой сцене, и у меня в руках оказалась маленькая серая кошка, которая стала мяукать. «Это дитя той старой феи!» — сказала девочка и вошла в дом.

Следующей ночью сон перенес меня сначала в Вену.

Известно, что на каждой площади этого города возвышаются высокие колонны, называемые колоннами *прощения*. Мраморные облака громоздятся на них, а наверху прикреплены шары, где сидят священные фигуры. Вдруг, о чудо! я стал думать об августейшей сестре императора России, чей дворец я видел в Веймаре. Вслед за тем я с какой-то сладостной тоской увидел цветные туманы Норвегии, освещенные нежным светом бессолнечного дня. Облака стали прозрачными, и я различал теперь перед собой глубокую бездну, куда шумно низвергались волны ледяного Балтийского моря. Казалось, что вся Нева со своими голубыми водами должна уйти в эту трещину земного шара. Корабли Кронштадта и Санкт-Петербурга задвигались на

якорях, готовые оторваться и исчезнуть в пучине, как вдруг божественный свет воссиял сверху над этим зрелищем гибели.

Сквозь туман яркий луч солнца осветил скалу, поддерживающую статую Петра Великого. Над этим тяжелым пьедесталом скучились облака, поднявшиеся до зенита. Они были переполнены лучезарными фигурами, среди которых можно было различить двух Екатерин и императрицу св. Елену, окруженных самыми прекрасными царицами России и Польши. Их ласковые взгляды, обращенные к Франции, приближали пространство с помощью длинных хрустальных телескопов. Я увидел в этом знак, что наша родина становится посредником в восточной распре и что от нее ждут помощи. Мой сон кончился сладкой надеждой на то, что мы обретем наконец мир.

Таким-то образом решился я на смелую попытку записать свои сны и узнать их тайну. Почему, сказал я себе, не взломать эти мистические ворота, вооружившись всей волей, почему не овладеть всеми чувствами, вместо того чтобы подчиниться им? Разве нет возможности приручить эту заманчивую и страшную химеру, найти закон для этих ночных духов, играющих нашим разумом? Сон занимает третью часть нашей жизни. Он — утешение в горестях наших дней и печаль, примешанная к нашим радостям, но никогда прежде я не понимал того, что сон — это еще и отдых. После нескольких минут оцепенения начинается новая жизнь, освобожденная от условий времени и места и, вне всякого сомнения, похожая на ту жизнь, которая ожидает нас после смерти. Кто знает, не существует ли связи между этими двумя существованиями и нет ли возможности для человеческой души установить эту связь заранее?

С этой минуты я принялся искать смысл моих снов; беспокойство окрашивало все мои размышления в состоя-

нии бодрствования. Мне казалось, я обнаружил связь между миром внешним и внутренним, что только невнимание или несовершенство души искажают явные об этом свидетельства и что таким образом объясняется причудливость необычных видений, подобная диковинному отражению во взволнованной воде.

Таков был опыт моих ночей; дни мои шли тихо в компании бедных больных, которые сделались моими друзьями. Совесть, очищенная отныне от ошибок прошлой жизни, давала мне бесконечные душевные наслаждения; уверенность в бессмертии и в существовании всех людей, которых я любил, пришла ко мне, так сказать, ощутимой реально, и я благословлял братскую душу, которая вывела меня из недр отчаяния на лучезарные пути религии.

Бедный молодой солдат, которого таким странным образом покинула разумная жизнь, принимал мои заботы, которые мало-помалу вывели его из онемения. Узнав, что он родился в деревне, я проводил целые часы, напевая ему старые деревенские песни, которым старался придать самое трогательное выражение. Я был так счастлив, когда увидел, что он слушает их и повторяет за мной отдельные слова. Однажды, наконец, он на минуту открыл глаза, и я увидел, что они были голубые, как глаза духа, являвшегося мне в снах. В одно утро, несколько дней спустя, он снова открыл глаза и больше уже не закрывал их. Он начал говорить, хотя и запинаясь, узнал меня, обращаясь ко мне на «ты» и называя братом. И все-таки он по-прежнему отказывался от пищи.

Однажды, вернувшись из сада, он сказал мне:

— Я хочу пить.

Я пошел за питьем; стакан коснулся его губ, но он не хотел глотать.

— Почему, — спросил я его, — ты не хочешь ни есть, ни пить, как другие?

— Оттого, что я мертв, — ответил он, — я был похоронен на кладбище, в таком-то городе...

— А теперь, как ты думаешь, где ты?

— В чистилище, я совершаю очищение грехов.

Таковы представления у этого рода больных; я увидел, что и сам был недалек от столь же странного убеждения. Благодаря неустанному попечению родных и друзей я вскоре вернулся к ним и мог теперь судить уже более здраво о мире иллюзий, в котором пребывал некоторое время. Однако я счастлив приобретенным опытом и приравниваю ряд испытаний, через которые прошел, к тому, что для древних представляло идею сошествия в ад.

ИЗ ЦИКЛОВ

«ХИМЕРЫ», «НОВЫЕ ХИМЕРЫ» И «ОДЕЛЕТТЫ»

EL DESDICHADO

Принцип Аквитании, вдовец звезды моей,
У башни рухнувшей скорблю я бессловесно,
И солнце черное восходит в апогей,
Свет меланхолии струя из лютни звездной.

Отрада дней былых, могильный мрак развей,
Чтоб я увидел вновь и мой цветок небесный,
И холм Вергилия, и синеву морей,
И розы, что с плющом сплелись в беседке тесной!

Амур я или Феб? Ваифр или Бирон?
Царицы поцелуй храню, как дар бесценный;
Мечтал в том гроте я, где плавают сирены,

И, дважды переплыв с победой Ахерон,
Я долго извлекал из лирных струн Орфея
И жалобы святой, и крики вещей феи.

МИРТО

Я о тебе грущу, волшебница-богиня,
О памятном холме языческих времен,
О том челе, где был Восток запечатлен,
О золоте косы, сплетенной с гроздью синей.

Из кубка твоего я пью восторг поныне,
Из молнии очей, в которых явь и сон...
К сынам Эллады был я Музою причтен,
Когда Иакху здесь молился, как святыне.

Лишь оттого взревел вчера вулкан-старик,
Что ноги по нему твои легко скользили, —
И пеплом траурным покрылось небо вмиг.

Давно норманны в прах богов твоих разбили.
С тех пор под лавром, где покоится Вергилий,
Навек зеленый мирт к гортензии приник.

ГОР

Дрожа всем телом, Кнеф потряс небес чертог,
И поднялась тогда на ложе мать Исида,
В глазах зеленых — гнев, презренье и обида,
И вспыхнул в них опять забытый огонек.

«Взгляните на него! Развратник занемог,
И веет с уст его всем холодом Аида.
Ужель мне быть женой кривого инвалида?
И это царь зимы, вулканов грозный бог!

Но вот уж новый дух ко мне взывает смело,
Надела для него я снова плащ Кибелы...
Его отец — сам бог Осирис и Гермес!»

И, в раковине взмыв, умчала ввысь богиня;
Был ясен лик ее на глади моря синей,
Ириды светлый шарф над ней сиял с небес.

АНТЭРОС

Неукротим и горд, я не терплю цепей.
Бунтарства моего разгадку знать хотите ль?
Пред Богом не склонюсь, хоть он и победитель, —
В него я стрелы шлю: ведь пращур мой — Антей.

Весь окровавленный, я Авеля бледней,
Исчадье Каина, его клейма носитель.
Ведь я один из тех, в ком злобой дышит мститель;
Его лобзанья след жжет щеку все сильней.

Ты, Яхве, победил того, кто неустанно
Кричал средь адских бездн: «Проклятье вам, тираны!»
То Бел или Дагон. Во мне жива их кровь.

Я ими погружен был трижды в глубь Коцита,
Амаликиты сын и вся ее защита, —
Дракона древнего я сею зубы вновь!

DELFICA

О Дафна, помнишь ли старинные мотивы,
Которые везде — под липою густой,
Под лавровым кустом, под миртом иль сосной —
Звучали некогда в стране иной, счастливой?

Ты помнишь древний храм, белевший горделиво,
И горький апельсин, надкушенный тобой,
И темный гулкий грот, для многих роковой,
Где змия мертвого еще посевы живы?

Оплаканы тобой, вернутся боги к нам,
И мы еще придем к античным временам!
Когда пророческий глагол сотряс вершины,

Умолк Сивиллы глас, его не слышишь ты;
Объяты сном ее латинские черты,
И нерушим покой под аркой Константина.

АРТЕМИДА

Тринадцатый опять... Иль только первый длится,
Всегда единственный, — иль миг один застыл?
Последней, первой ли была ты, о царица?
Последним, первым ли возлюбленным *ты* был?

Любите тех, кто мог на вас всю жизнь молиться;
Той, что любима мной, любовь я сохранил:
То смерть — иль мертвая... О свет! О страх могил!
Цветок в ее руке — как *темных бездн зарница.*

Святая, как горят огни в руках твоих!
В венце лиловых роз, цветок Гудулы нежной,
Нашла ли ты свой крест во мгле небес пустых?

Прочь, розы белые, чтоб гнев богов утих!
С пылающих небес летите стаей снежной:
Святая мрачных бездн — святее всех святых!

ХРИСТОС НА МАСЛИЧНОЙ ГОРЕ

Бог умер! Небеса пусты...
Плачьте, дети! Нет у вас больше отца.
Жан-Поль

I

Когда под кроною священной, как поэт,
Воздел Господь в немом томлении жестоком
Худые руки ввысь, провидя скорбным оком
Неблагодарного ученика навет,

Он обернулся к тем, кто поджидал рассвет,
К храпевшим, словно скот в загоне, лежебокам
(Тот мнил себя во сне царем, а тот — пророком)
И крикнул что есть сил: «Нет Бога! Бога нет!»

Те спали мертвым сном. «Да ведома ль вам *весть*?
До самой тверди я сумел главу вознесть,
И вот теперь — в крови, во прахе и печали...

Я лгал вам, братья, лгал! Не в мире мы — в дыре!
Я — жертва на пустом безбожном алтаре...
Нет Бога! Умер Бог!» Но те всё спали, спали...

II

Твердил он: «Все мертво! Я видел тьму миров,
Я до конца прошел их млечными путями.
Там золото песков и серебро валов
Разбрасывает жизнь обильными горстями.

Повсюду соль пустынь да волн прибрежных рев,
Да вихрей перехлест над бурными морями,
Да некий смутный вздох средь огненных шаров,
Но дух не веет там, в кромешной звездной яме.

Я божий взор искал — мне встретилась глазница
Бездонной черноты, откуда ночь лучится
Над миром, что ни миг, сгущаясь все сильней.

И радуга стоит вкруг этого колодца —
Грань хаоса, чья тень небытием зовется,
Спираль, в которой скрыт конец Миров и Дней».

III

«Недвижный Произвол, всесильность роковая
Неотвратимости!.. Не случай ли влечет
Тебя среди миров, что блекнут, застывая
И всю вселенную преображая в лед?

Ты знаешь, что творишь, о сила вековая,
Когда погасших солнц расстраиваешь ход?
И в чем залог того, что длится связь живая
Меж миром умершим и тем, что вновь придет?

Отец мой! Я к тебе взываю что есть мочи:
Да властен ли ты жизнь и смерть одолевать?
Сумел ли ты под тем напором устоять,

Который на тебя обрушил ангел ночи?
Ведь я томлюсь один, мне страшно и темно,
И если я умру, все умереть должно!»

IV

Никто не внял его стенаниям глухим,
И вот, преодолеть не в силах эту дрему,
Он, сломлен, полужив, воззвал тогда к *другому*,
Кто бодрствовал в ночи, покуда спал Солим.

«Иуда! — крикнул он. — Нам ведомо одним,
Что стоит твой товар. Не медли ж по-пустому.
Я исстрадался, друг! Уйми мою истому.
Коль дело решено — пора покончить с ним!»

Но тот шагал во тьму — хмур, недоволен платой,
И столь мучительным раскаяньем объятый,
Что смерть мерещилась ему у всех дверей...

И лишь один Пилат, в ту ночь не спавший тоже,
Поддавшись жалости, сказал как можно строже:
«Безумца этого — под стражу поскорей!»

V

Да, то был он, мудрец, безумством озаренный,
Икар, вспаривший ввысь, расправив два крыла,
Он, Фаэтон, кого гроза небес сожгла,
Он, Аттис страждущий, Кибелой воскрешенный.

Авгур пытал судьбу над жертвой обреченной,
Земля, хмелея, кровь священную пила,
Вселенная на миг качнулась, как юла,
И задрожал Олимп над пропастью бездонной.

И Кесарь возопил: «Ответь мне, Ра-Аммон,
Кто этот новый бог, наследующий землю?
А если он не бог, не демон — кто же он?»

Оракул смолк навек, словам его не внемля.
Ответить мог лишь тот, всей тайны смысл объемля,
Кем был бездушный прах душою наделен.

ЗОЛОТЫЕ СТИХИ

Что же! Всё чувствует.
Пифагор

Мыслитель дерзостный! Неужто ты решил,
Что мыслишь только ты?! Ведь всё вокруг — живое.
Ты волен и силен, и властен над собою,
Но космос без тебя жить будет так, как жил.

И в твари уважай живого духа пыл:
Природой страсть дана фиалке и левкою,
Все таинства любви хранит металл в покое,
«Всё чувствует!», и ты — игрушка мощных сил.

Страшись! Ведь за тобой следит стена слепая,
В самой материи глагол до срока спит...
Вели ей лишь добру служить, не уставая!

В ничтожном существе незримый Бог сокрыт...
Как взгляд родившийся мерцает сквозь ресницы,
Так в камне чистый дух растет и ввысь стремится.

ГОСПОЖЕ АГУАДО

Колонна стройная, с сапфиром неба споря,
Восстань! Как голуби, вокруг порхают дни.
Ты от карниза вниз к подножию взгляни:
Вся Иудея спит в пурпуровом уборе.

Когда ты Бенарес узришь в речном просторе,
Ты темно-золотой корсет свой расстегни,
Ведь черный коршун я, летящий к Патани,
И бабочки, как снег, кружат над гладью моря.

Ланасса! по волнам пусти свой парус ты.
Пускай несет поток пурпурные цветы.
Снег Азии покрыл Атлантику вуалью.

Но жрица юная под аркой золотой
По-прежнему хранит блаженный свой покой,
И портик недвижим, овеянный печалью.

ЕЛЕНЕ ДЕ МЕКЛЕНБУРГ

Фонтенбло, май 1837

Принцессу саксов ждет дворец многоколонный,
Ту, что наследникам Капетов верный друг.
Великий Карл, шагов ее заслышав звук,
«Карл Пятый нас простил», — кричит Наполеону.

Но оба короля глядят настороженно.
Чем вызван в их глазах мучительный испуг,
Что предок с мертвыми глазами вздрогнет вдруг,
Презрев, отбросит прочь искателей короны?

О Медичи! Ужель замкнулся круг времен?
Три сына гордые вернулись на поклон.
Но к мантии его приник тот отпрыск нежный,

Орленок, что в те дни случайно позабыт.
Он молнию отцу великому вручит, —
И небеса взорвет разгул стихий мятежный.

ГОСПОЖЕ САНД

«Скала нависшая, шедевр былых времен,
В ней память о тебе, о Тараскон, жива
И о гигантах тех, сошедших с гор Фуа,
Чьи кости белые покрыли древний склон».

От тех же предков я, о Дю Бартас, рожден,
И память о твоих стихах в моих жива:
Ведь юным отпрыскам тех графов де Фуа
Нужны свидетели исчезнувших времен.

Над Зальцбургом хребет зловещих гор застыл;
Австрийский аист там стервятников кормил.
В приюте этом дух властителей Европы.

На лбу могучих скал сияет белый снег,
Легенда странствует о нем из века в век,
Что это кости гор, размытых в дни потопа.

ГОСПОЖЕ ИДЕ ДЮМА

Я пел у ног твоих, воитель Михаил;
Нас Митра заточил в святилище шатровом.
Спал крепко Царь Царей под блещущим покровом,
А над Израилем, как я, ты слезы лил.

Когда султан Типу встал в облаке багровом,
За гласом горний глас о мести возопил.
Кровавый глаз открыв, собрат мой Гавриил
С небес архангела призвал громовым словом:

«Ты видишь — Лев грядет, и Тигр, и Волк за ним.
Один — Наполеон, второй же — Ибрагим,
Абд эль-Кадер им вслед взревет посреди дыма:

«Кинжал Алариха, Аттилы страшный меч
Даны им... Мой клинок не устрашится сеч,
Но молнию украл у нас властитель Рима!»

ГОЛОВА-ДОНЖОН

Он *голову-донжон** увидел в час кончины...
То пала Франция у Кесаревых ног.
Больного, слабого, что ждет, — он думал, — сына?
Что ждет его страну средь бедствий и тревог?

Бог, в этот страшный день судивший исполина,
Призвав Христа, в ответ услышал только вздох,
И дымовой фантом исторгнули глубины:
Еще огромней встал сраженный полубог.

Из бездн чистилища, стряхнув грехи и беды,
Явился юноша тогда в слезах победы,
Ладонь безгрешную Творцу подать готов.

Обоим рассекла бок тайна их двойная:
Один дал жизнь Земле, кровь щедро проливая,
Другой на Небесах посеял плоть богов.

* Донжон — обособленная башня внутри крепости, последнее убежище ее защитников. *Примеч. пер.*

ЧЕРНОЕ ПЯТНО

Тому, кто устремит на солнце дерзкий взор,
Вмиг черное пятно закроет весь простор
И душу омрачит печалью непроглядной.

Так в молодости я, когда был горд и смел,
На славу пристально и дерзко посмотрел —
И черное пятно мне взор затмило жадный.

О горе мне! Пятно везде передо мной,
Весь мир заволокло могильной пеленой
И омертвляет жизнь незримою отравой.

Неужто радости исчезнут без следа?
Ведь одному орлу дозволено всегда
Смотреть бестрепетно на Солнце и на Славу!

ФАНТАЗИЯ

Есть песня, за которую отдам
Всего Россини, Вебера и Гайдна,
Так дороги мне скорбь ее и тайна,
И чары, неподвластные годам!

Душа на два столетья молодеет,
Едва дохнет та песня стариной...
Век Ришелье; я вижу, как желтеет
Вечерний свет на отмели речной.

В кирпичном замке с цоколем из камня —
Оранжевые отсветы стекла,
В пустынном парке — каменные скамьи,
Среди цветов — речные зеркала,

А в завитках оконной филиграни —
Льняная прядь и темный женский взор,
И, может быть, в ином существованье
Я видел их... и вижу до сих пор...

КОММЕНТАРИИ

При составлении комментариев использовался научный аппарат к новейшему собранию сочинений Нерваля: *Nerval G. de.* Œuvres complètes. T. 1–3: Bibliothèque de la Pléiade. 1984–1993, подготовленный коллективом специалистов под руководством Ж. Гийома и К. Пишуа.

ИЗ КНИГИ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК»

Книга вышла в 1851 г., но отдельные ее части публиковались начиная с 1841 г. Описанное в ней большое путешествие в действительности соответствует двум разным, более коротким поездкам Нерваля, состоявшимся в 1839–1840 и 1843 г.

ПИРАМИДЫ

Фрагмент из второй части «Путешествия на Восток» – «Каирские женщины». Первая публикация – в газете «National» в марте 1850 г. Перевод печатается по изданию: *Нерваль Ж. де.* Путешествие на Восток. М., 1986.

С. 42. *Саккара* — древний некрополь близ Каира.

С. 44. *...три пирамиды – Хеопса, Хефрена и Микерина...* – комплекс пирамид эпохи Древнего царства в Гизе.

...древний рефрен: «Элейсон!». – По-гречески это слово значит «помилуй» (например, в христианской формуле «кирие элейсон» – «господи, помилуй!»).

Судан – историческое наименование мусульманских султанов.

С. 45. *Кредевиль, Бужинье* – комические персонажи, изображения которых в первой половине XIX в. часто появлялись на стенах парижских домов; первый был героем одноименного водевиля

1832 г., второй (отличавшийся огромным носом), как полагают, представлял собой карикатуру на художника Буженье.

...приветствовал снизу сорок веков, которые, как он полагал, созерцали его во главе нашей доблестной армии. – Историческое обращение генерала Бонапарта к войскам во время Египетской экспедиции: «Солдаты, сорок веков глядят на нас с высоты этих пирамид».

С. 46. *...к экспедиции господина Лепсиуса...* – Немецкий ученый Карл Рихард Лепсиус (1810–1884) находился в Египте в 1842–1845 гг.

С. 47. *...колонны Помпея в Александрии...* – Эта тридцатиметровая колонна названа не в честь «великого Помпея», полководца и соперника Цезаря (I в. до н. э.), а по имени римского префекта Александрии, соорудившего ее в честь императора Диоклетиана (III в н. э.).

С. 48. *Шампольон* Жан-Франсуа (1790–1832) – французский востоковед, прославившийся расшифровкой древнеегипетского иероглифического письма.

Мухаммед Али – турецкий правитель Египта в 1805–1849 гг.

С. 52. *«Волшебная флейта»* (1791) – опера Моцарта на либретто Э. Шиканедера, где используются масонские инициатические предания, восходящие, в свою очередь, к роману аббата Террасона «Сет» (см. коммент. к с. 243).

Зарастро, Царица ночи, Папагено – действующие лица «Волшебной флейты».

С. 53. *...Семирамиду Победоносную, когда на ее глазах при основании Вавилона Египетского (Старого Каира)...* – По античному преданию, основателями крепости Вавилон Египетский, на месте нынешнего Каира, были воины легендарной вавилонской царицы Семирамиды; арабское название «аль-Каира» – Каир — может пониматься как эквивалент ее титула «Победоносная».

С. 56. *Триптолем, Орфей, Пифагор* – персонажи греческих мифов и легенд: Триптолем – божество земледелия, Орфей – легендар-

ный певец, Пифагор – философ VI в. до н. э., глава религиозно-философской школы.

Элевсинские мистерии – таинства в честь богини Деметры в городе Элевсине близ Афин.

Кабиры Самофракии – «Великие боги», святилища которых находились в древности на греческом острове Самофракия; в честь них устраивались мистерии.

Мистические союзы Ливана – подразумевается ливанская религия друзов, которую сближает с учением Пифагора вера в переселение душ. О друзах Нерваль подробно рассказывает в последующих главах «Путешествия на Восток».

Сесострис – имя нескольких египетских фараонов XII династии (XIX в. до н. э.).

ИСТОРИЯ ХАЛИФА ХАКИМА

Эту вставную легенду рассказывает герою «Путешествия на Восток» (часть третья – «Друзы и мароните») шейх секты друзов в Ливане; реальный литературный источник большинства деталей – книга французского востоковеда Сильвестра де Саси «Изложение религии друзов...» (1838). Хаким, которого друзы чтят как божество и ожидают его возвращения, – историческое лицо, египетский халиф из династии Фатимидов (996–1021).

Первая публикация – в журнале «La Revue des deux mondes», 15 августа 1847 г. Перевод печатается по изданию: *Нерваль Ж. де.* Путешествие на Восток. М., 1986.

С. 59. *Сабеи* – древняя «всемирная религия», к которой возводились верования современных ливанских друзов.

Окель – караван-сарай, постоялый двор.

С. 61. *...очутишься в объятиях гурий, даже не переходя через мост ас-Сират...* – По мусульманскому преданию, чтобы попасть в рай, к красавицам-гуриям, умерший человек должен пройти по мосту ас-Сират, узкому как лезвие меча и переброшенному через ад, куда и срываются с него грешники.

С. 62. *Пери* – в персидской мифологии сверхъестественное существо женского пола.

С. 65. *...во славу Гермеса и Агафодемона.* – Агафодемон (в пер. с греч.: «добрый бог») был самым почитаемым божеством у древних сабеев; его гробницей считалась одна из египетских пирамид, и он мог отождествляться с Гермесом Трисмегистом.

С. 66. *Парсы* – последователи Зороастра.

С. 67. *Альмеи* – танцовщицы.

С. 68. *Амру* – Амру ибн аль-Асы, арабский полководец, завоевавший Египет в 639–641 гг.

Пентаграмма – пятиконечная звезда, магическая фигура, используемая в талисманах.

С. 70. *Абба* – короткий шерстяной плащ, который носят бедуины.

Кади — судья.

...вверяя свою душу ангелам Мункару и Накиру. – В исламской традиции это ангелы, подвергающие мукам умерших грешников.

С. 72. *...надписи карматским шрифтом...* – Один из видов арабского письма, без диакритических (надстрочных) знаков.

С. 74. *Везир* (визирь) – министр.

...зловещий знак «тау», предвестник ужасной судьбы... – Ср. ниже «Историю о царице Утра и Сулаймане, повелителе духов», где тот же знак в виде греческой буквы «тау» является символом масонов и потомков Каина.

С. 75. *Диван* – правительство, государственный совет.

Улемы, кяшифы и мудиры – соответственно: богословы, военные и гражданские начальники.

С. 76. *Ардеб* – мера объема, вообще говоря, довольно большая (185 литров). Нерваль, очевидно, пользуется ею условно, не уточняя цифр.

Мультазимы – откупщики.

С. 78. *Сатурн, планета Хакима...* – В астрологической традиции Сатурн считается опасной, приносящей беду планетой, которая благоприятствует некромантии.

...Марс, в чью честь город был назван Каиром... – См. выше, коммент. к с. 53 и далее к с. 88.

...когда на Египет шли враги, всадник опускал копье и поворачивался лицом к стране, откуда они наступали. – О подобном волшебном устройстве говорится и в мавританских преданиях, согласно которым оно было создано силой власти над духами, передававшейся от Адама и Соломона до строителей египетских пирамид. Ср. книгу Вашингтона Ирвинга «Альгамбра» (1832, глава «Легенда об арабском звездочете»), а также написанную на сюжет Ирвинга «Сказку о золотом петушке» А. С. Пушкина.

Аббасиды... сыновья Омара... – Династия Аббасидов правила в Багдаде в VIII–XIII вв.; Омаром звали второго мусульманского халифа (VII в.), при котором арабы завоевали Египет.

С. 79. *Хамсин* – горячий ветер из пустыни.

Зебеки – воинственные горцы-разбойники.

С. 81. *...великий Ибн Сина, Авиценна...* – Этот знаменитый ученый-медик и мистик (980–1037) действительно был современником халифа Хакима.

Гашиш знали уже во времена Соломона: слово «гашишот» упоминается в «Песни песней»... – Ошибочное указание.

С. 82. *А помнишь, кто победил тебя на острове Серандиб? Адам...* – По восточному преданию, на остров Серендиб или Серандиб (Цейлон, Шри Ланка) был изгнан из земного рая согрешивший Адам, где он и похоронен под высокой горой.

С. 83. *...обычный червяк доказал, что он могущественнее, чем Соломон...* – Ср. финал «Истории о царице Утра...». Предание взято из Корана (сура XXXIV).

С. 86. *Фатимиды* – династия халифов, правивших Египтом до 1171 г., когда они были побеждены Аббасидами.

С. 87. *«Сгинь, Енох, город детей Каиновых...»* – Согласно Книге Бытия (IV, 17), Енох («посвященный») был сыном Каина и построил первый город, названный его именем. Нерваль обычно отождествляет его с другим Енохом – благочестивым патриархом, жившим позднее.

С. 88. *...этот город, который мой предок Муизз ли Диналлах основал под знаком победы (кахира)...* – Этот военачальник Фатимидов завоевал Египет в 969 г. и основал город Каир на месте двух городов, существовавших ранее.

С. 89. *Шерифы* – знатные мусульмане, ведущие свою родословную от Магомета.

С. 92. *Волшебное кольцо Гигеса* – перстень лидийского царя Гигеса (VII в. до н.э.), делавший его невидимым. Упоминается у Платона (*Платон.* Государство. IX, 612 b).

Харун ар-Рашид (766–809) – багдадский халиф, знаменитый свим богатством; фигурирует в ряде сказок «Тысячи и одной ночи».

С. 94. *Берберы и кабилы* – народы северо-западной Африки.

С. 98. *«Ты все же появился, предвестник несчастья!»* – то есть Сатурн (см. выше, коммент. к с. 78).

С. 99. *Аль-Макин, аль-Макризи, ан-Нувейри* – арабские средневековые историки (XIII–XIV вв.).

...двадцать седьмого шаввяля четыреста одиннадцатого года хиджры. – 13 февраля 1021 г. по христианскому летосчислению.

С. 100. *...в Сен-Жан д'Акр... заинтересовать пашу судьбой пленника... не посмел заговорить с ним о его дочери...* – В крепости Аккра (по-французски Сен-Жан д'Акр) находилась резиденция турецкого паши Ливана. «Пленник», упоминаемый рассказчиком, – друзский шейх, который поведал ему историю халифа Хакима, находясь под арестом в Бейруте за неповиновение турецким властям; о любви рассказчика к его дочери говорится в других главах «Путешествия на Восток».

ИСТОРИЯ О ЦАРИЦЕ УТРА И О СУЛАЙМАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ДУХОВ

Вставная легенда из четвертой части «Путешествия на Восток» – «Ночи рамадана», где говорится о пребывании рассказчика в Константинополе. Основные источники сюжета – 1-я Книга Царств (X, 1–13) и Коран (сура XXVII). Главным источником сведений об апокрифических восточных легендах служил Нервалю энциклопедический труд французского эрудита Бартелеми д'Эрбело де Моленвиля «Восточная библиотека» (1697).

Первая публикация – в газете «National», март–апрель 1850 г. Нерваль предполагал, помимо книги, написать еще и либретто оперы «Царица Савская», но замысел не осуществился; опера Шарля Гуно на сюжет Нерваля была поставлена лишь после смерти писателя, в 1862 г.

Перевод печатается по изданию: *Нерваль Ж. де.* История о царице Утра и о Сулаймане, повелителе духов. М., 1996.

С. 101. *Адонаи* – одно из имен ветхозаветного Бога.

С. 103. *Бенони* – имя, принадлежавшее в Книге Бытия младшему сыну Иосифа и означавшее «сын моей скорби».

С. 104. *Знаешь ли ты, что воздвигли некогда дети Еноха?* – Подразумевается Вавилонская башня; согласно Библии, это случилось уже после того, как дети Еноха (потомки Каина) были истреблены всемирным потопом.

С. 105. *Каф* – в мусульманской традиции мифическая гора, внутри которой заключен мир суши и воды.

Кедрон – река, протекавшая между Иерусалимом и Масличной горой; в настоящее время – сухой овраг.

С. 107. *«Сулайман-наме»* – название, по-видимому, взятое Нервалем из книги д'Эрбело, где автором этой поэмы назван персидский поэт X–XI вв. Фирдоуси. Как полагают, речь идет о его поэме «Шах-наме» («Книга царей»), в начале которой говорится о легендарных царях древности.

Балкида – происхождение этого имени, сохранившегося в мусульманских легендах, точно не установлено. По-арабски оно произносится «Билкис» (у Нерваля – «Балкис»); есть гипотеза, что оно восходит к греческому языку, чем и может быть мотивирована принятая в публикуемом здесь переводе эллинизированная форма «Балкида».

Кеттура (Хеттура) – последняя жена патриарха Авраама; одного из их внуков звали Сава или Шева (Быт. 25, 1–3).

С. 108. *Царица Южная* – наименование царицы Савской в Новом завете (Мф. XII, 42; Лк., XI, 31).

...прямая наследница Савы, Иоктана, патриарха Евера. – Здесь имеется в виду уже другой библейский персонаж по имени Сава (Шева): один из потомков Сима, сына Ноя, упоминаемый в Библии еще до появления Авраама (Быт., 10, 24).

С. 109. *Сын солдатской девки и старого пастуха Дауда, а сам Дауд – правнук беспутной Руфи, которая... легла к ногам евфратского хлебороба.* – Мать Соломона Вирсавия была неверной женой военачальника Урии, уничтоженного по приказу сошедшегося с нею царя Давида (Дауда). Сам Давид в юности был пастухом, а род свой он вел от благочестивой (а отнюдь не «беспутной») вдовы-моавитянки Руфи, которая стала батрачкой, а затем женой старого богатого земледельца Вооза.

Верная своим богам, царица отказалась войти сегодня вечером, после захода солнца... – Согласно Корану, ее подданные были солнцепоклонниками.

С. 111. *...подобный башне из слоновой кости, как сам он некогда сказал устами Суламиты...* – Суламитой (Суламифью) звали героиню «Песни песней», где и встречается данный образ.

С. 112. *«Шир-Гаширим»* – еврейское название «Песни песней», которое Нерваль здесь, очевидно, относит к другой книге – Книге притч Соломоновых.

С. 115. *И завязался... долгий и оживленный философский диспут...* – Цитаты, которые приводит далее царица Савская, взяты из

библейских книг, приписываемых Соломону: Книги притч, Книги Экклезиаста и «Песни песней».

С. 122. *Химьяриты* – потомки Химьяра, одного из сыновей Савы (см. родословную царицы Савской в начале главы II «Истории о царице Утра...»).

С. 124. *...о медном море...* – Этот огромный ритуальный сосуд, находившийся в Иерусалимском храме, упоминается в 1-ой Книге Царств, VII, 23–26.

С. 131. *...потомков Тувала... сынов Каина...* – Тувал-Каин, потомок Каина, родоначальник кузнецов. Город Енохия был построен до его рождения.

Ваал – финикийское солнечное божество, поклонение которому сурово осуждается в Ветхом Завете.

С. 135. *...солнце из драгоценных каменьев в золотом треугольнике...* – Масонский символ, обозначающий, в частности, Великого Зодчего (Бога).

С. 136. *Долина Иосафата* – упоминаемое в Ветхом Завете место Страшного Суда, в позднейшей традиции отождествленное с долиной Кедрона близ Иерусалима, служившей городским кладбищем.

С. 144. *«Вы идете по хрустальному полу»*. – Этот эпизод испытания царицы Савской взят из Корана. В мусульманской традиции его объясняют так: царь Соломон желал убедиться, что у его гостьи волосатые ноги с копытцами (знаменующие ее инфернальное происхождение), и для этого хитростью заставил ее подобрать подол платья.

С. 147. *Балкис-Мекеда* (Великая Балкис) – имя, под которым царица Савская известна в Абиссинии как родоначальница эфиопских царей.

С. 148. *Великое деяние* – термин алхимии, означающий превращение металлов в золото.

С. 152. *...сказал...: «Вемамия!». Тот ответил: «Елиаил!». – «Элиаил», «Вемамия»* – в масонских обрядах пароль и отзыв так называемых «рыцарей Черного орла».

Озеро Гоморра – Мертвое море, близ которого находились города Содом и Гоморра.

С. 162. *Лапейрер, Николай Климий* – французский и датский писатели XVII в., излагавшие эзотерические мифы.

Спагирическая медицина – наука, связанная с алхимией и герметизмом, применявшая их сведения в приготовлении лечебных средств.

...в Книге Еноха, недавно переведенной епископом Кентерберийским. – Автором английского перевода (1821) апокрифической Книги Еноха был Ричард Лоуренс, архиепископ Кэшельский.

С. 163. *Мы стоим под горой Серендибской...* – см. выше, коммент. к с. 82.

Иблис – в мусульманской мифологии падший ангел, сходный с Люцифером у христиан.

С. 166. *Мефусаил создал буквы и оставил книги, которыми потом завладел Идрис...* – Выше, в «Истории о царице Утра...» (см. с. 158 наст. изд.), Идрис был отождествлен с Енохом, а также с Гермесом Трисмегистом, которому в античности приписывалось изобретение письменности и тайного знания.

С. 169. *«Граф де Габалис, или Разговоры о тайных науках»* – иронический трактат аббата Монфокона де Виллара (1670), посвященный общению человека со стихийными духами.

С. 179. *Роза Сарона* (то есть с Саронской равнины в Палестине) – упоминается в Ветхом Завете, в частности, в «Песни песней».

С. 192. *...за гробницей царевича Абсалома ибн Дауда...* – Имеется в виду Авессалом, сын царя Давида, пытавшийся свергнуть его с престола и за это убитый. В XIX в. близ Иерусалима показывали гробницу, считавшуюся гробницей Авессалома.

С. 197. *...двух огромных витых колонн из бронзы, именуемых Иакин и Вооз...* – Эти колонны перед Иерусалимским храмом, упо-

минаемые в 1-ой Книге Царств и носившие имена персонажей Ветхого Завета, фигурировали в дальнейшем в масонских обрядах: у этих символических колонн рассаживались члены ложи, а имя «Иакин» служило священным словом одной из масонских степеней.

С. 199. *...в Писании сказано: «Бойся раненой змеи, если она свернулась».* – В Библии таких слов нет.

С. 212. *Священник Иоанн* (пресвитер Иоанн) – легендарный правитель христианского царства, якобы существующего где-то по ту сторону мусульманских земель; в средние века эту страну считали расположенной либо в Абиссинии, либо в Индии.

С. 213. *...ученик говорил «Тувал-Каин», подмастерье – «Шибболет», а мастер – «Гиблим».* – Все эти слова, восходящие к Ветхому Завету, служили в дальнейшем масонскими паролями, а упомянутые выше «Иакин», «Вооз» и «Иегова» – священными словами трех разных масонских степеней. Священное слово мастеров «Иегова» – имя ветхозаветного Бога – никогда не должно произноситься (так и Адонирам отказывается сказать его своим убийцам), и в масонских ритуалах его полагалось заменять другим именем – «Макбенах», легенда о происхождении которого излагается в тексте ниже.

С. 216. *...вырвал с корнем молодую акацию и воткнул ее в свежевскопанную землю...* – Акация фигурирует в масонских ритуалах, ее ветвями полагалось приветствовать мастеров.

С. 217. *«Несчастные! Что они наделали? Я не велел им его убивать...»* – Эта фраза также произносилась во время одного из масонских ритуалов.

С. 218. *...Сулайман приказал девяти мастерам отыскать тело...* – Поиски тела Адонирама составляли заключительную стадию масонского ритуала посвящения в мастера.

С. 219. *Штерке, Отерфют и Гобен* – эти имена убийц Адонирама также взяты из масонской традиции.

С. 223. *«Суратская кофейня»* – философская сказка французского писателя Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814), описывающая встречу людей разных религий в индийской кофейне.

С. 224. *...который, будучи христианином... несколько злоупотребил соком Ноевой лозы...* – То есть вином, которое запрещено последователям ислама. В Абиссинии издавна принята христианская вера.

Наш сказитель принадлежал к секте Али... тогда как турки, сторонники секты Омара... – Речь идет о двух течениях в исламе – шиитах и суннитах, из которых последние чтят память второго мусульманского халифа Омара, тогда как первые считают его узурпатором, а законным вторым халифом объявляют Али.

ИЗ КНИГИ «ИЛЛЮМИНАТЫ»

Книга «Иллюминаты, или Предшественники социализма» вышла в свет в 1852 г.; составляющие ее тексты публиковались начиная с 1839 г. Слово «иллюминаты» обозначало в XVIII в. последователей разнообразных мистических сект.

Переводы выполнены по изданию: *Nerval G. de.* Œuvres. T. II. Bibliothèque de la Pléiade. 1956. Печатаются впервые.

ЖАК КАЗОТ

Впервые опубликовано в 1845 г. в виде предисловия к новому изданию повести Ж. Казота «Влюбленный дьявол» (1772). Основным источником сведений о биографии Казота служила Нервалю вступительная статья к изданию его сочинений 1817 г.

С. 227. *...аббаты-поэты вдохновлялись сюжетами языческой мифологии...* – Возможно, имеется в виду аббат Гийом Анфри де Шолье (1639–1720), автор стихотворений в анакреонтическом духе.

Галлан, Антуан (1646–1715) – известный ориенталист. Его перевод «Сказок тысячи и одной ночи» в 12 томах вышел в 1704–1717 гг.

Сен-Пьер – столица французской колонии на острове Мартиника.

С. 228. *Ла Моннуа,* Бернар де (1641–1728) – бургундский литератор-эрудит; выпустил, в частности, сборник «Ноэли» на бургундском диалекте.

С. 229. *Берни,* Франсуа-Жоаким де Пьер де (1715–1794), *Дора* Клод-Жозеф (1734–1780) – литераторы XVIII в.

С. 232. *...известному завету Буало, гласившему, что христианская вера не должна занимать украшений у поэзии...* – См. его «Поэтическое искусство», песнь III.

С. 234. *...Монкриф, знаменитый историограф кошек...* – Книга известного литератора Франсуа-Огюстена де Паради де Монкрифа «История кошек» вышла в 1727 г.

...переработал сюжет об Оливье в произаическую поэму... – поэма Казота «Оливье» напечатана в 1763 г.

«Неожиданный лорд» – это двухтомное сочинение издано как «перевод с английского» в 1767 г.

Шуазель, Этьен-Франсуа де (1719–1785) – военный министр Франции и статс-секретарь по иностранным делам в 1758–1770 гг.

С. 235. *...которые обрушились позже на общество Иисуса, приведя его к гибели.* – Орден иезуитов был запрещен во Франции в 1764 г.

С. 236. *«Смарра»* – фантастическая повесть Шарля Нодье (1821).

Философы Александрийской школы – неоплатоники первых веков нашей эры, занимавшиеся символико-мистическим толкованием мира; Александрия в ту эпоху являлась одним из главных интеллектуальных центров античной цивилизации.

«Кабинет фей» («Библиотека сказок») – собрание французских литературных сказок в 41 томе, выпущенное в 1785–1789 гг.

С. 237. *Маро*, Клеман (1496–1544), *Лафонтен*, Жан де (1621–1695) – французские поэты, известные, в частности, «легкой» поэзией.

С. 238. *Аббат Виллар, дом Пернетти, маркиз д'Аржан популяризировали тайны «Эдипа Египетского»...* – О Монфоконе де Вилларе см. выше, коммент. к с. 169. Бенедиктинский монах Антуан-Жозеф Пернетти (1711–1801) был пропагандистом учения Сведенборга и автором «Мифогерметического словаря» (1758). Маркиз Жан-Батист де Буайе д'Аржан (1704–1771) упомянут, по-видимому, как автор «Каббалистических писем» (1737), носящих сатирический характер. «Эдип Египетский» (1652–1653) – эзотерический трактат немецкого иезуита Атанасиуса Кирхера. *Дом* (от *лат.* dominus – господин — наименование монахов некоторых орденов).

Пико делла Мирандола (1463–1494), *Марсилио Фичино* (1433–1499) – итальянские философы-гуманисты; занимались, в частности, каббалистикой и герметизмом.

...духов, описанных Беккером... в альманахе «Зачарованный мир». – Это сочинение голландского пастора Бальтазара Беккера вышло в 1694 г.

...после публикации «Влюбленного дьявола» к Казоту явился таинственный незнакомец... – Анекдот взят Нервалем из романа г-жи д'Отфейль «Семейство Казотов» (напечатан под псевдонимом «Анна-Мари» в 1845 г.) и считается вымышленным.

С. 240. *Капитулярии* – название указов меровингских королей.

Ориген (ок. 185–254), *Эвсебий* (ок. 265–340), Аврелий *Августин* (354–430) – раннехристианские мыслители.

Розенкрейцеры – тайное мистическое общество, учение которого распространялось в Европе XVII–XVIII вв.

С. 241. *Мартинес Паскуалес* (точнее, Мартинес де Паскуалли, 1727–1779) – французский иллюминат португальского происхождения.

Сведенборг, Эмануэль (1688–1772), *Бёме*, Якоб (1575–1624) – шведский и немецкий мистики.

Сен-Мартен, Луи-Клод де, или «Неизвестный философ» (1743–1803) – видный масон, пропагандист учения Сведенборга о духах.

С. 242. *Филалеты* – в пер. с греч.: «любители истины».

«Багдадский калиф» – опера французского композитора Адриена Буальдье (1801).

С. 243. *«Сет»* – дидактико-инициатический роман аббата Террасона (1731), посвященный древнеегипетским культам и опубликованный как перевод древнегреческой рукописи.

Ронсар, Пьер де (1524–1585) – французский поэт, глава поэтического движения «Плеяда».

«Женевская война» – точное название этого произведения Вольтера: «Гражданская война в Женеве, или История любви Робера Ковеля» (1768).

С. 245. *...Рамо, племянник великого композитора, чью причудливую жизнь Дидро описал нам в своем диалоге-шедевре...* – Имеется в виду философский диалог Дени Дидро «Племянник Рамо» (опубликован в 1805 г.). Его герой, Жан-Франсуа Рамо, племянник композитора Жан-Филиппа Рамо (1683–1764), представлен как умный и едкий циник, мастер сатирических парадоксов.

...сатирами Петрония... – Подразумевается роман Гая Петрония Арбитра (ум. в 65 г. н. э.) «Сатирикон», изображающий нравы Римской империи глазами циничного героя-авантюриста.

Марсолье де Виветьер, Бенуа-Жозеф (1750–1817) – оперный либреттист.

Дюни (Дуни), Эджидио Ромуальдо (1709–1775) – композитор, директор театра Итальянской комедии в Париже.

С. 247. *...письмо Жан-Жака Руссо об Опере...* – очевидно, «Письмо д'Аламберу о зрелищах» (1758), вызвавшее острую полемику.

«Маленький пророк из Бехмишброда» – это сочинение (1753) действительно принадлежало немецко-французскому литератору Мельхиору Гримму.

...портрет, составленный Шарлем Нодье... – Очерк Нодье «Господин Казот» был опубликован в 1836 г.

С. 248. *Марион Делорм* – даты жизни этой куртизанки: 1611–1650.

...подробности смерти Генриха IV... – Король Генрих IV был убит в 1610 г. религиозным фанатиком Равальяком.

С. 249. *Граф Сен-Жермен* (ум. 1784) – таинственный авантюрист, знаменитый во Франции в 1750-е годы; о *Калиостро* см. следующий очерк Нерваля.

...в мемуарах Лагарпа... – «Пророчество Казота» было впервые опубликовано в 1800 г. в сочинениях известного писателя и критика, члена Французской академии Жана-Франсуа де Лагарпа (1739–1803). Подлинность данного мемуара вызывает споры.

Шамфор, Себастьен-Рок-Никола (1740–1794) – писатель, член Французской академии; во время якобинского террора покончил с собой, чтобы избежать преследований.

С. 250. *...превозносили Академию за подготовку великого труда...* – Видимо, подразумевается Словарь Французской академии, первое издание которого вышло в 1694 г.

С. 251. *Кондорсе*, Мари-Жан-Антуан-Никола де Карита, маркиз де (1743–1794) – философ и математик; участвовал во Французской революции, был приговорен к смерти как жирондист и отравился в тюремной камере.

Вик д'Азир, Феликс (1748–1794) – лейб-медик королевы Марии-Антуанетты; его смерть в разгар Террора объясняют естественными причинами (болезнью).

С. 252. *Николаи*, Эмар-Шарль-Мари де (1747–1794) – магистрат и академик; был казнен по приговору революционного трибунала.

Байи, Жан-Сильвен (1736–1793) – ученый-астроном, член Академии наук и Французской академии. Участвовал в Революции, казнен по приговору трибунала.

Руше, Жан-Антуан (1745–1794) – поэт и публицист; казнен по приговору революционного трибунала.

«Дева» – «Орлеанская девственница», поэма Вольтера (1755).

С. 253. *Герцогиня де Грамон* – Беатрикс де Шуазель-Стенвиль, герцогиня де Грамон (1730–1794), влиятельная светская дама; казнена во время Террора.

С. 254. *...приходилось ли вам читать об осаде Иерусалима у Иосифа Флавия?* – Имеется в виду книга Иосифа Флавия (37–ок. 100) «Иудейская война».

С. 258. *Мальбранш*, Никола (1638–1715) – французский философ и теолог, последователь Декарта.

С. 259. *...прелестная писательница Анна-Мари...* – См. выше, коммент. к с. 238.

С. 262. *...по возвращении из Варенна...* – 25 июня 1791 г. семейство короля Людовика XVI было принудительно возвращено в Париж после попытки бежать за границу (беглецы были опознаны и перехвачены в городке Варенн).

Мадам Елизавета (1764–1794) – сестра Людовика XVI; была казнена по приговору революционного трибунала.

С. 264. *Иосиф II* (1741—1790) — германский император; *Фридрих-Вильгельм II* (1744–1797) – прусский король, вождь антифранцузской коалиции в 1792 г. Сообщаемая ниже версия об отступлении его войск от Парижа благодаря заговору иллюминатов восходит к устному рассказу Бомарше (изложенному в мемуарах аббата Сабатье), согласно которому Фридриху-Вильгельму якобы был явлен призрак его дяди короля Фридриха Великого, велевший ему «не ходить дальше».

С. 265. *Брет* – по-видимому, Антуан Брет (1717–1792), плодовитый писатель-драматург.

Янсенисты – неортодоксальное религиозное течение в католицизме XVII–XVIII вв.; *конвульсионерами* называли янсенистов-фанатиков, доводивших себя до конвульсивных припадков.

С. 266. *Ахав* – восьмой царь Израильский (см. 3-ю Книгу Царств, XVI–XXII).

С. 267. *Лафайет*, Мари-Жозеф-Поль-Ив-Рок-Жильбер Мотье, маркиз де (1757–1834) – деятель Революции 1789 г., командующий Национальной гвардией.

С. 268. *Катрин Тео* (1716–1794) – пророчица, предрекавшая новое пришествие Христа и объявлявшая Робеспьера его предтечей.

...маркизу Дюрфе... – маркиза д'Юрфе (1715–1775) – эксцентричная дама, увлекавшаяся оккультизмом.

Дюшатле – министра с такой фамилией не было.

...письма, захваченные в Тюильри кровавым днем 10 августа... – 10 августа 1792 г. народ взял штурмом королевский дворец Тюильри в Париже.

Фукье-Тенвиль, Антуан-Кантен (1746–1795) – общественный обвинитель якобинского Революционного трибунала; казнен после падения якобинской диктатуры.

С. 270. *...в канун праздника Святого Иоанна.* – Имеется в виду Иванов день (день летнего солнцестояния), с которым связаны языческие обряды и предания.

...графа де Дампьера... – Известен маркиз Огюст-Анри-Мари де Дампьер (1756–1793), генерал республиканской армии, погибший на фронте.

С. 274. *Аббатство* – бывшая аббатская тюрьма в Париже, где в сентябре 1792 г. революционная толпа линчевала заключенных аристократов.

С. 275. *...успехам армии герцога Брауншвейгского...* – Имеется в виду армия интервентов, наступавшая на Париж.

С. 276. *Майар*, Станислас-Мари (1763–1794) – деятель Революции; в 1792 г. организовал чрезвычайный революционный трибунал в тюрьме Аббатства. Умер от болезни в разгар Террора.

Марсельцы – марсельские волонтеры, батальон которых принимал активное участие в революционных событиях августа-сентября 1792 г. в Париже (отсюда название республиканского гимна «Марсельеза» – «Песня марсельцев»).

С. 277. *Петьон* де Вильнев, Жером (1756–1794) – якобинец, в сентябре 1792 г. мэр Парижской коммуны и председатель Конвента; впоследствии казнен.

КАЛИОСТРО

Впервые (не полностью) опубликовано в 1849 г. в альманахе «Le Diable rouge» на 1850 год. Глава IV этого очерка почти дословно воспроизводит текст книги Ларошдю Мэна «Подлинные записки к истории графа Калиостро» (1785). Итальянский авантюрист Джузеппе Бальзамо, или граф де Калиостро (1743–1795) прославился в разных странах Европы как масон и оккультист, за что в конце концов был осужден папскими властями в Италии и умер в заключении.

С. 281. *Юлиан* – Флавий Клавдий Юлиан, или Юлиан Отступник (331–363), римский император, пытавшийся восстановить в христианском Риме языческий политеизм.

Александрийский Серапейон (храм Сераписа), знаменитый своими грандиозными размерами, был разрушен в 391 г. н. э.

С. 282. *Отец Бужан* (1690–1743) – автор книги «Философические развлечения по поводу языка животных» (1739).

С. 284. *Ессеи* – аскетическая секта в иудаизме II–I вв. до н. э., своими принципами отчасти предвещавшая раннее христианство.

С. 285. *Ассасины* – исмаилитская секта в мусульманстве эпохи крестовых походов; воинственные ассасины отличились в сражениях с крестоносцами, а также долгое время боролись против господствующей суннитской ветви ислама. Нерваль сближает их с современной сектой ливанских друзов.

Друзы – одна из религий Ливана (см. «Путешествие на Восток» и коммент. к нему). *Ансариты* – инициатическая шиитская секта в современной Сирии.

Вскоре тамплиеров обвинили в основании одной из самых ужасных ересей... – Подвергнутые пытке, тамплиеры признавались в разнообразных преступлениях – поклонении идолу Бафомету, святотатстве, содомии и т. д.

С. 286. *Союзы подмастерьев* – ремесленные союзы в Европе XVIII–XIX вв., служившие для профессиональной учебы и взаимной поддержки представителей того или иного ремесла. У них имелась своя обрядность, сближавшаяся с масонской.

Мерсий (Иоханнес ван Мерс, 1579–1639), *Николай Кузанский* (1401–1464) – голландский и немецкий ученые-гуманисты.

Плотин (ок. 205–270), *Прокл* (234–305, *Птолемей* (ок. 90–168) – позднеантичные ученые и философы.

С. 287. *Вайсхаупт* (Вейсгаупт), Адам (1748–1830) – немецкий иллюминат.

С. 288. *Всем хорошо известна история с ожерельем королевы...* – Имеется в виду скандальная афера с участием Калиостро, когда у кардинала де Рогана, искавшего королевских милостей, мошенники выманили дорогое ожерелье, якобы предназначенное в подарок королеве Марии-Антуанетте. Афера получила громкую огласку, скомпрометировав королевскую семью; для Калиостро она кончилась высылкой из Франции в 1786 г.

De omni re scibili et quibusdam aliis – Ироническая формула (ее приписывают Вольтеру), пародирующая тезисы итальянского философа и эзотериста Пико делла Мирандолы, утверждавшего возможность с помощью чисел судить «обо всех вещах, доступных познанию».

Египетская ложа – так Калиостро назвал новую, созданную им во Франции масонскую ложу.

С. 289. *Мон-де-Пьете* – ломбард, находившийся в квартале с этим названием.

...цвета «невозможности» – розовато-бежевый цвет.

С. 291. *Ринальдо... у ног Армиды...* – эпизод из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580).

...прекрасная Агнес, царившая при дворе Карла VII... – Королевская фаворитка Агнесса Сорель (ок. 1522–1550), оказывавшая большое влияние на политику двора.

С. 296. *Великий Восток* – самая известная масонская ложа (во Франции образована в 1773 г.).

С. 297. *Д'Эспремениль,* Жан-Жак Дюваль (1745–1794) – политический деятель, автор книжки о животном магнетизме (1784).

Делиль де Саль, Жан-Батист Изоар (1743–1816) – историк и философ.

Бергасс, Никола (1750–1832) – лионский адвокат, участник иллюминатского движения.

Клоотц, Анахарсис (1755–1794) – немецкий революционер-утопист, ставший членом Конвента во Франции и в конце концов погибший на гильотине.

Кур де Жеблен, Антуан (1728–1784) – автор большого труда о происхождении человека «Первобытный мир» (9 томов, 1775–1784).

Фабр д'Оливе, Антуан (1767–1825) – провансальский поэт и драматург, переводчик и комментатор «Золотых стихов» Пифагора.

«История якобинства» аббата Баррюэля – «Записки по истории якобинства», вышедшие в Гамбурге в 1798–1799 гг.

«Доказательства заговора иллюминатов» Робинсона – книга вышла в Лондоне в 1798 г.

Луи Блан и Мишле – Имеются в виду выходившие параллельно «Истории Французской революции» Луи Блана (1847–1862) и Жюля Мишле (1847–1853).

С. 298. *...Оклер, о котором мы расскажем ниже...* – Имеется в виду очерк «Квинтус Оклер», следовавший в книге «Иллюминаты» сразу после «Калиостро».

Ретиф де ла Бретон... разработал... систему пантеизма... – Писателю Ретифу де ла Бретону (1734–1806) также посвящен один из очерков в книге «Иллюминаты» – «Исповедь Никола».

СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

Переводы этих текстов (кроме «Красного дьявола»), не входивших в прижизненные книги Нерваля, выполнены по изданию: *Nerval G. de.* Œuvres. T. II. Bibliothèque de la Pléiade. 1956. Печатаются впервые.

МИСТИЧЕСКАЯ ЛИТОГРАФИЯ

Опубликовано в журнале «L 'Artiste» 28 июля 1844 г. Описывается гравюра неизвестного автора, продававшаяся в том году в Париже.

С. 300. *...трое его преподавателей обвиняются в том, что объявили о пришествии новых богов.* – 9 июля 1844 г. Палата депутатов рассматривала запрос депутатов Леспинаса и Лербетта о «безбожных» и «вредных для нации» лекциях, которые читались в Коллеж де Франс польским поэтом Адамом Мицкевичем и историками Жюлем Мишле и Эдгаром Кине.

С. 301. *«Пиршество»... Андрея Товянского.* – «Пир 17 января 1841 года», сочинение польского иллюмината, магнетизера и утописта Анджея Товянского (1799–1878), вышло в Париже в начале 1840-х гг. Товянский, эмигрировавший после подавления польского восстания 1831 г., исповедовал культ Наполеона и был в дальнейшем выслан из Франции за бонапартистскую пропаганду; в числе его почитателей был Адам Мицкевич.

Морок – укротитель зверей, персонаж романа-фельетона Эжена Сю «Агасфер» («Вечный жид»), публикация которого началась 25 июня 1844 г.

Мишель Вентра (ум. 1875) – мистик и чудотворец из Лиона, осужденный в послании папы Григория XVII в 1843 г.

Жозеф де Местр (1753–1821) – писатель, философ и политический деятель.

С. 304. *Кювье*, Жорж (1769–1832) – палеонтолог, прославившийся реконструкцией ископаемых животных по остаткам их скелетов.

Nescio vos — не знаю вас (*лат.*) – в католической церкви формула осуждения (ср.: Мф. XXV, 12).

КАРНАВАЛЬНЫЙ БЫК

Опубликовано в журнале «L 'Artiste» 9 февраля 1845 г.

С. 305. *...карнавал в пору Реставрации, воспетый веселой музой Беранже...* – Имеется в виду песня Беранже «Карнавал 1818 года», также содержавшая жалобу на краткость карнавала.

Мифологическая колесница, на которой... разъезжают... боги... – Во время карнавалов в Париже в XIX в. по Большим бульварам ездили повозки с ряжеными.

С. 306. *Фурьеристская газета выступила против атмосферы причудливого маскарада...* – Вероятно, имеется в виду упоминаемая ниже газета «Мирная демократия», возглавлявшаяся фурьеристом Виктором Консидераном.

С. 307. *Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna* – «Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство» (*Вергилий*. Буколики. Эклога IV. Пер. С. Шервинского).

С. 308. *...восклицает, как Альфред де Мюссе...* – Далее цитируются первые строки поэмы Мюссе «Ролла» (1833).

КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ

Опубликовано в 1849 г. как предисловие к «каббалистическому альманаху» «Le Diable rouge» на 1850 год, содержащему ряд других сочинений Нерваля; однако данный текст был напечатан без подписи и потому не включен в новейшее трехтомное собрание сочинений писателя.

Перевод печатается по изданию: *Нерваль Ж. де.* Дочери огня. Л., 1985.

С. 310. *Кошут,* Лайош (1802–1894) – вождь венгерской революции 1848–1849 гг.

С. 311. «*Книга Еноха*» – см. выше, коммент. к с. 162.
«*Oedipus Aegypticus*» – см. выше, коммент. к с. 238.

С. 314. *...смахивает на великого Пана, то есть Духа Земли, столь боготворимого и превозносимого современным пантеизмом.* – Имя греческого лесного и пастушеского бога Пана еще в античности сближали с греческим словом pan (все) и толковали как «божество всего».

Бедный дьявол – каламбур: выражение pauvre diable означает просто «бедняга», «бедняк».

С. 315. *...когда Господь снизошел на нашу Землю, он счел для себя возможным остановиться, чтобы побеседовать с ним, как это явствует из второй главы книги Иова.* – Ложная ссылка; имеется в виду скорее евангельская сцена искушения Иисуса Сатаной, так как беседа Бога с Сатаной в Книге Иова происходит не на земле.

...внушил доктору Фаусту идею книгопечатания, этой всенародной, могущественной силы, способной противостоять пушкам, – ultima ratio, последнему доводу королей. – На сходный сюжет, взятый из драмы немецкого писателя Фридриха Максимилиана Клингера «Фауст» (1791), была написана пьеса Нерваля «Живописец из Гарлема» (1851, в соавторстве). Ultima ratio regum («последний довод королей») – латинская надпись на пушках французской армии в XVII–XVIII вв.

«И несть раздоров в преисподней». – Возможно, это переиначенные слова апостола Павла, сказанные им отнюдь не о преисподней: «Разве Христос разделился?» (1 Кор. I, 13).

С. 316. *...он имел касательство к событиям прошлого года.* – Подразумевается революция 1848 года.

ДИОРАМА

Опубликовано в журнале «L'Artiste» 15 сентября 1844 г.

С. 317. *...повторное открытие Диорамы...* – Парижский зал Диорамы в 1839 г. пострадал от пожара.

Бутон, Шарль-Мари (1781–1853) – совладелец и директор Диорамы.

С. 318. *...по мнению Кура де Жебелена, Фабра д'Оливе и Лакруа...* – Кур де Жеблен, Фабр д'Оливе – см. выше, коммент. к с. 297; Пьер Лакур – автор книги «Элохимы, или Боги Моисея» (1839), доказывавший политеистическую основу Ветхого Завета.

С. 319. *«Любовь ангелов»* (1823) – книга английского поэта Томаса Мура, основанная на сюжетах восточных легенд.

С. 320. *Баур-Лормиан,* Пьер (1770–1854) – поэт и драматург.

НЕВЕДОМЫЕ БОГИ

Опубликовано в газете «La Presse» 29 июня 1845 г.

С. 322. *Журне,* Жан (1799–1861) – рьяный проповедник фурьеризма, бывший аптекарь.

«Святой Лука» Зиглера – полное название этой картины «Святой Лука, рисующий портрет Богоматери» (1834).

С. 323. *...с богом in partibus...* – Формула «in partibus infidelium» содержалась в титулах католических епископов, носивших чисто номинальный характер; предполагалось, что их епархия находится «в стране неверных».

...фаланстер, который Рабле, очевидно, предвосхитил в своем Телемском аббатстве... – Фаланстером называлось идеальное общинное жилище в утопической теории Шарля Фурье; Телемское аббатство – идеальная община, описываемая у Франсуа Рабле в «Гаргантюа» (1535).

Отец Анфантен... – Проспер-Бартелеми Анфантен (1796–1864), глава сен-симонистов в конце 20-х–начале 30-х годов; в церковной иерархии сен-симонизма он носил титул «отец». В дальнейшем стал видным инженером и железнодорожным администратором.

Фелисьен Давид (1810–1876) – композитор, в молодости сен-симонист; в 1844 г. в театре Итальянской оперы была с успехом исполнена его симфония «Пустыня», в которой использовались арабские мелодии.

С. 324. *...улицы Монсиньи...* – В одном из домов на этой парижской улице в начале 1830-х годов располагалась коммуна сен-симонистов (жили активисты движения, устраивались лекции и проповеди и т. д.).

Коэссен, Франсуа (1779–1843) – иллюминат, увлекался политикой и мистикой.

Шесно (правильнее Шено), Констан – автор нескольких мистических книг, вышедших в 1840–1841 гг. В марте 1843 г. в полемику с ним вступил упоминаемый здесь же писатель и журналист *Альфонс Карр* (1808–1890) в своей сатирической газете «Les Guêpes» («Осы»).

...обретается в Бурже. – Шено выдавал себя за жителя департамента Луар и Шер (а не города Бурж) в центре Франции.

Мапа – божество, почитавшееся сторонниками «евадизма», религиозной секты, процветавшей в Париже в 1840 г.

...бородой императора Фридриха Барбароссы в пещере Кайзерслаутерна. – Согласно немецкой легенде, император Фридрих Барбаросса (ок. 1122–1190) не утонул во время крестового похода, а скрылся в потайной пещере, где его знаменитая борода, давшая ему прозвище («рыжая борода»), продолжает расти. В Кайзерслаутерне, в Рейнской Германии, в 1153 г. был построен дворец Фридриха Барбароссы.

С. 326. *...в каком-нибудь подземном храме Элефанты или Эллоры...* – Упоминаются древние пещеры, сохранившиеся в Индии и служившие некогда храмами.

...Товянском, который ввел у нас моду на мессианство и нашел в великом польском поэте Мицкевиче, преподававшем славянскую литературу в Коллеж де Франс... – См. выше, коммент. к с. 301.

С. 327. *...сияющие рожки Моисея или Бахуса.* – Моисей иногда изображается с рогами на голове (по созвучию древнееврейских слов «рога» и «лучи» – имеется в виду сияние на голове Моисея после явления ему Бога). Бог Дионис (Бахус) традиционно связывается с зооморфными образами быка или козла.

«Кто из нас, кто из нас вскоре станет Богом?» – из первой песни поэмы А. де Мюссе «Ролла» (1833).

Нас призывает ипподром... – Ипподрому посвящено продолжение фельетона Нерваля в газете «La Presse».

НАСЛЕДНИКИ ИКАРА

Опубликовано в качестве предисловия к книге известного журналиста Жюльена Тюргана «Воздушные шары», вышедшей в свет в ноябре 1850 г. В новейшем трехтомном издании сочинений Нерваля этот текст печатается без заголовка. Источником многих фактических сведений служила Нервалю книга Давида Буржуа «Изыскания об искусстве летать, от глубочайшей древности до сегодняшнего дня» (1784), а также некоторые другие сочинения.

С. 328. *Господин де Ламартин... посвятил прекрасные стихи изобретению, весьма схожему с интересующим нас открытием.* – Допотопный «воздушный корабль» описывается в поэме А. де Ламартина «Падение ангела» (1838).

С. 329. *Симон-волхв... придумал способ для воздушных полетов...* – См.: Деяния апостолов, VIII.

...на манер лошади господина Пуатвена. – В 1850 г. некий Пуатвен или Лепуатвен публично поднялся в воздух, сидя верхом на лошади, подвязанной к аэростату.

...описание сундука, изобретенного неким мусульманином... – Эпизод взят из продолжения сказок «Тысячи и одной ночи», выпущенного в начале XVIII в. французским писателем Пети де Лакруа.

С. 331. *...из-за следующих слов Авла Геллия...* – См.: *Авл Геллий.* Аттические ночи. X, XII.

Скалигер, Юлий Цезарь (1484–1558) и *Кардано,* Джероламо (1501–1576) – итальянские ученые.

Преподобный Лоретто Лауро (1610–1658), итальянский философ и математик.

Монгольфье, братья Жозеф (1740–1810) и Этьен (1745–1799) – промышленники и изобретатели, прославившиеся своими опытами с аэростатами (начиная с 1782 г.).

С. 332. *«История Константинополя»* – исторический труд академика Луи Кузена (1627–1707).

С. 333. *Польян,* Эме-Анри (1722–1801) — ученый-иезуит.

...гравюры с изображением героя по имени Викторен... – Об этом Нерваль рассказывает в своем очерке о Ретифе де ла Бретоне (в книге «Иллюминаты»).

С. 336. *Туаз* – старинная мера длины, чуть меньше 2-х метров.

С. 338. *Бланшар,* Жан-Пьер (1753–1809) – знаменитый французский воздухоплаватель, погибший при аварии воздушного шара.

ИЗ КНИГИ «ДОЧЕРИ ОГНЯ»

Книга вышла в свет в январе 1854 г.; кроме шести прозаических новелл, в разном виде уже печатавшихся в периодике начиная с 1839 г., она включала поэтический цикл «Химеры» (см. наст. изд., с. 470—481). Относительно смысла заглавия книги возможны разные гипотезы – его соотносят с классификацией стихийных духов у аббата де Виллара («дочери огня» – это, стало быть, саламандры, духи огненной стихии), с «сыном огня» Адонирамом из «Истории о царице Утра...», с древнеирландскими жрицами огня, носившими такое название, и т. д.

Переводы новелл печатаются по изданию: *Нерваль Ж. де.* Сильвия. Октавия. Исида. Аврелия. М., 1912. Следует заметить, что они, по-видимому, вы-

полнялись по посмертному собранию сочинений Нерваля, выпущенному издателем М. Леви в 1867–1877 гг. и содержащему ряд произвольных искажений текста. Для настоящего издания переводы просмотрены и отредактированы Ю. Н. Стефановым.

ИСИДА

Впервые опубликовано в декабре 1845 г. в фурьеристском журнале «La Phalange» под заголовком «Храм Исиды. Воспоминание о Помпеях». Источником сведений о культе Исиды служила Нервалю статья немецкого эрудита Карла-Августа Бёттигера, напечатанная в 1809 г. в цюрихском альманахе «Минерва»; в книжном издании «Дочерей огня» пассажи, заимствованные у Бёттигера, в значительной мере сокращены автором.

С. 340. *Один из неаполитанских посланников устроил несколько лет тому назад необычный праздник.* – Никаких сведений об этом празднике не обнаружено.

С. 341. *Там Эдил Панса, там Саллюстий, там Юлия Феликс...* – помпейские горожане, именами которых обозначаются дома в раскопанном древнем городе.

...для культа доброй таинственной богини... – Нерваль сближает культ Исиды с мистериальным культом так называемой Доброй Богини, который отправлялся в Древнем Риме (см. ее прямое упоминание ниже).

Маркиз Г..., директор библиотеки... – имеется в виду эрудит Франческо Гаргалло; на самом деле он никогда не занимал пост директора неаполитанской библиотеки.

С. 344. *Отец Либер и Гебон* – имена бога Вакха.

Великая Греция – в древности название греческих колоний в Южной Италии (в том числе Неаполя).

С. 346. *Le petit coucher* – церемониальный «отход ко сну» короля, который в действительности мог еще долго не ложиться спать.

С. 347. *В годовой праздник вновь обретенного Осириса...* – По египетскому мифу, бог Осирис был убит и расчленен Сетом, после чего Исида собрала и оживила его останки. Это воскрешение отмечалось ежегодным праздником.

С. 349. *Crux ansata* – «крест с кольцом» (*лат.*), египетский религиозный символ в виде Т-образного креста, увенчанного круглым или овальным кольцом; его называли также «узлом Исиды».

Ученый Дону нашел целый ряд изображений... – Описка Нерваля: в статье Бёттигера, которую он излагает, упоминается французский писатель и искусствовед Виван Денон, выпустивший в 1802 г. книгу «Путешествие в Нижний и Верхний Египет...». Нерваль, вероятно, спутал его с историком Пьером-Клодом-Франсуа Дону.

С. 350. *Розеттская надпись* – надпись на камне, найденном в 1799 г. близ египетского селения Розетта. Расшифровка этой надписи Шампольоном явилась эпохальным открытием древнеегипетской письменности.

В конце церемонии, по описанию Апулея... – Древний культ Исиды описывается в книге XI «Золотого осла».

С. 351. *Целла* – внутреннее помещение храма с кумиром божества.

С. 353. *...о великолепном вступлении Вольнея к его «Развалинам»...* – Речь идет о книге французского писателя Константена-Франсуа де Вольнея «Развалины, или Размышления о революциях империй» (1791).

Богиня Саиса – богиня Нейт, культ которой отправлялся в городе Саисе; греки отождествляли ее иногда с Афиной, а иногда с Исидой. В саисском храме стояла статуя Нейт, накрытая покрывалом, которое не должен был поднимать ни один человек.

С. 354. *Луций* – герой «Золотого осла» Апулея.

С. 356. *Дюпюи*, Шарль-Франсуа (1742–1809) – автор труда по истории религии «Происхождение всех культов» (1794).

Древнее христианство призывало сивилл и вовсе не отвергало свидетельства последних оракулов Дельф. – Сивилла упоминается в

католической заупокойной молитве «Requiem aeternum» и в принятой христианами как пророчество IV эклоге Вергилия; последним прорицанием Дельфийского оракула считается фраза «боги уходят», истолкованная христианами как уход языческих богов-«демонов», уступающих место Христу.

С. 357. *...дитя Горус, выкормленный молоком божественной матери...* – Египетский солнечный бог Гор в одной из своих ипостасей считается сыном Исиды.

СИЛЬВИЯ

Впервые опубликовано в августе 1853 г. в журнале «La Revue des deux mondes»; в книге «Дочери огня» к этой повести примыкает критико-этнографическое приложение «Песни и легенды Валуа».

С. 359. *Я вышел из театра, где каждый вечер появлялся в обличье воздыхателя.* – Имеется в виду любовь Жерара де Нерваля к актрисе Женни Колон.

Оры – греческие богини времен года, дочери Зевса и Фемиды; обычно изображались с золотым украшением на голове.

С. 360. *Перегрин* – Перегрин Протей, философ-киник II в. н. э., который публично сжег себя на костре, объявив себя бессмертным богом. Его имя служило одной из литературных масок Нерваля.

С. 361. *...башня из слоновой кости...* – Образ, восходящий к библейской «Песни песней», получил благодаря одному из стихотворений Ш. Сент-Бёва новый смысл – «убежище возвышенного ума».

С. 362. *...я стал богат.* – На самом деле Нерваль получил небольшое состояние в 1834 г. не в результате игры на бирже, а по наследству.

С. 364. *Она была похожа на Беатриче Данте, которая улыбалась поэту, блуждавшему у предела святых жилищ.* – См.: *Данте.* Чистилище. XXX, 31–33.

С. 367. *Лувр* – здесь: селение в департаменте Валь д'Уаз.

С. 368. *Эрменонвиль* – последнее пристанище и место первоначального погребения Жан-Жака Руссо, предмет паломничества его почитателей.

...мифологии Буфле и Шолье... – Станислас-Жан де Буфлер (1738–1815), как и аббат Шолье (см. выше, коммент. к с. 227), писал легкие стихи на сюжеты античной мифологии.

«Поездка на Киферу» – «Отплытие на Киферу» (1717), знаменитая картина Антуана Ватто.

С. 371. *Арминий* (Герман) – вождь германцев I в. до н. э. – I в. н. э., успешно боровшийся с римской экспансией. Нерваль считает его кельтом, а его имя в одном из произведений отождествляет с именем Гермеса.

С. 372. *Лафонтен*, Август (1758–1831), немецкий писатель, автор популярных сентиментальных романов.

С. 374. *Конде* – одна из ветвей королевской династии Бурбонов.

С. 375. *У нее был вид деревенской невесты Грёза...* – Имеется в виду картина Жан-Батиста Грёза «Деревенская невеста» (1761).

С. 376. *...как песни Экклезиаста.* – Подразумевается «Песнь песней», приписываемая царю Соломону, как и Книга Экклезиаста.

С. 377. *...от долгого пребывания там кардиналов из дома д'Эсте в эпоху Медичи...* – Имеется в виду, собственно, один итальянский кардинал – Ипполито д'Эсте (1509–1572), сын знаменитой Лукреции Борджиа, долгое время занимавший высокие церковные должности во Франции и владевший там аббатством Шаали. «Эпохой Медичи» Нерваль называет царствование в 1547–1589 гг. французской королевы Екатерины Медичи и ее сыновей Франциска II, Карла IX и Генриха III.

Франческо Колонна – итальянский монах, автор мистического сочинения «Сон Полифила» (1499).

...не из трагедий Сен-Сира... – Имеются в виду трагедии Ж. Расина «Эсфирь» (1689) и «Гофолия» (1691), написанные для любительской постановки в Сен-Сирском институте благородных девиц.

...во времена Валуа. – Династия Валуа правила Францией в 1328–1589 гг.

С. 378. *Это был день святого Варфоломея, так странно связанный с Медичи...* – Подразумевается Варфоломеевская ночь (на 24 августа 1572 г.), организованная королевой Екатериной Медичи.

С. 380. *...мне попалась фраза: «Каждая девушка, которая прочтет эту книгу, уже погибла».* – Неточная цитата из предисловия к роману Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

С. 381. *...произведения старого художника, нашего предка...* – Нерваль считал, что в числе его предков по материнской линии был голландский живописец Корнелис Бега (1620–1664).

Моро, Жан-Мишель (Моро Младший, 1741–1814) – рисовальщик и гравер, популярный книжный иллюстратор.

С. 382. *«Анахарсис», «Эмиль»* – знаменитые педагогические романы XVIII в.; автором первого («Путешествие юного Анахарсиса по Греции», 1788) был аббат Ж.-Ж. Бартелеми, автором второго («Эмиль, или О воспитании», 1762) – Ж.-Ж. Руссо.

С. 383. *Цветок Вергилия* – бирючина, кустарник с пахучими белыми цветами.

Rerum cognoscere causas! – «Познать причины вещей» (*Вергилий.* Георгики. II, 490).

...могила Руссо, лишенная его праха. – Во время Революции останки Руссо были перенесены из Эрменонвиля в парижский Пантеон.

Башня Габриэли... – В этой башне, по преданию, жила знаменитая любовница короля Генриха IV Габриэль д'Эстре.

С. 388. *Порпора,* Никола (1686–1767) – итальянский композитор; как предполагают, Нерваль взял его имя из романа Жорж Санд «Консуэло» (1842–1843), одним из персонажей которого тот является.

Аврелия – это имя, которым Нерваль обозначает свою возлюбленную Женни Колон, по-видимому, взято им из романа Гёте «Годы

учения Вильгельма Мейстера» (1796–1797), где оно также принадлежит актрисе, либо из романа Гофмана «Эликсиры сатаны» (1816).

С. 389. *...собирать ту траву, сок которой он выжимал в чашку своего кофе с молоком.* – Существовала версия, согласно которой Руссо покончил жизнь самоубийством, отравившись соком ядовитого растения.

С. 392. *...запечатлеть в стихах любовь художника Колонны к прекрасной Лауре, которую родные сделали монахиней...* – Рассказчик «Сильвии» трансформирует полулегендарную историю уже упоминавшегося выше (см. коммент. к с. 377) Франческо Колонна: монах Колонна не был художником, а свою мистическую возлюбленную (также монахиню) он называл, в отличие от Петрарки, не Лаура, а Полиа.

«Я вкушал бубны и пил кимвалы...» – объяснение этой мистериальной формулы обнаружено у христианского писателя II–III вв. Климента Александрийского: Нерваль неверно прочитал ее, приняв предметы, с которых вкушалась ритуальная пища, за самое пищу.

С. 393. *Зуавы* – колониальная французская пехота, действовавшая в Африке.

...игравшим некогда Доранта в комедиях Мариво... – Персонаж с таким именем фигурирует в нескольких пьесах Мариво: «Игра любви и случая» (1730), «Ложные признания» (1737), «Искренние» (1739).

С. 394. *Королева Бланш* – Бланка Кастильская (1188–1252), королева Франции.

С. 395. *...к моим Кларанским рощам, потерянным в туманах к северу от Парижа.* – В Кларане (Швейцария) происходит действие романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Здесь это название употреблено метафорически, как «место сентиментальных воспоминаний».

Гесснер, Соломон (1730–1788) – швейцарский поэт-сентименталист, известный своими элегиями в античном духе.

Руше – см. выше, коммент. к с. 252.

ОКТАВИЯ

Впервые опубликовано в газете «Le Mousquetaire» в декабре 1853 г.

С. 397. *Весной 1835 года меня охватило страстное желание увидеть Италию.* – Нерваль дважды бывал в Италии, в 1834 и 1843 гг. Интересно, что в журнальной публикации в первой фразе новеллы значилась дата «1832 год».

С. 398. *Маркиз Гаргалло* – см. о нем выше, примеч. к с. 341.

С. 399. *Беседа была немного похожа на разговор в «Жеманницах»; мне даже казалось, что я в голубой комнате дворца Рамбулье.* – В «голубой комнате» парижского особняка маркизы де Рамбуйе в 1620–1655 гг. происходили знаменитые литературные собрания, где культивировался изощренный, искусственный галантный язык, высмеянный Мольером в комедии «Смешные жеманницы» (1659).

Камень Элевсина – священный камень, фигурировавший в Элевсинских мистериях; на него, по преданию, присаживалась некогда богиня Деметра.

С. 402. *Позилиппо* – приморский холм, где находится могила Вергилия.

С. 404. *...напомнил мне черного гиганта, вечно бодрствующего в пещере духов, жена которого принуждена была бить его, чтобы помешать ему спать.* – Для объяснения этого намека комментаторы ссылаются либо на одну из сказок «Тысячи и одной ночи» («Царь Черных островов»), либо на греческий миф о хтоническом чудовище Тифоне.

АВРЕЛИЯ

Последнее произведение Нерваля, впервые опубликованное в журнале «La Revue de Paris»; первая часть — 1 января 1855 г., еще при жизни автора, вторая — 15 февраля, уже после его смерти. Книга воссоздает историю душевной болезни писателя, начиная с первого приступа в 1841 г. (когда и были, по-видимому, записаны первые бредовые видения) и кончая 1854 г. *Аврелией* Нерваль называл свою возлюбленную Женни Колон (она фигурирует и в повести «Сильвия» под таким же условным именем – Aurélie; здесь – Aurélia).

Перевод печатается по изданию: *Нерваль Ж. де.* Сильвия. Октавия. Изида. Аврелия. М., 1912.

С. 406. *...сквозь эти врата из слоновой кости или рога...* – В «Энеиде» Вергилия (VI, 893–896) упоминаются двое ворот, ведущих в мир сновидений: через роговые ворота проникают «правдивые виденья», через ворота из слоновой кости – «лживые сны».

С. 407. *...vita nuova* – намек на «Новую жизнь», лирическую автобиографию Данте.

С. 410. *...походило на ангела Меланхолии Альбрехта Дюрера.* – На гравюре Дюрера «Меланхолия», популярной у французских романтиков, изображена крылатая фигура (очевидно, ангел), сидящая в задумчивости.

*Один из приятелей, по имени Поль****... – В авторской рукописи назван друг Нерваля художник Поль Шенавар.

С. 414. *...в дом моего родственника с материнской стороны, фламандского художника, умершего больше столетия тому назад.* – См. выше, коммент. к с. 381.

С. 426. *Африты,* или ифриты – по арабским верованиям, демонические чудовища; упоминаются Нервалем в «Путешествии на Восток».

ОКТАВИЯ

Впервые опубликовано в газете «Le Mousquetaire» в декабре 1853 г.

С. 397. *Весной 1835 года меня охватило страстное желание увидеть Италию.* – Нерваль дважды бывал в Италии, в 1834 и 1843 гг. Интересно, что в журнальной публикации в первой фразе новеллы значилась дата «1832 год».

С. 398. *Маркиз Гаргалло* – см. о нем выше, примеч. к с. 341.

С. 399. *Беседа была немного похожа на разговор в «Жеманницах»; мне даже казалось, что я в голубой комнате дворца Рамбулье.* – В «голубой комнате» парижского особняка маркизы де Рамбуйе в 1620–1655 гг. происходили знаменитые литературные собрания, где культивировался изощренный, искусственный галантный язык, высмеянный Мольером в комедии «Смешные жеманницы» (1659).

Камень Элевсина – священный камень, фигурировавший в Элевсинских мистериях; на него, по преданию, присаживалась некогда богиня Деметра.

С. 402. *Позилиппо* – приморский холм, где находится могила Вергилия.

С. 404. *...напомнил мне черного гиганта, вечно бодрствующего в пещере духов, жена которого принуждена была бить его, чтобы помешать ему спать.* – Для объяснения этого намека комментаторы ссылаются либо на одну из сказок «Тысячи и одной ночи» («Царь Черных островов»), либо на греческий миф о хтоническом чудовище Тифоне.

АВРЕЛИЯ

Последнее произведение Нерваля, впервые опубликованное в журнале «La Revue de Paris»; первая часть — 1 января 1855 г., еще при жизни автора, вторая — 15 февраля, уже после его смерти. Книга воссоздает историю душевной болезни писателя, начиная с первого приступа в 1841 г. (когда и были, по-видимому, записаны первые бредовые видения) и кончая 1854 г. *Аврелией* Нерваль называл свою возлюбленную Женни Колон (она фигурирует и в повести «Сильвия» под таким же условным именем – Aurélie; здесь – Aurélia).

Перевод печатается по изданию: *Нерваль Ж. де.* Сильвия. Октавия. Изида. Аврелия. М., 1912.

С. 406. *...сквозь эти врата из слоновой кости или рога...* – В «Энеиде» Вергилия (VI, 893–896) упоминаются двое ворот, ведущих в мир сновидений: через роговые ворота проникают «правдивые виденья», через ворота из слоновой кости – «лживые сны».

С. 407. *...vita nuova* – намек на «Новую жизнь», лирическую автобиографию Данте.

С. 410. *...походило на ангела Меланхолии Альбрехта Дюрера.* – На гравюре Дюрера «Меланхолия», популярной у французских романтиков, изображена крылатая фигура (очевидно, ангел), сидящая в задумчивости.

*Один из приятелей, по имени Поль***...* – В авторской рукописи назван друг Нерваля художник Поль Шенавар.

С. 414. *...в дом моего родственника с материнской стороны, фламандского художника, умершего больше столетия тому назад.* – См. выше, коммент. к с. 381.

С. 426. *Африты,* или ифриты – по арабским верованиям, демонические чудовища; упоминаются Нервалем в «Путешествии на Восток».

С. 430. *...в сторону кладбища... где была могила Аврелии.* – Женни Колон была похоронена на Монмартрском кладбище в Париже.

С. 431. *Феруер* – в персидских зороастрических преданиях этим словом обозначается не просто двойник, а, скорее, архетип, мистический прообраз человека.

Не был ли я под влиянием истории рыцаря, сражавшегося целую ночь в лесу с незнакомцем, который оказался им самим? – Очевидно, речь идет о сказке Теофиля Готье «Двойственный рыцарь» (1840).

«Я чувствую в себе двух людей», – написал один из отцов церкви. – Возможно, реминисценция из Послания к римлянам (VII) Павла, который был, строго говоря, не отцом церкви, а апостолом. Сходную фразу произносит и Фауст в драме Гёте.

С. 432. *...подумал об Амфитрионе и его двойнике.* – Имеются в виду персонажи комедий Плавта и Мольера «Амфитрион»: господин и слуга, которые оба становятся жертвами божественных двойников, принявших их облик, – Юпитера и Меркурия.

С. 433. *Казино* – в XIX в. это слово обозначало не обязательно игорный дом, но вообще какое-либо увеселительное заведение.

С. 436. *Эвридика! Эвридика!* – Из арии Орфея в первой сцене 3-го акта оперы К.-В. Глюка «Орфей и Эвридика» (1762).

С. 437. *«Древо познания – это не древо жизни!»* – Цитата из трагедии Байрона «Манфред». В Книге Бытия (II, 9) упоминаются порознь находившиеся в земном раю древо жизни и древо познания добра и зла.

Апостол, который хотел прикоснуться, чтобы уверовать... – святой Фома.

С. 438. *...не навестил еще ни разу одного из моих лучших друзей, о болезни которого мне уже говорили.* – Как полагают, имеется в виду поэт Шарль Рейно, скончавшийся от чахотки в августе 1853 г.

С. 440. *...три моих родственника с материнской стороны... они были перевезены отсюда в далекую землю, на родину...* – В 1836 г. останки бабушки и тетки Нерваля были перевезены с Монмартрского

кладбища в наследственное имение близ Мортфонтена (это отнюдь не «далекая земля», а городок в окрестностях Парижа); о третьем «родственнике» сведений нет.

С. 441. *...роза, сорванная в садах Шубраха...* – В «Путешествии на Восток» эти розы упомянуты как высоко ценимые в Египте.

С. 445. *Я никогда не знал матери, которая сопровождала отца в походе... она умерла от лихорадки и усталости в холодной северной земле...* – Мать Жерара Лабрюни умерла в 1810 г. в Силезии, куда она поехала вслед за мужем, врачом при армии Наполеона.

С. 446. *Один из моих друзей, по имени Жорж...* – Очевидно, это близкий друг Нерваля последних лет его жизни, литератор Жорж Белл (наст. имя Жоаким Уно, 1824–1899).

С. 448. *Один немецкий поэт как-то дал мне перевести несколько страниц...* – Это Генрих Гейне, живший в Париже недалеко от заставы Клиши. В 1848 г. Нерваль опубликовал две подборки переводов стихов Гейне.

...три арабских слова: Аллах! Магомет! Али! – Ритуальная формула мусульман-шиитов. Об Али см. выше, коммент. к с. 48.

С. 450. *...написал одну из лучших моих повестей.* – Имеется в виду «Сильвия».

С. 451. *...борьбу бургундцев и арманьяков...* – Имеется в виду феодальная распря во Франции XV в.; вождем одной из соперничавших партий был упоминаемый здесь же *герцог Жан Бургундский* (Жан Бесстрашный, 1371–1419).

С. 452. *Бертен из «Журналь де Деба»* – Луи-Франсуа Бертен (1766–1841), основатель этой газеты.

С. 458. *...панно из разрушенного старого дома возле Лувра, где я когда-то жил, расписанное мифологическими картинами работы моих друзей...* – В 1835 г. Нерваль входил в группу молодых художников и литераторов, которые жили коммуной в старом, позднее снесенном доме в тупике Дуайенне (в центре Парижа, рядом с Лувром).

Стены в старой квартире были расписаны участниками этой «галантной богемы», включавшей в себя видных живописцев-романтиков (Камиль Рожье, Теодор Шассерио).

Прюдон, Пьер-Поль (1758–1823) – французский художник, писал картины на аллегорические и мифологические сюжеты.

С. 460. *Пещеры Эллоры* – см. выше, коммент. к с. 326.

С. 461. *Сатурнен* – это имя, данное рассказчиком своему товарищу, связывают с фигурами популярного на юге Франции святого Сатурнина, известного гностика Сатурнина, наконец, Сатурна как олицетворения несчастья и меланхолии.

С. 462. *На высоких скалах Оверни...* – В одном из писем 1841 г., написанном в период обострения душевной болезни, Нерваль сопоставлял горную область Овернь во Франции с Гималаями, придавая этому тождеству мистическое значение. Гималаи упоминаются чуть ниже и в тексте «Аврелии».

С. 463. *Myosotis* – незабудка; в немецких легендах название этого цветка — Vergissmeinnicht — считается магической формулой.

Пафос – древнегреческий город, знаменитый своим храмом Астарты.

...и светлый лук горел в божественных руках Аполлиона. – Ангел-истребитель Аполлион (он же Аббадонна) фигурирует в Апокалипсисе (IX, 2); не исключено, впрочем, что Нерваль смешивает его – возможно, даже осознанно, в духе своего религиозного синкретизма – с античным солнечным богом Аполлоном.

О смерть! Где же твоя победа... – Первое послание Павла коринфянам. XV, 55. Этот текст читался в католической заупокойной службе.

С. 464. *Горе тебе, бог Севера...* – Имеется в виду скандинавский бог войны и грома Тор.

Розовая Жемчужина – эзотерический смысл этого мотива неясен.

Гармр (Гарм) – демонический пес в скандинавской мифологии.

С. 465. *...змей, окружающий мир...* – В скандинавской мифологии — змей Ермунганд, живущий в океане и опоясывающий землю; из той же мифологии взяты упоминаемые ниже боги *Бальдр, Один, Фрея.*

Анксока – легендарный «огненный цветок», якобы растущий на Востоке.

...в Саардам, где побывал как раз в прошлом году. – Нерваль посетил Голландию в последний раз в 1853 г. Достопримечательностью Саардама является домик Петра I, который провел там несколько дней в 1696 г. инкогнито, работая на местной судоверфи.

...об августейшей сестре императора России, чей дворец я видел в Веймаре. – Имеется в виду сестра Николая I великая княжна Мария Павловна (1786–1859), в 1804 г. вышедшая замуж за наследного герцога Веймарского. Ко времени последней поездки Нерваля в Веймар (осень 1854 г.) она уже овдовела.

С. 466. *Св. Елена* – римская императрица Елена (ок. 247–327), мать императора Константина, под влиянием которой он провозгласил христианство государственной религией империи.

Я увидел в этом знак, что наша родина становится посредником в восточной распри и что от нее ждут помощи. – Имеется в виду Крымская война, которая началась в 1853 г. между Россией и Турцией. Франция вступила в войну 27 марта 1854 г.; Нерваль с сентября 1853 по май 1854 г. в очередной раз лечился в психиатрической клинике.

ИЗ ЦИКЛОВ «ХИМЕРЫ», «НОВЫЕ ХИМЕРЫ» И «ОДЕЛЕТТЫ»

Цикл сонетов «Химеры» впервые был напечатан в конце книги Нерваля «Дочери огня» (1854); некоторые из стихотворений публиковались и ранее, в других редакциях.

Что касается «Новых химер», то это название было дано в издании сочинений Нерваля (см.: *Nerval G. de.* Œuvres. T. I. Bibliothèque de la Pléiade. 1956) группе стихотворений, не публиковавшихся при жизни автора и частично представляющих собой другие редакции сонетов из цикла «Химеры». Большинство из них было впервые напечатано в 1924 г. в одном из изданий «Стихотворений» Нерваля и долгое время датировалось примерно 1853 г. В новейшем трехтомном собрании сочинений Нерваля эти тексты получили новую, более раннюю датировку и печатаются под условным заголовком «Стихи 1841–1846 гг.».

В настоящее издание включены новые переводы всех стихотворений цикла «Химеры» (последнее из них – «Золотые стихи») и нескольких текстов, опубликованных посмертно. Характерная для этих произведений зашифрованность и плотность культурных реминисценций ведет к тому, что их поэтический перевод неизбежно становится более или менее спорным толкованием текста; подробно комментировать такой перевод-толкование не имеет смысла, и нижеследующие примечания ограничиваются лишь минимальными сведениями о происхождении текстов и значении наиболее бесспорных имен и мотивов.

Два последних стихотворения — из сборника Нерваля «Оделетты» (1832—1835).

EL DESDICHADO

Впервые в газете «Le Mousquetaire» 10 декабря 1853. Испанское название сонета взято из романа В. Скотта «Айвенго» (1819), где оно служит девизом рыцаря Айвенго и истолковано (неточно) как «лишенный наследства». *Аквитания* была родиной предков Нерваля по отцовской линии. *Звезда*, видимо, отсылает к «Комическому роману» (1651–1657) Поля Скаррона, которому Нерваль пытался подражать в отрывке «Трагический роман» (1844): имя «Звезда» («Этуаль») носила героиня Скаррона, а первая редакция нервалевского сонета озаглавлена именем ее возлюбленного «Дестен» («Судьба»). *Холм Вергилия* – Позилиппо (ср. новеллу «Октавия» и коммент. к ней). *Феб* – здесь, возможно, прозвище Гастона III, графа де Фуа (1331–1391). *Бирон* – гер-

цог де Бирон, адмирал Франции, казненный в 1602 г. по обвинению в заговоре; в «Песнях и легендах Валуа» (см. преамбулу комментария к повести «Сильвия») Нерваль приводит народную песню о нем.

МИРТО

Впервые в книге «Дочери огня». Имя героини, возможно, взято из стихотворения Андре Шенье «Юная тарентинка»; образ героини сопоставим с фигурой неаполитанской «колдуньи», выведенной в новелле «Октавия». *Иакх* – мистериальное имя Диониса. *Под лавром, где покоится Вергилий...* – на холме Позилиппо.

ГОР

Впервые в книге «Дочери огня». О египетском боге *Горе* см. коммент. к с. 357. *Кнеф* в египетской мифологии – бог-демиург, состарившийся и своей дрожью потрясающий все мироздание. *Новый дух* – в ранней редакции сонета на месте этих слов стояло имя «Наполеон». *Ириды светлый шарф* – радуга (богиня Ирида символизировала у греков путь с земли на Олимп).

АНТЭРОС

Впервые в книге «Дочери огня». *Антэрос* по греческой мифологии – сын Афродиты и Ареса; в очерке «Квинтус Оклер» (сб. «Иллюминаты») Нерваль упоминает его как парное божество с Эросом. *Антей* – противник Геракла, хтоническое существо, сын Посейдона и Геи. *Бел и Дагон* – вавилонское и филистимлянское божества. *Коцит* – по античной мифологии, одна из рек подземного царства. *Амаликита* – от названия народа: амаликитяне; в Ветхом завете «первый из народов», по одной из версий происходивший от Исава и живший в пустынной Идумее. *Дракона древнего я сею зубы вновь* – отсылка к греческому мифу о Кадме, засеявшем поле зубами убитого им дракона; из зубов выросли вооруженные воины, построившие для Кадма новый город Фивы.

DELFICA

Впервые в журнале «L 'Artiste» в декабре 1845 г., под названием «Золотые стихи»; затем в сборнике Нерваля «Маленькие замки в Богемии» (1853) под названием «Дафна». *Дельфика* – имя одной из древних сивилл, прорицавшей в Дельфах и отождествлявшейся с пифией. *Дафна* – нимфа, превращенная в лавр (*Овидий.* Метаморфозы. Кн. I). *Арка Константина* – триумфальная арка императора Константина в Риме, рядом с Колизеем.

АРТЕМИДА

Впервые в книге «Дочери огня». *Артемида* в греческой мифологии – богиня ночи и целомудрия, иногда этим именем обозначали дельфийскую сивиллу. *Тринадцатый* – как явствует из авторской рукописи, речь идет о тринадцатом (то есть первом) часе. *Гудула* – имя святой покровительницы Брюсселя.

ХРИСТОС НА МАСЛИЧНОЙ ГОРЕ

Впервые в журнале «L 'Artiste» в марте 1844 г. Источником текста является (помимо Евангелия от Матфея, XXVI, 36–44) роман немецкого писателя-сентименталиста Жан-Поля Рихтера «Зибенкэз» (1796–1797), точнее, его фрагмент, который под названием «Сновидение» был включен г-жой де Сталь в ее книгу «О Германии» (1810), благодаря чему стал знаменит во французской литературе. Из этого фрагмента взят эпиграф к произведению Нерваля, однако крылатая формула «Бог умер» в немецком оригинале отсутствует (Нерваль мог встретить ее в «Феноменологии духа» Гегеля (VII C 1), однако неизвестно, читал ли он этот труд). *Другой* – в оригинале прямо назван Иуда. *Солим* – Иерусалим (такое название фигурирует и в «Истории о царице Утра...»). *Аттис... Кибелой воскрешенный...* – По мифу, пастух Аттис, любимый богиней Кибелой и оскопивший себя в припадке безумия, воскресает каждой весной. *Ра-Аммон* – в оригинале Юпи-

тер-Аммон, плод религиозного синкретизма александрийской эпохи, отождествившего греческого бога солнца Аммона-Ра с греко-латинским Юпитером-Зевсом.

ЗОЛОТЫЕ СТИХИ

Впервые в журнале «L'Artiste», март 1845 г., под названием «Античная мысль». Новое название отсылает к «Золотым стихам» – сборнику философских максим Пифагора; однако эпиграф взят из другой книги – «Философии природы» Ж.-Б. Делиля де Саля (1777), где данные слова вложены в уста Пифагора.

ГОСПОЖЕ АГУАДО

Впервые опубликовано в 1924 г. Сонет частично представляет собой обработку малайского пантума (песни), впервые напечатанного в переводе на французский язык в приложении к «Восточным стихотворениям» В. Гюго в 1829 г.; из этого источника происходят восточные мотивы сонета. Его адресатом могла быть одна из двух женщин – жена либо невестка крупного испанского банкира Александро Мариа Агуадо (1784–1842), имевшего банк в Париже. *Бенарес* – священный город в Индии. *Патани* (Паттани) упоминается в малайском пантуме как город на полуострове Малакка (в современном Таиланде); но Нерваль, судя по его примечанию к рукописной редакции стихотворения, отождествлял его со священным городом буддистов Патна в Бенгалии, а его, в свою очередь, рассматривал как мистическую ипостась Иерусалима. *Ланасса* – имя, неоднократно встречающееся в греческих мифах; связь его с сюжетом стихотворения точно не выяснена.

ЕЛЕНЕ ДЕ МЕКЛЕНБУРГ

Впервые опубликовано в 1924 г. (см. преамбулу комментария к разделу стихотворений). Адресатом сонета является немецкая прин-

цесса *Елена Мекленбургская*, в мае 1837 г. вышедшая замуж за герцога Фердинанда-Филиппа Орлеанского, старшего сына французского короля Луи-Филиппа. Бракосочетание состоялось в замке Фонтенбло, в галерее Генриха II, с чем связано, как полагают, упоминание в тексте сонета жены Генриха Екатерины *Медичи* и их *трех сыновей* – Франциска II, Карла IX и Генриха III). Во дворе этого же замка в апреле 1814 г. происходило прощание с гвардией Наполеона, удалявшегося в изгнание. *Великий Карл* и *Карл Пятый* – императоры Священной Римской империи. *Орленок* – возможно, сын Наполеона герцог Рейхштадтский, однако он уже умер в 1832 г., задолго до написания нервалевского сонета.

ГОСПОЖЕ САНД

Впервые опубликовано в 1924 г. Стихотворение частично повторяет один из сонетов французского поэта Гийома Дю Бартаса (1544–1590), упоминаемого в тексте. С *Жорж Санд* Нерваль был знаком по крайней мере с начала 40-х гг. *Тараскон* и *горы Фуа* – находятся на юге Франции, упомянуты в сонете Дю Бартаса; в числе своих легендарных предков Жерар де Нерваль называл графов де Фуа (ср. также сонет «El Desdichado» и коммент. к нему).

ГОСПОЖЕ ИДЕ ДЮМА

Впервые опубликовано в 1924 г. *Ида Дюма* (Ида Ферье, 1811–1859) – актриса, жена Александра Дюма в 30-х – начале 40-х гг. *Митра* – бог света в иранской мифологии. *Типу* (Типу-Сагиб, 1749–1799) – последний султан индийского княжества Мизор, боровшийся против английской колониальной экспансии. *Ибрагим* – Ибрагим-паша (1789–1848), полководец, сын египетского правителя Мухаммеда Али. *Абд эль-Кадер* (1807–1883) – алжирский эмир, в 30–40-х гг. возглавлявший борьбу против французского завоевания Алжира. *Аларих* – король вестготов в 396–410 гг., в 410 г. захватил и разграбил Рим.

ГОЛОВА-ДОНЖОН

Впервые опубликовано в шестом томе посмертного собрания сочинений Нерваля (1877). Название – в оригинале «La tête armée», буквально: «вооруженная голова» – представляет собой малопонятные слова, произнесенные перед смертью Наполеоном.

ЧЕРНОЕ ПЯТНО

Впервые опубликовано в «Cabinet de Lecture» 4 декабря 1831 г. В разных редакциях носило название «Черная точка» и (в сборнике «Оделетты») «Солнце и слова». Было представлено поэтом как перевод сонета немецкого поэта Годфрида Августа Бюргера (1747–1794), у которого, однако, такого стихотворения не обнаружено. Центральный образ, возможно, восходит к 26-й максиме Ларошфуко: «На солнце и смерть нельзя смотреть в упор».

ФАНТАЗИЯ

Впервые опубликовано в «Annales romantques» за 1832 г. Первоначально было посвящено Т. Готье.

С. Зенкин

ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ

МИСТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

Художественное оформление *Н. А. Кутовой*
Редактор *И. Г. Кравцова*
Технический редактор *В. Г. Бахтин*
Корректор *Е. В. Крутова*
Компьютерная верстка *Н. Ю. Травкин*

Лицензия: код 221, Серия ИД № 02262 от 07.07.2000.
Подписано в печать 30.11.2000. Формат 60×90 1/16. Гарнитура Garamond.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 33,5. Тираж 3000 экз. Заказ № 2389.

Издательство Ивана Лимбаха.
197376, Санкт-Петербург, наб. р. Карповки, д. 5.
E-mail: limbakh@mail.wplus.net
WWW.LIMBAKH.RU

Отпечатано с диапозитивов
в ГПП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ISBN 5-89059-002-2